

Синклер Льюис У нас это невозможно

I

Парадная столовая отеля «Уэссекс», с позолоченными панелями и стенной росписью в виде горных ландшафтов, была заказана для обеда с участием дам, устроенного Ротарианским клубом Форта Бьюла.

Здесь, в Вермонте, все это проходило не столь колоритно, как где-нибудь в прериях Запада. Но, разумеется, были и свои забавные номера: очень развеселили всех Медэри Кол (мукомольная мельница и продуктовая лавка) и Луи Ротенстерн (ремонт одежды, утюжка и чистка), объявившие, что они и есть те самые исторические вермонтцы – Брайхэм Янг и Джозеф Смит; их шутки по поводу своего воображаемого многоженства были рассчитаны на то, чтобы подразнить дам. Но в целом вечер носил серьезный характер. В Америке после семи лет депрессии, начавшейся в 1929 году, все носило серьезный характер. После мировой войны 1914-1918 годов прошло достаточно времени, чтобы молодежь, родившаяся в 1917-м, созрела для учебы в университете... или же для участия в новой войне, в сущности, в любой войне, какая окажется подходящей.

Этот вечер был устроен ротарианцами вовсе не для забавы. С патриотической речью к собравшимся обратился бригадный генерал в отставке Герберт Эджуэйс, сердито развивавший тему «Мир через оборону. Миллионы – на вооружение. Ни цента на контрибуцию», – а потом выступила миссис Аделаида Тарр-Гиммич, прославившаяся не столько своей смелой антисуфражистской кампанией, сколько своим остроумным способом удерживать во время мировой войны американских солдат от посещения французских кафе, – путем посылки на фронт десяти тысяч комплектов домино.

Ни один патриот, болеющий за интересы общества, не мог пренебрежительно отнестись к ее недавнему, не получившему, правда, достаточной поддержки предложению охранять чистоту американской семьи путем устранения из кинематографической промышленности всех лиц – актеров, директоров или кинооператоров, – которые: а) были хоть раз разведены, б) родились в чужой стране – исключая Великобританию, поскольку миссис Гиммич была очень высокого мнения о королеве Марии, – или в) уклонялись от принесения присяги на верность флагу, конституции, библии и другим чисто американским святыням.

Ежегодный обед с участием дам являл собой весьма респектабельное зрелище: был представлен весь цвет общества Форта Бьюла. Почти все дамы и большинство мужчин блистали вечерними туалетами, и ходили слухи, что до начала торжества избранный круг гостей в строго секретном порядке угощался коктейлями в 289-м номере того же отеля. На столах, расположенных по трем сторонам просторного помещения, горели свечи, сверкали хрустальные блюда со сладостями и поджаренным миндалем; столы были уставлены статуэтками Микки-Мауса, бронзовыми ротарианскими колесами и маленькими шелковыми американскими флажками, воткнутыми в позолоченные крутые яйца. Одну из стен украшал плакат «Общественный долг – превыше всего!», а меню обеда – сельдерей, суп-пюре из томатов, жареная рыба, куриные крокеты, горошек и различные сорта мороженого – являло лучшие образцы кухни отеля «Уэссекс».

Все слушали, разинув рот. Генерал Эджуэйс заканчивал свою мужественную, но весьма туманную речь о национализме:

– ...ибо Соединенные Штаты – единственная страна среди великих держав, которая не стремится к завоеваниям. Самое большое наше желание – это чтобы нас наконец оставили, черт побери, в покое! С Европой нас связывает по-настоящему лишь одно: мы в поте лица воспитываем грубые, невежественные толпы, которые Европе заблагорассудилось прислать к нам, мы поднимаем их до уровня, хоть сколько-нибудь приближающегося к американской культуре и благонравию. Но, как я уже указывал, мы должны быть готовы к защите наших

берегов от всевозможных шаек иностранных бандитов, именующих себя «правительствами», которые с алчной завистью взирают на наши неистощимые рудники, наши высоченные леса, наши гигантские роскошные города и наши прекрасные, необозримые поля.

Впервые в мировой истории великая нация должна все больше и больше вооружаться не для завоеваний, не из чувства зависти и недоброжелательства, не для войны, а для мира! Дай бог, чтобы оружие нам никогда не понадобилось, но если другие народы не отнесутся с должным вниманием к нашим предостережениям, то, как в известном мифе о посеянных в землю зубах дракона, на каждом квадратном футе земли Соединенных Штатов, которую с таким трудом возделывали и защищали наши предки-пионеры, вырастет вооруженный до зубов бесстрашный воин; так уподобимся же нашим перепоясанным мечами предкам, не то мы погибнем!

Обрушилась буря аплодисментов. Инспектор школ «профессор» Эмиль Штаубмейер вскочил с места и заорал: «Да здравствует генерал! Гип-гип, ура!»

На лицах всех присутствующих, обращенных к генералу и мистеру Штаубмейеру, заиграли улыбки, – на лицах всех, кроме двух-трех чудачек пацифисток и некоего Дормэса Джессэпа, издателя выходившей в Форте Бьюла газеты «Дейли Информер», о котором поговаривали, что он парень ничего себе, только малость циник. Джессэп склонился к своему другу, преподобному мистеру Фоку, и прошептал:

– Нашим предкам-пионерам досталась не бог весть какая важная работа – ковыряться на участке аризонской земли в несколько квадратных футов!

Блистательной вершиной названного обеда явилась речь миссис Аделаиды Тарр-Гиммич, которую по всей стране звали «девушкой наших йонки¹», потому что во время мировой войны она называла парней из экспедиционных войск – «нашими йонки». Она не только посылала солдатам на фронт домино, ее первоначальный замысел был гораздо смелее. Она хотела снабдить каждого фронтовика канарейкой в клетке. Подумать только, ведь это так бы скрасило их одиночество, и они бы вспоминали родимый дом, матерей! Милая маленькая канарейка! И как знать, а вдруг их удалось бы приучить искать вшей!?

Воодушевленная своей идеей, миссис Тарр-Гиммич проникла к самому начальнику интендантского управления, но этот напыщенный, тупоголовый чиновник отказал ей (вернее, отказал беднягам, тоскующим в грязи окопов), трусливо пробормотав какую-то ерунду: у него, мол, нет транспортных средств для канареек. Говорят, глаза ее метали искры, когда она посмотрела в лицо этому чинуше – ни дать, ни взять Жанна д'Арк в пенсне – и сказала ему несколько теплых слов, которых он никогда не забудет!

В те славные времена женщины действительно имели возможность проявить себя. У них была возможность посылать на фронт своих мужчин или чужих мужчин – все равно. Миссис Гиммич называла каждого солдата, которого ей случалось повстречать, «дорогим своим сыночком», а уж она, бывало, не пропустит ни одного, кто только отважится приблизиться к ней на расстояние двух кварталов. Рассказывали, что однажды она приветствовала таким образом капитана военно-морских сил, произведенного в офицеры из рядовых, и тот ответил ей: «У нас, дорогих сыночков, мамаш сейчас хоть отбавляй. Я лично предпочел бы иметь побольше любовниц». Рассказывали, что она отчитывала его за это ровно час семнадцать минут по наручным часам капитана, позволяя себе передышку лишь для того, чтобы откашляться.

Впрочем, заслуги ее перед обществом не ограничивались доисторической эпохой. Еще совсем недавно, в 1935-м, она взялась за чистку кинофильмов, а до этого выступала в качестве сторонницы «сухого закона», а потом стала его противницей. В 1932 году (когда миссис Гиммич было навязано право голоса) она состояла членом республиканской комиссии и ежедневно посылала президенту Гуверу длиннейшие телеграммы, содержавшие всевозможные советы.

¹ вместо «янки»

Кроме того, будучи сама, к несчастью, бездетной, она являлась признанным лектором и автором книг по вопросам воспитания детей, и ее перу принадлежит целый том детских стихов, включающий такие бессмертные строки:

В круг уселись шарики – у их ног кубарики².

Но неизменно, будь то 1917-й или 1936 год, она была ревностным членом ДАР – общества «Дочерей американской революции».

ДАР (размышлял в этот вечер циник Дормэс Джессэп) – это довольно крупная организация, такая же путаная, как теософия, теория относительности или фокусы индусских факиров. И все они в чем-то схожи. Организация эта состоит из женщин, тратящих одну половину своего времени на то, чтобы хвастаться своим происхождением от свободолюбивых американских колонистов 1776 года, а вторую, чтобы яростно нападать на своих современников, исповедующих именно те принципы, за которые боролись эти колонисты.

ДАР (размышлял Дормэс) стала такой же непогрешимой, такой же не подлежащей критике организацией, как католическая церковь или Армия спасения. С той, однако, разницей, что всякого разумного человека она заставляет хохотать до упаду, ибо умудрилась стать такой же смешной, как недоброй памяти Ку-Клукс-Клан, причем ей даже не понадобилось для этого напяливать, подобно членам ККК, дурацкие колпаки и ночные рубашки.

Таким образом, занималась ли миссис Аделаида Тарр-Гиммич укреплением морали воинов, старалась ли убедить литовские хоровые общества начинать программу своих выступлений с гимна «Колумбия – жемчужина океана», она всегда и везде неизменно оставалась верной ДАР; это подтверждало и ее выступление на обеде ротарианцев Форты Бьюла в описываемый нами чудесный майский вечер.

То была невысокая полная женщина со вздернутым носом. Ее пышные седые волосы (ей было шестьдесят – столько же, сколько и скептику Дормэсу Джессэпу) выбивались из-под девически моложавой соломенной шляпки с мягкими полями; одета она была в платье из набивного шелка, на шее – громадная нитка хрустальных бус; на пышной груди красовалась окруженная ландышами орхидея. Ее распирало от благосклонности ко всем присутствующим мужчинам; она трепетала перед ними и ластилась к ним и голосом, нежным, как флейта, и сладким, как шоколадная подливка, распевала о том, «как вы, мальчики, можете помочь нам, девочкам».

Женщины, говорила она, не сумели использовать предоставленное им право голоса. Если б только Соединенные Штаты послушались ее в 1919 году, она бы избавила их от всех неприятностей. Нет! И еще раз нет! Никаких избирательных прав! Женщина должна занять свое привычное место в семье, и – как сказал великий писатель и ученый мистер Артур Брисбейн – «если женщина и должна что-либо делать, так это родить шестерых детей».

Тут речь миссис Гиммич была прервана самым наглым, возмутительным образом.

Это сделала некая Лоринда Пайк, вдова небезызвестного унитарийского проповедника, владелица загородного пансиона под названием «Таверна долины Бьюла», моложавая женщина с обманчивой внешностью мадонны, со спокойными глазами и мягкими каштановыми волосами, разделенными посередине пробором; голос у нее был нежный, и она часто смеялась. Но, когда она выступала с трибуны, голос ее гремел, как медь, а глаза яростно горели. Ее считали озорницей и сумасбродкой. Она постоянно вмешивалась в дела, которые ее вовсе не касались, и на городских собраниях всегда все критиковала, обсуждался ли вопрос о тарифах электрической компании, о жалованье школьным учителям или же о деятельности ассоциации духовных лиц по изъятию из публичных библиотек аморальных

² Перевод стихов здесь и далее Л.С.Суровой

книг. И сейчас, когда все должно было проходить под знаком Умиротворения и Дисциплины, миссис Лоринда Пайк нарушила идиллию, насмешливо бросив:

– Да здравствует Брисбейн! Но что, если какой-либо бедняжке не удастся подцепить мужа?! Как ей быть тогда? Родить своих шестерых детей вне брака?

Тогда Риммич, этот старый боевой конь, ветеран сотни кампаний против красных ниспровергателей, отважно ринулась в схватку.

– Милая моя! Если бедняжка, как вы сказали, обладает настоящим очарованием и женственностью, ей не придется «ловить» мужа... Она найдет их целую шеренгу у своего порога. (Смех и аплодисменты.) Грубиянка Пайк только разожгла благородную страсть миссис Гиммич. Она больше не ластилась к своим слушателям, она рванулась в бой.

– Да, друзья мои, беда нашей страны в том, что у нас так много эгоистов! У нас сто двадцать миллионов населения, и девяносто пять процентов думает только о себе, вместо того чтобы дружно взяться и помочь разумным деловым людям возродить процветание! А все эти продажные и своекорыстные профсоюзы! Жадные стяжатели! Они только и думают о том, как бы вырвать побольше зарплату у несчастных предпринимателей, на которых падает все бремя ответственности!

Наша страна больше всего нуждается в дисциплине! Мир – это великая мечта, но зачастую не более чем мечта!

По-моему... возможно, мои слова поразят вас, но я прошу вас выслушать женщину, которая скажет вам неприкрашенную, суровую правду, а не сентиментально-сладкий вздор... По-моему, чтобы научиться Дисциплине, нам нужно снова пережить настоящую войну! Не надо нам всей этой интеллектуальности, всей этой книжной учености! Может быть, все это в своем роде и хорошо, но не является ли это, в сущности, приятной игрушкой для взрослых? Нет, что нам всем действительно нужно, если только наша великая страна хочет сохранить свое высокое положение в конгрессе народов, – это Дисциплина... Сила воли... Характер!

Затем она с кокетливой улыбкой обратилась к генералу Эджуэйсу:

– Вы говорили нам о том, как обеспечить мир, но, генерал... между нами – ротарианцами и ротарианками, – признайтесь-ка по чести! Вы, человек с большим опытом, не думаете ли вы, честно, положив руку на сердце, что может быть... что вполне возможно... когда страна помешалась на деньгах, как все наши профсоюзы и рабочие с их пропагандой повышения подоходного налога, означающей, что бережливым и усердным придется содержать неумелых и никчемных, что, может быть, война была бы неплохим средством, – чтобы спасти их пропащие души и внедрить в них хоть каплю железного мужества? Скажите же нам ваше настоящее, сокровенное мнение, мон генераль!

Она села с драматическим видом, и звуки хлопков наполнили комнату, как туча пушистых перьев. Собрание бушевало:

– А ну-ка, генерал! К ответу! Скажите ваше мнение! Примите вызов, генерал!

Генерал был низенький и кругленький; его красное лицо, гладкое, словно задок ребенка, украшали очки в золотой оправе. Но он по-военному фыркал и мужественно смеялся.

– Что ж, ладно! – захохотал он, поднимаясь и дружески грозя пальцем миссис Гиммич. – Если вы все твердо решили выведать секрет у бедного солдата, то лучше я уж признаюсь: хотя я ненавижу войну, но есть вещи и похуже. Ах, друзья мои, гораздо хуже! Это – состояние так называемого «мира», когда рабочие организации заражены, словно чумными микробами, безумными идеями анархической красной России! Состояние «мира», когда университетские профессора, журналисты и видные писатели тайно распространяют все те же возмутительные обвинения против Великой старой конституции! Состояние «мира», когда одурманенный этим духовным ядом народ стал слабохарактерным, трусливым, жадным, не знающим воинской гордости! Нет, такой «мир» гораздо хуже самой ужасной войны!

Боюсь, что, судя по моему предыдущему выступлению, в котором я ограничился

общеизвестными истинами, вы могли счесть меня за «старую шляпу», как было принято у нас выражаться, когда моя бригада стояла в Англии.

Я сказал, например, что Соединенные Штаты стремятся только к миру и не хотят впутываться ни в какие иностранные дела. Но нет! Чего мне действительно хочется, так это чтобы мы выступили и сказали всему миру: «Вот что, ребята, – никаких оглядок на мораль! Мы – сила, а сильный всегда прав!»

Я вовсе не восхищаюсь всем, что произошло в Германии и Италии, но мы должны признать, что у них оказалось достаточно честности и здравого смысла, чтобы сказать другим народам: «Занимайтесь своими собственными делами, понятно?» Мы обладаем силой и волей, а всякий обладающий этими божественными качествами не только вправе, но и обязан их использовать! Никто во всем мире никогда не любил слабых... да и слабые сами себя не любят!

А теперь я могу сообщить вам хорошие новости! Проповедь неприкрытой наступательной силы очень быстро распространяется в нашей стране среди лучших представителей молодежи. В настоящий момент лишь семь процентов высших учебных заведений еще не ввели у себя военного обучения с такой же строжайшей дисциплиной, как у наци, причем если раньше это навязывалось сверху, то теперь здоровые молодые мужчины и женщины сами заявляют о своем праве овладеть военным искусством... и заметьте себе, девушки, обучающиеся уходу за больными, изготовлению противогазов и тому подобного, не уступают в рвении и усердии своим братьям. И все действительно мыслящие профессора всецело их поддерживают!

Ведь еще совсем недавно, не более как три года назад, удручающий процент наших студентов составляли крикуны пацифисты, готовые из-за угла вонзить нож в спину родной стране. А теперь, когда эти потерявшие стыд безумцы и защитники коммунизма пытаются устраивать пацифистские митинги... Друзья мои, за последние пять месяцев, начиная с января, мы имели семьдесят шесть случаев, когда подобные возмутительные оргии разгонялись самими же студентами, причем пятьдесят девять красных предателей-студентов получили по заслугам: их избили так основательно, что больше им уж никогда не поднять в нашей свободной стране окровавленное знамя анархии!

Вот это, друзья мои, радостные новости!

Когда генерал уселся, среди шумных изъявлений восторга, миссис Лоринда Пайк, эта неугомонная смутьянка, вскочила и снова нарушила пир любви:

– Послушайте, мистер Эджуэйс, если вы думаете, что после всего этого садистского бреда вы можете...

Ей не удалось продолжить, так как Фрэнсис Тэзброу – владелец каменоломни, самый крупный промышленник в Форте Бьюла – величественно поднялся, остановил Лоринду, протянув к ней руку, и прогремел своим внушительным басом:

– Минуточку, сударыня! Мы все, местные жители, привыкли к вашим политическим взглядам. Но как председатель я вынужден напомнить вам, что генерал Эджуэйс и миссис Гиммич были приглашены нашим обществом выступить на этом собрании с речами, в то время как вы, простите меня, не состоите даже в родстве с кем-либо из членов общества и присутствуете здесь только как гость преподобного Фока, весьма всеми нами почитаемого. Так что, с вашего позволения... Благодарю вас, сударыня!

Лоринда Пайк шлепнулась на свое место, по-прежнему горя возмущением, мистер же Фрэнсис Тэзброу отнюдь не шлепнулся: он уселся торжественно, как архиепископ кентерберийский на свой архиепископский трон.

Тогда, чтобы внести успокоение в умы, поднялся Дормэс Джессэп; он был близким другом Лоринды и, кроме того, с раннего детства считался приятелем Фрэнсиса Тэзброу, которого не выносил.

Дормэс Джессэп, редактор и издатель газеты «Дейли Информер», хотя и был вполне солидным деловым человеком и автором передовиц, не лишенных остроумия и свойственной Новой Англии практичности, считался в Форте Бьюла первым оригиналом. Член школьного

и библиотечного советов, он представлял слушателям таких людей, как Освальд Гаррисон Виллард, Норман Томас и адмирал Бэрд, когда они приезжали в город читать лекции.

Джессэп был невысокий худощавый мужчина, с улыбающимся загорелым лицом, небольшими седыми усами и небольшой холеной седой бородкой – и это в обществе, где носить бороду означало идти на то, чтобы тебя сочли либо деревенщиной, либо ветераном Гражданской войны, либо адвентистом седьмого дня. Недруги Дормэса говорили, что он носит бороду из желания быть «оригинальным», слыть «интеллектуалом» и иметь «артистическую внешность». Возможно, они были правы. Итак, он вскочил с места и заговорил примирительным тоном:

– Ну зачем волноваться? Мой друг миссис Пайк должна бы знать, что свобода слова превращается в недопустимое своеволие, едва дело доходит до того, чтобы критиковать армию, не соглашаться с ДАР и защищать права плебса. Поэтому, я думаю, Лоринда, вам следует извиниться перед генералом, которому мы все должны быть благодарны за то, что он разъяснил нам, чего, в сущности, хотят наши правящие классы. Не откладывайте, друг мой... Встаньте и принесите ваши извинения.

Он смотрел на Лоринду очень строго, но Медэри Кол, президент ротарианского общества, заподозрил, что Джессэп их мистифицирует. Известно было, что он на это способен. Да, так оно и есть. Впрочем... нет, он, должно быть, ошибся, потому что миссис Лоринда Пайк тут же (не вставая) произнесла:

– О да! Простите, генерал! Благодарю вас за вашу откровенную речь!

Генерал поднял свою пухлую руку (на его пальцах, похожих на сосиски, красовалось масонское кольцо и кольцо военной академии), поклонился с достоинством рыцаря Галахеда или метрдотеля и прогремел, как на плац-параде:

– Ничего, ничего, сударыня! Мы, старые служаки, не возражаем против хорошей стычки. Мы даже рады, когда наши глупые идеи так хватают людей за живое, что они на нас обижаются, ха-ха-ха!

Все рассмеялись, и снова воцарился мир и лад. В заключение программы Луи Ротенстерн спел несколько патриотических песенок: «Поход через Джорджию», «Старый лагерь», «Дикси», «Старый черный Джо» и «Я лишь бедный ковбой».

Луи Ротенстерн в Форте Бьюла все считали «хорошим парнем», что являлось лишь рангом ниже «настоящего джентльмена» прежних времен. Дормэс Джессэп охотно ходил с ним на рыбалку и охотился на куропаток; он полагал, что ни один портной с Пятой авеню не мог бы с большим вкусом сшить костюм из полосатой индийской материи, чем Луи. Но Луи был джингоистом и ура-патриотом. Он говорил, и довольно часто, что это не он и даже не его отец родился в гетто в прусской Польше, а его дед (Дормэс подозревал, что фамилия этого деда была не такой благородной и нордической, как Ротенстерн). Карманными идолами Луи были Кэлвин Кулидж, Леонард Вуд, Дуайт Муди и адмирал Дьюи («Дьюи был уроженцем Вермонта», – радовался Луи, сам увидевший свет во Флэтбуше, на Лонг-Айленде).

Мало сказать, что он был стопроцентным американцем, – на этот основной капитал следовало накинуть еще сорок процентов шовинизма. При всяком удобном случае он говорил: «Мы не должны пускать всех этих иностранцев в нашу страну – я имею в виду, конечно, евреев, итальяшек, венгров и китайцев». Луи был глубоко убежден, что если бы невежественные политики не вмешивались в такие дела, как банки, биржа, рабочий день продавцов универсальных магазинов и пр., то это значительно подняло бы деловой оборот в стране и было бы выгодно решительно всем, и все (включая розничных торговцев) разбогатели бы, как Ага-хан.

И Луи исполнял эти песенки не только с пламенным усердием кантора откуда-нибудь из Быдгощи, но и со всем своим националистическим пылом, так что припев подхватывали все, в особенности миссис Аделаида Тарр-Гиммич, обладавшая знаменитым контральто, которому мог бы позавидовать вокзальный диктор.

Публика расходилась с обеда, шумно и весело прощаясь; Дормэс Джессэп шепнул

своей жене Эмме, неустанной хлопотунье, спокойной, милой женщине, любившей вязанье, пасьянс и романы Кэтлин Норрис:

– Как по-твоему, очень неловко, что я так вмешался?

– Ах нет, Дормэс, ты поступил правильно. Я люблю Лоринду Пайк, не понимаю только, зачем это ей нужно так выставлять напоказ свои глупые социалистические идеи?

– Ну, ты известный консерватор! – сказал Дормэс. Уж не собираешься ли ты пригласить к нам в гости этого сиамского слона Гиммич?

– Нет, не собираюсь, – ответила Эмма Джессэп.

Под конец, когда ротарианцы окончательно расселись по своим бесчисленным автомобилям, Фрэнсис Тэзброу пригласил к себе избранное общество мужчин, в том числе и Дормэса.

II

Дормэс Джессэп отвез жену домой и затем поехал вверх по Плэзент-хилл к Тэзброу; по дороге он размышлял об эпидемическом патриотизме генерала Эджуэйса. Но затем перестал думать и весь погрузился в созерцание прекрасных холмов, как всегда бывало с ним в течение пятидесяти трех (из шестидесяти) лет, что он прожил в Форте Бьюла, штат Вермонт.

Хотя Форт Бьюла и считался официально городом, он был, в сущности, благоустроенной деревней, с красными кирпичными домами под шиферными крышами, с немногочисленными нарядными новомодными бунгало, окрашенными в желтый или коричневый цвет, и старинными полировочными мастерскими. Промышленность была тут развита слабо: небольшая суконная фабрика, фабрика оконных рам и дверей, заводик, изготовляющий насосы. Гранит-основой местный продукт – добывали в каменоломнях в четырех милях от Форта Бьюла; в самом городе находились лишь контора да бедные лачуги рабочих с каменоломен. Население города превышало десять тысяч душ, приходившихся на двадцать тысяч тел, – пропорция явно завышенная.

В городе был только один (да и то весьма относительный) небоскреб – шестиэтажный дом Тэзброу, в котором помещались контора «Тэзброу и Скарлетт – гранитные каменоломни», контора зятя Дормэса, доктора медицины Фаулера Гринхилла и его компаньона, старого доктора Олмстэда, контора адвоката Мунго Киттерика, контора Гарри Киндермана – агента по продаже кленового сиропа и молочных продуктов, и еще тридцать – сорок заведений других захолустных самураев.

Город был сонный, уютный, город благополучия и вердых традиций, в нем по-прежнему чтили День Благодарения, 4 июля, День памяти погибших, и 1 мая служило здесь поводом не для рабочих демонстраций, а для раздачи корзинок с цветами.

Был майский вечер 1936 года, луна только начала убывать. Дом Дормэса стоял на расстоянии мили от делового центра Форта Бьюла, на Плэзент-хилл, горном отроге, отделявшемся, словно протянутая рука, от темного массива горы Террор. Дормэс различал на склонах гор, сплошь покрытых канадской сосной, кленом и тополем, блестящие при свете луны горные луга; по мере того, как автомобиль взбирался на холм, ему стала видна протекавшая по лугам речка Этан-крик. Густые леса, вздымающиеся горные отроги, чистый, как родниковая вода, воздух, спокойные, обшитые досками дома, помнившие войну 1812 года и отрочество странствующих вермонтцев: «маленького великана» Стивена Дугласа, и Хирэма Пауэрса, и Тэддиуса Стивенса, и Брайхэма Янга, и президента Честера Алана Артура.

«Впрочем, нет... Пауэрс и Артур – это слабая пара, – размышлял Дормэс. – Но вот Дуглас, и Тэд Стивене, и Брайхэм – это боевые кони... Интересно, даем ли мы теперь таких паладинов, как эти мощные, сердитые дьяволы прежних лет?.. Появляются сейчас такие, как они, в Новой Англии?.. Вообще в Америке? Или где-нибудь во всем мире? Ну и жилистый был народ! Сколько независимости! Делали, что хотели, думали, что хотели, и плевали на всех остальных. А наша молодежь... Летчики, конечно, обладают большой выдержкой.

Физики – двадцатипятилетние доктора философии, расщепляющие неделимый атом, – это, разумеется, пионеры. Но в большинстве своем нынешние ничемные молодые люди... Они делают по семьдесят миль в час, но цели у них нет, у них не хватает воображения, чтобы захотеть чего-нибудь! Тронул рычажок – и вот тебе музыка. Прочитал юмористический фельетон – вот тебе и идеи, не нужен Шекспир, и Библия, и Веблен, и старый Билл Сэмнер. Молокососы! Вроде этого самодовольного щенка Мэлкома Тэзброу, что увивается за Сисси! А-а!

А что, если, черт побери, это чучело гороховое генерал Эджуэйс и политическая Мэ Вест – Гиммих правы и все это военное кривлянье, а может, и бессмысленная война (чтоб завоевать никому не нужную жаркую страну) необходимы, чтобы влить немного энергии и злости в этих марионеток, наших детей?

Вздор! Такие холмы! Отвесные скалы... И этот воздух! Не нужны мне ни Котсуолд, ни Гарц, ни Скалистые Горы! Дормэс Джессэп – патриот родных мест.

И я...»

– Дормэс, может быть, ты будешь ехать по правой стороне?.. По крайней мере на поворотах, – мягко заметила жена.

...Мглистая горная ложбина, на которую льет свет луна, окутанные туманной дымкой цветущие яблони и пышные ветви сирени на старом кусте возле развалин фермы, сгоревшей лет шестьдесят назад, а то и больше...

Мистер Фрэнсис Тэзброу являлся председателем, директором и главным владельцем фирмы «Тэзброу и Скарлетт – гранитные каменоломни», находившейся в Вест-Бьюла, в четырех милях от Форте. Он был богат, вьедлив и постоянно не ладил с рабочими. Жил он в новом каменном доме георгианского стиля на Плэзент-хилл, неподалеку от Дормэса Джессэпа, и домашний бар у него был не менее роскошный, чем у какого-нибудь заведующего рекламным отделом автомобильной компании в Гросс-Пойнте. Дом его был не более типичен для Новой Англии, чем католические кварталы Бостона, и Фрэнк хвастал, что, хотя шесть поколений его предков жили в Новой Англии, сам он вовсе не ограниченный «янки», энергия и коммерческие способности у него, как у настоящего панамериканского дельца.

Тэзброу был высокого роста, с желтыми усами и однотонным, резким голосом. Сейчас ему было пятьдесят четыре года – на шесть лет меньше, чем Дормэсу Джессэпу; а когда ему было четыре года, Дормэс защищал его от последствий его скверной привычки лупить других малышей по голове чем попало – будь то палка, игрушечный вагончик, сумка для завтрака или лепешка коровьего помета.

В его домашнем баре собрались в этот вечер, после обеда ротарианцев, сам Фрэнк, Дормэс Джессэп, Медэри Кол – владелец мельницы, инспектор школ Эмиль Штаубмейер, Р.К. Краули – Роско Конклинг Краули, самый влиятельный банкир в Форте Бьюла, и сверх всякого ожидания духовник семьи Тэзброу епископальный священник, преподобный мистер Фок, со старческими и хрупкими, как фарфор, руками, с белыми и мягкими, как шелк, густыми волосами и бесплотным лицом, говорившим о добродетельной жизни. Мистер Фок происходил из старинного рода, ведшего свое начало еще от голландских колонистов; он учился в Эдинбурге и Оксфорде, а до этого окончил еще Общую богословскую семинарию в Нью-Йорке. Во всей долине Бьюла не было человека, за исключением Дормэса, кто бы больше, чем мистер Фок, ценил уединенную жизнь в горах.

Комната, отведенная под бар, была должным образом отделана и обставлена приглашенным из Нью-Йорка декоратором, молодым человеком, имевшим привычку стоять подбоченясь. В комнате была стойка из нержавеющей стали, иллюстрации из «La Vie Parisienne»³ в рамках, посеребренные металлические столики и хромированные

³ «Парижская жизнь» (франц.).

алюминиевые стулья с красными кожаными сиденьями.

Все собравшиеся, за исключением самого Тэзброу, а также Медэри Кола (подхалима, для которого милости Фрэнка Тэзброу были чистым медом) и «профессора» Эмиля Штаубмейера, чувствовали себя в этой претенциозной, попугайской обстановке неуютно и неловко, но зато всем, включая мистера Фока, очень понравилась содовая с великолепным виски и сэндвичи с сардинами.

«А как бы отнесся к этому Тэд Стивенс, понравилось бы ему? – размышлял Дормэс, – Он бы зарычал, как затравленная рысь! Но, вероятно, он не возражал бы против виски».

– Дормэс, – обратился к нему Тэзброу, – почему вы не берете бокал? Все эти годы вы так много критиковали... всегда против правительства... никому не давали спуска... держались эдаким либералом, который при случае поддержит всех этих ниспровергателей. Пора уж вам бросить заигрывать с сумасбродными идеями и объединиться со всеми нами. Времена настали серьезные... около двадцати восьми миллионов на пособии... Это становится угрожающим – они воображают, что мы обязаны их содержать.

А еврейские коммунисты и еврейские финансисты, которые сговариваются, чтобы хозяйничать в стране! Я еще могу понять, когда вы в молодости проявляли симпатию ко всем этим союзам и даже к евреям, хотя я вовек не забуду, как вы мне насолили, став на сторону забастовщиков, когда эти разбойники хотели разрушить все мое дело... сжечь мои полировочные мастерские... Ведь вы даже дружили с этим прохвостом Карлом Паскалем, затеявшим всю забастовку... Уж не сомневайтесь, когда все кончилось, я получил громадное удовольствие, уволив в первую очередь именно его.

Но как бы то ни было, теперь эти подонки с коммунистами во главе собираются управлять страной... предписывать людям, вроде меня, как нам вести дела!.. Правильно сказал генерал Эджуэйс, что если мы окажемся втянутыми в войну, они откажутся служить родине. О да, сэр, момент чрезвычайно серьезный, и пора вам прекратить насмешки и примкнуть к гражданам, сознающим свою ответственность.

– Гм! – откликнулся Дормэс. – Я согласен, что момент серьезный. Учитывая недовольство, которое накопилось в стране, сенатор Уиндрип имеет полную возможность быть избранным в ноябре в президенты; а если это случится, то очень возможно, что эта шайка втянет нас в какую-нибудь войну, просто, чтобы потешить свое безумное тщеславие и доказать миру, что мы самые сильные. И тогда меня, либерала, и вас, плутократа, притворяющегося консерватором, выведут и расстреляют в три часа утра. Еще бы не серьезный!

– Ерунда! Вы преувеличиваете! – сказал Р.К. Краули.

Дормэс продолжал:

– Если епископ Прэнг, наш Савонарола в «кадиллаке», склонит своих радиослушателей и свою «Лигу забытых людей» на сторону Бэза Уиндрипа, победа Бэзу обеспечена. Люди будут думать, что его выбирают для создания стабильной экономики. Тогда уж жди террора. Видит бог, у нас в Америке возможна тирания: положение фермеров в южных штатах тяжелое; условия труда горнорабочих и рабочих швейной промышленности плохие; Муни столько лет держат в тюрьме. Но погодите, Уиндрип еще покажет нам, как говорят пулеметы! Демократия!.. Все же ни у нас, ни в Англии, ни во Франции не было такого полного и такого гнусного рабства, как национал-социализм в Германии, такого ограниченного фарисейского материализма, как в России. Хотя демократия и вырастила таких промышленников, как вы, Фрэнк, и таких банкиров, как вы, Краули, и дала вам слишком много денег и власти, в целом, за редкими позорными исключениями, демократия воспитала в рядовом рабочем такое достоинство, какого у него прежде не было. Теперь всему этому угрожает Уиндрип – все эти Уиндрипы! Ну что ж, хорошо! Может быть, на отеческую диктатуру нам придется ответить в некотором роде отцеубийством... выкатить против пулеметов пулеметы. Подождите, пусть только Бэз возьмет на себя заботу о нас. Уж это будет настоящая фашистская диктатура!

– Глупости! Нелепость! – проворчал Тэзброу. – У нас, в Америке, это невозможно! Америка – страна свободных людей.

– Черта с два невозможно, отвечу я вам, – сказал Дормэс Джессэп, – да, прошу прощения, мистер Фок! Ведь нет в мире другой страны, которая так легко впадала бы в истерию... или была бы более склонна к раболепству, чем Америка. Взгляните: Хьюи Лонг стал абсолютным монархом Луизианы, а как почтенный сенатор мистер Берзелиос Уиндрик командует своим штатом! Послушайте, что говорят епископ Прэнг и отец Кофлин по радио... их божественные прорицания обращены к миллионам. Вспомните, как легкомысленно отнеслось большинство американцев к злоупотреблениям в демократической партии, к бандитским шайкам в Чикаго и к тем безобразиям, в которых повинны многие ставленники президента Гардинга! Еще вопрос, что хуже: банда Гитлера или банда Уиндрипа? Вспомните Ку-Клукс-Клан! Вспомните нашу военную истерию, когда мы шницель по-венски переименовали в «шницель свободы»! А цензура военного времени, от которой стонали все честные газеты? Не лучше, чем в России!

А как мы целовали... скажем, ноги этого евангелиста-миллионщика Билли Сандея и Эйми Макферсон, которая из Тихого океана приплыла прямехонько в пустыню Аризоны, и все ей поверили? А помните Волива и мать Эдди?.. Помните наши красные ужасы и ужасы католические, когда республиканцы, проводя кампанию против Эла Смита, говорили каролинским горцам, что если Эл победит, папа объявит их детей незаконнорожденными? Помните Тома Гефлина и Тома Диксона? Помните, как в некоторых штатах провинциальные законодатели, действуя по указке Уильяма Дженнингса Брайана, учившегося биологии у своей благочестивой бабушки, вообразили себя вдруг учеными экспертами и заставили хохотать весь мир, запретив учение об эволюции?.. Помните ночных громил из Кентукки? А как толпы людей отправлялись полюбоваться зрелищем линчевания! Вы говорите, у нас это невозможно?! А сухой закон... Расстреливать людей за одно только подозрение в том, что они ввозили в страну спиртное... Нет, в Америке это невозможно! Да на протяжении всей истории никогда еще не было народа, более созревшего для диктатуры, чем наш! Мы готовы хоть сейчас отправиться в детский крестовый поход... только состоящий из взрослых... и высокочтимые аббаты Уиндрик и Прэнг охотно возглавят его!

– А хотя бы и так! – возразил Р.К. Краули. – Быть может, это не так уж плохо. Не нравятся мне все эти бесконечные безответственные нападки на нас, банкиров. Конечно, сенатору Уиндрипу приходится для виду притворяться и нападать на банки, но, едва он придет к власти, он предоставит банкирам возможность участвовать в управлении и будет пользоваться нашими советами, советами опытных финансистов. Да, да! Почему вас так пугает слово «фашизм», Дормэс? Это – только слово... только слово! И, быть может, не так уж это и плохо для обуздания ленивых шалопаев, которые кормятся пособием и живут за счет моего подоходного налога, да и за счет вашего. Может, не так это и плохо иметь настоящего сильного человека вроде Гитлера или Муссолини... или же вроде Наполеона и Бисмарка в доброе старое время... и чтобы он действительно правил страной и сделал ее снова благоденствующей и процветающей. Иными словами, хорошо бы заполучить доктора, который не станет обращать внимания ни на какие отговорки, а действительно возьмет пациента в руки да заставит его выздороветь, хочет он того или нет!

– Вот именно! – сказал Эмиль Штаубмейер. – Разве Гитлер не спас Германию от красной чумы марксизма? У меня там двоюродные братья. Кому и знать, как не мне!

– Хм! – по привычке хмыкнул Дормэс. – Лечить язвы демократические язвами фашизма! Странная терапия! Я слышал о лечении сифилиса путем прививки малярии, но сроду не слышал, чтобы малярию лечили, прививая сифилис!

– Вы находите подобные выражения уместными в присутствии его преподобия? – возмутился Тэзброу.

Мистер Фок вмешался:

– Я нахожу ваши выражения вполне уместными и вашу мысль очень интересной, брат Джессэп!

– Да и вообще, – сказал Тэзброу, – не стоит переливать из пустого в порожнее. Может быть, оно и хорошо бы, как сказал Краули, поставить у власти сильного человека, но... но здесь, в Америке, это невозможно.

И Дормэсу показалось, что губы преподобного мистера Фока неслышно прошептали: «Черта с два невозможно!»

III

Дормэс Джессэп, редактор и владелец газеты «Дейли Информер», этой библии консервативных вермонтских фермеров всей долины Бьюла, родился в Форте Бьюла в 1876 году; он был единственным сыном бедного универсалистского пастора, преподобного Лорена Джессэпа. Мать его была урожденная Басе, из штата Массачусетс. Пастор Лорен, любитель книг и цветов, человек веселого нрава, но не особенно остроумный, часто повторял, что с точки зрения ихтиологии жена его носит неправильное имя: ей бы полагалось называться треской, а не окунем⁴.

В пасторском доме было мало мяса, но много книг, причем далеко не все богословские, так что к двенадцати годам Дормэс был уже знаком с нечестивыми сочинениями Скотта, Диккенса, Теккерея, Джейн Остин, Теннисона, Байрона, Китса, Шелли, Толстого и Бальзака. Он получил образование в Исайя-колледже; это бывшее детище предприимчивых унитарийцев превратилось в 1894 году в безликий протестантский колледж – тесный деревенский хлев учености в Норт-Бьюла, в тринадцати милях от Форта.

Но в наше время Исайя-колледж выдвинулся (правда, не в смысле образования) – в 1931 году он победил дартмутскую футбольную команду со счетом 64:6.

В годы пребывания в колледже Дормэс написал много плохих стихов и навсегда пристрастился к книгам, но в то же время был прекрасным бегуном.

Он посылал корреспонденции в редакции бостонских и спрингфилдских газет и после окончания колледжа работал репортером в Ратленде и Вустере, а один – незабываемый – год провел в Бостоне; мрачная красота этого города, его старина произвели на него такое же впечатление, какое Лондон производит на молодого йоркширца. Его восхищали концерты, художественные галереи и книжные магазины; три раза в неделю он бывал в театре, покупая билет за двадцать пять центов на галерку, два месяца он жил в одной комнате с другим репортером, которому удалось поместить небольшой рассказец в «Сенчури» и который чертовски бойко разглагольствовал о писателях и о литературном ремесле. Дормэс был не особенно крепкого здоровья и не отличался выносливостью; шум города, уличное движение и суматоха утомляли его, поэтому в 1901 году, через три года после окончания колледжа, когда его давно овдовевший отец умер и оставил ему 2 980 долларов и свою библиотеку, Дормэс вернулся в Форт Бьюла и приобрел четвертую часть паев в «Информере», который в то время был еженедельником.

В 1936 году это была уже ежедневная газета, и он был единоличным ее владельцем, правда, изрядно задолжавшим банку, у которого получил ссуду.

Он был спокойным, благожелательным хозяином; с ловкостью детектива разнохивал новости; в этом строго республиканском штате сохранял в вопросах политики полную независимость; в передовицах, направленных против взяточничества и всяких злоупотреблений, он умел быть беспощадным, не становясь одержимым.

Он доводился троюродным братом Кэлвину Кулиджу, который считал его хорошим семьянином, но беспринципным политиком. Сам Дормэс думал о себе как раз обратное.

Жена его, Эмма, тоже была уроженкой Форта Бьюла. С ней, дочерью фабриканта детских колясок, спокойной, хорошенькой, широкоплечей девушкой, он учился в старших классах.

⁴ Игра слов: bass - по-английски окунь.

Теперь, в 1936 году, один из их троих детей, Филипп (окончивший юридический факультет Гарвардского университета), был женат и успешно занимался адвокатской практикой в Вустере; Мэри была женой Фаулера Гринхилла – доктора медицины, жившего в Форте Бьюла, веселого, неутомимого врача, рыжеволосого человека с неумным темпераментом, который творил чудеса в лечении брюшного тифа, острого аппендицита, сложных переломов, в области акушерства и диеты для малокровных детей. У Фаулера и Мэри был сын – единственный внук Дормэса, – красивый маленький Дэвид, который в свои восемь лет был робким, одаренным воображением, нежным ребенком с такими громадными печальными глазами и такими рыжевато-золотистыми волосами, что его портрет был бы вполне на месте на выставке в Национальной академии или даже на обложке женского журнала с 2,5-миллионным тиражом. Соседи Гринхиллов неизменно говорили о мальчике: «Ах, у Дэви такая богатая фантазия, не правда ли?! Он, верно, будет писателем, как его дедушка!»

Самой младшей из детей Дормэса была веселая, бойкая, подвижная Сесилия, которую все называли Сисси и которой было восемнадцать лет, когда ее брату Филиппу исполнилось тридцать два года, а Мэри – миссис Гринхилл – перевалило за тридцать. Она доставила Дормэсу немало радости, согласившись остаться дома кончать среднюю школу, но все мечтала уехать, изучать архитектуру и «попросту загребать миллионы, дорогой па!» на проектировании и постройке совершенно изумительных домиков.

Миссис Джессэп жила в глубокой (и совершенно необоснованной) уверенности, что ее Филипп – вылитый принц Уэльский; что жена Филиппа Мерилла (белокурая девушка из Вустера) удивительно похожа на принцессу Марину; что любой человек, незнакомый с ее дочерью Мэри, примет ее за Кэтрин Хепбэрн; что Сисси – настоящая дриада, а Дэвид – средневековый паж; и что Дормэс (которого она знала лучше, чем своих подменных эльфами детей) поразительно напоминает морского героя Уинфилда Скотта Шлея, каким он был в 1898 году.

Эмма Джессэп была честной, преданной женой, участливой и добродушной, первоклассной мастерицей по части лимонных пирогов; притом она была консервативна, невероятно привержена к англиканской церкви и начисто лишена чувства юмора. Ее добродушная серьезность постоянно вызывала в Дормэсе желание пошутить над ней, и если он не изображал из себя активного коммуниста, готового немедленно отправиться в Москву, то это следовало считать особым актом милосердия с его стороны.

Дормэс казался очень озабоченным и старым, когда он, как из инвалидного кресла, выбрался из своего «крейслера» в безобразном гараже из бетона и оцинкованного железа. (Но зато это был гараж на два автомобиля; кроме «крейслера», уже четыре года бывшего в употреблении, у них имелся новый «форд», и Дормэс не терял надежды когда-нибудь прокатиться в нем, перехватив его у Сисси).

Он крепко чертыхнулся, ободрав себе ногу о газонокосилку, оставленную на дорожке его работником, неким Оскаром Ледью, известным под прозвищем «Шэд», рослым, краснолицым, угрюмым и грубым ирландцем из Канады. Это похоже на Шэда – оставить газонокосилку не на месте, чтобы она хватала за ноги порядочных людей. Шэд ничего не умел делать и был всегда зол. Он никогда не выравнивал края цветочных клумб; не снимал с головы свою старую вонючую шапку, когда вносил в комнату дрова для камина; он не скашивал одуванчиков на лугу, пока они не рассеивали семена; ему доставляло удовольствие «забыть» сказать кухарке, что горох созрел; и он никогда не упускал случая пристрелить кошку, бродячую собаку, белку или сладкогласого черного дрозда. Дважды в день Дормэс решал уволить его. Но... возможно, он и не лукавил перед собой, утверждая, что, в сущности, это презабавно – попытаться перевоспитать такое упрямое животное.

Войдя в кухню, Дормэс решил, что ему не хочется ни холодного цыпленка со стаканом молока из холодильника, ни даже кусочка знаменитого слоеного кокосового торта, приготовленного их главной кухаркой миссис Кэнди, и сразу поднялся в свой «кабинет» на

третьем этаже, под крышей.

Белый, просторный, обшитый досками дом с мансардой был построен в 1880 году; фасад украшал портик с прямоугольными белыми столбами. Дормэс заявлял, что дом его безобразен, но «по-милому безобразен».

Кабинет под крышей был для Дормэса единственным убежищем от домашней суеты и приставаний. Одну лишь эту комнату миссис Кэнди (тихая, угрюмая, знающая себе цену, грамотная женщина, бывшая когда-то сельской учительницей) не имела права убирать. Здесь царил милый сердцу Дормэса хаос: романы, номера «Нью-Йоркер», «Конгрешэнэл рекорд», «Тайм», «Нэйшн», «Нью-рипаблик», «Нью мзссиз» и «Спекулум» (органа монашеского средневекового общества); трактаты о налогах и денежных системах, карты, толстые тома, посвященные исследованиям Абиссинии и Антарктики; огрызки карандашей, разболтанная портативная пишущая машинка, рыболовные снасти, измятая копировальная бумага, два удобных старых кожаных кресла, виндзорское кресло у письменного стола, полное собрание сочинений Томаса Джефферсона – любимого автора Дормэса; микроскоп и коллекция вермонтских бабочек; наконечники стрел индейцев; тощие тетрадки вермонтских сельских виршей, напечатанных в местных типографиях; библия, коран, Книга Мормона, «Наука и здоровье», книга избранных отрывков из «Махабхараты», стихотворения Сэндберга, Фроста, Мастерса, Джефферса, Огдена Нэша, Эдгара Геста, Омара Хайяма и Мильтона; охотничье ружье и винтовка; поблекшее знамя Исаяя-колледжа; полный оксфордский словарь; пять авторучек, из которых писали только две; критская ваза 327 года до нашей эры – пребезобразная; Мировой альманах за позапрошлый год, с переплетом, видимо, изжеванным собакой; несколько пар очков в роговой оправе и пенсне без оправы – уже давно ему не годившиеся; красивое, считавшееся тюдоровским дубовое бюро из Девоншира; портреты Этана Аллена и Тэдью Стивенса; резиновые болотные сапоги и стариковские домашние туфли из красного сафьяна; афиша, отпечатанная «Вермонтским Меркурием» в Вудстоке 2 сентября 1840 года в честь блистательной победы вигов; двадцать четыре коробки спичек, украденные по одной из кухни; семь книжек, трактующих о России и большевизме – самые невероятные «за» и «против»; фотография Теодора Рузвельта с автографом; полдюжины папиросных коробок, наполовину пустых (по традиции оригиналов-журналистов Дормэсу надлежало бы курить добрую старую трубку, но пропитанная никотином слюна вызывала у него отвращение); вытертый ковер на полу, увядшая веточка остролиста с обрывком серебряной елочной канители; коробка с семью настоящими шеффилдскими бритвами, ни разу не бывшими в употреблении; французские, немецкие, итальянские и испанские словари, – читал он только по-немецки; канарейка в баварской золоченой плетеной клетке; истрепанный том «Старинных песен для дома и развлечения», отрывки которых он часто напевал, держа книгу перед собой на коленях; старинная чугунная печька времен Франклина – все вещи, действительно необходимые отшельнику и совершенно не подходящие для нечестивых рук домашних.

Прежде чем зажечь свет, Дормэс посмотрел через слуховое окно на громаду гор, закрывавшую путаницу звезд. В середине виднелись последние огни Форта Бьюла, далеко внизу, слева, невидимые в темноте, лежали мягкие луга, старые фермы и большие молочные хозяйства в Этан Моуинг. Благодатная сторона, невозмутимая и ясная, как луч света, подумал Дормэс. Он любил ее все больше, по мере того как мирные годы текли один за другим после его бегства от городской суеты и скученности.

Миссис Кэнди – их экономке – разрешалось входить в его отшельническую келью лишь для того, чтобы принести ему почту, которую она оставляла на длинном столе. Дормэс стал быстро просматривать ее, стоя у стола. (Пора спать! Слишком много болтали сегодня вечером, и слишком он разволновался. О господи, уже за полночь!) Он вздохнул, сел в свое виндзорское кресло, облокотился о стол и внимательно перечитал первое письмо.

Оно было от Виктора Лавлэнда, одного из молодых интернационалистски настроенных преподавателей в старой школе Дормэса, Исаяя-колледже.

«Дорогой доктор Джессэп!

(Хм! «Доктор Джессэп!» Где там! Единственное ученое звание, которого я когда-нибудь удостоюсь, – это магистр ветеринарии или лауреат бальзамирования.) У нас в колледже создалось чрезвычайно серьезное положение, и те из нас, кто пытается встать на защиту честных современных людей, очень встревожены... ненадолго, правда, потому что все мы, по-видимому, скоро будем уволены. Еще два года назад большинство наших студентов высмеивало всякую мысль о военной муштре, теперь же все стали необычайно воинственными, и студенты с жаром изучают винтовки, пулеметы и чертежи танков и самолетов. Двое из студентов добровольно ездят каждую неделю в Ратленд, где изучают летное дело, очевидно, желая стать военными летчиками. Когда я осторожно спрашиваю их, к какой же это войне они так готовятся, они чешут затылки и говорят, что их это не интересует, – лишь бы только представилась возможность показать, какие они brave вояки.

Что же, мы уже привыкли к этому! Но как раз сегодня днем... в газетах этого еще нет... попечительский совет при участии мистера Фрэнсиса Тэзброу и нашего директора доктора Оуэна Пизли принял на своем заседании следующее постановление – вы только послушайте, доктор Джессэп: «Всякий преподаватель или студент Исая-колледжа, который каким бы то ни было образом – публично, или частным образом, в печати, или письменно, или в устном разговоре – будет высказываться против военного обучения в Исая-колледже или в каком-либо другом учебном заведении Соединенных Штатов, производимого войсками отдельных штатов, или федеральными войсками, или другими официально признанными военными организациями нашей страны, – подлежит немедленному исключению из колледжа, а всякий студент, который доведет до сведения председателя или любого из попечителей колледжа о такой злостной критике со стороны лица, так или иначе связанного с колледжем, получит хорошие отметки по курсу военного обучения, каковые будут зачтены ему при окончании колледжа».

Вот с какой быстротой идем мы к фашизму!

Виктор Лавлэнд».

А ведь Лавлэнд, преподававший греческий, латынь и санскрит (двум унылым студентам), до сих пор никогда не вмешивался в дела политические, относящиеся к периоду более позднему, чем 180-й год после рождества христового.

«Значит, Фрэнк был на этом заседании попечительского совета и не решился рассказать мне, – подумал Дормэс. – Поощряют студентов быть шпионами! Гестапо! О мой дорогой Фрэнк, серьезные настали времена! Хоть ты и тупица, а правду сказал! Директор Оуэн Пизли, надутый ханжа, разбойник, горе-педагог. Но что я могу сделать? Ох... разве только написать еще одну передовую, сигнализирующую об опасности?»

Он повалился в глубокое кресло и сидел в нем, беспокойно ерзая, как маленькая встревоженная птица с блестящими глазами.

За дверью послышался шум, настойчивый, требовательный.

Он открыл и впустил Фулиша, их собаку. Фулиш был помесью английского сеттера, эрдель-терьера, охотничьего спанеля, боязливой лани и рычащей гиены. Он отрывисто гавкнул в знак приветствия и прижался коричневой атласной головой к коленям Дормэ. От его лая проснулась канарейка в клетке, покрытой нелепым старым синим свитером; ее веселое щебетание возвестило полдень, жаркий летний полдень среди грушевых деревьев на зеленых холмах Гарца, что было ни с чем не сообразно. Но щебетание птички и присутствие преданного Фулиша успокоили Дормэса; ему уже не казались важными и военное обучение и изрыгающие угрозы политиканы, и, успокоенный, он уснул в своем старом кожаном кресле.

IV

Всю эту июньскую неделю Дормэс с нетерпением ждал, когда же наступит суббота, два часа дня – ведь сам бог назначил это время для еженедельного пророчества епископа Пола

Питера Прэнга по радио.

Сейчас, в 1936 году, за шесть недель до начала партийных съездов, было уже вполне очевидно, что ни Франклин Рузвельт, ни Герберт Гувер, ни сенатор Ванденберг, ни Огден Миллз, ни генерал Хью Джонсон, ни полковник Фрэнк Нокс, ни сенатор Бора не будут выставлены ни одной из партий кандидатами на пост президента и что знаменосцем республиканской партии, то есть как раз тем, кому никогда не приходится тащить большое, надоевшее и немного смешное знамя, будет верный своей партии и при этом честный старомодный сенатор Уолт Трубридж. В этом человеке было что-то от Линкольна, что-то напоминало Уилла Роджерса и Джорджа Норриса, что-то неуловимо роднило его с Джимом Фарлеем, а во всем остальном он был все тем же простым, грузным, невозмутимым и независимым Уолтом Трубриджем.

Не оставалось также сомнений, что кандидатом демократической партии станет этот ракетой взвившийся сенатор Берзелиос Уиндрип и что Уиндрип, по существу, лишь маска с громовым голосом, за которой скрывается сатанинский мозг – секретарь Уиндрипа Ли Сарасон.

Отец сенатора Уиндрипа был аптекарем в маленьком городишке на Западе; честолобивый неудачник, он назвал сына Берзелиос по имени шведского химика. Все знали его под именем «Бэз». Он прошел курс обучения в одном из южных баптистских колледжей, потом обучался в Джерси-сити, затем в Чикагской школе права и в завершение всего обосновался в своем родном штате, чтобы заняться адвокатской практикой и оживить местную политическую жизнь. Он неутомимо разъезжал по штату, произносил пылкие и веселые речи, вдохновенно отгадывал, какие политические доктрины будут иметь успех у публики; он умел горячо пожать руку и охотно давал займы деньги. Он пил кока-кола с методистами, пиво – с лютеранами, калифорнийское белое вино – с деревенскими лавочниками-евреями и, когда никто посторонний не видел, пил с ними со всеми виски.

В течение двадцати лет он так же неограниченно правил в своем штате, как султан в Турции.

Он никогда не был губернатором: он был достаточно проницателен, чтобы понимать, что его репутация знатока по части рецептов изготовления пунша, разновидностей покера и психологического подхода к стенографисткам обречет его на провал у благочестивых избирателей, и он удовольствовался тем, что водворил на губернаторское место сельского учителя, эдакую дрессированную блеющую овцу, которую он весело тащил за собой на широкой голубой ленте. Жители штата были уверены, что получили «хорошее управление», – благодаря Бэзу Уиндрипу, а не губернатору.

Уиндрип был инициатором строительства автомобильных дорог и объединенных сельских школ; он заставил администрацию штата купить тракторы и комбайны и предоставить их фермерам во временное пользование за определенную плату. Он был уверен, что в будущем Америка завяжет тесные деловые отношения с русскими, и, хотя презирал всех славян, заставил университет своего штата впервые на Западе ввести в программу курс русского языка. Самым оригинальным его изобретением было увеличение численности войск этого штата в четыре раза и награждение лучших солдат тем, что им предоставлялась возможность изучать сельское хозяйство, авиадело, радиотехнику и технику автомобильного дела.

Солдаты смотрели на него, как на своего генерала и своего бога, и когда генеральный прокурор штата явил, что намерен предать Уиндрипа суду за расхищение 200 тысяч долларов из налоговых средств, войска стали на защиту Бэза Уиндрипа, словно это была его личная гвардия; заняв помещения всех судебных и других государственных учреждений и установив пулеметы на улицах, ведущих к Капитолию, они изгнали врагов Уиндрипа из города.

Он воспринял свое избрание в Сенат как осуществление собственного наследственного права. В течение шести лет единственным человеком, оспаривавшим у него славу самого шумливого и беспокойного человека в Сенате, был покойный Хьюи Лонг из Луизианы.

Он проповедовал утешительное евангелие перераспределения богатств, при котором на долю каждого жителя страны приходилось бы по несколько тысяч долларов в год (что касается точного количества тысяч, то оно у Бэза ежемесячно менялось), но и богатые могли бы существовать безбедно при ограничении их доходов до 500 тысяч долларов в год. Таким образом, перспектива избрания Уиндрипа президентом сулила всем счастье.

Преподобный доктор Эгертон Шлемиль, настоятель кафедрального собора св. Агнесы в Сант-Антонио (Техас), заявил (раз в проповеди, раз в слегка отредактированном отчете о проповеди в газетах и семь раз в интервью), что приход Бэза к власти будет подобен «благостному всеоживляющему дождю, пролившемуся на запекшуюся и жаждущую почву». Доктор Шлемиль ничего не сказал о том, что будет, если благостный дождь будет лить четыре года подряд.

Никто, и даже вашингтонские корреспонденты, в точности не знал, сколь значительная роль в карьере сенатора Уиндрипа принадлежала его секретарю Ли Сарасону. Когда Уиндрип впервые пришел к власти в своем штате, Сарасон был главным редактором самой распространенной газеты в этой части страны. Происхождение Сарасона было и осталось тайной.

Говорили, что он уроженец Джорджии, Миннесоты, Ист-Сайда в Нью-Йорке, Сирии; что он чистокровный янки, еврей, чарлстонский гугенот. Было известно, что юношей он проявил исключительную храбрость, когда служил лейтенантом пулеметной части во время мировой войны, и что потом он еще года три-четыре слонялся по Европе: работал в парижском филиале нью-йоркского «Геральда»; занимался живописью и вопросами черной магии во Флоренции и Мюнхене; несколько месяцев изучал социологию в Высшей экономической школе в Лондоне; якшался с чрезвычайно странной публикой в ночных ресторанах Берлина. Вернувшись на родину, Сарасон сразу заделался «бесстыжим репортером», уверявшим, что лучше пусть его назовут «проституткой», чем «слонтяем-журналистом». Подозревали все же, что, несмотря на это, он сохранил способность читать.

Ему случалось быть то социалистом, то анархистом. Даже в 1936 году кое-кто из состоятельных лиц утверждал, что Сарасон слишком «радикален», но в действительности он потерял веру в массы (если у него таковая была) в период оголтелого послевоенного национализма и верил теперь только в твердую власть немногочисленной олигархии. Тут он был настоящий Гитлер, настоящий Муссолини.

Сарасон был сухопарый, сутулый человек, с редкими бесцветными волосами и толстыми губами на костлявом лице. Его глаза были подобны искрам на дне двух темных колодцев. В его длинных руках была какая-то бескровная сила. Он обычно поражал тех, кто здоровался с ним за руку, – вдруг заламывал им пальцы назад с такой силой, что чуть не ломал их. Это мало кому нравилось. Как газетный работник он был специалистом высшей марки. Он умел разнюхать дело о мужеубийстве, о подкупе политического деятеля, – разумеется, такого, который принадлежал к группировке, враждовавшей с его газетой, – об истязании животных или детей, причем сообщения последнего рода он любил писать сам, не поручая их репортерам, и тогда вы ясно видели перед собой промозглый погреб, слышали звуки хлыста и ощущали липкую кровь.

По сравнению с газетчиком Ли Сарасоном маленький Дормэс Джессэп из Форта Бьюла был примерно тем же, чем является сельский священник по сравнению с получающим 20 тысяч долларов дохода священнослужителем двадцатиэтажного радиофицированного нью-йоркского молитвенного дома.

Сенатор Уиндрип официально числил Сарасона своим секретарем, но все знали, что Сарасон далеко не только секретарь: он и телохранитель, и вдохновитель, и советник по рекламе и финансам. В Вашингтоне Ли Сарасон стал тем человеком, с которым больше всех считались и которого меньше всех любили корреспонденты газет в вашингтонском сенатском управлении.

Уиндрип в 1936 году был молодым сорокавосемилетним человеком; Сарасон же в свои

сорок лет был пожилым человеком со впалыми щеками.

Надо полагать, что Сарасон пользовался заметками, продиктованными Уиндрипом, хотя он и сам обладал достаточно смелой фантазией; несомненно, что это он фактически написал единственную книгу Уиндрипа, библию его последователей, представляющую собой смесь автобиографии, экономической программы и развязной похвальбы, под названием «В атаку».

Это была острая книга, содержавшая больше планов преобразования мира, чем все романы Герберта Уэллса, вместе взятые.

Самым популярным и, пожалуй, наиболее часто цитируемым отрывком из книги «В атаку» – отрывком, который полюбился провинциальной печати за простоватую грубость (хотя писал его человек, посвященный в тайны оккультных наук, именуемый Сарасон), был следующий:

«Когда я еще был ребенком и носился по полям, мы, мальчишки, обходились одной помочей на штанах и говорили попросту «штаны», «помочи». Эта помоча охраняла нашу скромность не хуже, чем если бы мы церемонничали и говорили «подтяжки» и «брюки». Вот так же обстоит дело и с так называемой «научной экономикой». Марксисты думают, что если они называют помочи подтяжками, то этим они начисто обесценивают старомодные идеи Вашингтона, Джефферсона и Александра Гамильтона. Что до меня, то я приветствую использование любого экономического открытия, имевшего место в так называемых фашистских странах – в Италии, Германии, Венгрии и Польше и даже, черт возьми, в Японии! Быть может, нам когда-нибудь придется задать жару этим маленьким желтолицым человечкам, чтобы они не ущемляли наши вполне законные интересы в Китае, но из-за этого мы ни в коей мере не должны пренебрегать некоторыми хитроумными идеями, разработанными этими способными пронырами.

Я хочу, выпрямившись во весь рост, во всеуслышание заявить, что нам надо во многом изменить нашу систему, может быть, изменить даже всю конституцию (но изменить законно, а не путем насилия), поднять ее от эпохи езды на лошадях по проселочным дорогам до уровня нашей эпохи автомобилей и бетонных шоссе.

Исполнительная власть должна получить большую свободу действий и иметь возможность быстро и решительно действовать в нужных случаях; ее не должна связывать масса пройдох-адвокатов, членов Конгресса, которым требуются месяцы на то, чтобы выговориться во время прений. Но – и это «но» такое же большое, как сарай с сеном в усадьбе дьякона у нас в деревне, – эти экономические нововведения являются только средством для достижения Цели, а Цель в основном остается неизменной: это все те же принципы свободы, равенства и справедливости, в защиту которых выступали наши предки, основоположники этой великой страны, в 1776 году».

Самым запутанным и непонятным в предвыборной кампании 1936 года было взаимоотношение обеих руководящих партий. Старая гвардия республиканцев жаловалась, что их гордая партия оказалась на положении бедного просителя; ветераны демократической партии выражали недовольство тем, что их традиционные крытые фургоны битком набиты университетскими профессорами, городскими жуликами и владельцами яхт.

Соперником сенатора Уиндрипа в сердцах народа был политический титан, которого, казалось, не должны были интересовать никакие посты, – преподобный Пол Питер Прэнг из Персеполиса (Индиана), епископ методистской епископальной церкви, человек лет на десять старше Уиндрипа. Его еженедельная речь по радио, произносимая в субботу, в два часа дня, была для миллионов людей в полном смысле божественным откровением. Столько сверхъестественной мощи было в этом голосе, звучавшем в эфире, что ради него мужчины опаздывали на гольф, а женщины даже откладывали свою субботнюю партию в бридж.

Отец Чарльз Кофлин из Детройта первый придумал способ, как освободить свои политические проповеди от всякой цензуры путем «покупки своего собственного времени в

эфире»; только в двадцатом веке человечество получило возможность покупать время, как оно покупает мыло и бензин. По своему воздействию на всю американскую жизнь и мышление это изобретение почти не уступало идее Генри Форда – сбывать автомобили по дешевой цене миллионам людей, вместо того чтобы продавать их в небольшом количестве в качестве предметов роскоши.

Но епископ Пол Питер Прэнг настолько превосходил пионера этого дела отца Кофлина, насколько «форд-К-8» превосходил модель «А».

Прэнг был более чувствителен, чем Кофлин; он больше шумел, больше распинался, больше поносил своих врагов, открыто называя их по имени, расписывая пикантные подробности; он рассказывал больше забавных анекдотов и гораздо больше трагических историй о банкирах, атеистах и коммунистах, которые раскаялись только на смертном одре. Он больше гнусавил на отечественный лад, был чистокровным представителем Среднего Запада, и предки его были шотландскими протестантами из Новой Англии, в то время как Кофлина богатые фермеры всегда немного подозревали в том, что он католик с приятным ирландским произношением.

Ни один человек в мире не имел такой аудитории, как епископ Прэнг, и не обладал такой несомненной властью. Когда он требовал, чтобы его слушатели через своих членов Конгресса голосовали за тот или иной законопроект, потому что ему, Прэнгу, *ex cathedra*⁵, ему одному, без всякой коллегии кардиналов, открылось, за что им надлежит голосовать, – пятьдесят тысяч человек сломя голову бросались к телефону или мчались в машинах по грязи на ближайший телеграф, чтобы от его имени передать правительству свои распоряжения. Таким образом, благодаря магии эфира Прэнг достиг такой власти, по сравнению с которой любая историческая корона должна была казаться жалкой мишурой.

Миллионам членов Лиги он посылал размноженные на мимеографе письма с факсимиле его подписи и обращением, так искусно впечатанным, что каждый радовался, вообразив, что получил привет лично от основателя Лиги.

Дормэс Джессэп, сидя в своей глуши, в горах, никак не мог понять, в чем суть политического евангелия, так громогласно возвещаемого епископом Прэнгом с его Синая, который со своим микрофоном и отпечатанными на машинке откровениями, рассчитанными во времени с точностью до одной секунды, гораздо более поражал и сильнее действовал на воображение, чем настоящий Синай.

В частности, Прэнг ратовал в своих проповедях за национализацию банков, рудников, гидростанций и транспорта; за ограничение доходов, за увеличение заработной платы, усиление профсоюзов, более быстрое распространение потребительских товаров. Но ведь теперь все – от виргинских сенаторов до миннесотских членов рабоче-фермерской партии – пробавлялись этими благородными теориями, и уже не осталось легковверных людей, которые верили бы в осуществление хотя бы одной из них.

Существовало мнение, что Прэнг был лишь покорным рупором своей огромной организации, именуемой «Лигой забытых людей». Было широко распространено убеждение, что Лига насчитывает в своих рядах (хоть ни одна фирма с профессиональными бухгалтерами не проверяла еще ее списков) двадцать семь миллионов членов вместе с соответствующим ассортиментом федеральных чиновников, чиновников штатов и городских чиновников и с массой комиссий под пышными названиями, вроде «Национальная комиссия по составлению статистики безработицы и нормальной занятости рабочей силы в соевой промышленности».

Как бы то ни было, епископ Прэнг не в виде смиренного и слабого гласа божия, а всей своей величавой персоной появлялся и выступал с речами перед двадцатитысячными аудиториями, объезжая все крупнейшие города страны и гастролируя в громадных залах для боксерских состязаний, в кинодворцах, на оружейных заводах, на бейсбольных полях и в

⁵ С кафедры (лат.).

цирках; по окончании митинга его проворные помощники собирали членские взносы и заявления о принятии в члены «Лиги забытых людей». Когда его хулителю робко намекали, что все это очень романтично, забавно и красочно, но не очень-то достойно, епископ Прэнг отвечал: «Учитель охотно говорил и перед любыми простолюдинами, желавшими слушать его»; никто не осмеливался возразить ему на это: «Вы-то ведь не Учитель... пока еще».

При всех блестящих успехах Лиги с ее массовыми митингами ни разу не было случая, чтобы тот или иной догмат Лиги или же тот или иной случай давления, оказанного ею на Конгресс и президента для проведения какого-либо закона, исходили от кого-нибудь, кроме самого Прэнга, действующего в едином лице, без всяких комиссий или сподвижников. Все, к чему стремился этот Прэнг, так часто твердивший о смирении и скромности спасителя, заключалось в том, чтобы сто тридцать миллионов людей были абсолютно послушны ему, своему королю-жрецу, во всем, касавшемся их личной и общественной жизни, их способа добывать себе пропитание и всех их взаимоотношений с им подобными.

– И это, – ворчал Дормэс Джессэп, наслаждаясь благочестивым возмущением своей жены Эммы, – делает Прэнга тираном похуже, чем Калигула... и фашистом похуже, чем Наполеон. Знаешь, я, конечно, не верю всем этим слухам о том, что Прэнг присваивает членские взносы, и деньги от продажи брошюр, и пожертвования для оплаты его выступлений по радио. Мне кажется, что здесь дело гораздо хуже. Я боюсь, что он честный фанатик! Вот почему он и представляется мне как реальная угроза фашизма... Он так чертовски гуманен, так благороден, что большинство людей охотно предоставило бы ему управлять решительно всем, а в стране таких размеров, как наша, эта работка не из легких... Не из легких, моя милая... даже для методистского епископа, получающего так много приношений, что он может себе позволить «покупать время»!

А между тем Уолт Трубридж, вероятный кандидат республиканской партии на пост президента, страдавший чрезмерной честностью и не желавший обещать чудес, упорно твердил, что мы живем в Соединенных Штатах Америки, а не на усыпанном золотом пути к Утопии.

Ничего утешительного в таком реализме не было, так что всю эту дождливую июньскую неделю, когда отцветали яблони и увядала сирень, Дормэс Джессэп ждал очередной энциклики папы Пола Питера Прэнга.

V

Я слишком хорошо знаю Прессу. Почти все редакторы таятся в своих грязных норах; эти люди не думают о Семье, об интересах Общества, о радости прогулок на свежем воздухе и помышляют лишь о том, как бы всех оболгать, улучшить собственное положение и набить свои бездонные карманы, извергая клевету на государственных деятелей, готовых отдать все для блага Общества и всегда легкоуязвимых, так как они находятся у всех на виду в ослепительном сиянии трона.

«В атаку». Берзелиос Уиндруп.

Июньское утро сияло; последние лепестки отцветающих диких вишен лежали, влажные от росы, на траве, и реполовы весело возились на лужайке, Дормэса, любившего поваляться в постели и подремать украдкой после того, как в восемь часов его будили, что-то заставило быстро вскочить и проделать несколько гимнастических упражнений. Он стоял перед окном своей комнаты и глядел на темные массивы сосен на горных склонах, по ту сторону реки Бьюла, в трех милях от его дома.

Последние пятнадцать лет у Дормэса и Эммы были отдельные спальни; нельзя сказать, чтобы Эмма была этим так уж довольна, но Дормэс уверял, что он ни с кем не может спать в одной комнате, так как ночью он бормочет во сне и любит ворочаться в кровати и взбивать

подушки без опасения кого-нибудь обеспокоить.

Была суббота – день прэнговских откровений, но в это ясное утро, после стольких дождливых дней, Дормэсу совсем не хотелось думать о Прэнге; он думал о том, что его сын Филипп неожиданно приехал с женой из Вустера, чтобы провести с ними субботу и воскресенье, и о том, как они всей компанией вместе с Лориндой Пайк и Баком Титусом устроят «настоящий старомодный семейный пикник».

На этом все настаивали, даже светская Сисси, которая в свои восемнадцать лет уделяла очень много времени теннису, гольфу и таинственным, бешеным автомобильным поездкам с Мэлкомом Тэзброу (только что окончившим школу) или с внуком епископального священника Джулиэном Фоком (первокурсником Амхерстского университета).

Дормэс ворчал, что он не может ехать ни на какой пикник; что он обязан, как редактор, остаться дома и слушать в два часа речь епископа Прэнга по радио; но они только смеялись над ним, ерошили ему волосы и приставали к нему до тех пор, пока он не обещал им поехать (они не знали, что он одолжил у своего друга, местного католического священника Стивена Пирфайкса, портативный радиоприемник и так или иначе услышит Прэнга).

Он был доволен, что с ними будут Лоринда Пайк – он любил эту насмешливую праведницу – и Бак Титус, пожалуй, самый близкий его друг.

Джеймсу Баку Титусу, которому было пятьдесят лет от роду, можно было дать не больше тридцати восьми; стройный, широкоплечий, с тонкой талией, длинными усами и смуглой кожей, Бак был типичным американцем прежних времен в стиле Даниэля Буна. Получив образование в Виллиамсе, он затем десять недель провел в Англии и десять лет – в штате Монтана; эти десять лет ушли на разведение рогатого скота, геологоразведочную работу и на занятие коневодством. Его отец, довольно богатый железнодорожный подрядчик, оставил ему большую ферму около Вест-Бьюла, и Бак, вернувшись домой, занялся выращиванием яблонь, разведением моргановских жеребцов и чтением Вольтера, Анатоля Франса, Ницше и Достоевского. Во время войны он был простым рядовым, презирал своих офицеров, отказался от офицерского чина и восхищался действиями немцев в КJльне. Он хорошо играл в поло, а охоту с собаками считал детской забавой. Что касается политики, то он не столько сокрушался о тяжелом положении рабочих, сколько презирал прижимистых эксплуататоров, засевших в своих конторах и зловонных фабриках. В общем, насколько это возможно в Америке, он был похож на английского деревенского сквайра. Бак был холостяком и занимал большой дом, построенный в средневикторианском стиле. Хозяйство у него вела приветливая чета негров; в своем строгом жилище он иногда принимал не совсем строгих дам. Он называл себя «агностиком», а не «атеистом» только потому, что презирал выкрики и завывания присяжных атеистов. Он был циничен, редко улыбался и был неизменно предан всем Джессэпам. Участие Бака в пикнике радовало Дормэса не меньше, чем его внука Дэвида.

«Возможно, что и при фашизме все будет так же спокойно и мы будем по-прежнему распивать чай да, пожалуй, еще и с медом», – подумал Дормэс, надевая свой щегольской загородный костюм.

Единственное, что омрачало веселые приготовления к пикнику, было грубое ворчание работника Джессэпов Шэда Ледью. Когда его попросили повертеть мороженицу, он проворчал: «Почему это вы не могли приобрести электрическую мороженицу?» Особенно громко ворчал он по поводу тяжести корзинок с припасами для пикника, а когда его попросили в отсутствие хозяев привести в порядок подвал, он ничего не сказал, но взгляд его выражал молчаливое бешенство.

– Вам бы следовало избавиться от этого Ледью! – настойчиво повторял сын Дормэса Филипп, адвокат.

– Ох, и сам не знаю! – размышлял Дормэс вслух. – Может быть, это только моя беспомощность. Но я убеждаю себя, что провожу социальный эксперимент... пытаюсь привить ему обходительность среднего неандертальца. А быть может, я боюсь его... он, пожалуй, из тех мстительных крестьян, что поджигают амбары... Ты знаешь, Фил, что он

много читает?

– Неужели!

– Да, да! Большой частью киножурналы с декольтированными дамами и приключенческими рассказами, но он читает и газеты. Он говорил мне как-то, что восхищается Бэзом Уиндрипом и уверен, что Уиндрип станет президентом и тогда каждый... боюсь, что он имел в виду только себя... будет иметь пять тысяч в год. Сторонники Бэза, видимо, – истые филантропы.

– Послушай, папа! Ты не понимаешь сенатора Уиндрипа. Конечно, кое в чем он демагог... много кричит о том, как он повысит подоходный налог и захватит банки, но он этого не сделает, конечно... это только приманка для тараканов.

А что он сделает – и, может быть, только он и способен сделать это, – он защитит нас от этих большевиков, которые рады были бы сунуть всех нас, едущих на пикник, и вообще всех порядочных, чистоплотных людей, привыкших жить каждый в своей комнате, в общественные спальни и заставить нас варить щи на примусе, поставленном на кровать! Да, да! А может быть, и вовсе «ликвидировать» нас! Да, сэр, Берзелиос Уиндрип – вполне подходящий парень, чтобы расправиться с этими подлыми, трусливыми еврейскими шпионами, которые корчат из себя американских либералов!

«Это лицо – лицо моего разумного сына Филиппа, но голос принадлежит антисемиту Юлиусу Штрейхеру», – вздохнул Дормэс.

Для пикника выбрали площадку среди серых, поросших лишайником скал, откуда виднелись березовая роща на горе Террор и ферма двоюродного брата Дормэса Генри Видера, солидного, молчаливого вермонтца добрых, старых времен. За отдаленным горным ущельем матово поблескивало озеро Чамплейн, а за ним высилась громада Эдирондакских гор.

Дэви Гринхилл со своим любимцем Баком Титусом боролись на жесткой луговой траве. Филипп и доктор Фаулер Гринхилл, зять Дормэса (Фил в свои тридцать два года – тучный и наполовину облысевший; Фаулер – с непокорной ярко-рыжей шевелюрой и такими же рыжими усами), обсуждали достоинства автожира. Дормэс лежал, прислонившись головой к скале, надвинув на глаза шляпу и глядя вниз на райскую красоту долины Бьюла; он не мог бы поручиться, но ему казалось, что он видит сияющего ангела, летящего над долиной. Женщины – Эмма, Мэри Гринхилл, Сисси, жена Филиппа и Лоринда Пайк – раскладывали провизию: бобы с хрустящей соленой свиной, жареных цыплят, картофель, печенье к чаю, желе из диких яблок, салат, пирог с изюмом – на красной с белым скатерти, постеленной на ровной скале.

Если бы не стоявшие тут же автомобили, можно было бы вообразить Новую Англию 1885 года: туго зашнурованных женщин в плоских шляпках и закрытых платьях с турнюрами, мужчин в твердых соломенных шляпах с развевающимися лентами, с бакенбардами, – борода Дормэса не была бы подстрижена и развевалась бы, как свадебная вуаль. Когда доктор Гринхилл привел еще и кузена Генри Видера, рослого, но очень застенчивого фермера дофордовских времен, в опрятном полинялом комбинезоне, то время словно стало «непродажным», устойчивым, безмятежно ясным.

И от беседы веяло умиротворяющей обыденностью, приятной скукой времен королевы Виктории. Как бы ни тревожился Дормэс по поводу настоящего момента, как бы легкомысленно ни мечтала Сисси о любезных ее сердцу Джулиэне Фоке и Мэлкоме Тэзброу, здесь не было ничего современного и нервного, ничего, что отдавало бы Фрейдом, Адлером, Марксом, Бертраном Расселом или другими кумирами 1930 годов. Все слушали, как матушка Эмма болтала с Мэри и Мериллой о том, что ее розы повредило заморозками, а новые молодые клены обгрызла полевая мышь, и как трудно добиться, чтобы Шэд Ледью приносил достаточно дров для камина, и как жадно поглощает Шэд за завтраком у Джессэпов свиные отбивные с жареным картофелем и пирог.

И потом – красоты природы! Женщины восхищались расстилавшимся перед ними видом, как влюбленные, проводящие медовый месяц у Ниагарского водопада.

Дэвид и Бак Титус играли теперь в корабль на скале, которая служила им мостиком; Дэвид был капитаном Попи, а Бак – боцманом; и даже доктор Гринхилл – неутомимый воитель, постоянно раздражающий окружное управление здравоохранения своими докладами о неряшливом и грязном состоянии приюта для бедных фермеров и о зловонии в окружной тюрьме, – размяк на солнышке и с величайшим вниманием следил за злополучным маленьким муравьем, бегавшим взад и вперед по веточке. Его жена Мэри, любительница игры в гольф, участница теннисных состязаний, организатор веселых, не слишком хмельных вечеринок с коктейлями в сельском клубе, одетая в модный коричневый костюм с зеленым шарфиком, по-видимому, охотно вернулась на время в уютную домашнюю атмосферу, созданную ее матерью, и с величайшей серьезностью обсуждала способ приготовления сэндвичей с сельдереем и рокфорским сыром на поджаренных бисквитах. Она снова была красивой «старшей дочерью Джессапа» в белом доме с мансардой.

И Фулиш, лежавший на спине, бессмысленно задрал вверх все четыре лапы, был самым идиллически старомодным из всех.

Разговор ненадолго принял серьезный оборот, лишь когда Бак Титус проворчал, обращаясь к Дормэсу:

– В наши дни появилось множество мессий, и каждый так и норовит схватить тебя за горло... Бэз Уиндрип, и епископ Прэнг, и отец Кофлин, и доктор Таунсенд (хотя он, кажется, вернулся в Назарет), и Эптон Синклер, и преподобный Фрэнк Бухман, и Бернард Макфадден, и Уильям Рэндольф Херст, и губернатор Толмедж, и Флойд Олсон, и... Знаете, я уверен, что самый лучший мессия из всех – это негр, отец Дивайн. Он не обещает кормить обездоленных в течение десяти лет – вместе со спасением он сразу раздает жареные куриные ножки и шейки. Как насчет того, чтобы сделать его президентом?

Внезапно неизвестно откуда появился Джулиэн Фок. Этот молодой человек, первокурсник Амхерстского университета, внук епископального пастора, после смерти своих родителей живший вместе со своим дедом, был в глазах Дормэса самым сносным из всех ухаживающих за Сисси молодых людей, – светловолосый, крепкий, с приятным узким лицом и пронизательными глазами. Он называл Дормэса «сэр» и в противоположность большинству юношей Форта, помешанных на радио и автомобилях, читал книги, по собственному желанию читал Томаса Вулфа, Уильяма Роллинса, Джона Стрэчи, Стюарта Чэйса и Ортегу. Кого предпочитала Сисси, его или Мэлкома Тэзброу, отец не знал. Мэлком был выше и шире Джулиэна и ездил на собственном лимузине, Джулиэн же мог только брать на время у деда его старый, дешевый автомобиль.

Сисси и Джулиэн добродушно пререкались по поводу умения Алисы Эйлот играть в триктрак, а Фулиш почесывался на солнцепеке.

Но Дормэс был настроен далеко не идиллически. Он был встревожен, он многое знал. В то время как все шутили: «Когда же Папа будет выступать по радио?» и «Что он будет делать: исполнять песенки или возвещать о хоккее?», – Дормэс настраивал взятый с собой ненадежный приемник. Он думал, что окажется в приятной атмосфере тихого семейного уюта, так как поймал программу из старинных песен, и вся компания, включая кузена Генри Видера, который питал тайное пристрастие к бродячим скрипачам, народным танцам и комнатным органчикам, тихонько подпевала «Веселого трубадура», «Девушку из Афин» и «Милую Нелли Грэй». Но когда диктор сообщил, что песенки исполняются по заказу фирмы «Тойли-Ойли, Натуральное домашнее слабительное» и что исполнители – секстет молодых людей с ужасным названием «Смягчители», Дормэс резко выключил радио.

– Что случилось, папа? – закричала Сисси.

– «Смягчители»!! Боже мой, эта страна заслуживает того, что ей вскоре предстоит! – огрызнулся Дормэс. – Может быть, нам действительно нужен такой Бэз Уиндрип.

Наступил час (его следовало бы возвестить соборными колоколами) еженедельной речи

епископа Пола Питера Прэнга.

Этот голос, исходивший из душного, пропахшего шерстяными священническими одеждами кабинета в Персеполисе (Индиана), достигал отдаленнейших звезд; он облетал весь мир со скоростью 186 тысяч миль в секунду; он с шумом врывается в кабину китобойного судна в темном полярном море; в контору, отделанную дубовой панелью, похищенной из Ноттингэмширского замка, которая находилась на шестьдесят седьмом этаже здания на Уолл-стрите; в помещение министерства иностранных дел в Токио; в скалистую ложбину, осененную белыми березами на горе Террор, в Вермонте.

Епископ Прэнг говорил, как обычно, – с торжественной доброжелательностью, с мужественной силой, которые придавали его личности, волшебной возникавшей перед всеми на невидимом воздушном пути, одновременно и властность и обаяние; и каковы бы ни были его намерения, слова его были ангельские:

– Друзья мои, радиослушатели, мне удастся говорить с вами еще только шесть раз до съездов, которые решат судьбу нашего растерявшегося народа; наступило время действовать, да, действовать! Довольно слов! Разрешите мне напомнить вам некоторые отдельные фразы из шестой главы пророка Иеремии, которые приобретают пророческий смысл в этот час отчаянного кризиса, наступившего в Америке:

«Собирайтесь, дети Вениаминовы, и бегите из сердца Иерусалима... Готовьте против нее войну... вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется к вечеру, уже ложится тень вечера. Встаньте! Пойдем ночью и разорим ее чертоги... Я преисполнен гнева господня; не могу более терпеть; изолью его на детей на улице и на собрание юношей; взяты будут муж с женою, и возмужалый вместе с престарелым... Я простру руку мою на жителей земли сей, говорит господь. Ибо все, от малого до большого, предались корыстолюбию, и от пророка до священника все поступают коварно... говоря: «Мир! Мир!», – хотя и нет мира».

Так сказано в библии о старом времени... Но это сказано и об Америке 1936 года!

У нас нет мира! Прошло уже больше года с тех пор, как «Лига забытых людей» предупреждала политических деятелей и все правительство, что нам до смерти надоело положение обездоленных и что, наконец, нас больше пятидесяти миллионов; что мы не хнычущая толпа: мы обладаем волей, голосом и правом голосовать, чтобы заставить с собой считаться! Мы достаточно ясно и определенно заявили всем политическим деятелям, что мы требуем – да, да, мы именно требуем – определенных мероприятий и что мы не потерпим никакого отлагательства. Снова и снова требовали мы, чтобы как право распоряжаться кредитами, так и право выпускать деньги было безоговорочно отнято у частных банков; чтобы солдаты не только получили пенсию, которую они заработали себе кровью и страданиями в 1917 и 1918 годах, но чтобы установленная сумма была теперь удвоена; чтобы все чрезмерные доходы были строго сокращены и право наследства ограничено, – дабы обеспечить содержание наследников только в юном и престарелом возрасте; чтобы рабочие и фермерские союзы были не только признаны как орудие для совместного улаживания недоразумений, но чтобы они были превращены, наподобие синдикатов в Италии, в официальные органы правительства, представляющие трудящихся; и чтобы международный еврейский капитал, и международный еврейский коммунизм, и анархизм, и атеизм были – со всей суровой торжественностью и строгой непреклонностью, на какие способен наш великий народ, – лишены возможности действовать. Те из вас, кто слушал мои прежние выступления, знают, что я, – вернее, что «Лига забытых людей», – не имеет ничего против отдельных евреев; мы гордимся тем, что в числе наших директоров имеются раввины, но подрывные международные организации, которые, к несчастью, в большинстве своем состоят из евреев, должны быть вытравлены каленым железом и стерты с лица земли.

Эти требования мы предъявили, – и как долго, о господи, как долго все эти политические деятели и ухмыляющиеся крупные капиталисты делали вид, что они прислушиваются к нашему голосу, что они повинуются! «Да, да, господа из «Лиги забытых людей», мы понимаем, дайте только нам время!» Больше мы не дадим им времени!!! Их время кончилось, как и вся их нечестивая власть!

Консервативные сенаторы, Торговая палата Соединенных Штатов, крупнейшие банкиры, короли стальной, автомобильной, электрической и угольной промышленности – все они подобны королям из династии Бурбонов, о которых было сказано, что «они ничего не забыли и ничему не научились».

Но ведь те умерли на гильотине!

Может быть, мы сумеем быть милостивее к нашим Бурбонам. Может быть – может быть, – нам удастся спасти их от гильотины, от виселицы, от расстрела. Может быть, мы при нашем новом режиме, при нашем «новом курсе», который действительно будет новым курсом, а не наглым экспериментом, – может быть, мы ограничимся тем, что заставим этих важных финансистов и политиков посидеть на жестких стульях, в мрачных конторах, работая бесконечное число часов пером или стуча на пишущей машинке, как это делали для них в течение стольких лет многочисленные рабы в белых воротничках.

Теперь настал, как говорит сенатор Берзелиос Уиндрип, «час атаки». Мы перестали бомбардировать невнимательные уши этих лицемеров. Мы выходим из окопов, чтобы броситься в атаку. Наконец, после долгих месяцев совместных совещаний руководители «Лиги забытых людей» и я сам заявляем, что на предстоящем съезде демократической партии мы без малейших колебаний... Слушайте! Слушайте! У нас на глазах совершается история! – закричал Дормэс своей невнемлющей семье.

– ...отдадим миллионы голосов членов Лиги, для того чтобы провести кандидатуру сенатора Берзелиоса Уиндрипа... на пост президента от демократической партии, что означает, другими словами, что он будет избран и что мы, члены Лиги, выберем его президентом Соединенных Штатов!

Его программа и программа Лиги не во всех деталях совпадают. Но он принял на себя обязательство считаться с нашими указаниями и советами, и, во всяком случае, до избрания мы будем безоговорочно поддерживать его – своими деньгами, своей преданностью, своими голосами... и своими молитвами. И пусть господь бог ведет его и нас через пустыню несправедливой политики и грязного, алчного капитала к сверкающему великолепию Земли Обетованной! Да благословит вас бог!

Миссис Джессэп весело заметила:

– Знаешь, Дормэс, этот епископ-совсем не фашист; он настоящий красный радикал. Но неужели это его заявление может иметь какое-нибудь значение?

«Ну и ну!» – думал Дормэс. Он прожил с Эммой тридцать четыре года, и не чаще двух раз в год на него находило желание убить ее. Он мягко сказал:

– Оно не означает ничего особенного, кроме того, что через несколько лет под видом заботы обо всех нас диктатура Бэза Уиндрипа будет регламентировать все решительно, начиная с того, где нам молиться, и кончая тем, какие детективные романы нам читать.

– Безусловно, так оно и будет! Иногда мне хочется стать коммунистом! Забавно, что именно мне, потому что тупоголовых голландских обитателей долины реки Гудзон! – воскликнул Джулиан Фок.

– Замечательная идея! Из огня Уиндрипа и Гитлера да в полымя нью-йоркского «Дейли уоркер», и Сталина, и пулеметов. И еще пятилетнего плана – мне бы, наверно, было сказано, что по решению комиссара каждая из моих кобыл должна давать шесть жеребят в год! – сердито проворчал Бак Титус; а доктор Фаулер Гринхилл принялся их вышучивать:

– Ах, папа, и вы тоже, Джулиэн, юный параноик, вы же просто помешались! Диктатура?! Приходите лучше ко мне на прием и разрешите мне освидетельствовать ваши головы! Америка – это единственная свободная страна на земле! И, кроме того, наша страна слишком огромна для переворота! Нет, нет! Здесь, у нас, это невозможно!

VI

Я бы скорее стал последователем какой-нибудь безумной

анархистки, вроде Эммы Гольдман, если благодаря ей в скромной хижине простолоудина прибавилось бы маисовых лепешек, бобов и картофеля, – чем какого-нибудь государственного деятеля стоимостью в двадцать четыре карата, вооруженного университетским образованием и правительственными связями и добывающегося, чтобы мы производили побольше лимузинов. Можете называть меня социалистом или другим бранным словом, только бы вы держали другую ручку пилы и помогали мне перепиливать огромные бревна бедности и нетерпимости.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

Вся семья – и жена, и кухарка миссис Кэнди, и Сисси, и Мэри, в замужестве миссис Фаулер Гринхилл, – считала, что здоровье Дормэса ненадежно, что всякая простуда неминуемо перейдет у него в воспаление легких, что ему полагается носить калоши, есть кашку, поменьше курить и никогда не переутомляться. Его это крайне возмущало; пусть после тяжелого рабочего дня он и шатался от усталости, но стоило ему поспать ночь – и он снова был полон энергии, как динамо-машина, и мог «сделать номер» гораздо быстрее, чем самый живой и молодой репортер.

Он скрывал от них свои развлечения, прятался, как маленький мальчик от родителей; он бессовестно лгал, преуменьшая количество выкуренных папирос; у него была припрятана бутылка бургундского, из которой он регулярно делал глоток – только один глоток, – перед тем как лечь в постель; и, если он обещал рано лечь спать, то гасил у себя свет и ждал до тех пор, пока у него не оставалось никаких сомнений, что Эмма уснула, и затем зажигал снова свет, с удовольствием читал до двух часов, свернувшись под красивыми шерстяными одеялами, сотканными на ручном станке на горе Террор; его ноги трепетно подергивались, как у спящего сеттера, всякий раз, когда главный инспектор уголовного розыска, один, без оружия, входил в притон фальшивомонетчиков. Раз в месяц он прокрадывался в кухню часа в три ночи и варил себе кофе, а затем все сам мыл, чтобы ни Эмма, ни миссис Кэнди ничего не узнали. Он думал, что им ни за что не догадаться!

Эти маленькие проделки доставляли ему живейшую радость; в остальном его жизнь была посвящена служению обществу, попыткам заставить Шэда Ледью подравнивать как следует цветочные клумбы, лихорадочному писанию передовиц, которые волновали три процента его читателей в течение нескольких часов – от утреннего завтрака до полудня – и к шести часам уже бесследно забывались.

Иногда, когда Эмма в воскресенье утром приходила к нему поваляться в кровати и ласково обнимала его худые плечи, ей становилось грустно от сознания, что он стареет и слабеет. Его плечи, думала Эмма, стали жалкими, как плечи хрупкого ребенка; Дормэс не догадывался об этих ее печальных мыслях.

Даже перед самым моментом отправления газетного материала в типографию, даже когда Шэд Ледью исчезал на два часа из дому, а потом представлял счет на два доллара за точку газонокосилки, вместо того чтобы самому ее наточить; даже когда Сисси со своей компанией играла внизу на рояле до двух часов ночи, между тем как у него не было ни малейшего желания бодрствовать до утра, Дормэс никогда не бывал раздражительным, исключая лишь промежуток между утренним вставанием и первой живительной чашкой кофе.

Умудренная опытом Эмма бывала очень довольна, когда он набрасывался на всех до завтрака. Это означало, что он в бодром настроении и полон интересных мыслей.

После того как епископ Прэнг преподнес корону сенатору Уиндрипу, по мере того как приближалось время выборов кандидата в президенты, Эмма все больше тревожилась. Дормэс молчаливо ждал утреннего завтрака, глаза у него были воспаленные, словно его измучили тревога и бессонница. Он теперь никогда не капризничал. Она охотно послушала бы, как он ворчит:

– Что эта идиотка, миссис Кэнди, соберется когда-нибудь подать кофе? Сидит, наверно, читает Ветхий завет! И, может быть, дорогая моя, ты соизволишь сказать мне, почему это Сисси никогда не встает к завтраку, даже в тех редких случаях, когда она легла не позже часа ночи? Да, посмотри только на эту дорожку! Она вся покрыта увядшими цветами. Негодяй Шэд, наверное, не подметал ее уже с неделю. Клянусь, я выставлю его, и сегодня же!

Эмма была бы теперь счастлива услышать эти знакомые зверские звуки и прокудахтать в ответ:

– Ах, это действительно ужасно! Я пойду скажу миссис Кэнди, чтобы она поторопилась с кофе!

Но он сидел молчаливый, бледный и развешивал номер «Дейли Информер» с таким видом, как будто боялся увидеть новости, поступившие в газету после того, как он в десять часов ушел из редакции.

Когда Дормэс в 1920 году выступил за признание России, Форт Бьюла был обеспокоен подозрением, что он становится отъявленным коммунистом.

Сам-то он прекрасно понимал свою позицию, знал, что весьма далек от левого крыла радикалов, и в лучшем случае он умеренный, вялый и, пожалуй, немного сентиментальный либерал, которому противны напыщенность и тяжеловесный юмор общественных деятелей и тот зуд популярности, который заставляет прославленных проповедников, красноречивых педагогов, актеров-любителей, богатых женщин со склонностью к общественной деятельности или к спорту и вообще богатых женщин кокетливо приходить к редакторам газет с фотографиями под мышкой и с притворной улыбкой лицемерного смирения на лице. Но всякое проявление жестокости, и нетерпимости, и презрения счастливого к несчастному рождало в нем не только отвращение, но и горячую ненависть.

Он смутил и встревожил всех других редакторов в северной части Новой Англии, когда заявил о невиновности Тома Муни, когда усомнился в виновности Сакко и Ванцетти, когда осудил наше вторжение на Гаити и в Никарагуа, когда выступил за повышение подоходного налога, когда писал статьи в благожелательном тоне о социалистическом кандидате Нормане Томасе во время кампании 1932 года (сам он, говоря по правде, голосовал потом за Франклина Рузвельта), и когда, наконец, поднял шум – правда, лишь в местном масштабе и без каких-либо последствий – по поводу рабских условий труда фермеров в Южных штатах и сборщиков фруктов в Калифорнии. Он даже высказал в одной передовице мысль, что когда в России все наладится и ее фабрики, и железные дороги, и гигантские фермы будут действительно хорошо работать, ну, скажем, в 1945 году, то она может, пожалуй, стать самой привлекательной страной в мире для (мифического!) среднего человека. Он действительно влопался тогда с этой передовицей, написанной после второго завтрака, за которым его довело до белого каления тупое кваканье Фрэнка Тэзброу и Р.К. Краули. После этой статьи он прослыл большевиком, и в течение двух дней его газета потеряла сто пятьдесят читателей из пяти тысяч.

И при всем том он был так же далек от большевиков, как Герберт Гувер.

Он был – и прекрасно понимал это – провинциальным буржуазным интеллигентом. В России, полагал он, запрещено все то, что делает его работу приемлемой: уединение, право мыслить и критиковать, кого ему заблагорассудится. Подумать только, что его убеждения могут регулировать крестьяне в форменной одежде! Нет, лучше уж жить в хижине на Аляске, питаясь бобами, имея сотню книг и получая раз в три года новую пару штанов!

Однажды, во время автомобильной поездки с Эммой, он заехал в летний лагерь коммунистов. Большинство из них были евреи из городского колледжа или аккуратные дантисты в очках, с чисто выбритыми лицами и маленькими усиками. Они горячо приветствовали деревенских жителей из Новой Англии и были рады возможности объяснить им марксистское евангелие (в толковании его они сильно расходились). В некрашеной столовой, поглощая макароны с сыром, они мечтали о черном хлебе Москвы.

Впоследствии Дормэс с усмешкой вспоминал, до чего же они похожи на обитателей

лагеря Христианской Ассоциации Молодых Людей, расположенного через двадцать миль по той же дороге, – такие же пуритане, такие же неудачливые проповедники и так же увлекаются глупыми играми с резиновым мячом. Только раз он проявил опасную активность: он поддержал забастовку рабочих каменоломни Фрэнсиса Тэзброу. Люди, которых Дормэс знал в течение многих лет, – солидные граждане, вроде инспектора школ Эмиля Штаубмейера и Чарли Бетса, владельца мебельного склада, – поговаривали о том, чтобы «выставить его вон из города». Тэзброу ругал его повсюду даже теперь, восемь лет спустя. Забастовка провалилась, и главарь забастовщиков коммунист Карл Паскаль был арестован за «подстрекательство к насилию». Когда Паскаль, отличный механик, вышел из тюрьмы, он нанялся в небольшой гараж в Форте Бьюла, к болтливому воинственному польскому социалисту Джону Полликопу, который благоволил к нему.

Паскаль и Полликоп целыми днями шумно нападали друг на друга – битва между социал-демократией и коммунизмом не прекращалась, – и Дормэс частенько заезжал к ним в гараж, чтобы еще больше их раззадорить. И вот с этим не могли примириться ни Тэзброу, ни Штаубмейер, ни банкир Краули, ни адвокат Китгерик.

Не будь Дормэс потомком трех поколений добропорядочных вермонтских налогоплательщиков, быть бы ему теперь неимущим бродячим типографом... И тогда его вряд ли тревожили бы так горести неимущих.

Консервативно настроенная Эмма сердилась:

Не возьму в толк, зачем ты дразнишь людей, делая вид, что тебе очень нравятся такие замусоленные механики, как этот Паскаль (я подозреваю даже, что ты втайне питаешь нежность к Шэду Ледью!), когда ты вполне мог бы встречаться с порядочными, зажиточными людьми, как, например, Фрэнк! И что только они думают о тебе! Они ведь не понимают, что ты совсем не социалист, а просто хороший, добросердечный, серьезный человек. Ох, надо бы поколотить тебя, Дормаус!..

Ему не нравилось, когда его звали Дормаусом^б.

Но это позволяла себе только Эмма и иногда, по ошибке, Бак Титус. Так что это было вполне терпимо.

VII

Когда меня насильно вытаскивают из кабинета и уводят от семейного очага на собрания, которые я ненавижу, я стараюсь сделать свою речь простой и ясной, как речь младенца Иисуса, обращенная к ученым в храме.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

В горах гремело, тучи заволакивали долину Бьюла, необычайная тьма покрывала все черным туманом, зарево молний вырывало из тьмы крутые склоны холмов, и тогда казалось, что это обломки скал, взлетевших на воздух.

В последних числах июля Дормэс проснулся однажды утром при таком неистовстве небес.

Как приговоренный к смерти вскакивает с мыслью: «Сегодня меня повесят!», – так Дормэс в смятении сел на постели, вспомнив, что сегодня сенатора Берзелиоса Уиндрипа изберут, вероятно, кандидатом на пост президента.

Съезд республиканской партии уже закончился избранием Уолта Тробрайда. На съезде демократической партии в Кливленде – при большой затрате джина, клубничной содовой и пота – уже заслушали доклады комиссий, уже сказали подходящие слова, обращаясь к государственному флагу, и с разрешения председателя Джима Фарлея заверили

^б Игра слов: Дормэс (Doremus) – имя; Дормаус (dormouse) – соня, животное из породы грызунов.

ть Джефферсона, что он останется доволен тем, что произойдет в Кливленде на этой неделе. Перешли к выборам кандидата. Сенатора Уиндрипа предложил полковник Дьюи Хэйк, член Конгресса и влиятельная персона в Американском легионе. Кандидатуры таких любимцев некоторых штатов, как Эл Смит, Картер Глэсс, Уильям Макэду и Корделл Хэлл, встречались одобрительными аплодисментами и тут же снимались. Теперь, к двенадцатой баллотировке, осталось четыре соперника, и они шли по большинству голосов: сенатор Уиндрип, президент Франклин Д. Рузвельт, сенатор Робинзон из штата Арканзас и секретарь департамента труда Фрэнсис Перкинс.

На съезде было немало драматических моментов. Дормэс Джессэп ясно представлял их себе по истерическим радиопередачам и бюллетеням «Ассошиэйтед пресс», – горячие и еще дымящиеся, они падали на его стол в редакции «Информера».

В честь сенатора Робинзона продефилировал духовой оркестр Арканзасского университета – капельмейстер ехал впереди в старинном, запряженном лошадей экипаже, оклеенном громадными плакатами: «Защищайте конституцию!», «Робинзон – за оздоровление».

Имя мисс Перкинс вызвало овацию, продолжавшуюся два часа, – при этом делегаты маршировали со знаменами своих штатов; а имя президента Рузвельта вызвало овацию на целых три часа, причем чествование носило весьма сердечный и дружественный характер, – делегаты знали, что мистеру Рузвельту и мисс Перкинс несвойственны мишурный блеск и грубое шутовство и в силу этого они не могут иметь успеха в сей критический момент всенародной истерии, когда избирателям требуется такой цирковой трюкач, как «бунтарь» сенатор Уиндрип.

Демонстрация в честь Уиндрипа, заранее научно разработанная Ли Сарасоном, его секретарем, уполномоченным по вопросам рекламы и доверенным философом, ни в чем не уступала остальным. Сарасон достаточно внимательно читал Честертона и поэтому знал, что только одна вещь больше самых больших вещей, – это вещь настолько маленькая, что ее нетрудно увидеть и понять.

Выдвинув кандидатуру Бэза, полковник Дьюи Хэйк закончил речь восклицанием: «Еще два слова! Слушайте! У сенатора Уиндрипа есть к собравшимся особая просьба: чтобы на этом историческом собрании вы не теряли времени на его чествование. Никакого чествования! Мы, члены «Лиги забытых людей», не нуждаемся в пустых приветствиях и почестях; чего мы хотим – так это внимательно и всерьез рассмотреть вопрос о безотлагательных нуждах шестидесяти процентов населения Соединенных Штатов. Никаких оваций! И пусть провидение наставит нас, когда мы принимаем самое серьезное решение в нашей жизни!»

Когда он кончил, по центральному проходу двинулась процессия. Но это был не парад тысяч. Шел лишь тридцать один человек, и демонстранты несли только три флага и два больших плаката.

Во главе процессии шли два ветерана Гражданской войны – в старых синих мундирах северян, а между ними, держа обоих под руку, представитель южан, в сером. Все трое – тщедушные старички, которым перевалило за девяносто и которые шли, опираясь друг на друга и робко оглядываясь, в надежде, что никто не станет над ними смеяться.

Представитель южан нес пробитое шрапнелью полковое знамя Виргинии, а один из северян высоко подымал потрепанный флаг Первой Миннесоты.

Почтительные аплодисменты, которыми съезд наградил манифестантов других кандидатов, были подобны звуку дождевых капель в сравнении с бурей, приветствовавшей этих трех трясущихся, еле переставляющих ноги стариков.

На трибуне оркестр чуть слышно играл песни времен войны – «Дикси» и «Когда Джонни вернется домой», а посреди зала, стоя на стуле, как простой член делегации своего штата, Бэз Уиндрип кланялся, кланялся, кланялся и пытался улыбнуться, но слезы выступили у него на глазах, и он беспомощно заплакал, и зал заплакал вместе с ним.

За время стариками следовало двенадцать легионеров, раненных в 1918 году, – кто

спотыкался на деревянных ногах, кто подтягивался на костылях; один безногий – на тележке, но с виду молодежавый и веселый; другой – с черной маской на том, что было когда-то лицом. У одного легионера был огромный флаг, у другого – плакат: «Наши умирающие с голоду семьи должны получить пенсию. Мы требуем только справедливости. Мы хотим в президенты Бэза».

Во главе всех шел нераненый, стройный, бравый и решительный генерал-майор Герман Мейнеке. Старые журналисты не могли припомнить случая, когда бы находящийся на действительной службе военный публично выступал как политический агитатор. Представители печати перешептывались: «Этому генералу здорово влетит, если Бэз не будет избран, но если его выберут, он сделает его, вероятно, герцогом Хобокен».

Вслед за солдатами шли десять мужчин и женщин; сквозь дыры их башмаков просвечивали голые пальцы; облекавшие их жалкие лохмотья утратили от многократной стирки всякое подобие цвета. С ними плелись четверо бледных ребятишек с гнилыми зубами; они несли плакат, гласивший: «Мы живем на пособие. Мы хотим снова стать людьми. Мы хотим Бэза!»

За ними, через интервал в двадцать футов, шел высокий человек – один. Делегаты всячески вытягивали шеи, чтобы рассмотреть, кто это следует за жертвами безработицы, и, увидав кто, они все повскакали с мест, заревели, захлопали, потому что одинокий человек был... – Очень немногие из толпы видели его в лицо, но всем сотни раз попадалось его изображение в газетах; то он был у себя в кабинете, среди беспорядочного нагромождения книг, то на совещании с президентом Рузвельтом и секретарем Икесом, то пожимал руку сенатору Уиндрипу, то стоял перед микрофоном, и рот его зиял, словно черная западня, а рука в истерическом порыве простиралась вперед; все столько раз слышали его голос по радио, что знали его не хуже, чем голоса своих близких; в человеке, входившем через широкий главный вход и замыкавшем процессию в честь Уиндрипа, все присутствующие узнали апостола «Лиги забытых людей» – епископа Пола Питера Прэнга.

После этого съезд четыре часа без передышки чествовал Бэза Уиндрипа.

В подробных описаниях съезда, разосланных газетным бюро вслед за первыми лихорадочными бюллетенями, один энергичный бирмингемский репортер очень убедительно доказывал, что боевое знамя южан, которое нес ветеран конфедератов, взяли напрокат в Ричмондском музее, а знамя северян – у известного мясника в Чикаго, внука генерала Гражданской войны.

Кроме Бэза Уиндрипа, Ли Сарасон никому не сказал, что оба флага были изготовлены на Гестер-стрит в Нью-Йорке в 1929 году для постановки патриотической драмы «Всадник Морган» и что их достали с театрального склада.

До начала всеобщего ликования, едва демонстрация приблизилась к трибуне, ее приветствовала миссис Аделаида Тарр-Гиммич – прославленная писательница, лектор и композитор, неизвестно откуда и как очутившаяся на трибуне и исполнившая на мотив «Янки Дудль» песню собственного сочинения:

Наш Бэз поехал в Вашингтон
На лошади – в поход:
Капиталистов выгнать вон,
Чтоб правил там народ.

Хор

Славься! Славься! Славься, Бэз,
Заботливый наш босс!

Не голосует за него
Лишь самый жалкий пес.

Людей забытых Лига, нет,
Забыть себя не даст:
В столице скажем мы:
«Привет! Какая вонь у вас!»

Еще до полуночи эту веселую боевую песенку исполнили по радио девятнадцать различных примадонн, в первые же сорок восемь часов ее подхватили шестнадцать миллионов менее вокально одаренных американцев, а в развернувшейся затем кампании ее распевали не меньше девяноста миллионов друзей Уиндрипа и тех, кто над ним смеялся.

На протяжении всей предвыборной кампании Бэз Уиндрип беспрерывно развлекался, используя игру слов в песенке, которую о нем сочинили⁷, – Уолту Тробрюбриджу не удастся попасть в Вашингтон и там отмыться...

Но Ли Сарасон прекрасно понимал, что в дополнение к этому комическому шедевру необходим гимн, более возвышенный по мысли и по духу, приличествующий серьезности американцев, выступивших в крестовый поход.

Уже много позднее, когда чествование Уиндрипа на съезде закончилось и делегаты снова занялись своим основным делом – принялись снова спасать нацию и перегрызать друг другу горло, – Сарасон заставил миссис Гиммич выступить и пропеть вдохновенный гимн, слова которого он сочинил сам в сотрудничестве с одним замечательным хирургом, неким доктором Гектором Макгоблином.

Этот доктор Макгоблин, вскоре ставший очень важной персоной, был таким же специалистом по части медицинской журналистики, рецензирования книг по вопросам воспитания и психоанализа, составления комментариев к философии Гегеля, профессора Гюнтера, Хаустона Стюарта Чемберлена и Лотропа Стоддарда, а также исполнения на скрипке Моцарта, полупрофессионального бокса и написания эпических поэм, каким он был в области практической медицины.

Доктор Макгоблин! Что за человек!

Ода Сарасона – Макгоблина, озаглавленная «Старый мушкет достаньте», стала для всей банды Уиндрипа тем же, чем была «Джиованецца» для итальянских фашистов, «Хорст Вессель» – для нацистов. Пока шел съезд, миллионы слушали по радио замечательное, густое, как смола, контральто миссис Аделаиды Тарр-Гиммич, распевавшей «Старый мушкет достаньте»:

О боже! В пыли наше знамя –
Нам не время беспечно спать!
Тени прошлого нас призывают:
Ленивые грешники, встать!

О дух Линкольна, веди нас!
К победе в дыму и огне
За право и за справедливость.
Пробьемся мы силой,
Как это было
В Великой Гражданской войне.

Хор

⁷ Игра слов: to go to wash значит и «поехать в Вашингтон» и «пойти мыться».

Вы видите – юноша пылкий
И девушка с огненным взором
В бой нас ведут.
Танки идут.
В небе гудят моторы.
Старый мушкет достаньте!
Прежний огонь в сердцах.
Рушится мир прогневший,
Скоро наступит крах.
Америка, рвись же к победе,
Врагов повергая в прах!

«Великолепный балаган! Непревзойденный», – думал Дормэс, просматривая сообщения «Ассошиэйтед пресс» и слушая радио, которое он временно установил в своей конторе. А значительно позднее он думал: «Когда Бэз приступит к делу, не будет парадов раненых солдат. Фашисты понимают, что это окажет дурной психологический эффект. Все эти бедняги будут запрятаны в соответствующие заведения, а на сцену выйдут здоровые молодые люди в форме – скот для убоя».

Затихшая было гроза снова разразилась с угрожающей силой.

Весь день после полудня съезд занимался баллотировкой кандидата в президенты без существенных изменений в соотношении голосов. Около шести часов представитель мисс Перкинс передал ее голоса Рузвельту, который догнал тогда сенатора Уиндрипа. Было похоже, что они будут бороться всю ночь, и часов в десять вечера Дормэс, крайне усталый, ушел из редакции. Его не привлекала в этот вечер мирная, чересчур женственная атмосфера, царившая у него дома, и он заехал к своему другу отцу Пирфайксу. У него он застал в достаточной мере мужскую компанию. Там был преподобный мистер Фок. Смуглый, сильный молодой Пирфайкс и седовласый старик Фок часто работали вместе, любили друг друга и сходились во взглядах на преимущества безбрачия духовенства и почти на все остальные догматы, исключая догмат о верховной власти римского папы. С ними были Бак Титус, Луи Ротенстерн, доктор Фаулер Гринхилл и банкир Краули, финансист, весьма поощрявший вольные интеллектуальные беседы, что не мешало ему в присутственные часы отказывать в кредите фермерам и лавочникам, находившимся в отчаянном положении.

Был там и Фулиш: собака почуяла в это грозное утро тревогу своего хозяина, пошла за ним в редакцию и в течение всего дня рычала на Хэйка, Сарасона и миссис Гиммич, выступавших по радио, и была, по-видимому, глубоко убеждена в том, что ей следует изжевать все эти тонкие листки с отчетом о съезде.

Гораздо больше собственной холодной гостиной, с ее белыми панелями и портретами покойных вермонтских знаменитостей, нравился Дормэсу небольшой кабинет отца Пирфайкса: в нем чувствовались церковность и отсутствие коммерческого духа, о которых свидетельствовали распятие, гипсовая статуэтка богородицы и кричаще красно-зеленая итальянская картина, изображавшая папу; и одновременно дубовое бюро с крышкой, стальной регистратор и сильно подержанная портативная пишущая машинка говорили о практичности отца Пирфайкса. Это была пещера благочестивого отшельника, но с кожаными стульями и великолепным коньяком.

Часы шли; все восемь (Фулишу дали в качестве напитка молоко) потягивали каждый свое и слушали радио; съезд баллотировал яростно и бесполезно, – этот съезд происходил на расстоянии шестисот миль от них, шестисот миль одетой туманом ночи, но каждое слово, каждый насмешливый возглас доходили до кабинета священнослужителя в ту же секунду, когда их слышали в зале в Кливленде.

Экономка отца Пирфайкса (к великой досаде местных протестантов, любивших

посплетничать, этой женщине было шестьдесят пять лет, а ее хозяину – тридцать девять) вошла с яичницей и холодным пивом.

– Когда моя дорогая жена была жива, она в полночь гнала меня спать, – вздохнул доктор Фок.

– Моя то же самое! – сказал Дормэс.

– И моя, а ведь она из Нью-Йорка, – заметил Луи Ротенстерн.

– Отец Пирфайкс и я – единственные два чудака здесь, ведущие разумный образ жизни, – хвастал Бак Титус. – Холостяки! Можем завалиться спать хоть в штанах, а то и вовсе не ложиться.

На что отец Пирфайкс пробормотал:

– Смешно, Бак, чем только человек не тешится... Вы – тем, что можете ложиться спать в штанах... а мистер Фок, доктор Гринхилл и я – тем, что в иные ночи, свободные от посещения больных, можем лечь в постель без штанов! Луи же... Но слушайте! Слушайте! Кажется, что-то дельное!

Полковник Дьюи Хэйк, предложивший кандидатуру Бэза, довел до всеобщего сведения, что скромность заставила сенатора Уиндрипа удалиться к себе в отель, но что перед уходом он оставил письмо, которое он, Хэйк, хотел бы огласить. И он действительно огласил его.

Уиндрип заявлял в письме, что он хочет изложить свою программу с предельной ясностью, если кто-нибудь не совсем уяснил ее.

В письме говорилось, что он целиком и полностью против банков, но за банкиров, исключая евреев-банкиров, которых не следовало бы и подпускать к финансам; что он подверг тщательному рассмотрению (но еще не уточнил окончательно) различные планы общего значительного повышения заработной платы и значительного снижения цен на все товары; что он на сто процентов за рабочих, но и на сто процентов против забастовок; за то, чтобы Соединенные Штаты так вооружились и так овладели производством кофе, сахара, духов, шерстяных тканей и никеля (вместо того чтобы ввозить их из-за границы), чтобы они могли бросить вызов всему миру, и что, наконец, если этот мир будет так дерзок, что, в свою очередь, бросит вызов Америке, то он, Бэз, не отказывается взять его в свои руки и навести в нем порядок. С каждой минутой назойливое бесстыдство радио казалось Дормэсу все более отвратительным, а между тем горные склоны спали, окутанные густой тьмой летней ночи; и Дормэс подумал о мазурке светляков, о ритмичном пении сверчков, подобном ритмическому вращению земли, о сладостных ветерках, уносивших зловоние сигар и пота, и пьяного дыхания, и жевательной резинки, которое, казалось, доносилось сюда со съезда на волнах эфира вместе с речами.

Было уже совсем светло, и отец Пирфайкс (не по сану разоблачившись – без сюртука и в домашних туфлях) только что принес поднос с луковым супом и куском сырого мяса для Фулиша, когда оппозиция Бэза окончательно сдалась, и в следующей же баллотировке сенатор Берзелиос Уиндрип был поспешно проведен кандидатом демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Дормэс, Бак Титус, Пирфайкс и Фок были в первый момент слишком удручены и поэтому молчали; то же происходило, по-видимому, и с псом Фулишем, потому что с момента, когда выключили радио, он лишь робко ударил несколько раз хвостом по полу.

Р.К. Краули возликовал:

– Что ж, я всю жизнь голосовал за республиканскую партию, но это такой человек, что... Ладно, буду голосовать за Уиндрипа!

Отец Пирфайкс колко заметил:

– А я с тех пор, как приехал из Канады и натурализовался, всегда голосовал за демократическую партию, но на сей раз я буду голосовать за кандидата республиканской партии. А вы, друзья?

Ротенстерн молчал. Ему не нравилось отношение Уиндрипа к евреям. Люди, которых он лучше всего знал, – разве они не американцы? Ведь Линкольн и для него – главное божество.

– Что до меня, – проворчал Бак, – то я, конечно, буду голосовать за Уолта Троубриджа.

– И я, – сказал Дормэс. – Хотя нет! Я не стану голосовать ни за того, ни за другого! У Троубриджа нет шансов на успех. Я думаю раз в жизни позволить себе роскошь ни с кем не связываться и голосовать за запрещение спиртных напитков, или за здоровое диетическое питание, или за что-нибудь еще, имеющее хоть какой-нибудь смысл!

Был уже восьмой час, когда Дормэс возвратился в это утро домой, и, как ни странно, Шэд Ледью, который должен был начинать работу в семь часов утра, был в семь уже на месте. Обычно он не покидал своей холостяцкой хижины в нижней части города раньше десяти-одиннадцати часов, но в это утро он явился вовремя и усердно колот щепу для растопки. («Ну да, – подумал Дормэс, – все понятно: такая работа в столь ранний час должна разбудить весь дом».) Шэд был высокий и неуклюжий парень; его рубаха промокла от пота, и, как всегда, ему не мешало бы побриться. Фулиш зарычал на него. Дормэс подозревал, что он иногда бьет Фулиша. Ему хотелось бы отдать дань уважения Шэду за его потную рубаху, честный труд и прочие суровые добродетели, но, даже будучи американским либералом и филантропом, Дормэс не всегда удерживался на высоте лонгфелловского «Деревенского кузнеца» плюс марксизм и иногда отступал от этой строгой позиции, допуская, что и среди представителей физического труда должен быть какой-то процент негодяев и обманщиков, которых, как известно, так безобразно много среди людей, имеющих свыше 3500 долларов годового дохода.

– А я сидел всю ночь и слушал радио, – промурлыкал Дормэс. – Знаете, что демократы выбрали сенатора Уиндрипа?

– Верно? – прорычал Шэд.

– Как же! Только что. За кого вы намерены голосовать?

– Я? Сейчас я расскажу вам, мистер Джессэп. Шэд встал в позу, опершись на топор. Иногда он умел быть любезным и снисходительным даже к этому маленькому человеку, ничего не смыслившему ни в охоте на енотов, ни в азартных играх.

– Я буду голосовать за Бэза Уиндрипа. Он обещал устроить так, что на долю каждого сразу же придется по четыре тысячи монет, и тогда я займусь разведением цыплят. О, я сумею заработать на цыплятах кучу денег! Я еще покажу кое-кому из этих, которые воображают, что они очень богаты!

– Но, Шэд, ведь у вас дело шло не особенно удачно, когда вы пробовали разводить цыплят здесь, у нас в сарае. Вы – хм! – вы, мне кажется, так плохо следили за ними, что зимой там замерзала вода, и они все погибли, если вы помните.

– Ах, те? Подумаешь! Черт с ними! Их было слишком мало. Я слишком высоко ценю свое время, чтобы возиться с какой-нибудь дюжиной-другой цыплят! Когда у меня их будет пять-шесть тысяч штук – дело другое, тогда я вам покажу! Будьте уверены! – И покровительственным тоном: – Бэз Уиндрип – о'кэй!

– Очень рад, что он пользуется вашим одобрением.

– А? – И Шэд нахмурился.

Но когда Дормэс медленно поднимался на заднее крыльцо, он слышал, как Шэд тихо и насмешливо проговорил ему вслед:

– О'кэй, хозяин!

VIII

Я отнюдь не претендую на чрезмерную образованность, разве только в смысле душевной чуткости и умения понять горести и тревоги всякого порядочного человека. Как бы то ни было, я прочел

всю библию, от корки до корки, как говорят на родине моей жены, в Арканзасе, не меньше одиннадцати раз; я прочел все юридические книги, когда-либо напечатанные; что же до современников, то я не думаю, чтобы я пропустил многое из великих творений Брюса Бартонна, Эдгара Геста, Артура Брисбейна, Элизабет Диллинг, Уолтера Питкина и Уильяма Д. Пелли.

Этого последнего я уважаю не только за его отличные охотничьи рассказы и за капитальный труд по исследованию загробной жизни, с очевидностью доказавший, что только слепые безумцы могут сомневаться в личном бессмертии, но также и за его самоотверженную работу на благо общества по созданию организации «Серебряные рубашки». Эти истые рыцари, хотя на их долю и не выпало заслуженного успеха, имели мужество отважно выступить против предательских, подстрекательских, издевательских и злопыхательских козней красных радикалов и других разновидностей большевиков, непрерывно угрожающих американским устоям – Свободе, Высокой заработной плате и Всеобщей безопасности.

У этих людей есть вдохновенные идеалы, и сейчас для литературы самое время проповедовать всем ясные, бьющие прямо в цель, волнующие сердца идеалы!

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

В первую же неделю предвыборной кампании сенатор Уиндрип обнародовал свою программу, выпустив знаменитую прокламацию «Пятнадцать тезисов победы «Лиги забытых людей». Эти пятнадцать тезисов, сформулированные Уиндрипом (а может быть, и Ли Сарасоном или Дьюи Хэйком), гласили:

«1. Всеми финансами страны, включая деньги, страховые полисы, акции, облигации и ипотечные закладные, должен целиком и полностью распоряжаться Федеральный центральный банк, принадлежащий правительству и подчиняющийся правлению, назначенному президентом; это правление должно быть правомочно, не обращаясь за разрешением в Конгресс, издавать любые постановления, регулирующие финансовые вопросы. Впоследствии, когда это окажется целесообразным, правление рассмотрит вопрос о национализации на благо народа всех рудников, нефтяных промыслов, гидростанций, всех предприятий коммунального значения, а равно транспорта и средств связи.

2. Президент назначает комиссию, состоящую поровну из работников физического труда, предпринимателей и представителей общественности, для решения вопроса о том, какие рабочие союзы полномочны представлять интересы рабочих, и для осведомления органов власти обо всех организациях, претендующих на звание «рабочих организаций», будь то компанейские союзы или же «Красные союзы», руководимые коммунистами и так называемым Третьим Интернационалом. Возглавлять признанные должным образом союзы будут бюро, состоящие из назначаемых правительством лиц. Им и будет принадлежать решающий голос при обсуждении трудовых споров. В дальнейшем аналогичному рассмотрению и официальному признанию будут подлежать и фермерские организации. Таковое возвышение Рабочего должно подчеркнуть, что «Лига забытых людей» является главным оплотом против угрозы разрушительного и чуждого Америке радикализма.

3. В противоположность учению красных радикалов с их преступной экспроприацией нажитого трудом имущества, обеспечивающего человеку спокойную старость, наша Лига и партия гарантируют частную инициативу и право частной собственности на все времена.

4. Глубоко убежденные в том, что только с помощью всемогущего бога, которому воздаем хвалу, мы, американцы, можем сохранить нашу мощь, мы гарантируем всем полную свободу вероисповедания, предусматривая, однако, что атеистам, агностикам, поклонникам черной магии и евреям, отказывающимся признать Новый завет, а также лицам любого

вероисповедания, отказывающимся принести клятву на верность флагу, будет запрещено занимать какую-либо общественную должность либо работать в качестве учителя, преподавателя, адвоката, судьи или врача, за исключением области акушерства.

5. Чистый годовой доход на одно лицо будет ограничен суммой в 500000 долларов. Накопленное состояние не может ни в каком случае превышать суммы в 3000000 долларов на одно лицо. Никто не имеет права на протяжении всей своей жизни наследовать состояние, или же несколько различных состояний, превышающих в общей сложности 2000000 долларов. Все доходы и имущество, превышающие названные суммы, будут конфисковываться федеральным правительством и использоваться на пособия и административные расходы.

6. В целях решительной борьбы с военными прибылями подлежат конфискации все дивиденды сверх шести процентов, получаемые от производства, распределения или продажи в военное время всякого рода оружия, амуниции, самолетов, кораблей, танков и других средств, непосредственно применяемых на войне, а также продуктов питания, тканей и всяких других товаров, поставляемых американской или любой союзной армии.

7. Наше вооружение и размеры наших военных и морских сил будут неизменно возрастать до тех пор, пока они не сравняются по всякому виду средств обороны с военной мощью любой другой страны или империи, отнюдь, однако, их не превышая, так как наша страна не стремится ни к каким завоеваниям. По вступлении нашем в должность Лига и партия будут считать это дело своей первой обязанностью, наряду с выпуском воззвания ко всем народам мира, категорически указывающего, что наши вооруженные силы имеют одно лишь назначение – обеспечение всеобщего мира и дружбы.

8. Конгрессу будет предоставлено исключительное право выпуска денег, и немедленно по вступлении нашем в должность Конгресс увеличит по крайней мере вдвое имеющийся в настоящее время запас денег, чтобы облегчить денежное обращение в стране.

9. Мы со всей резкостью осуждаем нехристианскую позицию некоторых, прогрессивных в других отношениях, народов, подвергающих дискриминации евреев, среди которых многие были самыми стойкими сторонниками Лиги и которые и дальше будут преуспевать и пользоваться всеми правами американцев, коль скоро они будут поддерживать наши идеи.

10. Все негры будут лишены права голоса, права занимать общественные должности, права заниматься адвокатурой, медициной или преподаванием в средней и высшей школе; они будут облагаться стопроцентным налогом на все доходы, превышающие 10000 долларов в год на семью, вне зависимости от того, заработаны эти деньги или получены каким-либо иным путем. Для того, однако, чтобы оказать сочувственную помощь всем неграм, понимающим приличествующее им – и очень важное – место в обществе, всем тем цветным мужчинам и женщинам, которые смогут доказать, что не менее сорока пяти лет своей жизни они посвятили таким подобающим им занятиям, как работа в качестве домашней прислуги, работа в сельском хозяйстве и чернорабочими в промышленности, будет предоставлено право по достижении шестидесяти пяти лет явиться в специальный совет, состоящий исключительно из белых, и по представлении доказательств, что у них не было никаких перерывов в работе, разве лишь по болезни, они будут рекомендованы на предмет получения пенсии, не превышающей 500 долларов на человека в год или 700 долларов на семью. Неграми будут считаться лица, в жилах которых течет хотя бы одна шестнадцатая цветной крови.

11. Ни в какой мере не отвергая такие нравственно возвышенные и экономически целесообразные методы помощи бедным, безработным и старикам, как грандиозный план глубокоуважаемого Эптона Синклера, как изложенные в книгах «Разделите богатства» и «Каждый человек – король» проекты ныне покойного Хьюи Лонга, предлагавшего обеспечить каждой семье 5000 долларов в год, как план Таунсенда, планы утопистов, «Технократию» и все другие разумные схемы страхования от безработицы, новая администрация немедленно назначит комиссию на предмет изучения, согласования и

рекомендации к немедленному применению наиболее ценных предложений из этих различных проектов социального обеспечения, и уважаемые господа Синклер, Таунсенд, Юджин Рид и Говард Скотт настоящим приглашаются сотрудничать с этой комиссией и давать ей всякого рода советы.

12. Всем женщинам, ныне работающим, за исключением занятых в такой специфически женской сфере деятельности, как уход за детьми и больными и работа в косметических салонах, будет оказано содействие, чтобы они могли вернуться к своим несравненно более священным, главным обязанностям хранительниц домашнего очага и матерей сильных и достойных будущих членов общества.

13. Лица, отстаивающие идеи коммунизма, социализма или анархизма, лица, отказывающиеся от воинской повинности в случае войны или выступающие за союз с Россией в какой бы то ни было войне, будут предаваться суду по обвинению в государственной измене и приговариваться минимум – к каторжным работам до двадцати лет и максимум – к смерти через повешение; возможны и иные формы смертной казни, по выбору судей.

14. Все пенсии, обещанные бывшим участникам всех войн, будут немедленно полностью выплачены наличными деньгами, и во всех случаях, когда ветераны имеют доход меньше 5000 долларов в год, обещанные суммы будут удвоены.

15. Немедленно по вступлении нашем в должность президента Конгресс займется разработкой поправок к конституции, предусматривающих следующее: а) право президента устанавливать и проводить в жизнь все мероприятия, необходимые для работы правительства в настоящий критический период, б) установление чисто совещательных функций конгресса, обращающего внимание президента, его помощников и правительства на проекты необходимых законов, но не приводящего их в исполнение до получения соответствующих полномочий от президента и в) немедленное устранение из юрисдикции Верховного суда права отклонять путем объявления их противными конституции или каким-либо иным юридическим путем постановления президента, его помощников или конгресса.

Дополнение. Всем следует совершенно ясно понять, что поскольку ни «Лига забытых людей», ни демократическая партия в настоящее время не имеют ни намерения, ни желания проводить какие-либо мероприятия, нежелательные большинству избирателей Соединенных Штатов, то Лига и партия не считают ни один из вышеприведенных пятнадцати пунктов обязательным и не подлежащим изменению, за исключением п. 15; что же касается всех остальных пунктов, то они будут проводиться или не проводиться в жизнь в соответствии с общим желанием народа, которому при новом режиме будет возвращена свобода личности, утерянная им благодаря суровым ограничительным экономическим мероприятиям прежних правительств, как республиканских, так и демократических».

– Что все это значит? – удивилась миссис Джессэп, когда ее муж прочитал ей эту программу. – Что за галиматья?! Какая-то смесь из Нормана Томаса и Кэлвина Кулиджа. Я ничего не могу понять. Не думаю, чтоб все это понимал и сам мистер Уиндрик.

– Понимает! Можешь быть уверена, что он понимает. Если Уиндрик и приспособил этого интеллектуального закройщика Сарасона, чтобы тот прихорашивал его идеи, то не следует думать, что сам он их не понимает и не прижимает нежно к груди, когда они наряжены, как куклы, в двухдолларовую словесную мишуру. Я могу тебе совершенно точно сказать, что все это означает: пункты первый и пятый означают, что, если финансисты, транспортные и прочие короли не окажут Бэзу основательной поддержки, им может угрожать повышение подоходного налога и некоторый контроль над их делами. Но я слышал, что они уже поддерживают его, и неплохо... они оплачивают выступления Бэза по радио и его парады. Второй пункт означает, что через контроль над профсоюзами шайка Бэза может поставить рабочих в рабские условия. Третий пункт обеспечивает полную безопасность крупному капиталу, а четвертый превращает проповедников в запуганных и

бесплатных агентов Бэза.

Шестой пункт ничего не означает: фирмы, работающие на военные нужды, получают свои шесть процентов сначала на производстве, потом на перевозке, в третий раз – на продаже... Это по меньшей мере. Седьмой значит, что мы, не отставая от европейских наций, постараемся согнуть в бараний рог весь мир. Восьмой означает, что благодаря инфляции крупные промышленные компании смогут скупить свои неоплаченные векселя по центу за доллар, а девятый – что все евреи, не желающие откупиться деньгами от этого разбойничьего барона, подвергнутся преследованиям, не исключая тех, которым и откупиться-то нечем. Десятый – что все хорошо оплачиваемые должности и выгодные места, находящиеся в руках негров, будут захвачены белыми ничтожествами из числа бэзовских почитателей... и за это не только не понесут наказания, но их будут всячески превозносить как патриотов и защитников расовой чистоты. Одиннадцатый – что Бэз постарается сложить с себя всякую ответственность за неоказание реальной помощи нуждающимся. Двенадцатый – что в дальнейшем женщины потеряют право голоса и право на высшее образование и что их ловко отстранят от любой хорошей работы и заставят воспитывать солдат, которых пошлют на убой в чужие страны. Тринадцатый – что всякий, кто хоть в чем-либо не согласен с Бэзом, может быть объявлен коммунистом и за это повешен. При такой формулировке и Гувер, и Эл Смит, и Огден Миллз... да и ты, и я... мы все можем оказаться коммунистами.

Четырнадцатый – что Бэз придает большое значение голосам ветеранов и готов заплатить за них очень дорого... чужими деньгами, разумеется. И пятнадцатый... да, это, пожалуй, тот единственный пункт, который действительно что-то значит; а значит он, что Уиндрип, и Ли Сарасон, и епископ Прэнг, и, я подозреваю, может быть, также этот полковник Дьюи Хэйк, и доктор Гектор Макгоблин... ну, знаешь, тот самый доктор, который участвует в сочинении торжественных од в честь Бэза, – все они поняли, что страна так одряхла, что любая шайка, достаточно нахальная, беспринципная, чтобы действовать «на законном основании», может захватить в свои руки все управление, добиться всей полноты власти и еще вызывать всеобщее одобрение и восхищение, и пользоваться деньгами, и дворцами, и доступными женщинами в полное свое удовольствие.

Их только небольшая горсточка, но, подумай только, как невелики были вначале шайки Муссолини и Гитлера, Кемаль-паши и Наполеона! Ты увидишь, что все эти либеральные проповедники, и воспитатели-модернисты, и недовольные газетчики, и сельские агитаторы... вначале их, может быть, и будут мучить сомнения, но потом они запутаются в паутине пропаганды, как это было со всеми нами во время мировой войны, и будут совершенно убеждены, что хоть за нашим Бэзом и водятся кое-какие грешки, но зато он на стороне простого народа и против всех старых политических ограничений, которые мешали людям жить, и они подымут всю страну на поддержку Бэза – великого освободителя (а представители крупного капитала будут помалкивать да потирать руки) – и тогда, клянусь, этот плут... – ох, не знаю даже, чего в нем больше: плутовства или истерического религиозного фанатизма – этот плут вместе с Сарасоном, Хэйком, Прэнгом и Макгоблином... – вся эта пятерка установит такой режим, что поневоле вспомнишь пирата Генри Моргана.

– Но неужели американцы станут долго терпеть это? – прохныкала Эмма. – Ах, нет, нет, только не наш народ, ведь мы же потомки пионеров!

– Не знаю. Я, со своей стороны, попытаюсь сделать все, чтобы этого не было... Ты, конечно, понимаешь, что и ты, и я, и Сисси, и Фаулер, и Мэри можем быть расстреляны, если я попытаюсь действительно что-нибудь сделать... Хм! Сейчас-то я храбрюсь, но, может быть, напугаюсь до смерти, когда услышу, как маршируют личные войска Бэза!

О, но ты будешь осторожен, не правда ли? – взмолилась Эмма. – Кстати, пока не забыла: сколько раз уж я просила тебя, Дормэс, не давать Фолишу куриных косточек – они застрянут у него, бедненького, в горлышке, и он ими подавится. И потом еще, ты постоянно оставляешь ключи в автомобиле, когда ставишь его ночью в гараж! Я уверена, что Шэд Ледью или кто другой не сегодня-завтра украдет его ночью.

Отец Пирфайкс, прочитав пятнадцать пунктов, рассердился куда сильнее, чем Дормэс.

Что же это такое? – зарычал он. – Негры, евреи, женщины – все попали под запрет, а нас, католиков, на сей раз пропустили. Гитлер не пренебрегал нами. Он нас преследовал. Это, видно, дело рук Кофлина. Это он представил нас слишком почтенными.

Сисси, мечтавшая об архитектурной школе, чтобы создать новый стиль домов из стекла и стали; Лоринда Пайк, у которой была идея – устроить в Вермонте курорт наподобие Карлсбада – Виши – Саратоги; миссис Кэнди, которая подумывала о собственной маленькой пекарне, когда она станет слишком стара для домашней работы, – все они были возмущены гораздо больше, чем Дормэс или отец Пирфайкс.

Сисси, походившая теперь скорее на воинственную амазонку, чем на кокетливую девушку, сердито рычала:

– Стало быть, «Лига забытых людей» собирается сделать нас «Лигой забытых женщин»! Отправить нас снова стирать белье и мыть посуду! Заставить нас читать Луизу Мей Олкотт и Барри, – кроме, конечно, воскресений! Заставить нас покорно и благодарно спать с мужчинами...

– Сисси – возопила мать.

– ...вроде Шэда Ледью! Вот что, папа, можешь сейчас же сесть и написать Берзелиосу от моего имени, что я уезжаю в Англию с первым же пароходом!

Миссис Кэнди перестала перетирать стаканы (мягким посудным полотенцем, которое она ежедневно тщательно стирала) и проворчала:

– Какие зловерные люди! Надеюсь, их скоро расстреляют, – что для миссис Кэнди было чрезвычайно пространном и гуманным заявлением.

«Да! Довольно зловерные. Но не следует упускать из виду, что Уиндрип – всего лишь щепка, увлекаемая водоворотом. Не он затеял все это. При том вполне справедливом недовольстве, которое накопилось против хитроумных политиков и плутократов, не будь Уиндрипа, явился бы кто-нибудь другой... Мы обязаны были предвидеть это, – мы – досточтимые граждане... И все же это не основание, чтобы мириться с подобным положением», – думал Дормэс.

IX

Люди, сами никогда не сидевшие в государственных советах, не могут понять, что главное качество действительно великих государственных деятелей не политическая мудрость, а огромная, глубокая, всеобъемлющая Любовь к людям всех сортов и состояний и ко всей стране. В политике только эта Любовь и этот Патриотизм были моими единственными принципами. У меня одно желание – заставить всех американцев понять, что они всегда были и должны оставаться впредь величайшей расой на нашей старой Земле, и второе – заставить их понять, что каковы бы ни были между нами кажущиеся различия – в смысле богатства, знаний, способностей, происхождения и влияния (все это, конечно, не относится к людям отличной от нас расы), – все мы братья, связанные великими и прекрасными узлами Национального Единства, чему мы все должны радоваться. И я думаю, что во имя этого стоит принести в жертву все личные выгоды.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

В конце лета и в начале осени 1936 года в газетах непрерывно мелькали изображения Берзелиоса Уиндрипа: он вскакивал в автомобили, выскакивал из самолетов, присутствовал

на открытии мостов, ел кукурузные лепешки и грудинку с южанами, вареные ракушки и хлеб из отрубей – с северянами, выступал с речами перед «Американским легионом», «Лигой свободы», «Социалистической лигой молодежи», «Союзом буфетчиков и официантов», «Противоалкогольной лигой», «Орденом Лосей», «Обществом по распространению священного писания в Афганистане»; он целовался с дамами, празднующими свой столетний юбилей, и пожимал руку молодым дамам, но никогда не наоборот; он носил костюм для верховой езды в Лонг-Айленде и рабочие брюки с рубашкой защитного цвета – в Озаркских горах; был этот Бэз Уиндрип почти карликом, с громадной головой, с огромными ушами, отвислыми щеками и печальными глазами. У него была сияющая, добродушная улыбка, которую он, по словам вашингтонских корреспондентов, включал и выключал, как электрический свет; но эта улыбка делала его безобразием более привлекательным, чем кокетливые гримасы любого красавца.

Жесткие черные прямые волосы он отпускал так, чтобы они намекали на индейское происхождение. Отправляясь в сенат, он одевался так, чтобы смахивать на страхового агента с большой клиентурой, но когда в Вашингтон съезжались на съезд избиратели-фермеры, он появлялся в старомодной ковбойской шляпе, способной вместить десять галлонов, и грязно-серой короткой визитке, которую ошибочно именуют фракком «принца Альберта».

В этом костюме он походил на отпиленную от постаменту фигуру ярмарочного «доктора» с выставки; и действительно ходили слухи, что когда-то во время каникул, в бытность свою в юридической школе, Бэз Уиндрип играл на банджо, показывал карточные фокусы и раздавал бутылки с лекарствами в качестве члена «ученой» экспедиции, именуемой «Походной лабораторией» старого доктора Алагаша, который специализировался на излечении рака по методу племени чоктавов, на изготовлении китайского успокоительного снадобья от туберкулеза и на восточном лекарстве от геморроя и ревматизма, приготовленном на основании древней, как мир, секретной формулы цыганской принцессы, королевы Пешавара. Компания эта, при горячей поддержке Бэза, погубила немало людей, которые, доверившись бутылкам доктора Алагаша, содержащим воду, красящие вещества, табачный сок и самогон, слишком поздно обратились к врачу. Но после этого Уиндрип, несомненно, искупил свои грехи, поднявшись от низкого шарлатанства до вполне достойного занятия: если раньше он, стоя перед рупором, предлагал вниманию публики чудеса лжемедицины, то теперь он, стоя перед микрофоном на трибуне, освещенной ртутными лампами, расхваливал своей аудитории чудеса лжеэкономики. Роста он был небольшого, но не следует забывать, что коротышками были и Наполеон, и лорд Бивербрук, и Стивен Дуглас, и Фридрих Великий, и доктор Геббельс, известный по всей Германии под названием Микки-Мауса Одина.

Дормэс Джессэп, незаметно наблюдавший за сенатором Уиндрипом из своей скромной провинции, никак не мог объяснить, в чем же заключалось его умение очаровывать людские толпы. Сенатор был откровенно вульгарен, почти безграмотен, ложь его легко поддавалась разоблачению, его «идеи» были форменным идиотизмом, его знаменитое благочестие было набожностью коммивояжера, торгующего церковной утварью, а его пресловутый юмор – хитрым цинизмом деревенского лавочника.

Конечно, в его речах не было ничего окрыляющего и в его философии ничего убедительного. Его политическая платформа была подобна крыльям ветряной мельницы. За семь лет до создания его теперешнего кредо – винегрета из Ли Сарасона, Гитлера, Готфрида Федера, Рокко и, вероятно, патриотического обозрения «Тебя пою, о родина» – маленький Бэз выступал у себя на родине в защиту таких «революционных» идей, как «доброкачественная тушеная говядина для Дома бедных фермеров», «больше взяток лояльным политическим деятелям», а их зятям, племянникам, компаньонам и кредиторам – теплых местечек.

Дормэсу самому никогда не приходилось слышать Уиндрипа в моменты находившего на него припадка красноречия, но политические репортеры рассказывали ему, что, слушая

Уиндрипа, поддаешься его чарам, и он кажется едва ли не Платоном, но уже по дороге домой не можешь вспомнить ни одного его слова. Две вещи характеризовали, по словам корреспондентов, этого Демосфена прерий. Он был гениальным актером. Более потрясающего актера не бывало ни в театре, ни в кино, ни даже среди проповедников. Он заламывал руки, стучал по столу, безумно сверкал глазами, широко раскрытый рот его извергал библейский гнев; но он и ворковал, как нежная мать, умолял, как изнемогающий любовник, и попеременно со всеми этими фокусами хладнокровно и чуть ли не презрительно швырял в толпу цифры и факты, цифры и факты, не опровержимые даже тогда, когда они, как часто случалось, были сплошь фальшивы.

Под этим поверхностным актерским искусством таилась необычайная врожденная способность загораться от одного присутствия слушателей и передавать им это свое возбуждение. Он умел драматически заявлять, что он – не «наци» и не фашист, а демократ – доморощенный, джефферсоно-линкольново-кливлендово-вильсоновский Демократ, и (без декораций и костюмов) делать это так, что все слушатели воочию видели его защищающим Капитолий от варварских орд, между тем как он невинно преподносил им в качестве своих собственных заветных мыслей человеконенавистнический и антисемитский бред Европы.

Во всем же остальном, если отвлечься от этой его драматической славы, Бэз Уиндрип был Профессиональным Средним Человеком.

О, он был достаточно зауряден. Он обладал всеми предрассудками и стремлениями Среднего Американского Обывателя. Он верил в превосходство, а следовательно, и в священную непреложность, толстых гречневых блинов с разбавленным кленовым сиропом и резиновых подставок для льда в своем электрическом холодильнике; был высокого мнения о собаках – обо всех собаках вообще, без разбора, и о прорицаниях С. Паркса Кэдмена; верил в то, что следует быть на короткой ноге со всеми официантками во всех железнодорожных буфетах, и верил в Генри Форда (он радовался, что когда он станет президентом, мистер Форд, может быть, пожалует к нему в Белый дом отужинать), и в превосходство каждого, имевшего миллион долларов. Он полагал, что короткие гетры, трости, икра, титулы, чаепития, стихи – если они не печатаются газетными синдикатами – и все иностранцы, за исключением, пожалуй, англичан, отжили свое.

Но, благодаря своему ораторскому дарованию, он был не просто обывателем, а Обывателем с большой буквы, так что, хотя другим обывателям и были понятны его стремления, в точности совпадавшие с их собственными, им все же казалось, что он возвышается над ними, и они воздевали к нему в восторге руки.

В величайшем из всех чисто американских видов искусства (наряду с звуковым кино и теми «спиричуэлс», где негры выражают желание отправиться в рай, в Сент-Луис или в любое место, достаточно отдаленное от старых романтических плантаций), а именно в искусстве Рекламы, Ли Сарасон стоял несколько не ниже таких признанных мастеров, как Эдуард Верней, покойный Теодор Рузвельт, Джек Демпси и Эптон Синклер.

Сарасон «создавал» (как это именуется по-ученому) сенатора Уиндрипа в продолжение семи лет до его провозглашения кандидатом в президенты. Другим сенаторам секретари и жены (ни одному потенциальному диктатору не следует иметь доступной для обозрения жены, да, кроме Наполеона, ни один и не имел таковой) советовали перейти от деревенского похлопывания по плечу к благородным, закругленным цицероновским жестам. Сарасон же настойчиво убеждал Уиндрипа сохранить и на арене большой политики всю грубость и шутовство, с помощью которых (вместе с изрядной долей хитрости и выносливости, позволявшей ему произносить до десяти речей в день) он завоевал сердца простодушных избирателей его родного штата.

Получив свою первую ученую степень, Уиндрип протанцевал перед огорошенной аудиторией академиков матросский танец; поцеловал мисс Фландро на конкурсе красавиц в Южной Дакоте; развлекал Сенат или, по крайней мере, сенатскую галерку подробными рассказами о том, как ловить в реке крупную рыбу, начиная от выкапывания приманки и

кончая обмыванием удачных результатов ловли; он вызвал почтенного Главного судью Верховного суда на дуэль на рогатках.

У Бэза Уиндрипа имелась жена, хотя и недоступная обозрению, у Сарасона жены не было, а Уолт Тробрюбридж был вдовцом. Жена Уиндрипа осталась дома и продолжала разводить шпинат и цыплят, постоянно твердя соседям, что собирается в Вашингтон на тот год, меж тем как Уиндрип усердно информировал представителей печати о том, что его «Frau»⁸ до того трогательно посвятила себя малюткам-детям и изучению библии, что просто немыслимо убедить ее приехать на Восток.

Но когда дело дошло до собиранья политической машины, Уиндрипу не понадобились советы Ли Сарасона.

Где был Бэз, туда слетались хищники. Его номер или целые апартаменты в гостинице – будь то в столице его родного штата, в Вашингтоне, в Нью-Йорке или в Канзас-сити – напоминали, по выражению Фрэнка Селливэна, редакцию бульварной газеты после какого-нибудь невероятного происшествия: скажем, если бы епископ Кэннен поджег собор св. Патрика, похитил дионнских близнецов и сбежал с Гретой Гарбо в краденном танке.

Бэз Уиндрип сидел обычно посреди «гостиной», телефон стоял подле него на полу, и он часами кричал в аппарат: «Хэлло!.. Да!.. Слушаю...» или в дверь: «Входите... Входите!», а затем: «Садитесь, пожалуйста свои ноги!» Весь день и всю ночь, до рассвета, он не переставал бушевать: «Скажите ему, что он может взять свои деньги и убраться ко всем чертям», или: «Конечно; конечно, старина... До смерти рад бы помочь. Дорогу предприятиям коммунального пользования», и потом: «Скажите губернатору, что я хочу, чтобы Киппи избрали шерифом и обвинение против него сняли и сделали все это быстро, черт подери!» Сидел он обычно, поджав под себя ноги, в модном пиджаке из верблюжьей шерсти и в кричащей клетчатой кепке.

В припадке ярости, наступавшем у него не реже чем через каждые четверть часа, он вскакивал, срывал с себя пиджак (под которым обнаруживалась либо белая крахмальная рубашка с черным галстуком, как у духовных лиц, либо канареечная шелковая с красным галстуком), швырял его на пил, а затем снова надевал с важной медлительностью, все время гневно рыча, подобно Иеремии, проклинаящему Иерусалим, или корове, тоскливо оплакивающей уведенного теленка.

К нему приходили маклеры, профсоюзные боссы, самогонщики, антививисекционисты, вегетарианцы, лишенные звания адвокаты, миссионеры, жившие в Китае, спекулянты нефтью и электричеством, сторонники войны и сторонники войны против всякой войны. «Хм! Все, кому нужно поправить свои дела, обращаются ко мне», – жаловался он Сарасону. Каждому он обещал продвинуть его дело, например, устроить в военную академию какого-нибудь племянника, недавно потерявшего место на маслобойном заводе. Своим коллегам, политическим деятелям, он обещал поддержать их законопроекты, если они поддержат законопроекты его, Уиндрипа. Он давал интервью о помощи фермерам, о купальных костюмах с открытой спиной и о тайной стратегии эфиопской армии. Он скалил зубы, хлопал собеседников по коленке и по спине, и лишь немногие из посетивших Уиндрипа не начинали смотреть на него, как на отца родного, и не становились его верными сторонниками. Бывали, правда, и исключения – в большинстве случаев то были журналисты, которым еще до встречи с Уиндрипом был противен исходивший от него запах. Но даже их ожесточенные нападки на него способствовали тому, что имя его не сходило с газетных столбцов. Он пробыл год сенатором, машина его политики работала так же хорошо и бесперебойно и была так же скрыта от глаз непосвященных, как двигатели океанского парохода.

В каждом номере у него на кровати всегда валялось три цилиндра, две шляпы, какие носят лица духовного звания, нечто зеленое с пером, коричневый котелок, фуражка водителя

⁸ Жена (нем.).

такси и девять обыкновенных честных коричневых шляп.

Однажды он за двадцать семь минут успел переговорить по телефону из Чикаго с Пало-Алто, Вашингтоном, Буэнос-Айресом, Уилметтом и Оклахома-сити. В другой раз за полдня у него перебывало шестнадцать священников, просивших его публично заклеить мерзкие комические обозрения «бурлеск», и семь театральных меценатов и владельцев театров, просивших его расхвалить эти самые обозрения. Священников он называл «доктор» и «брат», а меценатов – «приятель» и «дружище»; надавал громких обещаний и тем и другим и ни для тех и ни для других ровно ничего не сделал.

Сам он не стал бы заводить связи с иностранцами, хотя и не сомневался, что когда-нибудь ему в качестве президента придется возглавить оркестр мировых держав. Но Ли Сарасон настаивал на том, чтобы Бэз хоть немного ознакомился с такими основами международной жизни, как соотношение фунта стерлингов и лиры, и чтобы знал, как полагается титуловать баронета, каковы шансы эрцгерцога Отто, в каких тавернах Лондона подают устрицы и какие публичные дома в Париже лучше всего рекомендовать веселящейся посольской публике.

Но настоящей обработкой иностранных дипломатов, живущих в Вашингтоне, он предоставлял заниматься Сарасону, угощавшему их особым сортом черепахи и особой американской уткой с желе из черной смородины у себя на квартире, гораздо более шикарной, чем личная вашингтонская квартира самого Бэза, обставленная с нарочитой простотой и скромностью... Тем не менее в квартире Сарасона для Бэза была резервирована комната с большой двухспальной кроватью в стиле ампир.

Не кто иной, как Сарасон, убедил Уиндрипа разрешить ему написать «В атаку», на основе лично Бэзом продиктованных заметок, и он же соблазнил миллионы людей прочесть, а тысячи людей даже и приобрести эту «библию экономической справедливости». Сарасон понимал, что в момент, когда страну захлестывал поток частных политических еженедельных и ежемесячных журналов, не опубликовать кредо Уиндрипа было бы просто глупо. Сарасону же принадлежала идея чрезвычайного выступления Бэза по радио в три часа ночи по случаю запрещения Верховным судом Национальной Администрации по Восстановлению Промышленности в мае 1935 года... И хотя многие из приверженцев Бэза, да в том числе и он сам, не понимали, выражала его речь протест или наоборот, хотя лишь немногие лично слышали эту речь, но все решительно – за исключением пастухов и профессора Альберта Эйнштейна – слышали о ней и были потрясены.

Зато Бэзу совершенно самостоятельно пришла в голову блестящая мысль сперва оскорбить герцога Йоркского, отказавшись явиться в посольство на обед, устроенный в его честь в 1935 году, и тем самым заслужить на всех фермах, в домах священников и в барах блистательную репутацию доморощенного демократа, а затем смягчить его высочество, нанеся ему визит с поднесением скромного букета домашних гераней (из оранжереи японского посланника), причем последнее снискало ему любовь если не членов королевской фамилии, то, во всяком случае, «Дочерей американской революции», «Союза говорящих на английском языке» и всех мягкосердечных мамаш, умилявшихся по поводу сего трогательного букетика гераней.

Симпатии журналистов Бэз завоевал тем, что на съезде демократической партии настоял на выдвижении в вице-президенты кандидатуры Пирли Бикрофта – уже после того, как Дормэс Джессэп в ярости выключил радио. Бикрофт – южанин, владелец табачных плантаций и табачных лавок, в прошлом губернатор своего штата – был женат на бывшей школьной учительнице из штата Мэн, от которой так крепко пахло нюхательной солью и цветом картофеля, что это обеспечивало ему симпатии любого янки. Но не географические преимущества делали мистера Бикрофта очень подходящим партнером для Бэза Уиндрипа, а то, что у него было желтое лицо малярика и редкие усы (в то время как лошадиное лицо Бэза было всегда гладко выбрито и сияло ярким румянцем) и то, что в ораторских выступлениях Бикрофта бывали паузы, была глубина медленно изрекаемой бессмыслицы, и это импонировало важным педантам, которых коробил бэзовский водопад жаргонных словечек.

К тому же Сарасон никогда не убедил бы богачей, что, чем больше Бэз угрожал им, чем чаще он обещал раздать миллионы беднякам, тем больше могли они верить в его «здравый смысл» и спокойно финансировать его предвыборную кампанию. А Бэз убеждал их, намекая, улыбаясь, подмигивая, пожимая руки, – и деньги лились рекой, исчисляясь сотнями тысяч, часто под видом участия в прибылях.

Остроумным ходом Берзелиоса Уиндрипа было то, что он, не дожидаясь своего избрания, начал вербовать себе шайку пиратов. В искусстве привлекать сторонников он практиковался с того самого дня, когда четырехлетним мальчуганом очаровал соседского мальчика, подарив ему револьвер, который потом сам же выкрал из кармана своего нового товарища. Бэз, вероятно, не учился, а может быть, ему и нечему было учиться у социологов Чарльза Берда и Джона Дьюи, но они могли бы многому научиться у Бэза.

И опять-таки ловким ходом Бэза, а не Сарасона, было следующее: горячо защищая идею о том, что все могут стать богатыми, стоит только проголосовать за богатство, он в то же время отрекся от всякого «фашизма» и «нацизма», так что большинство республиканцев, опасавшихся фашизма демократов, и демократы, боявшиеся фашизма республиканцев, готовы были отдать ему свои голоса.

Х

Хотя я всячески стараюсь не затемнять страницы моей книги научными терминами и неологизмами, я все же вынужден сказать: самое поверхностное ознакомление с Экономикой Изобилия должно убедить всякого разумного человека, что Кассандры, неправильно именуемые «инфляцией» необходимое увеличение нашего денежного обращения, – ошибочно основывая свою аналогию на инфляционных неудачах некоторых европейских государств в период 1919-1923 годов, – заблуждаются, а может быть, умышленно не хотят понять, что в Америке совершенно иная денежная система, обусловленная нашими гораздо более значительными запасами естественных богатств.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

Большинство разорившихся фермеров, –

Большинство конторских служащих, не имевших работы в течение последних трех, четырех, а то и пяти лет, –

Большинство людей, живущих на пособие и жаждущих увеличения этого пособия, –

Большинство жителей окраин, которым не по карману электрические стиральные машины, даже купленные в рассрочку, –

Значительные группы «американских легионеров», веривших, что только сенатор Уиндрип обеспечит им получение, а может быть, и увеличение пенсий, –

Популярные проповедники, которые рассчитывали по примеру епископа Прэнга и отца Кофлина создать себе нужную рекламу, поддержав не совсем обычную программу, сулящую процветание веем-веем без каких-либо усилий с чьей бы то ни было стороны, –

Остатки Ку-Клукс-Клана и некоторые лидеры Американской федерации труда, считавшие себя обиженными и обойденными прежними политическими деятелями, –

А также не организованные в профсоюзы чернорабочие, считавшие себя обиженными этой самой АФТ, –

Ютящиеся на задворках адвокаты, которым еще ни разу не удалось получить казенную должность, –

Злополучная противоалкогольная Лига, – поскольку было известно, что сенатор Уиндрип, сам любитель выпить, является горячим сторонником полного воздержания, тогда как его соперник, Уолт Трубридж, почти ничего никогда не пивший, не поддерживал, однако, мессий сухого закона. (Мессии эти за последнее время совсем уже было изверились

в выгоды своей профессии моралистов, поскольку Рокфеллеры и Уономэйкеры перестали молиться с ними и платить им), –

Помимо всех этих нуждающихся просителей, – немалое количество буржуа, даже миллионеров, недовольных тем, что заметный урон их процветанию наносят коварные банкиры, ограничивающие им кредит, –

Таковы были сторонники Берзелиоса Уиндрипа, мечтавшие, что он, подобно божественному ворону, всех их накормит, когда станет президентом; из их среды вышли самые пылкие ораторы, выступавшие за Уиндрипа в предвыборной кампании весь сентябрь и октябрь.

С этой толпой паладинов, для которых политические добродетели определялись интересами их кармана, смешивался летучий отряд воителей, страдавших не от голода, а от избытка идеализма; интеллигенты, реформисты и даже заядлые индивидуалисты, видевшие в Уиндрипе, несмотря на все его фиглярское вранье, освободительную силу, которой предстояло омолодить одряхлевшую капиталистическую систему.

Эптон Синклер писал и выступал в защиту Бэза, так же, как в 1917 году он, будучи убежденнейшим пацифистом, выступал за то, чтобы Америка приняла самое активное участие в мировой войне, полагая, что таким образом будет навсегда покончено с германским милитаризмом, а стало быть, и со всякими войнами. Большинство компаньонов Моргана, которых, может быть, и коробило оттого, что им пришлось объединиться с Эптоном Синклером, поняли, что, какие бы значительные материальные жертвы им ни угрожали, Уиндрип был единственным человеком, способным осуществить подъем промышленности; епископ Маннинг из Нью-Йорка ссылаясь на то, что Уиндрип всегда почтительно отзывался о церкви и ее пастырях, меж тем как Уолт Трубридж по воскресеньям совершал утренние прогулки верхом, и не было слышно, чтобы в «День матери» он отправил хоть одну поздравительную телеграмму какой-нибудь особе женского пола.

С другой стороны, газета «Сатердей ивнинг пост» выводила из себя мелких лавочников, называя Уиндрипа демагогом, и нью-йоркская «Таймс» – некогда орган независимых демократов – тоже была против Уиндрипа. Но большая часть религиозной прессы объявила, что раз Уиндрипа поддерживает такой святой, как епископ Прэнг, – значит, таково веление божие.

В предвыборной кампании приняла участие даже Европа.

Заверив всех с самым скромным и любезным видом, что они ни в коей мере не хотели бы вмешиваться во внутренние дела американцев и что их единственное желание – лично выразить восхищение великим светилом Запада, поборником мира и процветания Берзелиосом Уиндрипом, несколько представителей иностранных держав отправились в лекционное турне по Америке: генерал Бальбо, снискавший популярность в США тем, что в 1933 году возглавлял перелет из Италии в Чикаго; ученый, хотя и живший в настоящее время в Германии и вдохновлявший всех патриотических вождей «германского возрождения», но в свое время окончивший Гарвардский университет и завоевавший славу лучшего пианиста на своем курсе, некий доктор Эрнст (Пуцци) Ганфштенгль; и, наконец, лев британской дипломатии, Гладстон 1930 годов, красивый и любезный лорд Лоссимут, в бытность свою премьер-министром известный под именем Рамсея Макдональда.

Жены фабрикантов оказали всем троим роскошный прием, и они, в свою очередь, сумели убедить многих миллионеров, которые считали Бэза вульгарным выскочкой и смотрели на него свысока, в том, что он, в сущности, является единственной надеждой мира на восстановление международной торговли.

Отец Кофлин бросил на всех кандидатов один-единственный взгляд и с негодованием скрылся в своей келье.

Миссис Аделаида Тарп-Гиммич, которая, несомненно, написала бы друзьям, приобретенным ею на ротарианском обеде в Форте Бьюла, если б только она помнила название этого города, была заметной фигурой в предвыборной кампании. Она разъясняла

женщинам-избирательницам, как это мило со стороны сенатора Уиндрипа, что он пока еще сохранил за ними право голоса, и исполняла свою песенку «Наш Бэз поехал в Вашингтон» в среднем не меньше одиннадцати раз в день.

Сам Бэз, епископ Прэнг, сенатор Порквуд (бесстрашный либерал и друг рабочих и фермеров) и полковник Оссиола Лутхорн, издатель и редактор, хотя и считали основной своей задачей речи по радио, обращенные сразу к миллионам слушателей, совершили поездку по всей стране, за сорок дней побывав во всех штатах и проделав свыше 27 000 миль в специальном экспрессе «Забытых людей» – алюминиевом, обтекаемом, пунцовом с серебром, с панелями из слоновой кости, с шелковой обивкой, с двигателями Дизеля, с резиновой прокладкой во всех переборках, с кондиционированным воздухом в каждом вагоне.

В поезде имелся бар, которым, за исключением епископа, никто не пренебрегал.

Объединенные железные дороги оплатили эту поездку.

Было произнесено свыше шестисот речей, начиная от приветственных возгласов, обращенных к собравшейся на вокзале толпе, – на семь-восемь минут – до двухчасовых взрывов громового красноречия в различных аудиториях и на ярмарочных площадях. Бэз обычно участвовал во всех выступлениях на первых ролях, но иногда он настолько срывал голос, что был только в состоянии помахать рукой и прохрипеть приветствие, предоставляя распинаться за себя Прэнгу, Порквуду, полковнику Лутхорну или тем охотникам из бесконечного числа его секретарей, ученых специалистов-консультантов по истории и экономике, поваров, буфетчиков и парикмахеров, которых удавалось оторвать от азартной игры в карты с сопровождавшими поезд репортерами, фотографами, звукооператорами и радистами. Тиффер из агентства «Юнайтед пресс» подсчитал, что Бэз, таким образом, показался перед двумя миллионами людей, если не больше.

В то же время Ли Сарасон почти ежедневно носился на аэроплане из Вашингтона на родину Бэза и обратно, руководя деятельностью нескольких десятков телефонисток и множества стенографисток, отвечавших на тысячи поступавших ежедневно телефонных звонков, писем, телеграмм, каблогамм и – коробок с отравленными конфетами... Бэз требовал, чтобы все эти девушки были красивы, покладисты, хорошо работали и состояли в родственной связи с влиятельными в политике лицами.

Между тем достопочтенный Пирли Бикрофт, кандидат в вице-президенты, специализировался на проведении собраний различных братств, религиозных общин, страховых агентов и вояжеров.

Полковнику Дьюи Хэйку, предложившему кандидатуру Бэза на съезде в Кливленде, была отведена в предвыборной кампании роль совершенно исключительная, – это была одна из самых удачных выдумок Сарасона. Хэйк агитировал за Уиндрипа не на многочисленных собраниях, а в местах столь необычных, что одно его появление там уже было сенсацией, причем Сарасон и Хэйк заботились о том, чтобы своевременно послать туда проворных хроникеров, сразу распространявших сведения об этих выступлениях. Летая на собственном самолете (покрывая до тысячи миль в день), Хэйк поспевал всюду и везде: он обратился, например, с речью к девяти озадаченным шахтерам в шахте медного рудника на глубине целой мили от поверхности, и тридцать девять фотографов щелкали этих девятерых; стоя в моторной лодке, он обратился с речью к рыболовной флотилии, застрявшей во время тумана в Глостерской гавани; в полдень он говорил с портала казначейства на Уолл-стрите; он обращался к летчикам и обслуживающему персоналу в аэропорту Нового Орлеана, причем даже летчики отпускали грубые шутки только первые пять минут, – пока он описывал отважные, но неуклюжие попытки Бэза Уиндрипа научиться летать; он обращался с речами к полисменам, филателистам, шахматистам, собиравшимся в узком кругу, и к кровельщикам, работавшим на крышах домов; он выступал на пивоваренных заводах, в госпиталях, в редакциях журналов, в соборах и в маленьких часовнях на перекрестках дорог, в тюрьмах, в домах для умалишенных, в ночных клубах, пока редакторы иллюстрированных изданий не стали предупреждать фотографов: «Ради бога, не надо больше снимков полковника Хэйка,

выступающего в спортивных клубах и тюрьмах».

Тем не менее они продолжали помещать эти снимки.

Потому что полковник Дьюи Хэйк был почти такой же колоритной фигурой, как сам Бэз Уиндрип.

Семья Хэйка, проживавшая в Теннесси, пришла в упадок; один его дед был генералом-конфедератом, а другой, некий Дьюи, происходил из Вермонта; сам Хэйк работал сборщиком хлопка, потом стал телеграфистом, затем окончил университет Арканзаса, а затем юридическую школу Миссури, был адвокатом в деревне штата Вайоминг, а затем в Орегоне; во время же войны (в 1936 году ему было лишь 44 года) служил во Франции, в пехоте, был капитаном. Когда он вернулся в Америку, его выбрали в Конгресс, и он стал полковником милиции. Он изучал военную историю; научился водить самолет, стал боксером и фехтовальщиком; держался он прямо, словно аршин проглотил, но улыбка у него была приветливая; он в равной мере нравился строгим армейским офицерам высших рангов и таким головорезам, как мистер Шэд Ледью, этот калибан Дормэса Джессэпа.

Хэйк бросил к ногам Бэза даже самых строптивых, тех, кого особенно раздражала надутая важность епископа Прэнга.

Между тем Гектор Макгоблин – ученый доктор и дородный поклонник бокса, соавтор Сарасона по сочинению предвыборного гимна «Старый мушкет достаньте» – специализировался на агитации среди университетских профессоров, ассоциаций преподавателей средней школы, профессиональных бейсбольных команд; он выступал на боксерских рингах, на собраниях медиков, на летних занятиях в университете (где известные литераторы обучали писательскому ремеслу старательных, но безнадежных неудачников), на турнирах по гольфу и тому подобных культурных собраниях.

Но искушенный в боксе доктор Макгоблин подвергался опасности в предвыборную кампанию больше, чем все остальные ее участники. На митинге в Алабаме, когда Макгоблин вполне убедительно доказал, что в негре должно быть по меньшей мере 25 процентов «белой крови», чтобы он мог достичь культурного уровня продавца патентованных лекарств, произошла потасовка – на митинг, а потом и на дома богатых белых напали цветные под предводительством негра, служившего в 1918 году на Западном фронте капралом. Лишь красноречивое заступничество цветного священника спасло Макгоблина и горожан.

Воистину, как сказал епископ Прэнг, апостолы сенатора Уиндрипа проповедовали теперь его евангелие повсюду, даже среди язычников.

Но Дормэс Джессэп в разговоре с Баком Титусом и отцом Пирфайксом выразился иначе:

– Это то, что у ротарианцев называется революцией.

XI

Когда я был мальчишкой, одна моя учительница, старая дева, частенько говорила мне: «Бэз, ты самый большой олух в школе». Но я заметил, что она ругала меня гораздо чаще, чем хвалила других ребят за сообразительность, и я стал самым популярным учеником в приходе. Сенат Соединенных Штатов поступает примерно так же, и я хочу поблагодарить многих напыщенных дураков за их замечания в адрес вашего покорного слуги.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

Но среди язычников были и такие, что не обращали внимания ни на Прэнга, ни на Уиндрипа, ни на Хэйка, ни на доктора Макгоблина.

Уолт Трубридж проводил свою предвыборную кампанию так спокойно, как будто был совершенно уверен в победе. Он не жалел своих сил, но он не оплакивал «забытых людей» (в молодости он сам был одним из них и находил, что это вовсе не так уж плохо) и не впадал в

истерике в баре специального поезда, пунцового с серебром. Спокойно, настойчиво он разъяснял, выступая по радио и в некоторых больших залах, что он стоит за лучшее и более справедливое распределение богатств, но что достичь этого можно путем упорного подкопа, а не с помощью динамита, который разрушит больше, чем следует. Нельзя сказать, чтобы все это было слишком увлекательно. Да экономика и редко бывает такой, разве только когда воспринимается в драматической обработке епископа, в постановке Сарасона и в темпераментном исполнении Бэза Уиндрипа, при рапире, в голубом атласном трико.

Для предвыборной кампании коммунисты бодро выдвинули своих жертвенных кандидатов – семь человек от всех существовавших в то время коммунистических партий. Они держались вместе, так как понимали, что, действуя солидарно, могут собрать 900000 голосов; в это объединение входили: Партия, Партия большинства, Партия левых, Партия Троцкого, Христианская коммунистическая партия, Рабочая партия и еще одна с менее определенным названием, а именно: Американская националистская патриотическая кооперативно-фабианская после-марксовская коммунистическая партия – звучало это наподобие титула члена королевской семьи, но на этом сходство и кончалось.

Но все эти радикалистские объединения ничего не значили по сравнению с новой джефферсоновской партией, которую неожиданно возглавил Франклин Д. Рузвельт.

Спустя сорок восемь часов после избрания Уиндрипа кандидатом на съезде в Кливленде президент Рузвельт опубликовал свой вызов.

Сенатор Уиндрип, утверждал он, был избран «не умами и сердцами истинных демократов, а временно постигшим их безумием». Он считал, что имелось не больше оснований для поддержки Уиндрипа, претендующего на звание демократа, чем для поддержки Джимми Уокера.

В то же время он не может, говорилось далее, голосовать за кандидата республиканской партии, «партии окопавшихся специальных привилегий», как бы высоко он ни ставил в последние годы лояльность, честность и ум сенатора Уолта Тробрриджа.

Рузвельт давал ясно понять, что его джефферсоновская, или истинно демократическая, фракция не является «третьей партией» в том смысле, что она останется постоянной организацией. Она должна исчезнуть, как только честно и трезво мыслящие люди снова вернутся к руководству партией. Бэз Уиндрип смешил своих слушателей, называя эту фракцию «партией быка и мышей», но к президенту Рузвельту примкнули почти все либеральные члены Конгресса, как демократы, так и республиканцы, не поддержавшие Уолта Тробрриджа; к нему присоединился также Норман Томас и социалисты, не ставшие коммунистами, а также губернаторы Флloyd Олсен и Олин Джонстон и майор Ла Гардиа.

Вполне очевидной ошибкой джефферсоновской партии, а равно и личной ошибкой сенатора Уолта Тробрриджа явилось то, что они апеллировали к чести и разуму в такое время, когда избиратели жаждали сильных эмоций и острых ощущений, связанных обычно не с денежными системами и налоговыми тарифами, а с крещением путем окунания в реку, с молодой любовью под вязами, с крепким виски, с ангельскими хорами, слетающими с луны, со смертельным страхом, когда вы мчитесь в автомобиле над бездной, с жаждой в пустыне, утоляемой родниковой водой, – со всеми теми примитивными ощущениями, которые, как казалось избирателям, они находили в воплях Бэза Уиндрипа.

Вдали от ярко освещенных бальных зал, где все эти капельмейстеры в малиновых куртках оспаривали друг у друга руководство громадным духовным джаз-оркестром, далеко-далеко в прохладных горах маленький человек по имени Дормэс Джессэп, даже не барабанщик, а всего только редактор и гражданин, в превеликом смятении размышлял о том, что же ему следует сделать, чтобы спастись.

Ему хотелось последовать за Рузвельтом и джефферсоновской партией – во-первых, потому что он восхищался Рузвельтом, а во-вторых, потому что ему хотелось подразнить вермонтцев, этих закоренелых республиканцев. Но он не верил, что джефферсоновцы могут

иметь успех; зато он был убежден, что, несмотря на запах нафталина, исходивший от многих его сподвижников, Уолт Трубридж был тем мужественным и достойным человеком, который должен занять пост президента, и Дормэс день и ночь носился по долине Бьюла, агитируя за Трубриджа.

В результате обуревавших его сомнений в статьях его появилась твердость отчаяния, поражающая привычных читателей «Информера». Куда девалась его обычная ироническая снисходительность! Не говоря ничего дурного о джефферсоновской партии, кроме того, что она преждевременна, он обрушивался и в передовицах и в фельетонах на Бэза Уиндрипа и на его шайку, бичевал их, жалил, разоблачал.

Все утро он тратил на беседы с избирателями – заходил в магазины, в дома, убеждал, интервьюировал своих сограждан.

Он думал, что агитировать за Трубриджа в традиционно республиканском Вермонте будет обидно легкой для него задачей, но, к его величайшему смущению, оказалось, что избиратели отдавали предпочтение выдававшему себя за демократа Бэзу Уиндрипу. И такое предпочтение – Дормэс ясно видел это – основывалось не на горячей вере в Уиндрипа, сулившего всем и каждому блаженство в духе утопии. Просто люди верили в улучшение деловых перспектив для самого избирателя и его семьи.

Из всего, что происходило в предвыборной кампании, большинство избирателей реагировало только на так называемый юмор Уиндрипа и на три пункта его программы: пятый, в котором обещалось увеличить налоги на богачей; десятый, направленный против негров, ибо ничто так не возвышает неимущего фермера или рабочего, живущего на пособие, как возможность смотреть на какую-нибудь расу – безразлично какую – сверху вниз; и в особенности на одиннадцатый пункт, возвещавший – по крайней мере так всем казалось, – что всякий трудящийся станет с места в карьер получать пять тысяч долларов в год. (Многочисленные спорщики на железнодорожных станциях утверждали даже, что не пять, а десять тысяч долларов. Еще бы! Они собирались получить все, до единого цента, предложенное д-ром Таунсендом, плюс все, запланированное покойным Хьюи Лонгом, Эптоном Синклером и утопистами.) Сотни пожилых людей в долине Бьюла столь блаженно уповали на это, что с чрезвычайно довольным видом приходили в магазин скобяных изделий Рэймонда Прай-Дуэла, чтобы закупить новые кухонные плиты, алюминиевые кастрюли и полное оборудование для ванной комнаты с условием оплатить все на другой день после вступления в должность нового президента. Мистер Прайдуэл, заскорузлый старик, республиканец типа Генри Кэбота Лоджа, растерял половину своих клиентов, выставя из магазина этих счастливых претендентов на сказочные состояния, но они продолжали мечтать, и неустанно «пиливший» их Дормэс убеждался, что голые цифры беспомощны перед мечтой... даже перед мечтой о новом автомобиле, о несметном количестве консервированных сосисок, о кинокамерах и о перспективе встать не раньше, чем в семь часов тридцать минут утра.

Так отвечал, например, Альфред Тизра, по прозвищу «Снэйк» (змея), друг служившего у Дормэса Шэда Ледью.

«Снэйк» был шофером грузовика и владельцем такси; он отбывал в свое время заключение за хулиганство и за контрабандную перевозку спиртных напитков. Когда-то он добывал себе пропитание тем, что ловил гремучих змей и медянок в южных районах Новой Англии. При президенте Уиндрипе, насмешливо уверял он Дормэса, у него будет столько денег, что он сразу откроет целую сеть кабаков во всех «сухих» деревнях Вермонта.

Эд Хоулэнд, один из мелких бакалейщиков Форта Бьюла, и Чарли Бетс, продававший мебель и похоронные принадлежности, отчитывали всякого, кто пытался приобрести бакалею, мебель или даже похоронные принадлежности в кредит в счет Уиндрипа. Однако это не мешало им быть всецело за то, чтобы все остальные товары население могло брать в кредит.

Коротышка Арас Дили, молочник, живший со своей беззубой женой и семьей чумазыми детишками в покосившейся грязной хижине у основания горы Террор, с циничной усмешкой

говорил Дормэсу, не раз заносившему ему корзинку с провизией, патроны и папиросы: «Вот что я скажу вам: когда мистер Уиндрип станет президентом, цены на наши продукты будем назначать мы, фермеры, а не вы, городские ловкачи!»

Дормэс не мог его осуждать; Бак Титус в свои пятьдесят лет выглядел на тридцать с лишним, Арас же в свои тридцать четыре казался пятидесятилетним стариком.

Пренеприятный компаньон Лоринды Пайк по ее «Таверне долины Бьюла», некто мистер Ниппер, от которого она надеялась в скором времени избавиться, хвастался тем, как он богат, и в то же время жадно мечтал о том, насколько он станет богаче при Уиндрипе. «Профессор» Штаубмейер цитировал приятные вещи, сказанные Уиндрипом по поводу повышения жалования учителям. Луи Ротенстерн, стремившийся доказать, что сердце у него во всяком случае не еврейское, восторгался Уиндрипом больше всех. И даже Фрэнк Тэзброу, владелец каменоломен, Медэри Кол, владелец мельницы и земельных участков, Р.К. Краули, банкир, несмотря на то, что им едва ли могла улыбаться перспектива повышения подоходного налога, лукаво посмеивались и намекали на то, что Уиндрип – парень более сообразительный, чем многие думают.

Но в Форте Бьюла не было более горячего поборника Бэза Уиндрипа, чем Шэд Ледью.

Дормэс знал, что Шэд умеет при случае покрасоваться и поговорить, что как-то раз ему даже удалось убедить старого мистера Прайдуэла отпустить ему в кредит винтовку стоимостью в двадцать три доллара; что однажды, освободившись от общества угольных ящиков и грязной рабочей одежды, он спел песню «Развеселый Билл, моряк» на вечеринке Древнего и Независимого Ордена Баранов и что у него была достаточно хорошая память, чтобы цитировать, выдавая за свои собственные, глубокомысленные изречения и целые фразы из передовиц херстовских газет. Но, даже зная обо всех этих его необходимых для политической карьеры данных, по которым Шэд лишь немногим уступал самому Бэзу Уиндрипу, Дормэс был поражен, когда увидел, как Шэд распинался, ратуя за Уиндрипа, перед рабочими каменоломни, а затем как-то председательствовал на большом собрании. Говорил Шэд мало, но грубо издевался над сторонниками Тробрайда и Рузвельта.

На митингах, где Шэд не выступал, он был ни с кем несравнимым вышибалой и в этом своем драгоценном качестве получал приглашения на уиндриповские собрания даже в такие отдаленные места, как Берлингтон. Не кто иной, как Шэд – в военной форме, величественно восседая на большой белой крестьянской лошади, – возглавил заключительный уиндриповский парад в Ратленде; солидные деловые люди, даже комиссионеры мануфактурных фирм, нежно называли его «Шэд».

Дормэс только диву давался и не переставал бранить себя за то, что не сумел своевременно оценить этот новоиспеченный образец совершенства, когда, сидя в зале «Американского легиона», слушал рев Шэда:

– Я прекрасно понимаю, что я всего лишь простой рабочий, но есть сорок миллионов таких рабочих, как я, и мы знаем, что сенатор Уиндрип – это первый за многие годы государственный деятель, который, прежде чем думать о политике, думает о нуждах таких вот парней, как мы. Смелее, бэзовцы! Всякие надутые господа твердят вам: не будьте эгоистами! Уолт Тробрайд твердит вам: не будьте эгоистами! Так нет же, будьте эгоистами и голосуйте за единственного человека, желающего дать вам что-то... дать вам что-то!.., а не вырвать у вас последний цент и выжать лишний час работы.

Дормэс про себя застонал: «Ах, Шэд, Шэд! Ведь ты проделываешь все это в часы, за которые я тебе плачу!»

Сисси Джессэп ехала в своем двухместном автомобиле (своем, поскольку она его захватила) с Джулиэном Фоком, прибывшим из Амхерста на субботу и воскресенье, и с Мэлкомом Тэзброу.

– Слушайте, хватит говорить о политике! Уиндрип собирается стать президентом, так неужели же надо терять время на нытье, когда мы можем спуститься к реке и поплавать?! – зывал Мэлком.

– Прежде, чем он станет президентом, мы основательно поборемся с ним. Сегодня

вечером я хочу выступить перед нашими выпускниками... на тему о том, как им уговорить своих родителей голосовать либо за Тробрриджа, либо за Рузвельта, – огрызнулся Джулиан Фок.

– Ха-ха-ха! И родители, конечно, будут до смерти рады сделать все, что вы им прикажете, Джулиэн! Эх, вы, университетчики! Да, кроме того... Неужели вы действительно принимаете всерьез всю эту дурацкую затею? – Мэлком отличался наглой самоуверенностью обладателя крепкой мускулатуры, прилизанных черных волос и собственного мощного автомобиля; он образцово руководил отрядом «черных рубашек» и с презрением смотрел на Джулиэна, который был на год старше его, но бледен и худощав. – А в сущности хорошо, если мы получим Бэза. Он сразу положит конец всему этому радикализму... всей этой болтовне о свободе слова и насмешкам над нашими святынями...

– «Бостон Америкэн» за вторник, страница восьмая, – пробормотала Сисси.

– ...и не удивительно, что вы так боитесь его, Джулиэн! Он, наверно, посадит в каталажку кое-кого из ваших любимых амхерстских профессоров-анархистов, а может быть, и вас, товарищ!

Молодые люди смотрели друг на друга с затаенным бешенством. Но Сисси успокоила их тем, что разбушевалась сама:

– Ради всего святого! Перестанете вы когда-нибудь ссориться или нет? Ах, друзья мои, что за гнусность эти выборы! Просто отвратительно! Нет такого города, нет такой семьи, куда бы это не проникло. Бедный папа! Он погряз в этом с головой!

XII

Я не успокоюсь до тех пор, пока страна наша не станет производить все, что ей нужно, – даже кофе, какао и каучук – и, таким образом, наши доллары будут оставаться дома. Если мы сумеем сделать это и одновременно так развить туризм, чтобы со всего мира съезжались иностранцы посмотреть на наши чудеса – Большой Каньон, Глетчер, Йеллоустонский и другие парки, красивейшие отели Чикаго и т. д. – и оставляли у нас свои деньги, то мы получим такой торговый баланс, которого с избытком хватит на осуществление моей часто подвергавшейся критике, но тем не менее абсолютно здоровой идеи о том, чтобы обеспечить каждой семье от 3000 до 5 000 долларов в год, я имею в виду каждую, действительно американскую семью. Великая мечта – вот что нам нужно, а не эта бессмысленная потеря времени в Женеве, болтовня в Лугано или где бы то ни было.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

День выборов приходился на вторник, 3 ноября, а в воскресенье вечером, 1 ноября, сенатор Уиндрик разыграл финал своей предвыборной кампании на массовом митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Зал, включая и стоячие места, вмещал до девятнадцати тысяч человек, билеты, стоившие от пятидесяти центов до пяти долларов, были раскуплены уже за неделю, и спекулянты перепродавали их потом по цене от одного до двадцати долларов.

Дормэсу удалось достать один-единственный билет у знакомого сотрудника газеты Херста – из всей нью-йоркской прессы только газеты Херста поддерживали Уиндрипа, – и первого ноября после обеда он выехал в Нью-Йорк; впервые за последние три года ему предстояло проехать триста миль.

В Вермонте было холодно, выпал ранний снег, но белые сугробы так спокойно лежали на земле, воздух был настолько чист и ясен, что мир казался погруженным в молчание серебряным карнавалом. Даже в безлунную ночь от снега, от самой земли исходило бледное сияние, и звезды были, как капли замерзшей ртути.

Выйдя в шесть часов утра из здания Центрального вокзала, вслед за носильщиком, который нес его потертый кожаный чемодан, Дормэс сразу попал под грязную капель холодных помоев из кухонной раковины неба. Знаменитые небоскребы, которые он надеялся увидеть на 42-й улице, стояли мертвые, укутанные в саван рваного тумана. Что касается толпы, которая с жестоким безразличием неслась мимо, – каждую секунду перед глазами мелькали новые равнодушные лица, – то провинциалу из Форта Бьюла не могло не показаться, что Нью-Йорк собрал сюда, под моросящий дождь, жителей со всего штата или что где-то случился большой пожар.

Он благоразумно намеревался воспользоваться метро – в городе вавилонских садов состоятельный захолустный житель чувствует себя нищим! Он даже вспомнил, что в Манхэттене еще не вывелись пятицентовые троллейбусы, в которых провинциал может с интересом разглядывать моряков, поэтов и женщин в экзотических шалях из степей Казахстана. Носильщику он сказал с видом многоопытного путешественника:

– Я думаю ехать троллейбусом, тут всего несколько кварталов.

Но затем, оглушенный, ошеломленный и стиснутый толпой, промокший и усталый, он укрылся в такси и тут же пожалел, что сделал это, когда увидел скользкую серую мостовую и когда его такси оказалось заклиненным в массе других машин, воняющих бензином и бешено гудящих, чтобы выбраться из этой мешанины – из беспорядочного стада баранов-роботов, блеющих от страха механическими легкими в сто лошадиных сил.

Он мучительно колебался, прежде чем снова выйти на улицу из своего маленького отеля на Вест-Фортис, когда же наконец решился и очутился в толпе горластых продавщиц, испитых хористок и смазливых молодчиков с Бродвея, то, шагая в калошах, с зонтиком, навязанным ему Эммой, почувствовал себя настоящим Каспаром Милкетостом.

Прежде всего ему бросилось в глаза множество каких-то военизированных личностей без револьверов и винтовок, но облаченных в форму наподобие американских кавалеристов 1870 года: голубые фуражки набекрень, синие френчи, голубые с желтыми лампасами брюки, заправленные в черные резиновые краги у рядовых, а у командного состава – в сапоги из блестящей черной кожи. У каждого на правой стороне воротника имелись буквы ММ, а на левой – пятиконечная звезда. Личностей этих было много; они шагали с дерзким видом, расталкивая штатских и прокладывая себе дорогу в толпе, а на такую мелкоту, как Дормэс, взирали с холодной наглостью.

Вдруг он понял.

Эти юные кондотьеры – минитмены, личные войска Берзелиоса Уиндрипа, о которых Дормэс печатал тревожные сообщения в своей газете. Он был испуган и смущен, увидев их теперь воочию: слова превратились в грубую, плоть.

За три недели до этого Уиндрип объявил, что полковник Дьюи Хэйк организовал специально на время выборной кампании общенациональную лигу уиндриповских клубов, члены которых именовали себя минитменами. Вполне возможно, что эта лига была основана еще несколько месяцев назад, так как насчитывала уже триста – четыреста тысяч членов. Дормэс опасался, что ММ могут стать постоянной организацией, более страшной, чем Ку-Клукс-Клан.

Форма их напоминала прежнюю Америку – Америку Колд-Харбора и отрядов, дравшихся с индейцами под предводительством Майлза и Кастера. их эмблемой, их свастикой (в этом Дормэс усмотрел коварство и мистицизм Ли Сарасона) была пятиконечная звезда, так как звезда на американском флаге была пятиконечной, в то время как, мол, звезда на советском флаге и религиозная эмблема евреев – щит Давида – были шестиконечными.

Тот факт, что советская звезда на самом деле была тоже пятиконечной, не был никем замечен в эти волнующие дни возрождения. Во всяком случае, это была удачная идея, чтобы звезда бросала вызов одновременно и евреям и большевикам, – так что намерения ММ были хорошие, даже если их символика хромала.

Но самое замечательное в этих ММ было то, что они носили не цветные рубашки, а просто белые на параде и защитные – в другое время, так что Бэз Уиндрип мог частенько

громыхать по этому поводу: «Черные рубашки»? «Коричневые рубашки»? «Красные рубашки»? Может быть, еще рубашки в крапинку?! Все это – слинявшие мундиры европейской тирании. О нет! Минитмены – не фашисты и не коммунисты, а просто демократы – рыцари, паладины прав забытых людей... ударные отряды Свободы!

Дормэс пообедал в китайском ресторанчике – обычная слабость, которую он разрешал себе, бывая в большом городе один, без Эммы, считавшей, что китайские блюда – это просто жареные упаковочные стружки с мучной подливкой. Он на время забыл про минитменов и с удовольствием рассматривал позолоченную деревянную резьбу, восьмиугольные фонари с нарисованными на них игрушечными китайскими крестьянами, переходящими через легкие мостики, и посетителей – двух мужчин и двух женщин, у которых был вид государственных преступников и которые весь обед сдержанно переругивались.

Направляясь к Мэдисон-сквер-гарден, где должно было состояться решающее уиндриповское собрание, Дормэс попал в водоворот. Казалось, вся страна ринулась в том же направлении. Он не мог достать такси и, пройдя в шумном людском потоке кварталов четырнадцать до Мэдисон-сквер-гарден, убедился, что толпа настроена весьма кровожадно.

Восьмая авеню со множеством мелких лавчонок была забита унылыми, серыми людьми, которые были, однако, в этот вечер опьянены гашишем надежды. Они запрудили тротуары и почти всю мостовую, так что обозлившиеся автомобили с трудом протискивались сквозь толпу; водоворот подхватывал и кружил сердитых полисменов, а когда те пытались принять надменный вид, их осыпали насмешками бойкие продавщицы.

Сквозь все это столпотворение на глазах у Дормэса проталкивался летучий отряд минитменов под предводительством старшего – как Дормэс впоследствии научился распознавать – в чине корнета. Теперь, когда они не были на посту, вид у них был совсем не воинственный, они хохотали, напевали «Бэз поехал в Вашингтон», напоминая Дормэсу немного подвыпившую компанию студентов захудалого колледжа, которые выиграла футбольный матч. Он не раз вспоминал впоследствии это свое впечатление, когда противники минитменов по всей стране насмешливо называли их «Микки-Маус» и «Минни».

Какой-то довольно потрепанный, но сердитый старик загородил им дорогу и пронзительно завопил: «К черту Бэза! Да здравствует Рузвельт!»

Минитмены пришли в ярость. Командовавший ими корнет, верзила еще более уродливый, чем Шэд Ледью, ударил старика по щеке, и тот, застонав, упал. Тогда, откуда ни возьмись, перед корнетом вырос человек в форме младшего офицера флота, рослый, ухмыляющийся молодец. Офицер громовым голосом заревел: «Эх, вы, кучка оловянных солдатиков!.. Вдвядтером на одного дедушку!! Что ж, силы равные...»

Корнет размахнулся; запрещенным ударом в живот моряк сбил корнета с ног, в то же мгновение остальные восемь минитменов, как воробьи вслед за ястребом, бросились на офицера – и тот грохнулся с мертвенно-бледным лицом, обливаясь кровью.

Все восемь били его по голове толстыми походными сапогами. Они продолжали бить его и тогда, когда Дормэс выбрался из толпы, вконец измученный, разбитый.

Но он отвернулся не настолько быстро, чтобы не заметить, как один из минитменов, с девичьим лицом, яркими губами и глазами лани, приник к распростертому корнету и, всхлипывая, стал робко поглаживать его мясистые щеки пальцами, нежными, как лепестки гардении.

Прежде чем Дормэс добрался до места, ему довелось еще стать свидетелем многочисленных перебранок, нескольких мелких потасовок и одного сражения.

За квартал до Мэдисон-сквер-гарден человек тридцать минитменов, возглавляемые батальонным командиром – нечто среднее между капитаном и майором, – налетели на уличный митинг коммунистов. Девушка в хаки, еврейка, с непокрытыми, мокрыми от дождя волосами, убеждала, взобравшись на тележку:

– Друзья! Хватит вам жевать старую жвачку насчет сочувствия. Присоединяйтесь к нам! Скорее! Теперь дело идет о жизни и смерти!

В двадцати футах от коммунистов человек средних лет, похожий на бухгалтера, выступал в защиту джефферсоновской партии, цитируя доклад президента Рузвельта, и обзывал коммунистов врагами Америки, болтунами и сумасбродами. Половину его слушателей составляли лица, которые могли быть полноправными избирателями; другую половину – как и повсюду в этот вечер трагической фиесты – составляли подростки в дешевеньких костюмах, стрелявшие у соседей сигареты.

Тридцать минитменов весело ринулись на коммунистов. Батальонный командир ударил говорившую девушку по спине и стащил ее с тачки. Его подчиненные действовали кулаками и дубинками. Дормэс, почувствовав еще большее отвращение и большую беспомощность, чем раньше, услышал, как треснули дубинкой по виску худощавого интеллигента-еврея.

Тогда неожиданно голос оратора джефферсоновской партии перешел на крик: «Эй, вы! Неужели же мы дадим этим дьяволам избивать наших друзей коммунистов – да, да, теперь друзей, клянусь вам!» С этими словами этот тщедушный книжный червь, соскочив с ящика, бросился на толстого Микки-Мауса, сбил его с ног, завладел его дубинкой, хватил заодно другого минитмена по ногам, затем вскочил и бросился на нападавших, как он бросился бы, подумал Дормэс, на таблицу со статистическими материалами о показателях жирности молока, продающегося в 97,7 процента магазинов по авеню Б.

Сначала только с полдюжины коммунистов противостояли минитменам, прижавшись спиной к стене гаража. Но теперь к ним присоединились человек пятьдесят своих и человек пятьдесят джефферсоновцев; пустив в ход камни, зонтики и толстые тома «Социологии», – сторонники Бела Куна плечом к плечу со сторонниками профессора Джона Дьюи, – они стали теснить взбешенных минитменов до тех пор, пока в дело не вмешался полицейский отряд, который, взяв под защиту минитменов, арестовал оратора-коммунистку и оратора-джефферсоновца.

Дормэсу часто приходилось придумывать «шапки» для отчетов о «состязаниях на приз по боксу в Мэдисон-сквер-гарден», но он прекрасно знал, что то место, куда он направлялся, не имело ничего общего с Мэдисон-сквером, до которого надо было ехать целый день на автобусе, знал, что это совсем не сад, что боксеры состязаются здесь не на приз, а за то, чтобы урвать себе долю в деле, и что многие вовсе не выступают на ринге.

Когда Дормэс в полном изнеможении дотащился до громадного здания, он нашел его окруженным минитменами, стоявшими плотным кольцом с тяжелыми дубинками в руках; у всех входов, вдоль всех проходов выстроились минитмены, их офицеры суетились, отдавая шепотом какие-то приказания и разнося тревожные слухи, точно испуганные телята на бойне.

В последние недели голодные шахтеры, обездоленные фермеры, фабричные рабочие штата Каролина приветствовали сенатора Уиндрипа, махая худыми руками под газолиновыми факелами. Уиндрипу предстояло встретиться тут не с безработными, которым были не по карману пятидесятицентовые билеты, а с перепуганными мелкими торговцами Нью-Йорка, которые, хоть и ставили себя несравненно выше копающихся в земле земледельцев и ползающих в рудниках шахтеров, дошли, как и те, до последней степени отчаяния. Густая масса людей, горделиво восседавших на своих местах или стоявших друг за другом в проходах, ни в какой мере не показалась Дормэсу романтической: все это были люди, для которых мир ограничивался портновским утюгом, лотком картофельного салата, пуговицами и кнопками, налогами на владельцев такси, а дом – детскими пеленками, тупыми безопасными бритвами и ужасающей дороговизной мясных вырезок и тощих цыплят. Среди них попадались весьма довольные собой мелкие чиновники, почтальоны и управляющие небольшими доходными домами, в претендующих на изящество готовых костюмах с вышитыми фуляровыми галстуками. Люди эти хвастливо говорили: «Не могу понять, почему все эти шалопаи переходят на пособие. Я не такой уж гений, но, позвольте вам сказать, что с

1929 года у меня никогда не было меньше двух тысяч долларов годового дохода».

Манхэттенские крестьяне. Добродушные, трудолюбивые люди, заботящиеся о стариках, готовые на что угодно, только бы отделаться от страшной угрозы безработицы.

Материал, чрезвычайно легко воспламеняющийся в руках любого демагога.

Историческое собрание началось чрезвычайно скучно. Военный оркестр исполнил баркаролу из «Сказок Гофмана», неизвестно для чего и без всякого подъема. Преподобный доктор Гендрик ван Лоллоп, из лютеранской церкви св. Аполога, прочитал молитву, но чувствовалось, что она не дошла по назначению. Сенатор Порквуд выступил с диссертацией о сенаторе Уиндрипе, состоявшей наполовину из апостольского прославления Бэза и наполовину из «э-э-э», которыми Порквуд всегда пересыпал свою речь.

А самого Уиндрипа нигде не было видно.

Полковник Дьюи Хэйк, выдвинувший кандидатуру Бэза на съезде в Кливленде, выступил гораздо удачнее. Он начал с шуток, потом рассказал анекдот о том, как верный почтовый голубь во время мировой войны гораздо лучше многих солдат разобрался в причинах, по которым американцы сражались в Европе за Францию, против Германии. Связь между этим орнитологическим героем и добродетелями сенатора Уиндрипа была не совсем ясной, но после выступления сенатора Порквуда аудитория оказала снисхождение армейскому остроумию полковника.

Дормэс заметил, что полковник Хэйк не просто перескакивает от одной мысли к другой, а что он подбирается к чему-то важному и решительному. Голос его стал более настойчивым. Он перешел непосредственно к Уиндрипу:

– Мой друг – единственный человек, дерзнувший бросить вызов финансовым акулам, человек, большое и простое сердце которого, как сердце Авраама Линкольна, печется о горе каждого обыкновенного человека.

Затем, резко взмахнув рукой по направлению к боковому входу, Хэйк крикнул:

– А вот и он! Друзья мои, вот – Бэз Уиндрип. Оркестр исполнил «Кэмпбеллцы идут». Отряд минитменов, щеголеватых, как конногвардейцы, неся пики со звездными флажками, шумно влился в огромную раковину зала, а за ним проковылял Берзелиос Уиндрип, в потертом синем костюме, нервно комкая в руках пропотевшую мягкую шляпу, сгорбившийся и усталый. Все повскакали с мест, толкая друг друга, стараясь рассмотреть своего освободителя; грянули аплодисменты, как орудейный залп на рассвете.

Уиндрип начал довольно прозаически. На него было жалко смотреть – до того неуклюже взобрался он по ступенькам трибуны и прошел на середину. Потом остановился, посмотрел осовелым взглядом на слушателей и начал монотонно кричать:

– В первый раз, когда я приехал в Нью-Йорк, я был простаком... Не смейтесь, может, я и до сих пор им остался. Но я уже был тогда сенатором Соединенных Штатов, и дома, на родине, со мной так носились, что я вообразил себя бог весть какой важной птицей. Я решил, что мое имя так же известно всем, как сигареты «Кэмел», или как Аль Капоне, или «Кастория, которой требуют дети». Но вот по дороге в Вашингтон я приехал в Нью-Йорк, и, можете себе представить, я просидел в вестибюле отеля три дня и единственный человек, который заговорил со мной, оказался сыщиком этого отеля. Когда он обратился ко мне, я страшно обрадовался: я думал, он хочет сказать мне, что весь город в восторге от моего посещения. Но он только хотел узнать, остановился ли я в этом отеле и имею ли право так долго занимать кресло в вестибюле. И сегодня, друзья, я так же боюсь этого города, как боялся тогда.

И смех и аплодисменты были вполне удовлетворительны, но гордые избиратели были разочарованы его тягучей речью, его усталой покорностью и смирением. В душе Дормэса затрепетала надежда: «Может быть, еще и не выберут».

Уиндрип изложил в общих чертах свою, достаточно всем известную программу, причем Дормэс с интересом отметил, что он неправильно цитировал свои собственные цифровые данные из пункта пятого, касающегося ограничения частных состояний.

Затем пошли напыщенные фразы на общие темы – набор слов, в котором воздавалось должное правосудию, свободе, равенству, порядку, процветанию, патриотизму и многим другим благородным, но весьма туманным понятиям.

Дормэсу все это показалось скучным, но затем он и сам не заметил, как стал слушать взволнованно и внимательно.

В напряженности, с которой Уиндрип смотрел на свою аудиторию, медленно переводя взгляд с самого высокого и отдаленного места на самое близкое, было что-то, заставлявшее каждого думать, что он обращается к нему лично, непосредственно и исключительно, что он готов каждого заключить в свое сердце, что он говорит им чистую правду, открывает непререкаемые и грозные факты, которые были от них утаены.

– Говорят, что я стремлюсь к деньгам, к власти! Но да будет вам известно, что я отклонил здесь, в Нью-Йорке, предложения некоторых адвокатских контор, которые дали бы мне в три раза больше денег, чем президентство. А что касается власти... Что же, ведь президент – это слуга всех граждан в стране, и не только порядочных и деликатных людей, но и всяких чудаков, надоедающих телеграммами, телефонными звонками и письмами. И тем не менее это верно, совершенно верно, что я стремлюсь к власти, к величайшей власти, но не для себя, нет, для вас я хочу добиться власти, чтобы с вашего согласия сокрушить евреев-финансистов, поработивших вас, заставляющих вас работать на себя сверх сил, жадных банкиров, – да они и не все евреи, и бесчестных рабочих лидеров, равно как и бесчестных хозяев, а самое главное – тайных шпионов Москвы, которые хотят заставить вас лизать сапоги их самозванных тиранов, управляющих не с любовью и преданностью в сердце, как хочу править я, а с помощью страшной силы кнута, тюрем и пулеметов!

После этого он нарисовал картину демократического рая, когда, разрушив старую политическую машину, каждый самый скромный рабочий станет королем и правителем, когда облеченные властью представители будут выбираться из среды самих же рабочих, причем они не превратятся в бездушных чиновников, как бывало прежде, стоило им только добраться до Вашингтона, а будут постоянно радеть об общественном благе благодаря бдительному надзору окрепшей исполнительной власти.

В первую минуту это прозвучало почти убедительно.

Великолепный актер, Бэз Уиндрип говорил страстно, но не впадал в смешное неистовство. Он не делал излишних жестов; он только, как Джин Дебс, протягивал вперед худой указательный палец, который словно бы проникал в сердце каждого слушателя и притягивал его. Его безумные глаза, большие, пристальные, трагические глаза, волновали и пугали, а его голос, то громовой, то смиренно умоляющий, успокаивал.

Было так ясно, что он честный и милостивый вождь; человек, знакомый с горем и бедой.

Дормэс удивлялся: «Черт подери! Да он совсем не плохой парень, когда увидишь его поближе. И сердечный. У меня такое чувство, как будто я хорошо продел вечер с Баком и Пирфайксом. Что, если Бэз прав? Что, если, несмотря на демагогическую кашу, которой ему приходится кормить этих болванов, он прав, утверждая, что только он, а никак не Троубридж или Рузвельт, может сломить власть собственников? А эти минитмены, эти его сторонники – ох, и гнусная же компания попалась мне тогда на улице! – и все же большинство из них очень милые, хорошие юноши. Когда видишь Бэза и слушаешь его, как-то невольно удивляешься невольно задумываешься!»

Но уже час спустя, очнувшись от транса, Дормэс никак не мог вспомнить, о чем же говорил Уиндрип.

Дормэс был так уверен в успехе Уиндрипа, что во вторник вечером не остался в редакции «Информера» ждать поступления последних известий о выборах. Но если он не стал ждать сведений о выборах, то они все же дошли до него.

После полуночи мимо его дома по грязному снегу торжествующе промаршировала

основательно подвыпившая толпа демонстрантов с факелами: они распевали на мотив «Янки Дудль» новые слова, только что написанные миссис Аделаидой Тарр-Гиммич:

Готовьтесь Бэзу дать ответ.
Неверные ему
Возненавидят белый свет –
Мы их швырнем в тюрьму.

Хор

Славься! Славься! Славься, Бэз,
Заботливый наш босс!
Победа! Нас не поддержал
Лишь самый жалкий пес.

Любой ММ получит кнут
Предателей стегать.
Коль анти-Бэзы удерут,
Мы их найдем опять.

Слово «анти-Бэз» пустила в оборот миссис Гиммич, однако, вероятнее всего, его придумал доктор Гектор Макгоблин, и оно должно было получить широкое распространение среди патриотически настроенных дам как термин, выражающий неслыханное вероломство по отношению к государству, за которое следовало немедленно расстреливать. Но это выражение, как и великолепное словечко «Йонки», придуманное Гиммич для солдат экспедиционных войск, не привилось.

Дормэсу и Сисси показалось, что среди одетых по-зимнему участников демонстрации они узнали Шэда Ледью, Араса Дили, многодетного поселенца с горы Террор, торговца мебелью Чарли Бетса и Тони Мольяни, продавца фруктов и самого пылкого проповедника итальянского фашизма в центральном Вермонте.

И хотя при неверном свете факелов ничего нельзя было с достоверностью разглядеть, Дормэсу показалось, что одиноко следовавший за процессией большой автомобиль принадлежал его соседу Фрэнсису Тэзброу.

Наутро в редакции «Информера» Дормэс узнал о сравнительно небольших повреждениях, причиненных торжествующими «норманнами», – они всего-навсего повалили несколько уличных уборных, сорвали и сожгли вывеску Луи Ротенстерна и изрядно поколотили Клиффорда Литтла, часовщика, тщедушного, кудрявого молодого человека, которого Шэд Ледью презирал за то, что он устраивал любительские спектакли и играл на органе в церкви мистера Фока.

В этот вечер Дормэс нашел у себя на крыльце записку – красным мелком на оберточной бумаге было написано:

«Мы тебе пропишем, как следует, Дори, голубчик, если ты не поклонись в ножки минитменам, Лиге, Шефу и мне.

Друг».

Так Дормэс впервые услышал слово «шеф», как американский вариант «фюрера» или «главы правительства» в применении к мистеру Уиндрипу.

Вскоре слово это было официально узаконено.

Дормэс сжег написанное красным предостережение, не рассказав о нем своим. Но ночью, то и дело просыпаясь, он вспоминал о нем без особого удовольствия.

XIII

И когда придет для меня время удалиться на покой, я построю себе дом с верандой в современном стиле, в каком-нибудь красивом укромном местечке, но не на Комо и не на каком-либо другом знаменитом греческом острове, – уж будьте покойны, – а где-нибудь в уголке Флориды, Калифорнии, Санта-Фе и т. п., и всецело посвящу свои дни чтению классиков: Лонгфелло, Джеймса Уиткомба Райли, лорда Маколея, Генри Ван Дейка, Элберта Хаббарда, Платона, Гайава-ты и т. д. Некоторые из моих друзей смеются надо мной за это, но я всегда культивировал в себе вкус к лучшим образцам литературы. Я унаследовал эту склонность от моей матери, равно как и все то хорошее, что многие по своей доброте ставят мне в заслугу.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

Как ни готов был Дормэс к избранию Уиндрипа, он воспринял это событие как кончину друга, которую давно и со страхом ждали.

«Что ж?! К черту эту страну, раз она такая. Все годы я работал, никогда я не стремился к тому, чтобы состоять во всех этих комиссиях, советах и благотворительных организациях. Не оказались ли теперь все они в дураках? Я же всегда мечтал укрыться в башне из слоновой кости – или пусть хоть целлулоидной, под слоновую кость, – чтобы прочитать все, что мне за всю жизнь не удалось прочесть».

Так думал Дормэс в конце ноября.

И он действительно попробовал это сделать и несколько дней наслаждался чтением, никого не видя, кроме своей семьи, Лоринды, Бака Титуса и отца Пирфайкса. Впрочем, все те «классики», до которых он никак не мог раньше добраться, не привели его в особый восторг; главным образом его увлекли знакомые с юности вещи: «Айвенго», «Гекльберри Финн», «Сон в летнюю ночь», «Буря», «L'Allegro», «Моби Дик», «Земной Рай», «Канун святой Агнесы», «Королевские идиллии», многие вещи Суинберна, «Гордость и предрассудки», «Верую» Медичи и «Ярмарка тщеславия».

В своем недостаточно критическом почитании всякой книги, о которой ему приходилось слышать до тридцатилетнего возраста, он, пожалуй, не слишком отличался от вновь избранного президента Уиндрипа... Все американцы, чьи предки в течение двух-трех поколений жили в этой стране, не так уж резко отличаются друг от друга.

Только в одном бегство Дормэса в литературу полностью потерпело провал. Он попытался восстановить свои познания в латыни, но не мог теперь, без поощрения учителя, поверить, что все эти идиотские mensa, mensae, mensae, mensam, mensa, то есть «стол, стола, столу» и т. д., приведут его снова, как когда-то, к сладостной безмятежности Вергилия и Горация.

А затем он увидел, что и вся затея не удалась.

Чтение было очень хорошим занятием, приятным, дающим удовлетворение, но его все время мучила совесть – ведь он сбежал в башню из слоновой кости. Слишком много лет отдал он общественной жизни, она стала его привычкой. Он не мог быть «не у дел» и с каждым днем становился все раздражительнее, по мере того как Уиндрип еще до своего вступления в должность стал диктовать стране свою волю.

Партия Бэза, ввиду перехода многих в лагерь джефферсоновцев, не имела большинства в Конгрессе. Дормэс получил из Вашингтона секретное сообщение, что Уиндрип пытается, прибегая к подкупу, лести и шантажу, сломить сопротивление оппозиционных членов Конгресса. Вновь избранный президент готов применить противозаконные меры воздействия, и, без сомнения, Уиндрип, пообещав неслыханные милости и покровительство, уже переманил кое-кого на свою сторону. Пять конгрессменов-джефферсоновцев отказались от своих мест в Конгрессе. Один исчез при весьма странных обстоятельствах, и после его

бегства по следам его поползли слухи о хищениях и растратах. И каждая новая победа Уиндрипа все больше тревожила по всей стране всех благонамеренных, уединившихся Дормэсов.

В течение всего периода депрессии начиная с 1929 года Дормэса не покидало чувство какой-то неуверенности, смущения, чувство бесполезности и тщетности всяких попыток предпринять что-либо более серьезное, чем бритье и завтрак; и так чувствовали себя многие американцы. Он больше не мог строить планы Для себя и для своих близких, как граждане этой некогда неустроенной страны неизменно делали начиная с 1620 года.

И в самом деле, всю свою жизнь они только и делали, что строили планы. Периоды депрессии были лишь периодическими бурями, вслед за которыми неизменно показывалось солнце; капитализм и парламентская система правления были вечными учреждениями, которые неизменно совершенствовались благодаря разумному голосованию Честных Граждан.

Дед Дормэса, Кэлвин, ветеран Гражданской войны, скудно оплачиваемый, ограниченный священник-конгрегационалист, еще строил планы: «Мой сын Лорен получит богословское образование, и тогда, лет через пятнадцать – двадцать, мы, наверно, сможем построить себе хороший новый дом». Это придавало смысл его работе, у него в жизни была цель.

Отец Дормэса, Лорен, давал клятву: «Пусть я вынужден немного экономить на книгах, а может, и отказаться от такой роскоши, как есть мясо четыре раза в неделю – тем более, что это вредно для пищеварения, – зато мой сын Дормэс получит университетское образование, а когда он станет, как ему хочется, публицистом, я смогу еще, быть может, годик-другой помогать ему. Зато потом я не теряю надежды – о, всего каких-нибудь пять-шесть лет спустя! – купить полное иллюстрированное собрание сочинений Диккенса; это, конечно, роскошь, но зато моим внукам достанется вечное сокровище».

А Дормэс Джессэп уже не мог строить планы вроде: «Прежде чем Сисси займется архитектурой, я пошлю ее в школу Смита». Либо: «Если Джулиэн Фок и Сисси поженятся и останутся в Форте, я отдам им юго-западный участок, и когда-нибудь, лет через пятнадцать, здесь, может быть, снова будет полным-полно славных ребятишек».

– Нет, лет через пятнадцать, – вздохнул он, – Сисси, может, будет бегать с подносом в ресторанчике для рабочих, «разнося жратву», а Джулиэн, возможно, окажется в концентрационном лагере.

Традиция Горацио Альджера – от лохмотьев к богатству Рокфеллера – исчезла из Америки.

Смешно и глупо было на что-то надеяться, что-то пытаться предвидеть, отказываться от отдыха ради бесконечной работы, а уж что до того, чтобы копить деньги, так это же просто идиотство!

А для редактора газеты, для человека, который должен не хуже энциклопедии знать все, что касается отечественной и всемирной истории, географии, экономики, политики, литературы и методов игры в футбол, было просто невыносимо ничего не знать наверняка.

Если года два назад над экономистами подшучивали, что они «ни черта не смыслят в том, что происходит», то теперь фраза эта звучала как неоспоримая истина в применении почти ко всякому экономисту. Когда-то Дормэс, человек достаточно скромный, полагал, что обладает некоторыми познаниями в области финансов, налоговой системы, золотого стандарта, сельскохозяйственного экспорта, и с улыбкой предрекал повсюду, что либеральный капитализм самым идиллическим образом приведет к государственному социализму, при котором государственная собственность на рудники, железные дороги и гидроэлектростанции настолько урегулирует неравенство доходов, что любой лев в образе рабочего-металлиста охотно ляжет рядом с ягненком в образе подрядчика и все тюрьмы и туберкулезные санатории будут пустовать. Теперь он понимал, что не знал самого главного,

и, подобно одинокому монаху, ошеломленному сознанием своей греховности, горевал: «Если б я только больше знал!.. Если б я только умел запоминать статистические данные!»

Появление на политической арене, а затем и исчезновение с нее Национального управления по трудоустройству, Федеральной Чрезвычайной администрации помощи и Управления общественных работ убедили Дормэса, что существует четыре категории людей, ничего не смыслящих в управлении страной, а именно: все власти в Вашингтоне; все граждане, много говорящие или пишущие о политике; все набравшие в рот воды и окончательно обалдевшие недотроги и Дормэс Джессэп. – Зато теперь, – сказал он, – после прихода Бэза к власти, все снова станет просто и ясно – он будет управлять страной, как собственным именем.

Джулиэн Фок, теперь уже студент второго курса университета в Амхерсте, приехавший домой на рождественские каникулы, заглянул в редакцию «Информера» и попросил Дормэса подвезти его до обеда домой.

Он называл Дормэса «сэр» и, по-видимому, не считал его смешным ископаемым. Дормэсу это нравилось.

По пути они остановились заправиться бензином в гараже Джона Полликопа, пламенного социал-демократа; обслуживал их Карл Паскаль, некогда работавший в каменоломне Тэзброу, в прошлом вожак забастовщиков, некогда сидевший в окружной тюрьме как политический заключенный по сомнительному обвинению в подстрекательстве к мятежу, но всегда бывший образцом правоверного коммуниста.

Паскаль был худой, но мускулистый; продолговатое насмешливое лицо этого хорошего механика так потемнело от смазки, что кожа над глазами и под ними казалась белой, как брюхо рыбы, и от этого глаза его – живые и темные цыганские глаза – казались еще больше... Пантера, прикованная к тачке с углем.

– Ну, так как? Что вы думаете делать после этих выборов? – сказал Дормэс. – Глупый вопрос, конечно! Я думаю, никто из нас, неугомонных скандалистов, не станет особенно распространяться о том, что он собирается предпринять после января, когда Бэз наложит на нас лапу. – Притаиться, что ли?

– Я собираюсь притаиться так, как никогда прежде. Не сомневайтесь! Однако, может быть, теперь, когда фашизм начинает допекать людей, у нас появится несколько коммунистических ячеек. До сих пор моя пропаганда не имела особенного успеха, но теперь посмотрим! – ликовал Паскаль.

– Да вы, кажется, не очень расстроены этими выборами, – с удивлением заметил Дормэс.

А Джулиэн заметил:

– Похоже, вас это прямо веселит!

– Расстроен? С какой стати, мистер Джессэп? Я думал, вы лучше знаете революционную тактику, судя по тому, как вы поддерживали нас во время забастовки на каменоломне, хотя на самом деле вы законченный тип мелкого буржуа. Расстроен? Но почему же? Разве вы не понимаете, что если бы коммунисты даже платили за это, мы не могли бы получить ничего лучшего для своих целей, чем избрание такого архиплутократа и воинствующего диктатора, как Бэз Уиндрик! Вот увидите! Он добьется того, что все будут крайне недовольны. Но сделать голыми руками против вооруженных войск никто ничего не сможет. Тогда он завопит о войне, и миллионы людей получат в руки оружие и продовольствие – и для революции все готово! Ура Бэзу и Иоанну Прэнгу, крестителю!

– Право, Карл, это очень странно. Видно, вы всерьез верите в коммунизм! – удивился молодой Джулиэн. – Верите?

– А почему вы не спрашиваете вашего друга, отца Пирфайкса, верит ли он в деву Марию?

– Но вы ведь любите Америку, и вы же не фанатик, Карл. Я помню, когда я был еще мальчонкой лет десяти, а вы – вам, по-моему, тогда было лет 25-26, – вы катались вместе с

нами и весело орали, и вы сделали мне лыжную палку.

– Конечно, я люблю Америку. Я приехал сюда, когда мне было два года, родился я в Германии, хотя мои родные не были бошами – отец у меня был француз, а мать венгерка из Сербии. (Таким образом, можно считать, что я стопроцентный американец!) Я думаю, мы во многих отношениях ушли вперед по сравнению со Старым Светом. К примеру, там я должен был бы называть вас, Джулиэн, «Mein Herr»⁹, или Ваше превосходительство, или еще как-нибудь по-дурацки, а вы бы говорили мне: «Эй, как вас там, Паскаль», а мистер Джессэп, о, господи, он был бы «Commendatore»¹⁰ или «Herr Doktor»¹¹! О нет, мне здесь нравится. Здесь есть признаки возможной в будущем демократии. Но что меня выводит из себя... Вовсе не затасканный тезис уличных ораторов, что одна десятая одного процента населения, «верхушка», имеет, мол, общий доход, равный доходу 42 процентов остального населения. Такие цифры слишком астрономичны. Они ровно ничего не говорят человеку, глаза и нос которого всегда обращены к коробке передач, человеку, который видит звезды лишь после девяти часов – и то изредка. А вот что мне действительно не дает покоя, так это тот факт, что даже до кризиса, в те времена, которые вы называли процветанием, 7 процентов всех семей в стране зарабатывали всего 500 долларов в год или того меньше, причем не забудьте, что это не были безработные, сидящие на пособии; это были парни, которые еще имели честь заниматься честным трудом.

Пятьсот долларов в год – это десять долларов в неделю, а это означает одну маленькую грязную комнату для семьи из четырех человек! Это означает 5 долларов в неделю на все питание, то есть по восемнадцать центов в день на человека! Даже в самых паршивых тюрьмах полагается больше! А великолепный остаток в 2,5 доллара в неделю означает девять центов в день на человека на одежду, страхование, транспорт, оплату врача, дантиста и, господи боже мой, на развлечения – развлечения! А уж то, что останется от этих девяти центов в день, люди могут транжирить на автомобили Форда и автожиры, а когда они почувствуют, что совсем уж устали, они могут искупаться в бассейне океанского лайнера «Нормандия»!

И это семь процентов всех счастливых американских семей, глава которых имел работу!

Джулиэн помолчал, потом прошептал:

– Когда попадаешь в колледж, начинаешь рассуждать на экономические темы, как все: чисто теоретически, и всем сочувствовать, но если твои собственные дети должны жить на восемнадцать центов в день, тут, по-моему, сразу станешь экстремистом!

– А какой процент занимающихся принудительным трудом в ваших русских лесозаготовительных лагерях и на сибирских рудниках получает больше этого? огрызнулся Дормэс.

– Ха! Вздор, чепуха! Все те же старые, избитые возражения всякому коммунисту. То же самое происходило двадцать лет назад, когда болваны думали, что могут сокрушить любого социалиста, с хихиканьем заявив: «Если все деньги разделить поровну, то через пять лет ловкачи-дельцы снова приберут их к рукам». Может быть, и нужен какой-то общий *soup de grace*¹², вроде того, что был в России, чтобы покончить со всеми, кто защищает Америку. И, кроме того, – Карл Паскаль загорелся националистическим жаром, – мы, американцы, совсем не то, что эти терпеливые русские крестьяне! Когда у нас будет коммунизм, мы сумеем все

⁹ Господин (нем.).

¹⁰ Командор (итал.).

¹¹ Господин доктор (нем.).

¹² Последний удар (франц.).

сделать немножко лучше!

Тут в гараж вернулся хозяин, экспансивный Джон Полликоп, похожий на мохнатого шотландского терьера. Джон был большим приятелем Дормэса; во времена сухого закона он поставлял ему виски, которое самолично привозил контрабандой из Канады. И даже в этом весьма щекотливом деле он был самым надежным партнером. Он сразу начал разглагольствовать о политике:

– Добрый вечер, мистер Джессэп, добрый вечер, Джулиэн! Карл заливает вам горячее? За этим парнем надо смотреть в оба, а то он может, чего доброго, недодать целый галлон – он же из этих бешеных коммунистов, они все верят в Насилие, а не в Эволюцию и Законность. Ах, если бы они не были такими чудаками, если бы они присоединились ко мне, и Норману Томасу, и другим умным социалистам и образовали единый фронт с Рузвельтом и джефферсоновцами, мы б тогда положили на обе лопатки этого стервятника Уиндрипа и покончили с его планами!

– «Стервятник» Уиндрип. Хорошо, – подумал Дормэс. – Надо будет употребить это словечко у себя в «Информере».

Паскаль сразу же стал возражать.

– Дело совсем не в личных планах и честолюбивых претензиях Уиндрипа. Да и вообще слишком легко это объяснять все, обвиняя во всем одного Уиндрипа. Почему вы не читали Маркса, Джон, вместо того чтобы только болтать о нем? Что говорить, Уиндрип, конечно, просто мерзкая блевотина, извергнутая наружу. Но сколько других еще осталось в желудке и вызывает брожение: все эти шарлатаны-экономисты со всеми разновидностями экономического трупного яда! Нет, нет, дело не в Уиндрипе, мы должны думать не о нем, а о той болезни, которая его породила. Тридцать процентов хронически безработных – и безработица все растет. Вот эту болезнь и надо лечить!

– А можете ли вы, сумасшедшие товарищи, излечить ее? – огрызнулся Полликоп.

– Вы уверены, что коммунизм ее излечит? – скептически вмешался Дормэс.

А Джулиэн более вежливо, с беспокойством осведомился:

– Вы действительно думаете, что Карл Маркс знал средство?

– Голову даю на отсечение, можем! – самонадеянно воскликнул Паскаль.

Когда Дормэс, уезжая, оглянулся, Паскаль и Полликоп уже снимали вместе покрывку и горячо спорили, довольные друг другом.

Кабинет Дормэса в мансарде служил ему убежищем от нежной заботливости Эммы, миссис Кэнди, и дочерей, и от сердечных рукопожатий посетителей, которым хотелось заручиться поддержкой редактора местной газеты, начиная кампанию по страхованию жизни, по продаже экономичных газовых карбюраторов, по сбору средств в пользу Армии спасения, Красного креста, сиротского приюта или же крестового похода против рака, а также по распространению специализированных журналов, обеспечивающих высшее образование юношам, которых на пушечный выстрел не следовало подпускать к университету.

Теперь этот кабинет стал для него убежищем от гораздо менее нежной заботливости сторонников вновь избранного президента. Под предлогом срочной работы Дормэс забирался туда еще засветло; он не усаживался, как некогда, в кресло, а сидел неподвижно и прямо у стола, чертил крестики, пятиконечные и шестиконечные звезды и странные корректорские значки и предавался тяжким раздумьям.

В этот вечер после разговора с Паскалем и Полликопом он думал:

Бунт против Цивилизации Вся беда в том, что я слишком много размышляю над этой проклятой проблемой. Когда мне случается отстаивать демократию, у меня это выходит в точности, как у Лотропа Стоддарда или даже как в передовицах херстовских газет, которые настаивают на том, что из такого-то колледжа следует выгнать опасного Красного преподавателя, дабы спасти от гибели нашу демократию и чистоту идеалов Джефферсона и Вашингтона. И все же, хотя я произношу те же слова, я знаю, я имею в виду совсем иное. Я

вовсе не считаю, что мы правильно распорядились нашими пахотными землями, и лесами, и полезными ископаемыми, и нашими людскими ресурсами. И что меня особенно мучает в отношении Херста и ДАР, так это то, что если они против коммунизма, то мне бы надо быть за него. А я этого не хочу!

Разбазаривание ресурсов – почти уже все разбазарили – таков вклад американцев в поход против Цивилизации.

Мы вполне можем вернуться к средним векам. Верхний слой просвещения, благовоспитанности и терпимости так тонок! Понадобится всего лишь несколько тысяч тяжелых снарядов и газовых бомб, чтобы уничтожить всю живую, любознательную молодежь, все библиотеки, исторические архивы и патентные бюро, все лаборатории и картинные галереи, все замки, античные храмы и готические соборы, все кооперативные магазины и фабрики моторов – все места, где человечество учится. Есть все основания для того, чтобы внуки Сисси, – если чьи-либо внуки вообще доживут до этого времени, – жили в пещерах, как звери.

Что же может предотвратить этот полный распад? О, есть множество всяческих средств! У коммунистов есть свое патентованное решение, которое, они уверены, будет эффективно. И фашисты «знают средство», и непреклонные Американские конституционалисты, именующие себя защитниками Демократии, абсолютно не представляя, что же это такое, и монархисты уверены, что стоит только восстановить кайзера, и царя, и короля Альфонса, как все опять заживут и мирно и счастливо и банки будут прямо-таки навязывать мелким коммерсантам кредит из двух процентов годовых. А проповедники всех толков, они-то уверены, что только им известно Решение, подсказанное свыше.

Так вот, джентльмены, я внимательно выслушал все предлагаемые вами Решения, и я имею сообщить вам, что я, и только я один – за исключением, может быть, Уолта Тробрюбриджа и духа Парето, – знаю подлинное, неизбежное, единственное Решение, и оно состоит в том, что Решения нет! Никогда не будет общественного устройства, сколько-нибудь близкого к совершенству.

Никогда не переведутся люди, которые – как бы хорошо им ни жилось – вечно жалуются и вечно завидуют своим соседям, умеющим одеваться так, что и дешевые костюмы кажутся дорогими, соседям, способным влюбляться, танцевать и хорошо переваривать пищу.

Дормэс полагал, что даже в самом лучшем, построенном по правилам науки государстве вряд ли будет так, что залежей железа окажется как раз столько, сколько было запланировано за два года до этого государственной технократической минералогической комиссией, какими бы благородными, братскими и утопическими принципами ни руководствовались члены этой комиссии.

Не надо, думал Дормэс, бояться мысли, что и через тысячу лет люди будут, вероятно, так же умирать от рака, землетрясения и по дурацкой случайности, поскользнувшись в ванной. У людей, думал он, всегда будут глаза, которые постепенно слабеют, ноги, которые утомляются, носы, в которых свербит, кишки, подверженные действию бацилл, и детородные органы, которые упорно напоминают о себе, пока не придет добродетельная старость. Дормэсу представлялось вполне вероятным, что, несмотря на «современный облик» тридцатых годов, по крайней мере еще несколько сот лет большинство людей будет по-прежнему сидеть на стульях, есть за столом из тарелок и читать книги, независимо от того, какие еще будут изобретены новые искусные фонографические аппараты, носить туфли или сандалии, спать на кроватях, писать вечными перьями той или иной системы и вообще проводить от двадцати до двадцати двух часов в сутки почти так же, как проводили они их и в 1930 году и в 1630. Он полагал, что ураганы, наводнения, засухи, молнии и москиты сохранятся так же, как искони живущее в человеке стремление к убийству, которое может заявить о себе даже в самом лучшем из граждан, когда, например, его возлюбленная идет танцевать с другим мужчиной.

И – самое фатальное и ужасное – Дормэс предполагал, что более ловкие, более умные и хитрые люди – безразлично, как их именовать – Товарищами, Братьями, Комиссарами, Королями, Патриотами или Друзьями бедняков или еще как-нибудь, – по-прежнему будут оказывать большее влияние на ход событий, чем их менее сообразительные, хотя и более достойные собратья.

Всевозможные взаимоисключающие Решения, разумеется, кроме его собственного, усмехался про себя Дормэс, бешено пропагандировались фанатиками и одержимыми.

Он вспомнил статью, в которой Нийл Кэротерс утверждал, что американским «подстрекателям» тридцатых годов предшествует довольно много бесславных пророков, которые считали, что они призваны поднять народные массы ради спасения мира, и притом немедленно, не останавливаясь перед насилием. Петр-отшельник, лохматый, безумный, вонючий монах, повел в крестовый поход для освобождения гроба господня (вещи символической) от «поругания язычников» сотни тысяч крестьян Европы. Они грабили и убивали в чужих деревнях таких же, как они, крестьян и в конце концов погибли от голода.

В 1381 году Джон Болл выступил в защиту раздела богатств; он проповедовал равенство состояний, отмену классовых различий, и то, что теперь назвали бы коммунизмом, а его последователь Уот Тайлер разграбил Лондон, и в конечном итоге испуганное правительство стало еще больше угнетать рабочих. А еще лет через триста кромвелевские методы пропаганды нежных прелестей Чистоты и Свободы выразились в том, что людей расстреливали, избивали, морили голодом и сжигали, а после него рабочие кровью своей заплатили за этот разгул кровавой справедливости.

Размышляя обо всем этом, стараясь выудить что-нибудь в мутном болоте памяти, которое у многих американцев занимает место чистого пруда истории, Дормэс смог прибавить еще и другие имена народных возмутителей, действовавших с самыми лучшими намерениями.

Марат, и Дантон, и Робеспьер, содействовавшие тому, чтобы управление Францией перешло от заплесневелых аристократов к надутым, мелочно скупым лавочникам.

И Уильям Рэндольф Херст, благодаря которому владеть золотым островом Куба стали вместо жестоких испанцев мирные, безоружные, любвеобильные современные кубинские политики.

Американский мессия мистер Дауи, с его теократией в Сион-сити, штат Иллинойс, где единственным результатом прямого руководства бога, осуществляемого через мистера Дауи и его, еще более вдохновенного преемника, мистера Волива, было то, что члены общины должны были воздерживаться от устриц, папирос и ругательств и умирать без помощи докторов, вместо того чтобы умирать с их помощью, и то, что на отрезке дороги, проходившем через Сион-сити, постоянно ломались рессоры у экипажей, следовавших из Эванстона, Вильметты и Виннетки, причем это могло быть с одинаковым успехом сочтено и богоугодным и богопротивным делом.

Сесиль Родс, мечтавший превратить Южную Африку в британский рай и фактически превративший ее в кладбище для британских солдат.

Все утопии, включая Брук Фарм, святилище болтунов Роберта Оуэна, Геликон-холл Эптона Синклера, которые заканчивались, как правило, скандалами, враждой, обнищанием, озлоблением и разочарованием.

Все поборники сухого закона, которые были так уверены в благодетельности своего дела, что были готовы расстрелять любого, нарушившего этот закон.

Дормэсу казалось, что единственным «подстрекателем», который строил прочно и надолго, был Брайхэм Янг, с его бородатыми капитанами-мормонами; он не только превратил пустыню Юта в земной рай, но сумел сохранить этот рай и извлечь из него выгоду.

Дормэс размышлял: «Да будет благословен тот, кто не мнит себя ни Патриотом, ни Идеалистом и кому не кажется, что он должен немедленно броситься и Сделать Что-то Ради Великого Дела, что-то важное и значительное, требующее уничтожения всех

сомневающих, истязаний, казни! Доброе, старое убийство – со времен убийства Авеля Каином – оно всегда было тем новым способом, к которому прибегали олигархии и диктаторы чтобы устранить своих противников».

В таком язвительном настроении Дормэс стал сомневаться в значимости всех вообще революций; он позволил себе даже усомниться в обеих наших американских революциях – в освобождении от власти Англии в 1776 году и в Гражданской войне.

Допустить хоть малейшую критику этих войн означало для редактора из Новой Англии то же, что для баптистского проповедника-фундаменталиста усомниться в бессмертии души, в божественном происхождении библии или эстетическом наслаждении от пения церковных гимнов.

«Неужели было действительно необходимо, – волнуясь, размышлял Дормэс, – четыре года безжалостно проливать кровь в Гражданской войне, а потом двадцать лет угнетать коммерческую жизнь Южных Штатов, чтобы сохранить Союз, освободить рабов и уравнивать промышленность с сельским хозяйством? Было ли справедливо в отношении самих негров, так внезапно, без необходимой подготовки, дать им вдруг все права гражданства, так что Южные Штаты в целях самозащиты стали лишать их избирательных прав, линчевать и избивать? Не лучше ли было сделать, как с самого начала намеревался и планировал Линкольн: освободить негров без предоставления им права голоса, затем постепенно дать им основательное образование под опекой федеральных властей, так, чтобы к 1890 году они могли, не вызывая большой враждебности, принять участие во всей жизни страны?»

Целое поколение и даже больше (размышлял Дормэс) самых крепких и самых храбрых было убито или покалечено в Гражданской войне или – а это, пожалуй, еще хуже – превратилось в болтливых профессиональных героев и приспешников политических деятелей, которые ради их голосов оставляли за ними все синекуры. Самые доблестные пострадали больше всего, потому что в то время как Джон Д. Рокфеллер, Д. П. Морган, Вандербильды, Асторы, Гоулдсы и все их друзья финансисты в Южных Штатах не были призваны на военную службу и оставались в теплых, сухих конторах, захватывая в свои сети все богатства страны, были убиты Джеб Стюарт, Стонуолл Джексон, Натаниэль Лайон, Пат Клеберн и благородный Джеймс Макферсон, а с ними, Авраам Линкольн.

Таким образом, после гибели сотен тысяч людей, которые должны были стать родоначальниками новых поколений американцев, мы могли показать миру, который с 1780 до 1860 года не уставал восхищаться такими людьми, как Франклин, Джефферсон, Вашингтон, Гамильтон и Уэбстер, только такие жалкие уцелевшие фигуры, как Мак-Кинли, Бенджамен Гаррисон, Уильям Дженнингс Брайан, Гардинг... и сенатор Берзелиос Уиндрип с его конкурентами.

Рабство было, как рак, и в те дни не знали иных средств, кроме кровавой операции. Не было еще икс-лучей мудрости и терпимости. Но идеализировать эту операцию, оправдывать ее и восторгаться ею было, во всяком случае, очень вредно, то был национальный предрассудок, который должен был привести впоследствии к другим неизбежным войнам – к войне за освобождение Кубы, за освобождение жителей Филиппинских островов, которых никак не устраивало качество нашей свободы, к Войне за прекращение всех войн.

«Пусть, – думал Дормэс, – фанфары Гражданской войны не ввергают нас больше в трепет, пусть не развлекает нас больше храбрость шермановских храбрых янки, сжигавших дома одиноких женщин, и не восхищает хладнокровие генерала Ли, глядевшего, как тысячи людей умирают в грязи».

Он даже подумал, а так ли уж было необходимо тринадцати колониям отделяться от Великобритании. Если бы Соединенные Штаты остались в составе Британской империи, быть может, развилась бы такая мощная конфедерация, которая сумела бы действительно обеспечить всеобщий мир, вместо того чтобы лишь говорить о нем. Юноши и девушки с ранчо Запада, с плантациями Юга из кленовых рощ Севера могли бы присоединить к своим

владениям Оксфордский университет, Йоркский собор и девонширские деревни. Тогда англичане и даже добродетельные англичанки могли бы убедиться, что люди, не обладающие безупречным произношением священника из Кента или жителей йоркширской деревни, могут быть во многих отношениях людьми весьма грамотными и что громадное количество людей во всем мире нельзя уговорить, будто главной целью их жизни должно быть увеличение британского экспорта в интересах акционеров из высших классов.

Принято считать, вспомнил Дормэс, что без полной политической самостоятельности Соединенные Штаты не смогли бы развить свои особые добродетели. Но Дормэсу не было ясно, почему Америка более своеобразна, чем Канада или Австралия; и какие преимущества имеют Питсбург и Канзас-сити перед Монреалем и Мельбурном или Сиднеем и Ванкувером.

Но, – предостерегал себя Дормэс, – никакие сомнения в конечной правоте «радикалов», поднявших на щит обе американские революции, не должны пойти на потребу исконному врагу: привилегированным консерваторам, усматривающим «опасного агитатора» во всяком, кто угрожает неприкосновенности их богатств. Они подсакивают на стуле от укуса такой мошки, как Дебс, но вежливо проглатывают такого верблюда, как Уиндрик.

Дормэс понимал, что между теми «подстрекателями», которые стремились прежде всего к личной власти и славе, и бескорыстными борцами против тирании, – например, между Уильямом Уокером и Дантоном, между Джоном Говардом и Уильямом Ллойд Гаррисоном, – была та же разница, что между остервенелой шайкой воров и честным человеком, остервенело защищающимся от этих воров. Он был воспитан в почтении к аболиционистам, Ловджою, Гаррисону, Уэнделлу Филлипсу, Гарриет Бичер-Стоу, хотя его отец считал Джона Брауна человеком ненормальным и опасным и швырнул ком грязи в мраморную фигуру Генри Уорда Бичера, этого апостола в нарядном жилете. А Дормэс не мог не уважать аболиционистов, хотя ему приходило в голову, что может быть, Стивен Дуглас и Тэдьо Стивене и Линкольн, более осторожные и менее романтичные, сделали бы все гораздо лучше.

Неужели окажется, вздохнул он, что самые сильные и смелые идеалисты были худшими врагами человеческого прогресса, а вовсе не его величайшими творцами? Неужели простые люди, скромно радевшие о своих делах, займут в небесной иерархии более высокое место, чем все эти горделивые деятели, желавшие спасти народные массы и ставившие себя над массами?

XIV

Я приобщился к христианской, или, как ее некоторые называют, кэмпбеллитской церкви, совсем еще ребенком, когда у меня молоко на губах не обсохло. Но я всегда, и тогда и теперь, мечтал принадлежать ко всему славному братству: быть заодно и с благородными пресвитерианцами, ведущими борьбу с малодушными, лживыми ниспровергателями и иудами, именуемыми Высшими Критиками; и с методистами, так стойко сопротивляющимися войне и тем не менее во время войны такими верными патриотами; и с изумительно терпимыми баптистами; и с серьезными адвентистами седьмого дня; я мог бы даже, пожалуй, сказать доброе слово об унитарийцах, поскольку к ним принадлежал великий Уильям Говард Тафт и его жена.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

Официально Дормэс принадлежал к универсалистской церкви, а его жена и дети к епископальной – ситуация нередкая в Америке. Он был воспитан в почитании Хошеа Беллоу – св. Августина универсалистской церкви, – провозгласившего из своего крошечного домика в Барнарде (Вермонт), что даже самый нечестивый получит после смерти возможность спастись. Но теперь Дормэс не мог заставить себя пойти в церковь универсалистов в Форте

Бьюла. У него с ней было связано слишком много воспоминаний об отце, пасторе, и ему было грустно видеть, что вместо собиравшихся здесь некогда по воскресеньям двухсот бородачей, которые мирно беседовали, посиживая рядом с женщинами и детьми на крашеных сосновых скамьях, теперь приходили только пожилые вдовы, несколько фермеров да школьных учителей.

Но в эти дни раздумий Дормэс снова отважился пойти туда. Это было невысокое мрачное гранитное здание с раскрашенными арками окон, не особенно его оживлявшими, но в детстве и арки и усеченная башня казались Дормэсу красивее собора в Шартре. Он любил тогда эту церковь, как в Исайя-колледже любил библиотеку, которая, несмотря на свой неказистый вид раскоряченной жабы из красного кирпича, воплощала для него свободу и возможность духовных откровений, – тихое помещение читального зала, где можно было часами сидеть, позабыв обо всем на свете, и где никто не звал тебя идти ужинать.

Зайдя в церковь, он застал там человек тридцать, рассеянно слушавших присланного из Бостона студента-теолога, монотонное, благонамеренное, пугливое и отчасти заимствованное красноречие которого живописало болезнь Авия, сына Иеровоамова. Дормэс смотрел на голые (в противовес греховным аксессуарам папизма), окрашенные скучной зеленой краской церковные стены и прислушивался к монотонному гудению проповедника:

– Только теперь, э-э, теперь многие из нас не понимают, э-э, насколько грех, всякий грех, который мы, э-э, можем совершить, отражается не только на нас, но и э... на тех, кто нам, э-э, близок и дорог...

«Я бы все отдал, – тоскливо думал Дормэс, – за проповедь, пусть иррациональную, но сильную и горячую проповедь, которая подбодрила бы и утешила меня в эти трудные дни». Но он тут же с величайшей досадой спохватился, вспомнив, что всего лишь несколько дней назад и осудил иррациональную, драматическую силу воинствующего вождя, безразлично – церковного или политического.

Ну что ж, очень печально! Ему придется отказаться от духовного утешения церкви, которое он знал в школьные годы.

Хотя нет, надо еще попробовать прибегнуть к духовному утешению своего друга мистера Фока – «падре», как нередко называл его Бак Титус.

В уютной англиканской церкви св. Криспина, с ее бронзовыми мемориальными досками, в подражание английским, с ее кельтской купелью и украшенным медным орлом аналоем и с пахнущим пылью ковром, Дормэс слушал мистера Фока:

– Всемогущий бог, отец господина нашего Иисуса Христа, не желает смерти грешников, но желает, чтобы они отвернулись от своего нечестия и жили; он дал силу своим служителям и заповедал им провозглашать народу, всем, кто раскаивается, прощение и отпущение грехов...

Дормэс посмотрел на невозмутимо-благочестивое лицо своей жены Эммы. Милый, издавна знакомый ритуал казался ему теперь бессмысленным, потому что все это было так же далеко от современности с ее Бэзом Уиндрипом и его минитменами и так же бессильно утешить его, утратившего привычное чувство гордости от сознания того, что он американец, как вновь поставленная на сцене столь же милая и столь же хорошо знакомая елизаветинская пьеса. Он беспокойно огляделся по сторонам. Сам мистер Фок был, может быть, настроен и очень возвышенно, но большинство собравшихся оставалось равнодушным. Для них англиканская церковь олицетворяла не честолюбивое смирение Ньюэна и не человечность епископа Брауна (впрочем, оба они ее покинули!) – она была для них символом и утверждением процветания – духовным эквивалентом факта владения двенадцатицилиндровым «кадиллаком», – более того, она удостоверяла тот факт, что еще ваш дед имел выездной экипаж, влекомый почтенной патриархальной лошадкой.

Дормэсу казалось, что в церкви пахло черствой сдобой.

Миссис Краули была в белых перчатках, а к ее бюсту – у миссис Краули даже в 1936 году был бюст, а не грудь – был приколот букет тубероз. Фрэнсис Тэзброу был в визитке и полосатых брюках, а рядом, на сиреневой подушке, лежал шелковый цилиндр

(единственный в форте Бьюла). И даже та, с которой Дормэс делил жизнь и по крайней мере своей утренний кофе, его добрая Эмма сидела с таким самодовольным выражением возвышенной доброты, что Дормэс стал злиться.

«Все это душит меня! – негодовал он. – Лучше уж шумная оргия... хотя нет... это дикарская истерика в стиле Бэза Уиндрипа. Мне нужна такая церковь, если это вообще возможно, которая была бы равно далека и от дикарей и от капелланов короля Генриха Восьмого. Я понимаю, почему Лоринда при всей своей педантичности и добросовестности никогда не ходит в церковь».

Лоринда Пайк в этот слякотный декабрьский вечер сидела в глубоком кресле в своей «Таверне долины Бьюла» и штопала чайную скатерть. Это не была, в сущности, таверна. Это был настоящий пансион, если принять во внимание его двенадцать спален и гостиную, обставленную с претензией на художественность, где обедали постояльцы.

Несмотря на его давнишнюю нежную привязанность к Лоринде, Дормэса всегда раздражали цейлонские медные чаши для споласкивания пальцев, клеенчатые скатерти из Северной Каролины и итальянские пепельницы, расставленные как для продажи на шатких карточных столах в столовой. Но он вынужден был признать, что чай у Лоринды великолепный, пирожки воздушные, стилтонский сыр превосходного качества, самодельный ромовый пунш восхитителен и что сама Лоринда и умна и очаровательна, особенно в тех случаях, когда, как в этот пасмурный вечер, ее не беспокоят ни другие посетители, ни присутствие этого противного червяка – ее компаньона мистера Ниппера, у которого создалось приятное убеждение, что раз он вложил в «таверну» несколько тысяч, то он вправе ни за что не отвечать, ничего не делать и забирать себе половину доходов.

Дормэс вошел, стряхивая снег и тяжело дыша, – на скользкой дороге ему пришлось крепко налегать на тормоз. Лоринда небрежно кивнула, подбросила в камин дров и продолжала штопать, не сказав ничего более сердечного, чем:

– Привет. На улице паршиво?

– Да...очень.

Но когда они сидели друг против друга у камина, чтобы понимать друг друга, им не нужно было улыбаться. Лоринда задумчиво сказала:

– Знаешь, милый, будет, по-видимому, довольно скверно. Я думаю, что Уиндрип и Ко вернут нас, в смысле борьбы за женские права, к шестнадцатому веку, к Анне Хатчинсон и антиномистам.

– Наверное. Назад на кухню.

– Даже если у тебя ее нет!

– Ты думаешь, вам будет хуже, чем нам, мужчинам? Ты заметила, что в своих статьях Уиндрип ни разу не обмолвился ни о свободе слова, ни о свободе печати? О, он, конечно, горячо бы выступил в их защиту, если б он о них вспомнил.

– Это верно. Хочешь чаю, дорогой?

– Нет, Линда, я склоняюсь к тому, чтобы забрать семью и скрыться в Канаду, не дожидаясь, пока меня схватят – сразу после вступления Бэза в должность.

– Ни-ни! Не делай этого. Нам необходимо удержать здесь всех журналистов, которые будут продолжать с ним бороться, а не ловить подачки с барского стола. Да и, помимо того, что я буду делать без тебя? – Лоринда впервые была настойчива.

– Ты будешь в гораздо большей безопасности, когда меня не будет поблизости. Но я понимаю, что ты права. Я не могу уехать, пока они не заставят меня сделать это. Тогда мне придется исчезнуть. Я слишком стар для тюрьмы.

– Но, надеюсь, не слишком стар для любви? Это было бы очень печально!

– Для этого люди никогда не бывают стары, за исключением тех, кто всегда слишком молод для любви. Как бы то ни было, я остаюсь – пока что.

Неожиданно для себя он обрел здесь, у Лоринды, решимость, которую тщетно искал в церкви. Он будет бороться с ветряными мельницами, хотя бы для собственного

удовлетворения. Это означает, правда, несколько забавный конец его затворничества в башне из слоновой кости. Но он снова чувствовал себя сильным и довольным. Его размышления прервал вопрос Лоринды:

– Как относится Эмма к политическому положению?

Она его не замечает. Она видит, что я недоволен, слышала вчера вечером по радио предостережения Уолта Трубриджа... Ты слушала его? В таких случаях она принимается охать: «О, это ужасно!» – и тут же забывает обо всем и горюет, что у нее в кастрюле подгорело! Счастливый человек! Да, на меня она, наверно, действует успокаивающе, не то бы я превратился в форменного неврастеника! Может быть, поэтому я так чертовски постоянен, так привязан к ней. И все-таки я еще настолько сумасшедший, что мне хочется быть с тобой вместе... открыто быть вместе... постоянно... и чтобы мы могли вместе бороться и поддерживать хоть маленький огонек в наступающем новом ледниковом периоде. Я мечтаю об этом. Все время. А теперь, принимая все это во внимание, мне хотелось бы поцеловать тебя.

– Разве это такая необычайная церемония?

– Да. Это всегда для меня как в первый раз. Послушай, Линда, неужели тебе не кажется странным, что при... всем том, что было между нами... как в ту ночь в отеле в Монреале... мы совсем не чувствуем никакой вины, никакого смущения... и можем вот так спокойно сидеть и болтать?

– Нет, милый... нет, дорогой! Это ни чуточки не странно. Все было так естественно. Так хорошо!

– Но ведь мы же разумные, сознательные люди...

– Конечно. Поэтому никто ничего и не подозревает, даже Эмма. Слава богу, что это так, Дормэс! Я бы ни за что не хотела причинить ей горе, даже ради твоего лестного расположения!

– Чудовище!

– О, ты, вероятно, на подозрении, ты лично. Ведь известно, что ты иногда пьешь ликер, играешь в покер и любишь вольную шутку. Но кому может прийти в голову, что известная чудачка, суфражистка, пацифистка, противница цензуры, друг Джейн Адаме и мамыши Блур может быть любовницей?! Ученые снобы! Анемичные новаторы! О, я знала столько женщин, боевых и суровых, облаченных в простыни статистических отчетов, – и эти женщины были неудержимо страстными, раз в десять более страстными, чем сладенькие, сдобные содержаночки в шифоновых платьях!

На мгновение их прикованные друг к другу глаза выразили нечто большее, чем привычная ласковость и безмятежное спокойствие.

Он пожаловался ей:

– Я постоянно думаю о тебе и хочу тебя, и все же я думаю и об Эмме... и у меня нет даже этого тонкого, столь излюбленного романистами и исполненного самолюбования чувства виновности и сложности положения. Все это кажется таким простым, естественным. Линда, милая!

Он неуверенно приблизился к окну, на каждом шагу оглядываясь на Линду. Стемнело, на дороге курился туман. Он посмотрел в окно сначала рассеянно, а потом очень пристально.

– Странно! Очень, очень странно! За тем большим кустом, через дорогу, – должно быть, это куст сирени, – стоит человек и подсматривает за нами. Я вижу его при свете фар каждый раз, когда проезжает автомобиль. И мне кажется, что это мой слуга Оскар Ледью – Шэд. – Дормэс хотел было задернуть веселые, красные с белым занавески.

– Нет! Нет! Не надо! Это покажется ему подозрительным.

– Ты права. Странно, что он тут караулит, – если только это действительно он. Сейчас бы ему как раз полагалось быть у нас и следить за топкой... зимой он занят у нас только несколько часов в день, а остальное время работает на фабрике оконных рам, но сейчас... Он, видимо, собирается шантажировать меня. Пожалуйста, пусть печатает где угодно все, что ему довелось сегодня увидеть!

– Только то, что он сегодня увидел?

– Что угодно! И когда угодно! Я страшно горд... Такая старая развалина, как я, на двадцать лет старше тебя... и твой возлюбленный!

И он действительно был горд, но в то же время не мог забыть написанное красным мелком предостережение, которое он нашел у своего крыльца после выборов.

Но прежде чем он успел осмыслить всю сложность создавшегося положения, дверь с шумом распахнулась, и в комнату впорхнула его дочь Сисси.

– Тра-ля-ля! Привет, друзья! С добрым утром, мисс Линди! Как вы тут все поживаете? Хэлло, отец!

Нет это не от коктейля – я пропустила только маленькую рюмочку. Это бодрость юности! Но до чего же холодно! Чаю! Линда, радость моя, поскорее чаю!

Им подали чай. Они пили его по-семейному, в тесном домашнем кругу.

– Подвезти тебя домой, папа? – спросила Сисси, когда они собрались уходить.

– Да... нет... подожди секунду. Лоринда, дайте мне электрический фонарик.

Когда он вышел на улицу и воинственно зашагал через дорогу, в нем снова закипело раздражение, которое он старался скрыть от Сисси. Там, наполовину скрытый кустами, опираясь на свой мотоцикл, в самом деле стоял Шэд Ледью.

Шэд был застигнут врасплох; вид у него на сей раз был менее презрительный и властный, чем у полисмена, регулирующего движение на Пятой авеню.

– Что вы тут делаете? – накинулся на него Дормэс. Шэд ответил, сильно запинаясь:

– Я только... что-то случилось с моим мотоциклом.

– Ах, так! Вам полагается быть в это время дома и присматривать за топкой, Шэд.

– Ну что ж, моя машина здесь, пожалуй, в безопасности... Я пойду пешком.

– Не надо. Меня довезет дочь. Можете поставить ваш мотоцикл в мой автомобиль и довезти его обратно. (Так или иначе, разговора с Сисси с глазу на глаз не избежишь, хотя Дормэс совсем не представлял, что он ей скажет.) – Она отвезет вас? Ну да! Черта с два она умеет водить машину! Она же бешеная.

– Ледью! Мисс Сисси отлично водит машину. Меня она, во всяком случае, вполне устраивает, если же ваши требования выше...

– А мне плевать, как она водит! Всего хорошего!

Возвращаясь через дорогу назад, Дормэс упрекал себя: «Что за ребячество? Говорить с ним, как с джентльменом! С каким восторгом я бы его прикончил!»

Сисси, поджидавшей его на крыльце, он сказал:

– Шэд здесь случайно... у него что-то с мотоциклом... Пусть берет мой автомобиль... Я поеду с тобой.

– Прекрасно! За эту неделю от моей езды поседели только шесть юношей.

– А я... я хотел сказать, что лучше уж мне сесть за руль. Сегодня очень скользко.

– Пусть тебя это не беспокоит. О, мой дорогой безумный родитель, я самый лучший шофер в...

– Ты же понятия не имеешь, как надо ездить! Ты же бешеная! Садись, хватит разговоров. Машину веду я, понятно? Спокойной ночи, Лоринда.

– Ладно, дражайший папочка! – сказала Сисси с таким дьявольским лукавством, что у Дормэса задрожали колени.

Он тут же постарался внушить себе, что эта развязная манера Сисси, ставшая в нынешние времена обязательной даже для провинциальных юношей и девушек, выросших на бензине, была только внешним подражанием нью-йоркским шлюхам и что мода эта продержится не дольше двух-трех лет. Быть может, этому поколению трещоток пойдет на пользу поворот Бэза Уиндрипа со всеми его бедствиями.

– Чудесно, отец. Я знаю, очень хорошо ездить осторожно, но разве ты хочешь состязаться с благоразумной улиткой? – спросила Сисси.

– Улитки не буксуют...

– Конечно, нет; зато они попадают под колеса. Уж лучше буксовать!

– Ты хочешь сказать, что твой отец – ископаемое?

– О, я бы не...

– Отчего же, может быть, это и верно в данном случае. В этом есть свои преимущества. Во всяком случае, мне представляются сомнительными избитые истины, что старости свойственны осторожность и консерватизм, а молодости – смелость, предприимчивость и оригинальность. Посмотри на молодых наци, с каким удовольствием они избивают коммунистов. А в колледже студенты чуть ли не в каждом классе ставят на вид своим руководителям, что они иконоборцы и что у них нет достаточного уважения к священной доморощенной философии. Как раз сегодня по дороге сюда мне пришло в голову...

– Скажи, папа, а ты часто ездешь к Линде!»

– А что?.. Нет, не особенно. А что?

– А почему вы не... Чего вы оба так боитесь? Ведь вы же такие храбрые вольнодумцы... Вы с Линдой так подходите друг к другу! Почему бы вам не... Ну, ты меня понимаешь... Почему бы вам не принадлежать друг другу?

Боже всемогущий! Сесилия! Я никогда не слышал, чтобы приличная девушка говорила такие вещи. Никогда в жизни!

– Ай-яй-яй! Никогда не слышал? Ах, дорогой мой! Как жаль!

– Клянусь создателем... Согласись по крайней мере, что это не совсем обычно, чтобы преданная дочь предполагала, будто ее отец обманывает ее мать! Особенно такую нежную и прекрасную мать, как твоя!

– Неужели? Пожалуй! Необычно предполагать это... вслух. Но я не сомневаюсь, что многие девушки именно это думают, когда они видят, что почтенный родитель начинает порастать мхом.

– Сисси...

– Берегись, ты наедешь на телефонный столб!

– Ерунда! Он же совсем в стороне! Но, послушай, Сисси: брось ты эти передовые идеи... или бредовые идеи, я и сам не знаю, как сказать. Я постоянно путаю эти два слова. Дело это серьезное. Надо же придумать такую нелепость – будто Линда... будто Лоринда и я – любовники. Дорогое мое дитя, ты просто не должна так легкомысленно болтать о таких серьезных вещах!

– Не должна, говоришь. Прости, папа, мне как раз пришло в голову... насчет мамы. Да, я никому не дала бы обидеть ее, даже вам с Линдой. Но ведь ей, почтенный мой родитель, это и во сне не приснится. Вы могли бы наслаждаться без малейшего ущерба для мамы. Душевное устройство матери не так, э-э, не так обусловлено полом, что ли, как это принято называть... над ней больше довлеет, скажем, пылесос новой системы, у ней комплекс пылесоса, если ты понимаешь, что я хочу этим сказать... почитай-ка Фрейда. О, она молодчина, но без особой склонности к анализу, и потом...

– Так ты, значит, рассуждаешь?

– Ха! А что ж тут такого – почему бы и нет? Живи в свое удовольствие, снова стань веселым и жизнерадостным, без ущерба для чьих бы то ни было чувств – что же тут плохого? Да, это второй пункт моего символа веры.

– Сисси! Имеешь ли ты хоть малейшее представление, о чем говоришь? Конечно, может, нам следует стыдиться нашего трусливого невнимания к этому вопросу. Но... да, наверно, и твоя мать никогда особенно не посвящала тебя в вопросы «пола» и...

– И слава богу! Вы избавили меня от рассказа о милом маленьком цветочке и о его совершенно неприличном романе с этим распутником – львиным зевом в соседней кровати... прости... я хотела сказать, на соседней клумбе. Я очень рада, что это так. Господи! Было бы ужасно, если б мне пришлось краснеть всякий раз, когда я смотрю на сад!

– Сисси! Дитя! Прошу тебя! Не надо так ужасно острить! Это все очень важные вещи...

Сисси покаянно сказала:

– Я знаю, папа, прости. Но ведь это... если бы ты знал, как мне больно, когда я вижу тебя таким несчастным, таким молчаливым... Эта ужасная история с Уиндрипом и лигой

попрошайек совсем подкосила тебя, ведь правда? Если ты думаешь бороться против них, тебе надо получить какой-то новый заряд энергии и бодрости... надо снять кружевные перчатки и надеть железные... и вот меня осенило, что именно Лоринда могла бы сделать это для тебя, и только она одна. Ха! Ведь она прикидывается такой возвышенной душой. (Помнишь, эту старую присказку, которую так любил Бак Титус: «Если вы спасаете падших женщин, спасите одну для меня». Ох, это совсем не то! Я думаю, мы эту фразу из пьески выбросим.) Но все равно, у нашей Линды такие прекрасные, влажные и голодные глаза...

– Невероятно! Просто невероятно! Между прочим, Сисси, что знаешь обо всем этом ты? Ты девственница?

Папа! И с подобным вопросом ты обращаешься к... Что ж! Я отвечаю: да, я девственница – пока. Но ничего не обещаю на будущее. Позволь сказать тебе это теперь же; если у нас в стране станет так плохо, как ты предсказываешь, и Джулиэну Фоку будет угрожать тюрьма, или фронт, или еще какая-нибудь подобная гадость, я, конечно, не допущу, чтобы такая вещь, как девическая скромность, стала для нас с ним препятствием, – можешь уже теперь к этому подготовиться.

– Так это Джулиэн, а не Мэлком?

– Я думаю, да! Мэлком несносен. Он только и ждет случая занять подходящее местечко полковника или чего-нибудь в этом роде – в потешных войсках Уиндрипа. И я так люблю Джулиэна! Хотя он ужасно беспомощный и непрактичный человек... вроде его деда... или вроде тебя! Но он душка! Вчера мы пролюбезничали с ним часов до двух ночи.

– Сисси! Но ты не... О моя маленькая! Джулиэн, пожалуй, достаточно порядочен... он славный малый... но ты... надеюсь, ты не разрешаешь Джулиэну никаких фамильярностей?

– О милое, смешное, старинное слово! Уж, кажется, что может быть фамильярнее, чем хороший крепкий поцелуй в десять тысяч лошадиных сил! Но, дорогой мой, об этом ты как раз можешь не беспокоиться... Ни-ни. Те несколько раз, когда мне случалось уснуть с Джулиэном у нас в гостиной... мы спали!

– Я очень рад, но... твоя осведомленность по разным деликатным вопросам немного смутила меня.

– А теперь ты выслушай меня! Вам надлежало сказать это мне, а не наоборот, мистер Джессэп. Похоже на то, что наша страна и большая часть мира... я серьезно тебе говорю, папа, вполне серьезно, – да поможет нам небо!.. – похоже, что мы возвращаемся к варварству. Это война! И теперь всем будет не до стыдливости и скромности, как сиделке госпиталя, когда вносят раненых. Милые молодые леди... их больше нет! Лоринда и я – вот какие женщины понадобятся теперь мужчинам!.. Не так ли? Не так ли? Ну, скажи, разве это не так?

– Может быть... Возможно... – И Дормэс вздохнул чувствуя, что, по мере того как волны вздымаются все выше, еще один клочок знакомой почвы ускользает у него из-под ног.

Они подъезжали к дому. Шэд Ледью как раз выходил из гаража.

– Беги домой, скорее, слышишь! – сказал Дормэс дочери.

– Слышу. А ты смотри береги себя, дорогой.

И это прозвучало так, словно перед ним была не его маленькая дочка, которую надо холить, украшать голубыми лентами и посмеиваться, когда она строит из себя большую. Она неожиданно превратилась в надежного товарища вроде Лоринды.

Дормэс решительно вышел из автомобиля и спокойно сказал:

– Шэд!

– Да?

– Вы отнесли ключи от автомобиля на кухню?

– Нет! Я, кажется, оставил их в машине.

– Я вам сто раз говорил, что они должны быть в доме.

– Да? Ну, а как вам понравилась езда мисс Сесилии? Хорошо погостили у старой миссис Пайк?

Теперь он в открытую издевался.

– Ледью, я думаю вас уволить... сейчас же!

– Хорошо. О'кэй, хозяин! Я как раз хотел сказать вам, что мы организуем в Форте второе отделение «Лиги забытых людей» и я буду там секретарем. Платят они, правда, немного... всего только в два раза больше, чем я получал у вас... Очень уж прижимисты... но зато в политике это кое-что значит! Спокойной ночи!

Впоследствии Дормэс с сожалением вспомнил, что, несмотря на всю свою неуклюжесть, Шэд в своей красной вермонтской школе научился прилично писать и владеть цифрами, так что, возможно, он и справится с этой, по существу, фиктивной, должностью секретаря. Тем хуже.

Когда две недели спустя Шэд в качестве секретаря Лиги написал ему письмо с просьбой пожертвовать в пользу Лиги двести долларов и Дормэс отказался, «Информер» стал немедленно терять подписчиков.

XV

Вообще-то я человек довольно мягкий, и многие мои друзья называют «простодушными» мои статьи и речи. Моя мечта – «жить у дороги и быть другом людей». Но я надеюсь, что никто из джентльменов, удостоивших меня своей враждой, ни на минуту не допускает мысли, что, когда я сталкиваюсь с каким-либо страшным социальным злом или нахальным негодяем, я не способен подняться во весь рост и рассвирепеть, как медведь гризли в апреле. Так вот в самом начале своего отчета о моей десятилетней борьбе с ними – в качестве частного гражданина, затем сенатора штата и, наконец, сенатора Соединенных Штатов – я должен сказать, что фирма «Сэнфрэй, Осветительные энергетические установки и топливо» – это – пусть привлекут меня за клевету! – самая низкая, самая подлая, самая трусливая шайка лакеев, подлецов и лицемерных негодяев; это бомбометатели, крадущие баллотировочные шары, подделывающие счета, дающие взятки, подкупающие лжесвидетелей, нанимающие штрейкбрехеров, и вообще это самые последние жулики, лгуны и плуты, которые все время старались воспрепятствовать избранию честного слуги народа – мне, правда, всегда удавалось побить их, – так что мое негодование и возмущение этими кровожадными клептоманами имеет не личный, а чисто общественный характер.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

В среду 6 января 1937 года, ровно за две недели до вступления в должность, вновь избранный президент Уиндрик объявил о назначении членов кабинета и дипломатов.

Государственный секретарь – его бывший секретарь и уполномоченный по делам печати Ли Сарасон, занявши также пост верховного маршала, или главнокомандующего армией минитменов; организация эта – под видом невинного спортивного клуба – стала постоянной.

Министр финансов – некий Уэбстер Р.Скиттл, президент процветающего «Национального банка пушнины и кожи» в Сент-Луисе. Мистер Скиттл привлекался к суду за сокрытие от правительства своих доходов из нежелания уплачивать подоходный налог, но его кое-как оправдали, и, как говорили, во время предвыборной кампании он сумел представить весьма веские доказательства своей веры в Бэза Уиндрипа как спасителя «Забытых людей».

Военный министр – полковник Оссиола Лутхорн, в прошлом редактор «Аргуса», издававшегося в Топике (Канзас), и «Журнала галантерейных и модных товаров»; в последнее время он крупно спекулировал земельными участками. Чин его был связан с его положением в почетной свите губернатора Теннесси. Он долгое время был другом и

соратником Уиндрипа.

Все очень сожалели, что епископ Пол Питер Прэнг отказался от поста военного министра в письме, в котором он называл Уиндрипа «своим дорогим другом и коллегой» и утверждал, что ему действительно не надобно никакого поста. Вскоре такое же сожаление вызвал отказ отца Кофлина от поста посланника в Мексике; он не прислал письма, ограничившись загадочной телеграммой: «Опоздали ровно на шесть месяцев».

Было создано новое Министерство просвещения и общественных отношений. В течение нескольких месяцев Конгресс все не мог собраться обсудить законность этого мероприятия, а между тем пост нового министра с блеском занимал Гектор Макгоблин, доктор медицины, доктор философии, почетный доктор литературы.

Сенатор Порквуд милостиво согласился занять пост генерального прокурора, и все остальные должности были также заняты людьми, которые хотя и очень энергично поддерживали чуть ли не социалистические проекты Уиндрипа относительно распределения чрезмерно больших состояний, но были тем не менее известны как люди вполне здравомыслящие и отнюдь не фанатики.

Поговаривали, хотя Дормэсу Джессэпу так и не удалось этого установить, что Уиндрип перенял у Ли Сарасона испанский обычай избавляться от нежелательных друзей и от врагов путем назначения их за границу, предпочтительно подальше. Как бы то ни было, послом в Бразилию Уиндрип назначил Герберта Гувера, который принял этот пост без особого восторга; послом в Германию – сенатора Бора; губернатором Филиппин он назначил сенатора Роберта Лафолетта, отказавшегося принять это назначение.

Послами в Англию, Францию и Россию назначены не больше не меньше, как Эптон Синклер, Мило Рено и сенатор Бильбо из Миссисипи.

Эти трое неплохо провели время. Мистер Синклер очень понравился англичанам, проявив настолько горячий и дружественный интерес к их политическим делам, что открыто поддерживал независимую лейбористскую партию и выпустил очень живую брошюрку под названием «Я, Эптон Синклер, утверждаю, что премьер-министр Уолтер Эллиот, министр иностранных дел Антони Иден и первый лорд Адмиралтейства Нэнси Астор – все они лгуны и отказались принять великодушно предложенные мною советы». Мистер Синклер вызвал также немалый интерес в английских светских кругах, ратуя за парламентский акт, запрещающий ношение вечерних туалетов и охоту на лисиц (кроме охоты с дробовиком); во время официального приема в Букингэмском дворце он тепло пригласил короля Георга и королеву Мэри приехать жить в Калифорнию.

Мило Рено, агент по страхованию и бывший президент Национальной ассоциации по организации отдыха на фермах, которого все французские роялисты сравнивали с его великим предшественником Бенджаменом Франклином за его прямоту и откровенность, стал самым популярным человеком в международных кругах Парижа, департамента Нижние Пиренеи и на Ривьере; однажды его сфотографировали, когда он играл в теннис на Ривьере с герцогом де Тропец, лордом Ротермиром и доктором Рудольфом Гессом.

Но, пожалуй, лучше всех повеселился сенатор Бильбо.

Сталин сам просил его совета (зная, что у Бильбо большой опыт по «стабилизации» в штате Миссисипи) относительно насаждения культуры среди несколько отсталых туземцев Таджикистана, и совет посла оказался настолько ценным, что его превосходительство Бильбо был приглашен присутствовать на военном параде в Москве 7 ноября; он находился на одной трибуне с самыми высокими представителями бесклассового государства. Это было большое торжество для его превосходительства. Сам главнокомандующий не выдержал и упал в обморок после того, как проследовало 200 тысяч советских пехотинцев, 7 тысяч танков и 9 тысяч самолетов; Сталина вынуждены были унести домой после того, как он просмотрел 317 тысяч; но посол Бильбо был на своем месте на трибуне, когда проходил самый последний из 626 тысяч солдат, причем все они отдавали ему честь, так как принимали его за посла Китая; а он без усталости подпевал им и отвечал на их приветствия (по 14 в минуту).

Гораздо меньшим успехом он пользовался позднее, когда на собраниях хмурых членов Ассоциации англоамериканских эмигрантов, бежавших в Россию от империализма, он спел сочиненный им самим куплет, казавшийся ему очень забавным:

Вставай и драпай без оглядки,
Трудящийся раб СССР.
У Бильбо дома все в порядке,
Любой слуга – миллионер.

Миссис Аделаида Тарр-Гиммич после своей вдохновенной кампании в пользу мистера Уиндрипа публично выражала неудовольствие по поводу того, что ей не предложили ничего лучшего, чем место в таможне в Номе, на Аляске, хотя его предлагали ей очень настойчиво. Она потребовала, чтобы специально для нее было создано Министерство по домоводству, охране детей и борьбе с пороком. Она угрожала, что станет джефферсоновкой, республиканкой, коммунисткой, но в апреле стало известно, что она пишет в Голливуде сценарий для грандиозной картины под названием «Они сделали это в Греции». Желая оскорбить и бесхитростно повеселиться, вновь избранный президент назначил Франклина Д. Рузвельта послом в Либерию. Противников мистера Рузвельта это сильно потешало, а газеты оппозиции поместили карикатуры, на которых Рузвельт с несчастным видом сидел в хижине из пальмовых листьев. НРА было на вывеске перечеркнуто и вместо этого поставлено США. Но мистер Рузвельт с такой любезной улыбкой отклонил назначение, что шутка как-то не удалась.

Сторонники президента Уиндрипа растроубили о том знаменательном факте, что он первый президент, который вступил в должность не 4 марта, а 20 января, согласно новой, двадцатой поправке к конституции. Это-де было прямым знамением неба (хотя в действительности автором поправки было не небо, а сенатор Джордж Норрис из Небраски) и доказывало, что Уиндрип создаст новый рай на земле.

Вступление в должность прошло бурно. Президент Рузвельт отказался при сем присутствовать; он вежливо сообщил, что тяжело болен, однако в тот самый день его видели в одном нью-йоркском магазине – он покупал книги по садоводству, и вид у него был превеселый.

Торжество освещало больше тысячи репортеров, фотографов и работников радио. Двадцати семи избирателям и избирательницам сенатора Порквуда пришлось спать на полу в конторе сенатора и в зале, снятом на две ночи за тридцать долларов в предместье Блэйденсбург. Президенты Бразилии, Аргентины и Чили прилетели на самолете компании «Пан-Америкен», а Япония прислала семьсот студентов в специальном поезде из Сиэтла.

Одна из детройтских автомобильных фирм преподнесла Уиндрипу бронированный лимузин с непроницаемыми для пуль стеклами, с потайным несгораемым ящиком для бумаг, с секретным погребцом для вин и с обивкой из гобеленов 1670 года. Но Бэз предпочел поехать из дому в Капитолий в своей старой закрытой машине; шофером был молодой парень из его родного города, который для столь важного для государства случая надел синий костюм с красным галстуком и котелок. Сам Уиндрип был в цилиндре, но он позаботился о том, чтобы Ли Сарасон во время самого торжества оповестил по радио сто тридцать миллионов граждан, что цилиндр он одолжил – специально для этого случая – у одного нью-йоркского депутата из республиканцев, имеющего родовитых предков.

Однако за Уиндрипом следовал антиджексоновский эскорт солдат: Американский легион, за ним – превосходившие великолепием всех и вся минитмены в блестящих серебряных шлемах, предводительствуемые полковником Хэйком, в ярко-красном мундире, желтых рейтузах и в шляпе с золотым плюмажем.

Торжественно и вместе с тем робея, как провинциальный мальчишка, попавший на Бродвей, Уиндрип принял присягу, к которой привел его Верховный судья (весьма его не любивший), и, подойдя к микрофону, пронзительно выпалил:

– Сограждане! Как президент Соединенных Штатов Америки, я хочу сообщить вам, что с этой минуты у нас начинается подлинный «новый курс», и все мы насладимся многочисленными свободами, дарованными нам историей нашей страны... и все у нас теперь пойдет как по маслу! Спасибо вам!

Таков был первый государственный акт президента. Вторым актом был переезд в Белый дом, где Уиндрип уселся в Восточной комнате в одних носках и закричал Ли Сарасону:

– Вот чего я добивался все эти шесть лет! Я уверен, что так всегда делал Линкольн! Теперь пускай меня убивают!

Его третьим актом – на правах главнокомандующего армией – был приказ считать минитменов не получающими жалованья, но официально узаконенными вспомогательными войсками регулярной армии, подчиняющимися лишь своим командирам, Бэзу и верховному маршалу Сарасону; приказ предписывал немедленно выдать им из государственного арсенала винтовки, штыки, автоматические револьверы и пулеметы. Это произошло в четыре часа дня, а с трех часов отряды минитменов по всей стране пожирала глазами револьверы и ружья, дрожа от нетерпения завладеть ими.

Четвертым ударом было отправленное Уиндрипом на следующее утро специальное послание Конгрессу (заседавшему с 4 января, так как 3-го было воскресенье) с требованием немедленного принятия законопроекта в осуществление пункта пятнадцатого его предвыборной программы, гласящего, что ему предоставляется полный контроль над законодательной и исполнительной властью и что Верховный суд лишается возможности воспрепятствовать любому действию, которое может прийти в голову президенту.

После прений, длившихся не более получаса, обе палаты Конгресса отклонили это требование около трех часов дня 21 января. К шести часам президент объявил страну на военном положении «ввиду наступившего кризиса», и более ста членов Конгресса были арестованы минитменами по приказу самого президента. Тех членов Конгресса, которые, погорячившись, попытались сопротивляться, цинично обвинили в «подстрекательстве к бунту»; спокойно подчинившиеся аресту не обвинялись ни в чем. Возмущенной прессе Ли Сарасон вежливо пояснил, что последние были настолько запуганы «безответственными мятежными элементами», что их пришлось взять под стражу просто в целях их собственной безопасности. Сарасон не употребил при этом выражения «превентивный арест», которое могло бы породить ассоциации.

Опытным репортерам казалось странным, что человек, номинально занимающий пост государственного секретаря, которому – теоретически – полагалось обладать таким достоинством и весом, чтобы он мог иметь дело с представителями иностранных держав, фактически является уполномоченным по делам печати, пусть даже уполномоченным самого президента.

По всему Вашингтону, по всей Америке прокатилась волна протестов.

Непокорных членов Конгресса заключили в окружную тюрьму. К этой тюрьме зимним вечером направилась толпа, воинственно настроенная против самого Уиндрипа, за которого многие из демонстрантов голосовали.

В толпе шли сотни возмущенных негров, вооруженных ножами и старыми револьверами, так как одним из арестованных членов Конгресса оказался негр из штата Джорджия – первый цветной из этого штата, который после Гражданской войны попал в Конгресс.

Окружая тюрьму, демонстранты обнаружили за пулеметами несколько солдат регулярной армии, множество полицейских и целую ватагу минитменов, над которыми в толпе стали глумиться, называя их «мышками», «оловянными солдатиками» и «маменькиными сынками». Минитмены нервно поглядывали на своих командиров и на солдат регулярной армии, которые, как профессионалы, делали вид, что им вовсе не страшно. Из толпы полетели бутылки и тухлая рыба. С полдюжины полицейских с револьверами и дубинками, попытавшихся отеснить назад передних из наступающих, были

сметены человеческим потоком, и те, кому удалось выбраться, оказались сильно помятыми и ободранными. Прозвучало два выстрела – один из минитменов рухнул на ступени тюрьмы, другой же удержался на ногах, нелепо поддерживая собственную руку, из которой лилась кровь.

Минитмены перепугались – что вы, они вовсе и не считали себя настоящими солдатами, а лишь хотели позабавиться маршировкой. Они стали шмыгать в толпу, пытаясь скрыться, срывая с головы форменные фуражки. В этот момент из мощного громкоговорителя, установленного в нижнем окне тюрьмы, завопил голос президента Берзелиоса Уиндрипа:

– Я обращаюсь к вам, мои ребята – минитмены – по всей Америке! Вы, и только вы одни, поможете мне снова сделать Америку гордой, богатой страной. Вас презирали. Считали вас «низшим классом». Вам не давали работы, вам предлагали убираться прочь и получать пособие. Вас загоняли во вшивые лагеря. Вы были нехороши, потому что вы были бедны. Я говорю вам, что со вчерашнего дня вы стали высшей знатью страны... аристократией... творцами новой Америки, Америки свободы и справедливости. Ребята! Я нуждаюсь в вас! Помогите мне... помогите мне помочь вам! Держитесь крепко! Всякого, кто окажет вам сопротивление... проткните штыком, как свинью!

Пулеметчик из минитменов, благоговейно слушавший речь, открыл стрельбу. В толпе стали падать. Минитмены настигали раненых и приканчивали их штыком в спину. Получилась препотешная неразбериха, и у беглецов, когда они падали друг на дружку, был такой испуганный, такой нелепый вид.

Минитмены и не предполагали в скучные часы обучения штыковой атаке, что это может быть так здорово. Вот когда у них разгорелся аппетит! Разве сам президент Соединенных Штатов не сказал каждому из них лично, что нуждается в его помощи?

Когда уцелевшие члены Конгресса отважились войти в Капитолий, они обнаружили, что он занят минитменами, а во дворе расположился полк солдат регулярной армии под командой генерал-майора Мейнеке.

Председатель палаты представителей и преподобный мистер Пирли Бикрофт, вице-президент США и председатель сената, сочли возможным объявить, что кворум налицо. (Если многие члены Конгресса предпочли отправиться в тюрьму и бить там баклуши, вместо того, чтобы присутствовать на заседании Конгресса, то кто в этом виноват?) Обе палаты приняли постановление, объявлявшее пункт пятнадцатый временно вступившим в силу на весь период «кризиса», – законность такого постановления была весьма сомнительной, но кто мог ее оспаривать, когда члены Верховного суда, из которых, правда, никто не подвергся «превентивному аресту», были задержаны у себя на дому отрядами минитменов?

Епископ Пол Питер Прэнг был (как рассказывали впоследствии его друзья) в отчаянии от уиндриповского государственного переворота. Не подлежит сомнению, сетовал он, что мистер Уиндрип совсем упустил из виду и не включил христианское миролюбие в программу, заимствованную им у «Лиги забытых людей». Хотя мистер Прэнг в знак удовлетворения перестал выступать по радио с момента, когда справедливость и братство в лице Берзелиоса Уиндрипа восторжествовали, у него появилось желание еще раз предостеречь массы; но, когда он позвонил на хорошо знакомую ему радиостанцию в Чикаго, директор сообщил ему, что «доступ в эфир временно прекращен», за исключением тех случаев, когда имеется специальное разрешение канцелярии Ли Сарасона. (Это была только одна из шестнадцати обязанностей, взятых на себя за истекшую неделю Ли Сарасоном с его шестьюстами новыми помощниками.) Немного робея, епископ Прэнг добрался на машине Персеполиса, где он жил (штат Индиана), до аэропорта в Индианаполисе и ночным рейсом вылетел в Вашингтон для того, чтобы отчитать, а может быть, отшлепать своего непослушного ученика Бэза.

Его без особых затруднений допустили к президенту. Пробыл он в Белом доме, как взволнованно сообщали газеты, целых шесть часов, но провел ли он все это время с

президентом, так и не удалось выяснить. В три часа дня видели, как Прэнг вышел через боковую дверь и взял такси. Заметили, что он был бледен и пошатывался.

Перед отелем, где остановился епископ, его стала теснить толпа, из которой раздавались удивительно спокойные, заученные крики: «Линчевать его... Долой врагов Уиндрипа!» Дюжина минитменов пробилась сквозь толпу и окружила епископа. Младший лейтенант рывкнул на толпу так, чтобы все могли слышать: «Эй вы, трусы! Оставьте епископа в покое! Пойдемте с нами, епископ. Мы позаботимся о вашей безопасности».

Миллионы людей услышали в этот вечер по радио официальное сообщение о том, что для предупреждения злодейств таинственных заговорщиков, вероятно, большевиков, епископ Прэнг помещен в безопасное убежище – окружную тюрьму. Следом передали личное заявление президента Уиндрипа: «Я чрезвычайно рад возможности спасти от ужасных агитаторов моего друга и наставника епископа Пола Питера Прэнга, которого я люблю и уважаю больше, чем кого-либо на свете».

Цензура была еще наложена не на всю печать; дело ограничивалось пока случайными арестами отдельных журналистов, повинных в оскорблении правительства или командиров минитменов на местах; в газетах, продолжавших находиться в оппозиции к Уиндрипу, проскользнул далеко не лестный намек на то, что епископ Прэнг, позволивший себе упрекать президента, был просто-напросто упрятан в тюрьму и что всякие разговоры о «спасении» – чепуха. Слухи эти достигли Персеполиса.

Не все жители Персеполиса пылали любовью к епископу Прэнгу, не все считали его современным святым Франциском, скликающим полевых птичек в свой роскошный лимузин марки «ласалль». Кое-кто из его соседей намекал, что он охотник шататься под чужими окнами и подсматривать за бутлеггерами и веселящимися соломенными вдовами. Но все они гордились им, своей лучшей рекламой, и местная Торговая палата распорядилась повесить у восточного въезда на Главную улицу вывеску: «Здесь живет епископ Прэнг, крупнейшая радиозвезда».

Поэтому жители Персеполиса, все как один, закидали Вашингтон телеграммами с требованием освободить Прэнга, но рассыльный в канцелярии президента, оказавшийся парнишкой из Персеполиса (он был, правда, цветным, но тут он сразу стал всеобщим любимцем, о котором с нежностью вспоминали его школьные товарищи), сообщил по секрету мэру, что все эти телеграммы попадали в тяжеленные кипы посланий, которые ежедневно выбрасывались из Белого дома как не подлежащие ответу.

Тогда четвертая часть граждан Персеполиса организовала специальный поезд для «похода» на Вашингтон. Это был один из тех незначительных инцидентов, которые оппозиционная печать могла использовать против Уиндрипа, так что поезд сопровождали человек двадцать виднейших репортеров из Чикаго, а затем и из Питсбурга, Балтимора и Нью-Йорка.

Когда поезд находился еще в пути – а каких только препон и задержек ему не чинили! – рота минитменов в Логанспорте (штат Индиана) взбунтовалась, получив приказ арестовать группу католических монахинь, обвиненных в предательстве. Верховный маршал Сарасон понял, что пора преподать урок, своевременный и эффективный. Из Чикаго срочно направили на грузовиках батальон минитменов, которые арестовали бунтарей и расстреляли каждого третьего из них.

Приехавших в Вашингтон персеполитанцев встретил на вокзале бригадный генерал минитменов, со слезами сообщивший им, что несчастный епископ Прэнг был так потрясен предательством своих земляков, что сошел с ума, и им пришлось, как это ни трагично, поместить его в государственный приют для умалишенных имени святой Елизаветы.

Больше об епископе Прэнге никто ничего не слышал.

Бригадный генерал передал персеполитанцам привет от самого президента и приглашение остановиться у Вилларда – расходы оплатит правительство.

Человек двенадцать приняли это приглашение, остальные с первым же поездом

поспешили вернуться домой, не особенно довольные случившимся; с тех пор в Америке появился город, в котором ни один из минитменов не рисковал показываться в форменной парусиновой фуражке и синем мундире.

Начальник штаба регулярной армии был смещен, и вместо него назначили генерал-майора Эммануила Куна. Дормэс и ему подобные были разочарованы его согласием принять это назначение, так как, по постоянным сообщениям прессы (даже «Нэйшн»), было известно, что Эммануил Кун, хоть он и профессиональный военный и любит сражаться, предпочитает, чтобы сражались за правое дело; что он великодушен, образован, справедлив, что он человек чести, а ведь глупо было даже предполагать, что пониманию Бэза Уиндрипа доступно само понятие «честь».

Ходили слухи, что Кун (чистый «северянин», хотя и из Кентукки, и потомок тех, кто сражался бок о бок с Китом Карсоном и коммодором Перри) особенно возмущался антисемитизмом и что ничто не доставляло ему такого удовольствия, как съязвить, когда новые его знакомые презрительно отзывались о евреях: «Вы не обратили случайно внимания на то обстоятельство, что мое имя – Эммануил Кун и что Кун – это, может быть, искажение имени, довольно обычного в Ист-сайде Нью-Йорка?»

Что ж, видимо, и генерал Кун рассуждает, что «приказ есть приказ», вздыхал Дормэс.

Первое воззвание президента Уиндрипа к народу явило замечательный образец лирического красноречия. Он объяснял в нем, что могущественные и тайные враги американских принципов – можно было догадаться, что речь шла о комбинации Уолл-стрита с Советской Россией, – узнав, к своему величайшему негодованию, что он, Берзелиос, станет президентом, решили предпринять последнюю попытку и выступить. Через несколько месяцев в стране вновь водворится спокойствие, пока же у нас кризис, во время которого «всей стране приходится терпеть вместе со мной».

Он напомнил о военной диктатуре Линкольна и Стэнтона во время Гражданской войны, когда мирных жителей, подозреваемых в измене, арестовывали без ордера. Он давал понять, как замечательно все будет потом, – совсем скоро, еще момент, еще минута терпения, – когда он возьмет все в свои руки; и в заключение сравнил себя с пожарным, который спасает красивую девушку из «всепожирающего пламени» и несет ее вниз по лестнице, для ее же собственного блага, вне зависимости от того, хочет она того или нет, и не обращая внимания на то, как соблазнительно она дрыгает своими хорошенькими ножками.

Вся страна смеялась.

– Большой шутник этот Бэз, и ловкач! – говорили избиратели.

– Стану я беспокоиться из-за того, что епископ Прэнг или какой другой чудак сидит в кутузке, мне бы только получать пять тысяч монет в год, как обещает Уиндрип, – говорил Шэд Ледью Чарли Бетсу, мебельщику.

Все это произошло в течение восьми дней после вступления Уиндрипа на пост президента.

XVI

У меня нет желания быть президентом. Я бы гораздо охотнее делал мою скромную работу как сторонник епископа Прэнга, Тэда Бильбо, Джина Толмеджа или какого-нибудь другого либерала с широким кругозором и достаточно энергичного. Мое единственное стремление – служить народу.

«В атаку». Берзелиос Уиндрип.

Подобно многим холостякам, преданным охоте и верховому спорту, Бак Титус был

очень рачительным хозяином, и его загородный дом, в викторианском стиле, отличался исключительной опрятностью. Он был приятно пустынным: гостиная с тяжелыми дубовыми стульями, столами без нарядных скатертей, великим множеством серьезных книг по вопросам истории и географических открытий, иллюстрированных традиционными гравюрами, и с громадным камином из неотесанных глыб походила на монастырскую залу. Массивных, фаянсовых или оловянных пепельниц вполне хватало на целый вечер непрерывного курения. Виски открыто стояло у всех на виду на дубовом буфете, а рядом сифоны с содовой и колотый лед в термосе.

Впрочем, было бы излишним ожидать, чтобы Бак Титус мог обойтись без красно-черных гравюр, изображающих сцены охоты – в подражание английским.

Этот приют отшельника всегда был приятен Дормэсу, а теперь он стал для него прямо убежищем, потому что только с Баком мог он по-настоящему поругать Уиндрипа и Ко и людей, вроде Фрэнсиса Тэзброу, который в феврале все еще твердил:

– Действительно, в Вашингтоне творится что-то дикое, но это потому, что там много тупоголовых политиков, которые все еще думают, что Уиндрипа можно сбросить. Но как бы то ни было, а у нас, в Новой Англии, это невозможно.

И в самом деле, когда Дормэс проходил мимо красных кирпичных домов, построенных в георгианском стиле, мимо стройных шпилей старых белых церквей, возвышающихся над зелеными окрестностями, когда он слышал ленивую насмешливость в фамильярных приветствиях своих знакомых – людей, столь же незыблемых и неизменных, как вермонтские холмы, среди которых они жили, – безумие, совершающееся в столице, казалось ему таким же чуждым, далеким и малозначащим, как землетрясение в Тибете.

В «Информере» он неизменно критиковал правительство, хотя и не слишком резко.

Истерика не может продолжаться долго; надо набраться терпения, подождать и посмотреть, что будет, советовал он своим читателям.

Не то, чтобы он боялся властей. Он просто не верил, что эта смехотворная тирания сможет долго продержаться – «У нас это невозможно», – говорил даже Дормэс, даже теперь.

Больше всего его приводил в смущение факт существования диктатора, столь непохожего на бесноватых Гитлеров, на театрально жестикулирующих фашистов и на цезарей с лавровыми венками на макушке, – диктатора, не лишеного весьма земного американского юмора, столь свойственного Марку Твену, Джорджу Эду, Уиллу Роджерсу и Артемусу Уорду. Уиндрип умел отпускать забавные остроты насчет вытянутых физиономий своих высокопарных оппонентов или же по поводу того, что он именовал наилучшим способом «охоты на сиамских блох». «Что же, – недоумевал Дормэс, – опаснее он от этого или наоборот?»

И он вспомнил самого жестокого безумца из всех пиратов – сэра Генри Моргана, который от души забавлялся тем, что зашивал свою жертву во влажную недубленую кожу и наблюдал потом, как она съезживалась на солнце.

Бак Титус и Лоринда гораздо больше симпатизировали друг другу, чем хотели сознаться. Об этом говорило уже то упорство, с каким они постоянно пререкались. Читая мало и потому серьезно относясь к тому, что он читал, Бак не мог взять в толк, как это обычно такая разумная Лоринда в свободное время читает романы о страдающих принцессах. А когда она задорно утверждала, что такое чтение – лучшее руководство в жизни, нежели Антони Троллоп или Томас Харди, Бак рычал с беспомощностью затравленного зверя, нервно набивал свои трубки и выколачивал их о каминную полку. Но он одобрял отношения Дормэса и Лоринды, о которых догадывался только он (да еще Шэд Ледью!), а вокруг Дормэса, который был на десять лет старше его, этот лохматый лесной человек суетился с надоедливостью старой девы.

Для обоих – Дормэса и Лоринды – уединенная хибарка стала укромным убежищем. А они стали очень нуждаться в нем в конце февраля, недель через пять после избрания Уиндрипа.

Несмотря на забастовки и восстания по всей стране беспощадно подавляемые минитменами, Уиндрип по-прежнему крепко сидел в Вашингтоне. Четыре члена Верховного суда, имевшие репутацию наиболее либеральных, сложили с себя полномочия и их заменили никому не известные юристы, бывшие с президентом Уиндрипом на короткой ноге. Несколько членов Конгресса все еще находились «под защитой» в окружной тюрьме; на прочих пролился ослепительный свет богини разума, и они благополучно вернулись в Капитолий. Минитмены все больше усердствовали – они по-прежнему считались добровольцами, но получали «в счет расходов» гораздо больше, чем солдаты регулярной армии. Никогда еще за всю историю Америки приверженцы президента не были в такой мере убогостворены; они назначались не только на все имеющиеся политические посты, но и на несуществующие; о неприятностях, вроде расследований Конгресса, теперь не могло быть и речи, и люди, официально утверждавшие договоры, состояли в наилучших отношениях с подрядчиками... Один выдавший виды лоббист стальных компаний жаловался, что для него работа потеряла всякий интерес: это уже не спорт, когда вам не только разрешают, но просто ждуг от вас, что вы обведете вокруг пальца всех правительственных агентов.

Ни одно нововведение не обсуждалось так, как предписание президента немедленно ликвидировать самостоятельность различных штатов и разделить всю страну на восемь «областей» – с тем, чтобы сэкономить на содержании губернаторов и иных государственных чиновников, утверждал Уиндрип; с тем, чтобы собрать в крепкий кулак всю его личную армию и прибрать к рукам всю страну, – так утверждали враги Уиндрипа.

Каждая область делилась на пронумерованные районы, район – на округа, обозначавшиеся буквами алфавита, в округе административными единицами считались уезды и крупные города, причем только за последними сохранялись их старые названия, воскрешавшие на страх президенту Уиндрипу воспоминания о славных днях местной истории. Уже ходили слухи, что в ближайшее время правительство заменит названия и этих городов, что уже с нежностью подумывают о том, как хорошо бы называть Нью-Йорк «Берзелиэн», а Сан-Франциско – «Сан-Сарасон». Возможно, слухи эти были ложные.

Северо-Восточная область, например, делилась на шесть районов. Из них третий район – район Дормэса Джессэпа, включавший Вермонт и Нью-Гемпшир, – делился на четыре «округа» (Вермонт южный и северный и Нью-Гемпшир южный и северный) со столицей в Ганновере (районный уполномоченный попросту выгнал студентов из Дортмутского морского колледжа и занял его помещения под свои канцелярии, к большому удовольствию Амхерстского, Уильямского и Йельского университетов).

Итак, Дормэс жил теперь в Северо-Восточной области, Район 3, Округ Б, уезд Бьюла, имея над собой, к своей великой радости и восторгу, областного уполномоченного, районного уполномоченного, окружного уполномоченного, помощника окружного уполномоченного, ведающего уездом Бьюла, всю подобающую их званию охрану из минитменов, а также чрезвычайных военных судей.

Граждане, прожившие в каком-нибудь штате свыше десяти лет, по всей видимости, гораздо более горячо принимали к сердцу потерю индивидуальности своего штата, чем кастрацию Конгресса и Верховного суда Соединенных Штатов; это огорчало их не меньше, чем тот факт, что хотя прошел уже январь и февраль и почти весь март, а они все еще не получили от правительства подарка в 5 тысяч (а может быть, еще и в 10 тысяч долларов) на брата; не получили ничего, кроме утешительных бюллетеней из Вашингтона о непрерывных заседаниях главного податного управления.

Виргинцы, деды которых сражались в рядах армии генерала Ли, грозно клялись, что не отдадут священного имени штата и не позволят включить его в произвольно созданную административную единицу, состоящую одиннадцати Южных штатов; жители Сан-Франциско, до сих пор презиравшие жителей Лос-Анжелоса даже больше, нежели туземцев Майами, теперь горько оплакивали разделение Калифорнии и присоединение се

верной ее части к Орегону, Неваде и другим штатам, образовавшим «Горную и Тихоокеанскую области», в то время как Южная Калифорния без ее согласия была влита в Юго-Западную область вместе с Аризоной, Нью-Мексико, Техасом, Оклахомой и Гавайскими островами. Некоторое представление о планах Бэза Уиндрипа на будущее можно было получить из его заявления о том что эта Юго-Западная область может также претендовать на «все части Мексики, которые США сочтут нужным занять в качестве защитной меры против всем известного вероломства Мексики и против замышляемых там заговоров евреев».

«В своей заботливости о будущности других стран Ли Сарасон, пожалуй, превосходит даже Гитлера и Альфреда Розенберга», – вздыхал Дормэс.

Областным уполномоченным по Северо-Восточной области, включающей северную часть штата Нью-Йорк и Новую Англию, был назначен полковник Дьюи Хэйк, этот солдат-юрист-политик-авиатор, наиболее невозмутимо наглый из всех сподвижников Уиндрипа, сумевший тем не менее во время предвыборной кампании очаровать шахтеров и рыбаков. То была хищная птица, любившая кровавую пищу. Уполномоченным района 3 (Вермонт и Нью-Гемпшир) оказался (назначение это вызвало у Дормэса и смех и гнев) не кто иной, как Джон Селливэн Рийк, – этот самый надутый из всех дураков, самый болтливый из всех болтунов, самая покладистая политическая марионетка во всей северной Новой Англии; в свое время он был губернатором от республиканской партии, но в перегонном кубе уиндриповского патриотизма обернулся членом Лиги.

Никто никогда не считал нужным угождать мистеру Рийку, даже когда он был губернатором. Самый захудалый депутат из глубокой провинции, запросто навещавший его в большом губернаторском доме (двенадцать комнат под протекающей крышей), называл его не иначе, как Джонни; и самый желторотый из репортеров не стеснялся кричать ему: «Ну, какую чепуху вы нам будете сегодня молоть?»

И именно уполномоченный Рийк созвал всех редакторов своего района на совещание в свои новые вице-королевские апартаменты в Дортмутской библиотеке и сообщил им очень важную и ценную информацию о том, что президент Уиндрип и его подчиненные с уважением относятся к представителям печати.

Перед отъездом в Ганновер на это совещание Дормэс получил от Сисси «поэму» – так она по крайней мере называла это, – которую Бак Титус, Лоринда Пайк, Джулиэн Фок и она с трудом сочинили, сидя поздно ночью в защищенном особняке Бака:

Осторожнее, старик,
Вон идет пройдоха Рийк.
Будь смелее и хитрей,
Если рядом с Рийком Хэйк.
Хэйк, задрав свой клюв не в меру,
Бодро делает карьеру.
Ну, а Рийк...
О господи!

– Однако, что ни говори, а Уиндрип всем дал работу. И он убрал с дороги эти безобразные щиты с рекламами... Так гораздо лучше для туризма, – говорили старые редакторы, даже те, кого одолевали сомнения насчет того, не слишком ли много позволяет себе новый президент.

По дороге в Ганновер Дормэс видел сотни громадных рекламных щитов. Теперь они, правда, были сплошь заклеены уиндриповскими плакатами, но кое-где внизу еще осталось: «С приветом от солидной фирмы», – и очень большими буквами: «Папиросы Монтгомери» или «Мыло Жонкиль для ног». Пока Дормэс – совсем недолго – шел от автомобильного парка до бывшего колледжа, к нему подошли, каждый сам по себе, три человека, и каждый

прошептал: «Дайте пять центов, хозяин, на чашку кофе: «мышка» заняла мое место, меня «мыши» брать на службу не хотят, говорят, слишком стар». Но это могла быть и «пропаганда из Москвы».

У входа в ганноверскую гостиницу сидели офицеры минитменов; развалившись на раскладных стульях, они положили ноги в сапогах со шпорами (в организации минитменов не было кавалерии) на перила.

Дормэс прошел мимо корпуса, где раньше помещались лаборатории, перед которыми валялась груда разбитой лабораторной посуды, и в одной из разоренных лабораторий увидел небольшой отряд минитменов – шли военные учения.

Районный уполномоченный Джон Селливэн Рийк благосклонно принял редакторов в бывшем классе... Старики, привыкшие к тому, чтобы их почитали, как пророков, с опаской сидели на шатких стульях и смотрели на жирного человека в мундире офицера ММ, который помахал им в знак приветствия рукой, державшей горящую сигару.

Рийк умудрился за час рассказать им то, что отняло бы у самого умного человека пять-шесть часов. То есть умный человек рассказал бы все это за пять минут, но ему потребовалось бы пять часов, чтобы оправиться от тошноты, вызванной необходимостью плести такой бесстыдный вздор... Президента Уиндрипа, государственного секретаря Сарасона, областного уполномоченного Хэйка и его самого, Джона Селливэна Рийка, всех их оклеветали республиканцы, джефферсоновцы, коммунисты, Англия, нацисты, а, может, также и магнаты джутовой и сельдяной промышленности; и правительству теперь желательно, чтобы любой репортер без стеснения приходил к любому представителю администрации, а в особенности к нему, Рийку, в любое время, за исключением, пожалуй, от трех до семи утра, «за получением настоящей информации».

Его превосходительство Рийк объявил затем следующее:

– А теперь, джентльмены, я позволю себе представить вас четверем окружным уполномоченным, которые были назначены не далее, как вчера. Возможно, каждый из вас лично знает уполномоченного своего собственного округа, но я хотел бы, чтобы вы поближе узнали и дружески сошлись со всеми четверьмя, потому что все они разделяют мое безграничное восхищение прессой.

Четверо окружных уполномоченных, неуклюже, один за другим входивших в комнату, чтобы предстать перед журналистами, показались Дормэсу довольно странной компанией.

Изъеденный молью адвокат, более известный своей страстью к цитированию Шекспира и Роберта У. Сервиса, чем своим искусством в суде; лысая голова его, если не считать клока седеющих ржавых волос, вся сияла, но чувствовалось, что ему больше пристали развевающиеся локоны трагика 1890-х годов.

Воинственный священник, известный своими налетами на придорожные трактиры.

Робкий с виду рабочий, подлинный пролетарий, сам, по-видимому, не понимавший, как он сюда попал. (Спустя месяц его сменил популярный остеопат, увлекавшийся политикой и вегетарианством.) Четвертый сановник, который вошел и благосклонно поклонился журналистам, – громадный человек, казавшийся страшным в своем мундире батальонного командира ММ, представленный как уполномоченный северного Вермонта, округа Дормэса Джессэпа, – был мистер Оскар Ледью, известный ранее под именем Шэд.

Мистер Рийк называл его «капитаном Ледью». Дормэс вспомнил, что до избрания Уиндрипа Шэд не пошел в военных чинах дальше рядового и вся его военная карьера протекала в учебном лагере, а весь его боевой опыт сводился к избиению капрала в пьяном виде.

– Мистер Джессэп! – пролепетал почтенный мистер Рийк. – Вы, вероятно, встречали капитана Ледью... он из вашего очаровательного города.

– М-м-да! – отвечал Дормэс.

– Ну, конечно, – сказал капитан Ледью, – я встречал старину Джессэпа. Как же, как же! Он ничего не понимает в том, что происходит. Он ни черта не смыслит в экономике нашей революции. Он шовинист. Но старик он не вредный, и я его пальцем не трону, пока он будет

себя хорошо вести.

– Превосходно! – сказал достопочтенный мистер Рийк.

XVII

Так же как бифитекс и картофель идут вам впрок, хотя бы вы работали из последних сил, так и слова библии помогают вам в трудные и горестные минуты.

Если я когда-нибудь возвышусь над своим народом, я надеюсь, что мои апостолы будут цитировать вторую Книгу царств, главу XVIII, стихи 31 и 32; «Выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете».

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

Несмотря на претензии Монпелье-прежней столицы Вермонта – и Берлингтона – крупнейшего города штата, – капитан Шэд Ледью сделал Форт Бьюла центром исполнительной власти округа «Б», образованного из девяти прежних округов северного Вермонта. Дормэс так и не мог понять, почему: потому ли, что, как уверяла Лоринда Пайк, Шэд в компании с банкиром Р.К. Краули наживался на покупке никуда не годных старых зданий для своей штаб-квартиры, или же тут было еще более серьезное основание: желание покрасоваться в форме батальонного командира с буквами «ОУ»¹³ под пятиконечной звездой на воротнике перед парнями, с которыми он когда-то дулся в карты и пил яблочную водку, и перед «снобами», у которых он когда-то подстригал газоны.

Помимо конфискованных помещений, Шэд занял все здание бывшего окружного суда и в комнате судьи устроил свой личный кабинет. Он выбросил оттуда юридические книги и заменил их грудой журналов, посвященных кино и похождениям сыщиков, а по стенам развесил портреты Уиндрипа, Сарасона, Хэйка и Рийка; кроме того, он поставил два кресла, обитых ядовито-зеленым плюшем (взятых из магазина преданного Чарли Бетса, но, к великому негодованию последнего, взятых за счет государства, которое уплатит неизвестно когда, если вообще уплатит), и удвоил число судебных плевательниц.

В верхнем среднем ящике стола Шэд держал снимок, сделанный в лагере нудистов, бутылку бенедиктина, револьвер и арапник.

Окружным уполномоченным разрешалось иметь от одного до двенадцати помощников, в зависимости от населенности округа.

Дормэс Джессэп очень огорчился, узнав, что у Шэда хватило ума выбрать себе помощников из людей довольно образованных и как будто воспитанных; помощником окружного уполномоченного, ведающим уездом Бьюла, включавшим городки Форт Бьюла, Вест- и Норт-Бьюла, Трианон, Гошеа и Кизмет, был назначен «профессор» Эмиль Штаубмейер.

Так же, как Шэд стал капитаном, так мистер Штаубмейер (автор неизданной книги «Гитлер и другие Поэмы Страстей») автоматически стал доктором.

Может быть, думал Дормэс, ему будет легче постичь Уиндрипа и Ко в их слабом отражении – в Шэде и Штаубмейере, – чем в них самих, ослепляющих блеском Вашингтона, и, таким образом, уразуметь, что Бэз Уиндрик, и Бисмарк, и Цезарь, и Перикл были такими же людьми, как все, честолюбцами, страдающими от зуда и несварения желудка, – с той только разницей, что их честолюбие было более сильным и они с большей легкостью шли на убийство.

¹³ ОУ - окружной уполномоченный.

К июню месяцу количество зарегистрированных минитменов дошло до 562 тысяч, и новых теперь уже принимали с разбором, брали только самых надежных забияк и патриотов. Военный департамент открыто отпускал им не только деньги на «текущие расходы», но и твердое жалованье; от десяти долларов в неделю – «инспекторам», занятым несколько часов в неделю на учении, до 9 700 долларов в год – «бригадирам», состоявшим на службе полный рабочий день, и 16 тысяч долларов – верховному маршалу Ли Сарасону... что, к счастью, не мешало ему получать жалованье и на всех остальных своих обременительных службах.

В организации минитменов имелись: инспектор, чин, более или менее соответствовавший рядовому; взводный или капрал; корнет или сержант; прапорщик и лейтенант; батальонный командир – нечто среднее между капитаном, майором и полковником; командир, или полковник; бригадир, или генерал; верховный маршал или главнокомандующий. Циники остряли, что все эти почетные титулы позаимствованы скорее из Армии спасения, чем из настоящей армии, но так или иначе фактом остается то, что всякому илоту в ММ больше льстило звание «инспектора», стяжавшее себе грозную славу в рядах полиции, чем простое звание «рядового».

Поскольку всем членам Национальной гвардии не только разрешалось, но и всячески рекомендовалось вступать в организацию минитменов, поскольку все ветераны мировой войны получали особые привилегии и поскольку военный министр «полковник» Оссиола Лутхорн щедро предоставлял офицеров регулярной армии в распоряжение государственного секретаря Сарасона для военного обучения минитменов, – в этой, так недавно созданной армии оказался неожиданно большой процент хорошо обученных людей.

Ли Сарасон доказал президенту Уиндрипу на основании статистического материала мировой войны, что университетское образование и даже изучение ужасов прежних войн нисколько не уменьшает мужественности студентов и, наоборот, делает их более патриотичными, задорными и более приспособленными для кровавой резни, чем прочая молодежь, и предстоящей осенью почти всем колледжам было предписано учредить батальоны минитменов из студентов, причем без зачета по военным дисциплинам диплом не выдавать. Студентов обучали на офицеров. Другим великолепным источником, поставлявшим офицеров для минитменов, были гимнастические залы и курсы делопроизводства, организуемые ХАМЛ.

Большую часть рядовых составляли, однако, молодые фермеры, которые были рады попасть в город и ездить на автомобилях с любой скоростью; молодые служащие и рабочие, предпочитавшие военную форму спецодежде и право толкать и бить пожилых граждан – необходимости гнуть спину над машинами; в ряды минитменов влилось также довольно большое количество бывших преступников, экс-контрабандистов виски, экс-взломщиков, экс-бандитов, которым за их искусное обращение с холодным и огнестрельным оружием и за уверения, что величие пятиконечной звезды окончательно их переродило прощали все прошлые нарушения морали и которых с радостью принимали в штурмовые отряды ММ. Ходили слухи, что как раз ничтожнейший из этих заблудших детей был тем первым патриотом, который назвал президента Уиндрипа «Шефом» в смысле – «фюрер», или Верховный маг Ку-Клукс-Клана, или дуче, или Верховный владыка мистического храма, или Коммодор, или Тренер университета – одним словом, в каком-то необычайно благородном и великодушном смысле. Так что в славную годовщину 4 июля 1937 года свыше пятисот тысяч молодых, одетых в форму воителей, разбросанных по разным городам страны, – от Гуама до Бар-Харбора, от Пойнт Барроу до Ки Веста, стояли по стойке вольно на параде и распевали, подобно хору серафимов:

Славься! Славься! Славься, Бэз!
Бэз и его звезда!
На страже мы, и не придет
В Америку беда.

Некоторые критически настроенные умы находили, что в этой версии хорового припева к ставшему теперь официальным гимну минитменов, в его некоторой грубоватости чувствовалось отсутствие тонкого искусства миссис Аделаиды Тарр-Гиммич. Но ничего не поделаешь, она была, как говорили, где-то в Китае и рассылала там мистические письма, которые должны переходить из рук в руки. А тут еще нагрянула новая беда.

Кто-то из окружения верховного маршала Сарасона заметил, что советской эмблемой являлась не шестиконечная звезда, а пятиконечная, совершенно такая же, как американская, так что мы вовсе и не оскорбляли Советы.

Все оцепенели. Из ведомства Сарасона неслись ядовитые упреки в адрес неизвестного идиота, допустившего эту непростительную ошибку (все были уверены, что им был Ли Сарасон), и дано было распоряжение, чтобы все члены ММ присылали предложения о новой эмблеме. Три дня и три ночи в казармах ММ царило возбуждение, непрерывно посылались телеграммы, письма, раздавались телефонные звонки, и тысячи молодых людей сидели с карандашами и линейками в руках и усердно чертили десятки тысяч вариантов для замены пятиконечной звезды: круги в треугольниках, треугольники в кругах, пятиугольники, шестиугольники, альфы и омеги, орлы, аэропланы, стрелы, бомбы, взрывающиеся в воздухе, бомбы, взрывающиеся в кустах, козлы, носороги и Йосемитская долина. Прошел слух, что молодой прапорщик из штаба верховного маршала Сарасона в отчаянии от допущенной ошибки покончил самоубийством. Все считали, что такое хакари было блестящей идеей, свидетельствующей о тонкости чувств лучших представителей минитменов; и так продолжали думать даже, когда выяснилось, что прапорщик, напившись пьяным в клубе Бэза, только говорил о самоубийстве.

Кончилось тем, что, невзирая на бесчисленных конкурентов, не кто другой, как сам великий мистик Ли Сарасон, нашел идеальную новую эмблему – штурвал корабля.

То был символ, как объяснил он, не только государственного корабля, но также колеса американской промышленности, автомобильных колес, диаграммы из колес, предложенной отцом Кофлином еще два года назад в качестве значка Национального союза социальной справедливости и в особенности колеса – эмблемы Ротарианского клуба.

В сарасоновском воззвании указывалось также, что без большой натяжки можно допустить, что, при некоторой обработке чертежа, лапы свастики можно рассматривать как нечто родственное кругу, а как насчет ККК – Ку-Клукс-Клана? Три «К» образуют треугольник, не так ли? А всякий знает, что треугольник можно вписать в круг.

Так что в сентябре на демонстрации в День лояльности (заменивший День труда) те же хоры серафимов распевали:

Славься! Славься! Славься, Бэз!
Бэз и колесо!
На страже мы и защитим
Отчизны мир и сон

В середине августа Уиндрик объявил, что, поскольку все ее задачи выполнены, «Лига забытых людей» (основанная в свое время священником мистером Прэнгом, который, кстати, упоминался в воззвании как деятель далекого прошлого) ликвидируется. Ликвидации подлежали и более старые партии: демократическая, республиканская, рабоче-фермерская и другие. В дальнейшем должна быть одна только партия – Американская корпоративно-государственная и патриотическая партия – или нет, прибавлял президент с оттенком присущего ему прежде добродушного юмора: есть две партии – корпоративная и партия тех, кто не принадлежит ни к какой партии, так это же, не говоря худого слова, совсем пропащие души!

Идею корпорации или корпоративного государства министр Сарасон в той или иной степени позаимствовал в Италии. Все виды занятий были разделены на шесть групп:

сельское хозяйство, промышленность, торговля, транспорт и пути сообщения, банки, страхование и вклады, и шестая, сборная группа, включавшая искусство, науку и образование. Американская федерация труда, Железнодорожные братства и все другие рабочие организации вместе с федеральным департаментом труда были упразднены и заменены местными синдикатами, над которыми стояли областные конфедерации, причем все они имели назначаемое правительством руководство. Наряду с этим в каждой области были созданы синдикаты и конфедерации предпринимателей. И, наконец, шесть рабочих и шесть предпринимательских конфедераций были объединены в шесть общих федеральных корпораций, выбравших двадцать четыре члена Национально-Корпоративного совета, ведавшего законодательством в области труда и предпринимательства.

Национальный совет имел постоянного председателя с решающим голосом и с правом руководить прениями по своему усмотрению, но председатель этот не избирался – он назначался президентом; и первым назначенным на этот пост (без ущерба для остальных его постов) оказался государственный секретарь Ли Сара-сон. С целью охраны свобод рабочего класса председатель получил право отводить любого несознательного члена Национального совета.

Всякие забастовки и локауты были запрещены федеральным уголовным законодательством для того, что бы рабочие прислушивались к голосу разумных представителей правительства, а не беспринципных агитаторов.

Приверженцы Уиндрипа называли себя «корпоратистами», или просто «корпо», причем это сокращенное прозвище стали употреблять повсеместно.

Злые и грубые люди называли корпо «корпсами»¹⁴. Но они отнюдь не походили на трупы. С гораздо большим основанием можно было это название применять к их противникам.

Хотя корпо продолжали обещать дар в 5 тысяч долларов каждой семье, «как только будет закончено фундирование необходимого выпуска облигаций», делами бедняков, в особенности самых недовольных и строптивых, занялись минитмены.

Теперь можно было объявить всему миру (и это было сделано самым решительным образом), что безработица при милостивом правлении президента Берзелиоса Уиндрипа почти исчезла. Почти все безработные были собраны в громадные трудовые лагеря под начальством офицеров ММ. Жены и дети находились вместе с ними и должны были заботиться о приготовлении пищи, стирке и починке одежды. Безработные работали не только на государственных предприятиях – их могли нанимать также частные предприниматели, с умеренной оплатой в один доллар в день. Но так как люди по природе своей эгоистичны даже в утопии, то большинство предпринимателей стали увольнять своих более высокооплачиваемых рабочих и заменять их людьми из лагерей, которым можно было платить не больше доллара в день, а уволенные рабочие, в свою очередь, попадали в трудовые лагеря.

Из получаемого доллара рабочие платили администрации лагеря от семидесяти до девяноста центов в день – за стол и помещение.

Наблюдалось, конечно, известное недовольство среди людей, имевших раньше автомобили и ванные комнаты и евших мясо два раза в день; теперь им приходилось ходить по десять-двадцать миль в день, мыться раз в неделю вместе с пятьюдесятью другими в длинном корыте, получать мясо только два раза в неделю – если они вообще получали его – и спать на жестких койках по сто человек в комнате. Однако возмущение оказалось слабее, чем мог предполагать такой рационалист, как Уолт Тробрэдж, потерпевший поражение соперник Уиндрипа. Но зато каждый вечер громкоговорители доносили до рабочих дорогие голоса Уиндрипа и Сарасона, вице-президента Бикрофта, военного министра Лутхорна, министра просвещения и пропаганды Макгоблина, генерала Куна или других гениев, и эти

¹⁴ Игра слов: *corp*os - корпо и *corp*ses - трупы.

олимпийцы, разговаривая с самыми грязными, самыми усталыми и самыми несчастными людьми, как сердечные друзья, сообщали им, что на их долю выпала славная роль быть краеугольными камнями Новой Цивилизации, авангардом победителей мира.

Те воспринимали это, как наполеоновские солдаты. Ведь были еще евреи и негры, на которых можно было смотреть сверху вниз. Об этом заботились минитмены. Человек чувствует себя королем до тех пор, пока ему есть на кого смотреть сверху вниз.

С каждой неделей правительство все меньше сообщало о результатах работы Совета, который должен был изыскать обещанные 5 тысяч долларов на человека. Проще было отшивать недовольных кулаком какого-нибудь минитмена, чем повторными заверениями из Вашингтона.

Но большинство пунктов уиндриповской программы было выполнено, конечно, если толковать их здраво. Например, инфляция.

В Америке этого периода инфляция не шла ни в какое сравнение с германской инфляцией 1920-х годов, но она была довольно значительна. Зарплату в трудовых лагерях пришлось повысить с одного доллара в день до трех, и рабочие получали эквивалент шестидесяти центов в день по ценам 1914 года. На этом зарабатывали много все, за исключением бедняков, чернорабочих, квалифицированных рабочих, мелких коммерсантов, людей свободных профессий и старых супружеских пар, живущих на ежегодную ренту или на сбережения, – последним действительно пришлось туго, так как их доход сократился втрое. Рабочим как будто увеличили зарплату втрое, но они видели, что в магазинах цены на все возросли гораздо больше, чем втрое.

Сельское хозяйство – которому инфляция, казалось бы, несла выгоду, если исходить из теории, что легко поддающиеся изменениям цены на сельскохозяйственные продукты будут повышаться быстрее всего, – в действительности пострадало больше других отраслей, так как после первого оживления на внешнем рынке импортеры американских продуктов нашли невозможным иметь дело с таким неустойчивым рынком, и экспорт американских пищевых продуктов – даже тот, какой еще имел место, – окончательно прекратился.

И как раз для крупного капитала – этого древнего дракона, которого епископ Прэнг и сенатор Уиндрик намеревались убить, – наступили теперь хорошие времена.

При ежедневно меняющейся стоимости доллара тщательно разработанные в крупных предприятиях системы цен и кредита стали такими запутанными, что председатели и торговые директора фирм засиживались в своих конторах далеко за полночь, с мокрыми полотенцами, обмотанными вокруг головы. Но они находили некоторое утешение в том, что при обесцененном долларе они могли погасить всю свою задолженность по подписным обязательствам, уплачивая по старой номинальной стоимости, то есть избавляясь от задолженности из расчета по тридцати центов за сто. Благодаря этому, а также благодаря тому, что при такой валютной неустойчивости рабочие и служащие не знали точно, сколько они должны получать, а профсоюзы были уничтожены, – самые крупные промышленники в результате инфляции удвоили свои состояния – в реальных ценностях, – по сравнению с тем, что они имели в 1936 году.

Ревностно уважались еще два пункта уиндриповской энциклики – пункт о преследовании негров и покровительственной политике в отношении евреев.

Первые совсем не желали с этим мириться. Бывали ужасные случаи, когда целые южные округа – с преобладающим негритянским населением – подвергались разгрому со стороны негров, которые захватывали имущество белых. Вожаки негров ссылались, правда, в этих случаях на то, что эксцессам предшествовали негритянские погромы, устраиваемые минитменами. Но, как правильно сказал доктор Макгоблин, «министр культуры», все это было настолько неприятным делом, что не стоило это и обсуждать.

Смысл уиндриповского девятого пункта, в отношении евреев, был понят, и пункт этот усердно выполнялся по всей стране. Все понимали теперь, что евреев не надо выгонять из

фешенебельных отелей, как это делалось в прежние, возмутительные времена разгула расовых предрассудков, а надо просто брать с них вдвое дороже. Равным образом все понимали, что не надо препятствовать евреям заниматься торговлей, а надо заставить их давать более крупные взятки уполномоченным и инспекторам и без всяких разговоров подчиняться всем предписаниям, ставкам заработной платы и прейскурантам, установленным чистокровными англосаксами из различных торговых ассоциаций. И, кроме того, евреям всех слоев общества следовало как можно чаще выражать свой восторг по поводу того, что в Америке они нашли убежище, – жизнь их в Европе с ее предрассудками была плачевна.

В Форте Бьюла Луи Ротенстерну, поскольку он всегда, бывало, первым вставал для исполнения старых национальных гимнов «Звездное знамя» или «Дикси», а теперь для исполнения гимна «Славься, Бэз» и поскольку он издавна слыл другом Фрэнсиса Тэзброу и Р.К. Краули и в свое время часто, по доброте душевной, безвозмездно утюжил воскресные штаны еще пребывавшего в безвестности Шэда Ледью, разрешили сохранить свое портновское заведение, причем, конечно, подразумевалось, что он будет брать с минитменов лишь четверть цены или ничего не брать.

Зато некий Гарри Киндерман – еврей, который немало заработал, будучи агентом по продаже кленового сахара и оборудования для молочных, так что в 1936 году он уже вносил последние платежи за свое новое бунгало и за «бьюик», – был всегда в числе тех, кого Шэд Ледью называл «дерзкими еврейчиками». Он смеялся над флагом, над церковью и даже над Ротарианским клубом. Теперь он увидел, что фабриканты без всяких объяснений отказываются от его услуг.

В середине 1937 года он продавал на улице сосиски а его жена, так гордившаяся своим пианино и старым американским сосновым буфетом в их бунгало, умерла от воспаления легких, простудившись в покрытом толем сарайчике, куда им пришлось переехать.

К моменту избрания Уиндрипа в федеральных и местных правительственных учреждениях Америки было свыше 80 тысяч служащих, занятых выдачей пособия. В связи с организацией трудовых лагерей, поглотивших большинство безработных, получавших пособие, эта армия работников, состоявшая как из добровольцев, так и из опытных профессионалов, оказалась не у дел.

Минитмены, управлявшие трудовыми лагерями, были великодушны: они предложили этим служащим по доллару в день, так же как пролетариям, а платить за стол и помещение они должны были меньше. Но наиболее способным было предложено нечто гораздо лучшее: помогать составить списки всех семейных и всех одиноких американцев с указанием их материального положения, профессии, военного образования и – самое важное и требующее наибольшего такта – их тайного мнения о минитменах и о корпо вообще.

Многие из этих работников с негодованием ответили, что, таким образом, им предлагают стать шпионами, осведомителями. Их по разным незначительным обвинениям упрятали в тюрьмы или в концентрационные лагеря, которые были, по сути, теми же тюрьмами, но только особыми тюрьмами минитменов, где не действовали никакие старомодные дурацкие тюремные правила.

В смутный период лета и ранней осени 1937 года офицеры ММ прекрасно проводили время, устанавливая свои собственные законы и все чаще учиняя расправы над такими прирожденными предателями, как евреи-врачи, евреи-музыканты, негры-журналисты, университетские профессора-социалисты, молодые люди, предпочитающие чтение или химические опыты мужественной службе в рядах минитменов, и женщины, которые жаловались, когда их мужей забирали минитмены и они потом исчезали без вести, – таких лиц жестоко избивали на улицах или арестовывали по обвинениям, которые были совершенно неведомы докорповским юристам.

И все больше буржуазных противников уиндриповского переворота бежало в Канаду, – так некогда негры-рабы бежали по «подземной железной дороге» и спасались на свободном

Севере.

В Канаде, а также в Мексике, на Бермудских островах, на Ямайке, на Кубе и в Европе лживые красные пропагандисты стали издавать отвратительные журнальчики, обвиняющие корпо в кровавом терроре. В них голословно утверждалось, что банда из шести ММ избила старого раввина и ограбила его; что редактора маленькой рабочей газеты в Патерсоне ММ привязали к печатному станку и сожгли вместе с типографией, что красивую дочку бывшего рабоче-фермерского политика в Айове изнасиловали молодчики в масках.

Чтобы положить конец трусливому бегству этих распространявших ложь контрреволюционеров (многие из которых считались в свое время почтенными проповедниками, юристами, врачами и писателями, членами конгресса, офицерами армии и которые поэтому могли дать всему миру совершенно ложное представление о корпоизме и ММ), правительство в четыре раза увеличило пограничную охрану, задерживало подозрительных лиц во всех гаванях и даже на еле заметных, пересекающих границу тропинках; кроме того, посты ММ были установлены во всех аэропортах, частных или государственных, на всех авиационных заводах, и, таким образом, можно было надеяться, что все воздушные пути для трусливых предателей закрыты.

Как один из самых яростных врагов переворота в стране, бывший сенатор Уолт Тробриндж – конкурент Уиндрипа на выборах 1936 года – находился днем и ночью под наблюдением охраны, состоящей из двенадцати минитменов. Но, по всей видимости, было маловероятно, что этот противник – скорее чудака, чем неисправимый фанатик, – поставит себя в смешное положение, борясь против великой силы, которую господь (через епископа Прэнга) соизволил ниспослать для исцеления страдающей Америки.

Тробриндж прозаически оставался на своем ранчо в Южной Дакоте, и правительственный агент, распоряжавшийся охраной ММ (квалифицированный работник, с большим опытом подавления забастовок), доносил, что подслушанные телефонные разговоры Тробринджа и его распечатанные письма не содержали ничего более крамольного, чем сообщения об урожае люцерны. С ним общались лишь работники ранчо, а в доме его обслуживала безобидная пожилая чета.

В Вашингтоне надеялись, что Тробриндж начинает прозревать. Возможно, его бы назначили послом в Англию вместо Синклера.

Четвертого июля, когда минитмены так торжественно, но неудачно чествовали своего «Шефа» и пятиконечную звезду, Тробриндж доставил большое удовольствие своим пастухам, устроив для них необычное пиротехническое празднество. Весь вечер вспыхивали ракеты, вокруг выгона для скота ярко пылали факелы. Тробриндж, отнюдь не гнушавшийся охранниками из минитменов, сердечно пригласил их принять участие в запуске ракет и угоститься пивом и колбасой. Молодые солдаты, одиноко скучавшие в прериях, были счастливы, пуская ракеты.

Большой канадский самолет, летевший без огней, быстро направился к освещенной ракетами площадке и с выключенным мотором сделал круг над очерченной факелами лужайкой и быстро приземлился.

Охрана ошалела после выпитого пива. Три человека задремали тут же, развалившись на жесткой траве.

Неожиданно их окружили люди в глухих шлемах, с автоматическими револьверами; они надели наручники тем охранникам, которые не спали, подобрали остальных и заперли всех двенадцать человек в забранное решеткой багажное отделение самолета.

Предводитель команды, человек с военной выправкой, обратился к Уолту Тробринджу:

– Вы готовы, сэр?

– Да. Возьмите, пожалуйста, эти четыре ящика, полковник.

В ящиках были снимки с писем и документов.

Скромно одетый в комбинезон и огромную соломенную шляпу, сенатор Тробриндж

вошел в рубку пилота. Самолет взлетел и направился на север.

На другое утро Трубридж, все еще в комбинезоне, завтракал в отеле Форта Гарри с мэром города Уиннепег.

Спустя две недели он возобновил в Торонто выпуск своего еженедельника «За демократию» и на обложке первого номера поместил репродукцию с четырех писем, из которых явствовало, что до своего избрания президентом Берзелиос Уиндрип получил в виде личных подарков от финансистов свыше миллиона долларов. Дормэсу Джессэпу и тысячам других Дормэсов Джессэпов контрабандой доставляли экземпляры этого журнала, хотя тем, у кого его обнаружили бы, грозила смертная казнь.

Но так как тайным агентам Трубриджа приходилось действовать в Америке очень осторожно, то организация Трубриджа, которую называли «Новым подпольем» (НП), только к зиме стала работать полным ходом, помогая тысячам противников корпо перебраться в Канаду.

XVIII

*В маленьких городках – вот где вечный мир и покой, которые я так люблю, и их не смутить самым шумным ветрогонам из городов-гигантов вроде Вашингтона, Нью-Йорка и т.п.
«В атаку». Берзелиос Уиндрип.*

Политика Дормэса: «подождем – увидим», как и всякая фабианская политика, становилась ненадежной. Особенно ясно это стало в июне 1937 года, когда он отправился в Норт-Бьюла на празднование сороковой годовщины окончания Исайя-колледжа.

Но установленному обычаю приехавшие на празднование носили карнавальные костюмы. Однокурсники Дормэса были в костюмах моряков, но в этих нарядах предназначенных для веселья, они бродили лысые мрачные, и даже в глазах тех трех из них, которые были пламенными корпо (они были местными уполномоченными), сквозила неуверенность.

Дормэс побыл со своими однокурсниками недолго. Он разыскал своего корреспондента Виктора Лавлэнда преподавателя классического отделения, который год назад сообщил ему об изданном директором колледжа Оуэном Пизли указе, запрещающем критиковать военное обучение.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах построенный на скорую руку домик Лавлэнда, похожий на коттедж Анны Хасэуэй, нельзя было назвать дворцом, – ассистенты Исайя-колледжа не привыкли жить во дворцах. Теперь же, когда претендовавшая на элегантность гостиная была заставлена обернутыми рогожей стульями, свернутыми коврами и ящиками с книгами, она походила на пакгауз. Среди обломков крушения сидели Лавлэнд, его жена, его трое детей и некий доктор Арнольд Кинг, занимавшийся экспериментальной химией.

– Что все это значит? – спросил Дормэс.

– Я уволен. За слишком «радикальные» взгляды, – проворчал Лавлэнд.

– Да! И самое радикальное его выступление касалось гликновского толкования употребления аориста у Гесиода! – плачущим голосом сказала его жена.

– Что ж, я заслужил это... тем, что интересовался только событиями, которые имели место не позже 300 года после рождества Христова! Мне только стыдно, что меня уволили не потому, что я объяснил моим студентам, что корпо заимствовали большую часть своих идей у Тиберия, и не за попытку убить районного уполномоченного Рийка! – сказал Лавлэнд.

– Куда вы собираетесь? – спросил Дормэс.

– В этом весь вопрос! Мы сами не знаем! Сначала мы поедem к моему отцу в его квартиру из шести комнат в Берлингтоне; у отца диабет. Но как быть с преподаванием?... Директор Пизли все время откладывал подписание моего нового контракта, и только десять

дней назад известил меня, что я больше не нужен... а теперь уже поздно искать на этот год новое место. Я лично нисколько не огорчен. Seriously, не огорчен. И что мне дали понять, что в качестве университетского профессора я не был, как мне часто хотелось думать, неким новым Эразмом, воодушевляющим благородные молодые души мечтами о чистой классической красоте, а был всего-навсего наемным служащим, приказчиком универмага в отделе уцененной классики, где роль скучающих покупателей играли студенты, и что меня так же просто нанять и уволить, как любого дворника. Вы помните, что в императорском Риме учителя, даже наставники благородных юношей, были рабами... им, правда, разрешались вольности в отношении теорий антропологии Крита, но их не возбранялось душить, как и прочих рабов! Я не возражаю...

– То есть как это вы не возражаете? – накинулся на него доктор Кинг. – Почему это вы не возражаете, черт подери? С тремя-то детьми? Почему не возражать! Вот я другое дело, мне повезло! Я наполовину еврей – один из тех трусливых пролаз-евреев, о которых вам рассказывают Бэз Уиндрип и его друг Гитлер; я такой хитрый, что уже несколько месяцев назад знал все наперед... Меня тоже только что уволили, мистер Джессэп... Я договорился с Всеобщей электрической компанией... Там не возражают против евреев, особенно если они за работой напевают и находят комбинации, дающие компании миллион дохода в год... при годовом жалованье в три тысячи пятьсот! Итак, нежное прости всей моей здешней лабораторной пачкотне. Хотя... – и Дормэсу показалось, что у этого на душе еще горше, чем у Лавлэнда, – мне тяжело бросать мои исследования. Ну да черт с ними!

Версия Оуэна Пизли – магистра искусств, доктора права, президента Исайя-колледжа – звучала совершенно иначе.

Что вы, мистер Джессэп! Мы всей душой за свободу слова и мыслей здесь в старом Исайя-колледже. Мы отпускаем Лавлэнда только потому, что на классическом отделении излишек штатных преподавателей... так невелик теперь спрос на греческий, санскрит и прочее – вы сами знаете – при современном увлечении биофизикой, самолетостроением и тому подобным. Что касается доктора Кинга, то он сам вел себе глупо, хвастал тем, что он еврей и все такое... вы понимаете... Но не лучше ли нам поговорить о вещах более приятных. Вы, вероятно, слышали, что министр просвещения Макгоблин окончательно разработал свой план назначения специальных директоров просвещения в каждой области и районе?.. И что профессор Альмерик Траут из университета Омбри является кандидатом на этот пост в нашу Северо-Восточную область? Ну вот, к этому я могу присовокупить еще нечто весьма приятное. Доктор Траут... а какой это серьезный ученый, какой красноречивый оратор!.. Известно ли вам, что по-тевтонски «Альмерик» означает «благородный государь»?.. И он был так добр, что назначил меня директором просвещения в районе Вермонт – Нью-Гемпшир! Не правда ли, замечательно?! И мне очень хотелось, чтобы вы одним из первых узнали об этом, мистер Джессэп, так как, несомненно, одной из главных задач директора будет работа в контакте с редакторами газет и при их помощи в очень важной области – по распространению правильных корпоративных идей и борьбе с ложными теориями... Да, да!

«Что-то много народу стремится в наши дни работать «в контакте с редакторами и при их помощи», – подумал Дормэс.

Он подумал еще, что директор Пизли похож на куклу из линялой серой фланели того качества, какое обычно пускают на нижние юбки для девочек-сирот в приютах.

Организация минитменов пользовалась в провинциальной глуши гораздо меньшим почетом, чем в индустриальных центрах, но уже летом стало известно, что в Форте Быола образована рота минитменов, проходящих военное обучение под руководством офицеров Национальной гвардии и окружного уполномоченного Ледью, – видели, как он просиживал ночи напролет в своей новой роскошной комнате пансиона миссис Ингот за чтением воинских инструкций. Дормэс все время отказывался пойти посмотреть на них, и когда его простоватый но честолобивый репортер Док (по-иному Отис) Итчитт стал взволнованно

рассказывать о минитменах и хотел поместить иллюстрированную заметку о них в субботнем номере «Информера», Дормэс сердито фыркнул.

Так он и не видел их до первого публичного парада августе месяце, а увидев, не испытал большой радости.

Все жители высыпали на улицу; Дормэс слышал смех и шарканье ног под окном своей конторы, но он упрямо сидел и редактировал статью об удобрениях для вишневых садов. (А он любил парады, любил, как ребенок!) Даже звуки оркестра не привлекли его к окну. А затем его все же заставил решиться Дэн Уилгэс, старейший наборщик в типографии «Информера», высокий, как каланча, с длиннейшими черными усищами, какие носили в старые времена бармены. «Вы должны взглянуть, хозяин, зрелище грандиозное», – умолял Дэн.

Дормэс увидел маршировавшую по улице хорошо вымуштрованную роту молодых людей в мундирах кавалеристов Гражданской войны. И как раз, когда они поравнялись с редакцией «Информера», городской оркестр грянул «Марш через Джорджию». Молодые люди зашагали веселее и подняли выше свое знамя со штурвалом и буквами ММ.

Когда Дормэсу было десять лет, он видел на этой самой улице парад ветеранов Гражданской войны. Ветеранам было тогда в среднем меньше пятидесяти лет, а некоторым и вовсе тридцать пять; они шли бодро, легко и весело под звуки «Марша через Джорджию». И вот теперь, в 1937 году, он снова смотрел на ветеранов Геттисберга и Мишенери Ридж. О, он как бы видел их всех перед собой – дядюшку Тома Видера, который делал ему свистки из ивняка; старого мистера Краули с его васильковыми глазами; Джека Гринхилла, который играл с детьми в чехарду, а впоследствии утонул в Этан-крик.

Дормэс невольно залюбовался флагами минитменов, музыкой, мужественными молодыми людьми, хотя ненавидел все, во имя чего они маршировали, и ненавидел Шэда Ледью, которого с трудом узнал в сильном человеке, возглавлявшем процессию верхом на лошади.

Он понял теперь, почему эти молодые люди шли войну. Но... «Да... вы так думаете?» – как будто слышал он сквозь музыку насмешливый голос Шэда.

Тяжеловесный юмор, характерный для американских политических деятелей, сохранялся при любых обстоятельствах. Дормэс прочитал – а затем язвительно обыграл это в своем «Информере» – о представлении лиц, заgrimированных под негров, устроенном в Атлантик-сити на национальном съезде клубов в конце августа. В заключение этого представления выступили в духе юмора добрых старых времен такие выдающиеся лица, как министр финансов Уэбстер Скиттл, военный министр Лутхорн, секретарь по просвещению доктор Макгоблин. Этих людей не смущали соображения о собственном достоинстве или о соблюдении международных обязательств, а между тем поговаривали, что, несмотря на свои заслуги, этот чудак Ли Сарасон придавал этим соображениям большую важность. И зрители восхищались демократичностью этих великих людей, подшучивавших друг над другом, и над корпо – вот ведь какие они простые, негордые!

– Кто эта дама, с которой я видела вас на улице? – спрашивал пухлый мистер Скиттл (наряженный молодой негритянкой в ситцевом платье в горошек) у военного министра Лутхорна (с черным лицом и в больших красных перчатках).

– Никакая это не дама, это газета Уолта Трубриджа.

И другие веселые шутки в таком же роде, не слишком тонкие, сближали народ (несколько миллионов слушали эту передачу по радио) с его великодушными хозяевами.

Но наибольший восторг вызвала исполненная доктором Макгоблином песенка, в которой он поддевал своих сторонников:

Славься, Бэз! Смешно и жаль!
Нам все скучней, друзья!
Из Вашингтона убежав,
В Сибирь отправлюсь я.

Дормэсу приходилось немало слышать о подвигах министра просвещения доктора Макгоблина. А в сентября ему сообщили о нем нечто весьма неблагоприятное. Вот что ему рассказали: Гектор Макгоблин, этот великий хирург-боксер-поэт-моряк всегда умудрялся иметь множество противников а уже после того, как он занялся обследованием школ с целью очистить их от всех учителей, которые ему почему-либо не нравились, у него появилось так много врагов, что он не выходил иначе, как в сопровождении телохранителей. В сентябре он был в Нью-Йорке и занимался ликвидацией «подрывных элементов» в Колумбийском университете, несмотря на протесты президента Николаса Мюррэй Батлера, уверявшего, что он уже вычистил всех вольнодумцев и крамольников и освободился от всех пацифистов на медицинском факультете. В качестве телохранителей Макгоблина сопровождали два бывших преподавателя философии, у которых их коллеги по университету и деканы находили лишь один недостаток, то, что с пьяных глаз они всегда лезли в драку. Один из них в таком состоянии имел обыкновение снимать башмак и бить каблуком по голове всякого, кто осмеливался ему противоречить.

Этим двум своим телохранителям в форме батальонных командиров ММ – сам он был в форме генерала – после дня, с пользой проведенного в Колумбийском университете, где он был занят вышибанием всех преподавателей, голосовавших за Троубриджа, доктор Мак-гоблин взялся доказать, что он не пропустит ни одного бара на Пятьдесят второй улице и все же не выйдет из строя.

Он действовал вполне добросовестно, но в 10 часов 30 минут он, разнежившись, надумал позвонить своему преподавателю, почтенному старому лектору Стэнфордского университета, биологу доктору Вилли Шмидту, приехавшему в свое время из Вены, а теперь работавшему в Рокфеллеровском институте. Когда из квартиры Шмидта ответили, что его нет дома, Макгоблин сразу расвирепел. «Нет дома? – в бешенстве заорал он. – Дома нет? То есть как это его нет дома? Такой старый козел не имеет права не быть дома! Да еще в полночь! Где он находится? Говорят из департамента полиции! Где он?»

Доктор Шмидт проводил этот вечер у милейшего доктора Винцента Де-Вереца – раввина, слывшего большим ученым.

Макгоблин и его ученые гориллы направились к Де-Верецу. По дороге не произошло ничего примечательного, за исключением разве того, что когда Макгоблин обсуждал с шофером такси стоимость проезда, он вдруг почувствовал потребность поколотить его. Затем все трое в самом счастливом, самом мальчишеском настроении весело ввалились в скромную квартиру Де-Вереца. В довольно запущенной передней посетители смогли полюбоваться зонтиками и калошами доброго раввина, а если бы непрошеные гости заглянули в спальни, они показали бы им кельями траппистов. Но длинная гостиная, единственная парадная комната в этом жилище, была отчасти музеем, отчасти комнатой для отдыха. Именно потому, что он сам любил такие вещи и чувствовал себя обиженным, когда видел их у других, Макгоблин презрительно посмотрел на белуджистанский молитвенный коврик, на буфет времен короля Иакова I и небольшой шкаф с инкунабулами, в котором лежали арабские рукописи с серебряными буквами на пурпурном пергаменте.

– А тут у вас неплохо! Хэлло, доктор! Как поживаешь, старина? Как подвигается исследование антител? Это доктор Немо и доктор... э-э... доктор Вузис, мои большие друзья. Представьте нас вашему еврейскому другу.

Весьма возможно, что раввин Де-Верец ничего не знал и никогда не слышал о министре просвещения Макгоблине.

Слуга, впусивший непрошенных посетителей и теперь беспокойно маячивший у дверей гостиной (благодаря ему главным образом эта история и получила огласку), рассказывал впоследствии, что Макгоблин, нетвердо державшийся на ногах, поскользнулся на ковре, чуть не упал, затем сел, бессмысленно хихикая, пригласил своих скорых на расправу друзей садиться и крикнул: «Эй, раввин, как насчет виски? Немного шотландского с содовой. Я знаю, что вы, «гоаны», не пьете ничего, кроме холодного нектара из ручек девы с цитрой,

воспевающей землю Ханаанскую, да еще, пожалуй, одного глотка жертвенной крови христианских детей... ха-ха! Это просто шутка, раввин. Я хорошо знаю, что «Протоколы старейшин Сиона» – болтовня, впрочем, чрезвычайно удобная для пропаганды. Но дайте простым «гоям», как мы, немного настоящего крепкого виски, а? Слышите?»

Доктор Шмидт пытался протестовать. Но раввин, гладивший свою седую бороду, успокоил его и легким движением хрупкой старческой руки подал знак ожидавшему слуге, который неохотно принес виски и сифоны с содовой.

Три поборника культуры почти наполнили свои стаканы, прежде чем лить в них содовую.

– Послушайте, Де-Верец, почему бы евреям не догадаться самим и не уйти совсем, черт возьми, «унося с собой трупы», и не образовать настоящий Сион где-нибудь, скажем, в Южной Америке, а?

Раввин растерянно посмотрел на него. Доктор Шмидт сердито пробормотал:

– Доктор Макгоблин... когда-то был моим учеником, подававшим надежды, теперь министр просвещения и еще многое такое... не знаю точно что! Корпо!

– О! – вздохнул раввин. – Я слышал об этом культе, но мы научились не обращать внимания на преследования. Мы позволили себе позаимствовать тактику у ваших первых христианских мучеников! Даже если бы нас и пригласили на ваш корпоративный пир... о чем, как я понимаю, не могло быть и речи... я боюсь, мы все равно отклонили бы эту честь. Видите ли, мы верим в одного только диктатора – бога – и не согласились бы признать в мистере Уиндрипе конкурента Иеговы!

– А-ах, это все болтовня! – проворчал один из ученых-телохранителей, а Макгоблин заорал:

– Знаем мы эти разговорчики! Есть только одно, в чем мы согласны с коммунистами – приятелями грязных еврейчиков, это в том, чтобы вышвырнуть всю компанию богов, и Иегову, и всех остальных, которые слишком долго были на пособии!

Раввин был не в состоянии ответить что-нибудь, но маленький доктор Шмидт (пышные усы, брюшко, свидетельствующее о пристрастии к пиву, черные ботинки на пуговицах, подошвы толщиной с полдюйма) сказал:

– Макгоблин, я думаю, что могу говорить откровенно со своим старым студентом, когда нет репортеров громкоговорителей. Знаете ли вы, почему вы пьете как свинья? Потому что вам стыдно! Стыдно, что вы, подававший надежды исследователь, продались пиратам у которых вместо мозгов гнилая печенка и...

– Довольно, профессор!

– Связать бы этих негодных бунтовщиков и бить так, чтобы они света не взвидели! – проворчал один из сторожевых псов.

Макгоблин завизжал:

– Вы, умники... вонючие интеллигенты! А вы, еврейчик, похваляетесь тут своей библиотекой, в то время как простой народ умирает с голоду... вернее, умирал бы, если бы Шеф не спас их всех! И эта коллекция книг... на краденые деньги, собранные с вашей бедной, бессловесной, покорной паствы из мелких торговцев!

Раввин сидел, обомлев, перебирая пальцами бороду, но доктор Шмидт вскочил и закричал:

– Вас никто не звал сюда, негодяи вы такие! Вы ворвались сюда непрошеные! Убирайтесь отсюда! Уходите! Вон уходите!

Один из псов обратился к Макгоблину:

– И вы собираетесь терпеть этих жидов, которые нас оскорбляют... оскорбляют все корпоративное государство и мундир минитменов? Убить их надо!

Макгоблин, уже изрядно нагруженный до прихода к Де-Верецу, успел и здесь выпить два больших стакана виски. Он вытащил из-за пояса автоматический револьвер и дважды выстрелил.

Доктор Шмидт упал. Раввин Де-Верец соскользнул со своего кресла, из простреленного

виска лилась кровь. Слуга дрожал у двери, но тут один из телохранителей выстрелил в него, а затем ринулся вслед за ним и погнался по улице, продолжая стрелять и улюлюкая. Пуля полисмена, дежурившего на перекрестке, сразила ученого-охранника.

Макгоблина и второго телохранителя арестовали и привели к уполномоченному столичного района, к вице-королю корпо, власть которого равнялась власти трех-четырех губернаторов штатов.

Доктор Де-Верец подавал еще признаки жизни, но был слишком слаб, чтобы дать показания. Но уполномоченный полагал, что в случае, так близко касающемся федерального правительства, было бы неудобно откладывать судебное разбирательство.

Свидетельским показаниям перепуганного слуги русско-польского происхождения противостояли веские (и в настоящий момент вполне трезвые) показания федерального министра просвещения и его оставшегося в живых помощника – бывшего ассистента по кафедре философии Пелузского университета. Было доказано, что не только доктор Де-Верец был евреем, но также и доктор Шмидт, хотя в этом утверждении не было ни на грош истины. Имелись также серьезные доказательства того, что эта ужасная пара заманивала невинных корпо на квартиру к Де-Верещу и учиняла там над ними – по формулировке одного запуганного доносчика-еврея – «ритуальные убийства». Макгоблин и его друг были оправданы как действовавшие в порядке самозащиты, и им была торжественно выражена благодарность – сперва уполномоченным столичного района, а затем, по телеграфу, также президентом Уиндрипом и государственным секретарем Сарасоном – за то, что они защитили государство от этих вампиров и от одного из самых страшных заговоров, какие только знала история.

Полисмен, убивший второго телохранителя, был сравнительно легко наказан (как же беспристрастно правосудие корпо!): его просто перевели на скучный участок в Бронкс.

Так что все обошлось наилучшим образом.

Но Дормэс Джессап, когда он получил сообщение обо всем этом от одного нью-йоркского репортера, конфиденциально беседовавшего с оставшимся в живых телохранителем, отнюдь не пришел в восторг. Он и без того был не в очень хорошем настроении. Окружной уполномоченный Шэд Ледью, из соображений гуманности, заставил его уволить своих посыльных и поручить доставку «Информера» минитменам (последние могли с таким же успехом преспокойно бросать его в реку).

– Это последняя капля... это предел! – возмущался Дормэс.

Он читал о раввине Де-Вереще и видел его портреты. Ему пришлось как-то слышать выступление доктора Вилли Шмидта на заседании Государственной медицинской ассоциации, происходившем в Форте Бьюла, а там они сидели рядом за обедом. Если они кровожадные евреи, тогда и он, утверждал Дормэс, тоже кровожадный еврей, и, стало быть, пришло время сделать что-нибудь для своего родного народа.

В этот вечер, в последних числах сентября 1937 года он не пошел домой обедать и упорно сидел за своим столом в редакции. Кофе и пирог стояли перед ним нетронутыми; он сидел сгорбившись и писал передовую статью, которая должна была появиться наутро. Статья начиналась так:

«Полагая, что ошибки и преступления правительства корпо объясняются трудностями, неизбежными при самоутверждении всякой новой формы власти, мы терпеливо ждали, когда они кончатся. Мы извиняемся перед нашими читателями за свое долготерпение.

Возмутительное злодеяние пьяного члена кабинета министров, жертвою которого стали ни в чем не повинные и достойные старики – доктор Шмидт и доктор Де-Верец, – свидетельствует о том, что и впредь нам не остается ждать ничего иного, кроме кровавой расправы со всеми честными противниками тирании Уиндрипа и его шайки корпо.

Не все наши правители действуют так зверски, как Макгоблин. Некоторые из них просто невежественны, как наши знакомцы Ледью, Рийк и Хэйк. Но именно смехотворная невежественность и позволяет этим вождям продолжать свою палаческую деятельность без

всякой помехи.

Бэз Уиндрип, пресловутый «шеф» палачей, и вся его шайка бандитов...»

Маленький чистенький седобородый человек яростно стучал двумя указательными пальцами по клавишам ветхой пишущей машинки.

Заведующий наборной Дэн Уилгэс всем своим видом и воркотней напоминал старого сержанта и, подобно старому сержанту, только делал вид, что слушается высшее начальство. Он весь дрожал, когда вошел с экземпляром статьи в руках, и, тыча его в самое лицо Дормэса взволнованно заговорил:

– Что же это, хозяин, вы и впрямь думаете, что мы станем набирать это?

– Конечно! Я в этом уверен!

– А я нет. Черт возьми! Вас бросят в тюрьму, а может быть, и расстреляют на заре, но раз вас устраивает такой вид спорта – пожалуйста; а у нас было общее собрание, и мы решили, что не станем рисковать головой.

– Ладно, трусливый щенок! Ладно, Дэн. Я наберу сам!

– Не делайте этого! Я совсем не хочу идти за вашим гробом, когда минитмены расправятся с вами, и говорить: «Бедняжка! Как они его разделали!»

– Это после двадцати лет работы у меня, Дэн?! Предатель!

– Послушайте! Я не Энох Арден и не... черт, как их там звали... И не Этан Фроум и не какой-нибудь Бенедикт Арнольд! И я не раз бил морду какому-нибудь сукину сыну, который распространялся в кабаке, что вы самый дрянной и заносчивый редактор в Вермонте, хоть я и думал при этом, что, может быть, они отчасти и правы, но вместе с тем... – Попытка Дэна быть остроумным и убедительным сорвалась, и он жалобным голосом взмолился: – Ради бога, хозяин, не делайте этого, прошу вас!

– Я все знаю, Дэн. Возможно, что нашему другу Шэду Ледью это придется не по вкусу. Но я больше не могу спокойно наблюдать такие вещи, как убийство старого Де-Вереча... Ну-ка, дайте мне статью!

Наборщики, тискальщики и мальчишка-рассыльный стояли и смотрели, как неуклюжий Дормэс, взяв впервые за десять лет в левую руку верстатку, в нерешительности поглядывал на кассу. Она представлялась ему лабиринтом.

– Забыл расположение. Ничего не могу найти, – пожаловался он.

– Вот черт! Давайте сюда! А вы, щенки, проваливайте! И вы ничего не знаете и не видели! – заорал Дэн Уилгэс, и все скрылись, правда, не дальше двери уборной.

Дормэс показал гранки своей отчаянной статьи Доку Итчитту, предприимчивому, но незадачливому репортеру, и Джулиану Фоку, который собирался вернуться в Амхерст, но который все лето работал для «Информера», сочиняя неудобочитаемые статьи об Адаме Смита и весьма удобочитаемые заметки о состязаниях в гольф и танцах в местном клубе.

– Черт, мне и хочется, чтобы у вас хватило духу напечатать это... и вместе с тем я надеюсь, что вы этого не сделаете! Ведь вас же заберут! – разволновался Джулиан.

– Ерунда! Смело печатайте! Они не посмеют ничего сделать! Они могут куролесить в Нью-Йорке или Вашингтоне, но здесь, в долине Бьюла, вы слишком сильны, чтобы Ледью и Штаубмейер осмелились поднять на вас руку! – визгливо кричал Док Итчитт, а Дормэс, глядя на него, думал: «А не рад ли этот Иуда от журналистики утопить меня с тем, чтобы захватить «Информер» и передать его корпо?»

Он не стал дожидаться, пока газета с его статьей пойдет в печать, рано ушел домой и показал корректуру Эмме и Сисси. Когда они ее читали, громко выражая свое неодобрение, пришел Джулиэн Фок.

Эмма волновалась.

– И не думай... Не смей этого делать! Что тогда будет со всеми нами? Честное слово, Дормэс, я не за себя боюсь, но что я буду делать, если они избьют тебя, посадят в тюрьму

или еще что-нибудь в этом роде? Я просто не переживу одной мысли, что ты в тюрьме! И без смены белья! Еще можно приостановить это? Не поздно?

– Нет. По правде сказать, не поздно: газета идет в машину не раньше одиннадцати часов... Сисси, а ты что думаешь?

– Я не знаю, что думать! Черт возьми!

– Что ты, Сисси? – автоматически остановила ее Эмма.

– Раньше все было просто: ты поступал как надо, тебе еще давали за это лишнюю порцию сладкого – сказала Сисси, – а теперь все наоборот: что правильно, то неправильно. Джулиэн, а что ты думаешь о том, что отец собирается дать Шэду по его волосатому уху?

– Я... – Джулиэн задумался, потом выпалил:

– Мне думается, было бы ужасно, если бы никто не попытался одернуть этих молодцов. Я сам бы рад это сделать. Но как я могу?

– Вы, кажется, своим ответом разрешили всю проблему, – сказал Дормэс. – Если человек присваивает себе право руководить мнением нескольких тысяч читателей... что было очень приятно до сих пор... то на нем лежит священная, можно сказать, обязанность говорить правду. «О воля злых судьбин!» Ну, ладно! Сейчас я, пожалуй, заеду еще в редакцию. Вернусь часов в двенадцать. Не ждите меня никто... ни ты, Сисси, ни вы, Джулиэн, это, собственно, относится к вам двоим, полуночникам! Что касается нас, то мы соблюдаем закон божий... а в Вермонте это означает спозаранку ложиться спать.

– И ложиться одному! – пробормотала Сисси.

– Прекрати, Сесилия!

Когда Дормэс выходил, Фулиш, все время с обожанием смотревший на хозяина, вскочил в надежде на прогулку.

Преданность собаки сильнее Эмминых слов дала Дормэсу почувствовать, что значит попасть в тюрьму.

Он солгал. Он не вернулся в редакцию. Он поехал к Лоринде Пайк.

Но по дороге он остановился у дома своего зятя, деятельного молодого врача Фаулера Гринхилла; он заехал не с тем, чтобы показать ему корректуру статьи, а для того, чтобы унести с собой – может быть, в тюрьму? – воспоминание о своей семье.

Он тихонько вошел в прихожую гринхилловского домика, являвшего взору легкомысленное подражание архитектуре Маунт Вернона; все здесь дышало уютом и довольством: мебель орехового дерева с отделкой из бронзы, раскрашенные русские ларцы, которые обожала Мэри Гринхилл. Дормэс услышал голос Дэвида, оживленно болтавшего с отцом (но ведь Дэвиду уже пора быть в постели! В котором же это часу ложатся спать в нынешнее идиотское время девятилетние мальчишки?), и голос старого доктора Маркуса Олмстэда, компаньона Гринхилла, уже почти отказавшегося от практики, кроме акушерства, глазных и ушных болезней Дормэс заглянул в гостиную, украшенную светлыми занавесями желтого полотна. Мать Дэвида писала письма – хрупкая, изящная фигурка за кленовым письменным столом, на котором стояло желтое гусиное перо, календарь и пресс-папье с серебряной ручкой; Фаулер и Дэвид примостились на широких ручках кресла, в котором сидел Олмстэд.

– Значит, тебе не хочется стать доктором, как папа и я? – шутливо спрашивал доктор Олмстэд.

Мягкие волосы Дэвида растрепались, он был полон возбуждения – ведь взрослые разговаривали с ним всерьез.

– Ох, конечно, хочется. Наверно, это так здорово – быть доктором. Но ведь я решил стать газетчиком, как дедушка. Это же блеск! А, что нет?

– Дэвид! Где это ты научился так говорить?) – Понимаете, дядя доктор; доктор – это... ну, доктору приходится не спать, вставать ночью, а редактор, он себе сидит в конторе, и ему на все плевать, и никаких забот!

В этот момент Фаулер Гринхилл увидел в дверях тестя, подававшего ему знаки, и сказал сыну:

– Ну, не всегда это так! Иногда редактору приходится очень много работать, например, когда случается крушение поезда, или наводнение, или что-нибудь в этом роде. Я тебе это все объясню. А ты знаешь, что я обладаю магической силой?

– А что это за «магическая сила», папа?

– Сейчас увидишь. Я вызову твоего дедушку сюда из туманной бездны...

– Да придет ли он? – проворчал доктор Олмстэд.) – ...и он расскажет тебе о трудностях, с которыми приходится встречаться редактору. Вот сейчас я заставлю его прилететь по воздуху.

– Ах, нет, этого ты, папа, не сможешь!

– Ты думаешь! – Фаулер торжественно встал, падавший сверху свет смягчал резкий цвет его волос, и, размахивая руками, глухо забормотал: – Престо-весто-адсит – сюда... дедушка Джессэп...

И вправду: на пороге стоял дедушка Джессэп.

Дормэс пробыл у дочери всего минут десять и попрощался с мыслью, что в «этой крепкой, хорошей семье не может случиться ничего плохого». Когда Фаулер провожал его к двери, Дормэс со вздохом сказал:

– Хотел бы я, чтоб Дэвид был прав... Хорошо бы это – сидеть в редакции и ни о чем не беспокоиться.

Но мне кажется, что рано или поздно мне не избежать столкновения с корпо.

– Надеюсь, что обойдется. Гнусная банда. Как вам нравится, отец? Эта свинья, Шэд Ледью, вчера сообщил мне, что минитмены намерены завербовать меня к себе в качестве военного врача. Вот удовольствие! Я ему так и сказал...

– Остерегайтесь Шэда, Фаулер. Он очень мстительный. Нам пришлось из-за него переделать всю проводку в доме.

– Я не боюсь капитана-генерала Ледью и еще пятидесяти таких, как он. Надеюсь, он как-нибудь пригласит меня к себе, когда у него заболит живот! Я дам ему хорошее успокоительное – цианистый калий! Может быть, я еще буду иметь удовольствие увидеть этого «джентльмена» в гробу. Это ведь, как вам известно, преимущество врача. Спокойной ночи, отец. Спите крепко!

Из Нью-Йорка все еще приезжало множество туристов, чтобы насладиться прекрасными осенними красками Вермонта, так что когда Дормэс приехал к Лоринде Пайк в ее «Таверну», ему, к его большому неудовольствию, пришлось дожидаться, пока она доставала запасные полотенца, просматривала расписание поездов и вежливо выслушивала старых дам, которые сетовали, что ночью до них слишком явственно – или, наоборот, слишком глухо – доносился шум водопада реки Бьюла. Ему удалось поговорить с Лориндой наедине только после десяти часов. А до этого времени он испытывал какое-то странное, волнующее наслаждение при мысли, что с каждой потерянной минутой приближается момент печатания газеты, а он сидит здесь, в кафе, и невозмутимо перелистывает последний номер «Форчун».

В начале одиннадцатого Лоринда провела его в свой кабинет – здесь умещались только конторка, кресло стул да стол, заваленный грудой старых журналов. Все было чисто и аккуратно, как у старой девы, но в воздухе носился запах папирос и залежавшихся бумаг.

– Только поскорее, Дор. У меня опять стычка с этим противным Ниппером. – Она упала в кресло у конторки.

– На, Линда, прочти. Это для завтрашнего номера... Нет. Подожди. Встань.

– Что такое?

Он сам уселся в кресло и привлек ее к себе на колени.

– Ах, ты, – пробормотала она укоризненно и ласково прижалась щекой к его плечу.

– Прочти, Линда. Это для завтрашнего номера. Думаю пустить, во всяком случае... надо окончательно решить до одиннадцати... Как ты считаешь? Когда я уходил из редакции, у меня не было сомнений, но Эмма в таком ужасе...

– А, Эмма! Сиди тихо. Дай посмотреть. – Она быстро прочитала. Окончив, бесстрастно сказала: – Конечно, ты должен напечатать это, Дормэс! Ведь они уже действительно хозяйничают здесь, у нас... эти корпо... это все равно что читаешь об эпидемии сыпняка в Китае и вдруг обнаруживаешь, что тиф уже здесь, у тебя в доме.

Она потерлась щекой о его плечо и снова возмущенно заговорила:

– Подумать только! Этот Шэд Ледью... И я ведь почти год обучала его в районной школе, хотя я всего на два года старше... а какой это был противный задира! Несколько дней назад он заявился ко мне с наглым предложением, что если я буду брать с минитменов подешевле... он даже вроде бы намекнул, что не мешало бы мне вообще бесплатно обслуживать их офицеров... тогда они закроют глаза, буде мне вздумается продавать у себя напитки без надлежащего разрешения! Больше того, у него хватило нахальства сказать мне и сказать так, словно он оказывал мне честь, что он и его добрые друзья охотно проводили бы здесь время! Даже Штаубмейер... о, наш «профессор» совсем распоясался! Я выставила Ледью под зад коленом. Смотри, как раз сегодня утром я получила приглашение явиться завтра в окружной суд... какая-то жалоба со стороны моего милого компаньона, мистера Ниппера... Он, по-видимому, недоволен разделением обязанностей здесь, у нас... а по чести говоря, мой дорогой, он ровно ничего не делает, только сидит и смертельно надоедает моим лучшим клиентам своими рассказами о том, какой роскошный отель был у него во Флориде. Он забрал отсюда свои вещи и перебрался в город. Боюсь, что на суде мне будет стоить большого труда не сказать ему все то, что я о нем думаю.

– Господи! Но, дорогая, ты пригласила для этого дела адвоката?

– Адвоката? Какой там адвокат! Это просто очередная пакость... со стороны пакостника Ниппера.

– Лучше возьми адвоката. Корпо используют суды для вымогательства и для обвинения в крамоле. Обратись к Мунго Киттерику, моему адвокату.

– Да он же бестолочь! У него в жилах ледяная вода.

– Знаю, но зато он ужасно дотошный, как многие юристы. Всегда следит за тем, чтоб все было как положено. Его, может, мало волнует справедливость, но он не допустит ни малейшей неправильности в судопроизводстве. Обратись к нему, Линда, прошу тебя, тем более, что завтра в суде председательствует Эффингэм Суон.

– Кто?

– Суон... он военный судья третьего района... Эти новые эмиссары корпо. Что-то вроде выездного судьи, облеченного полномочиями полевого суда. Этот Эффингэм Суон... Сегодня, по случаю его приезда, я направил к нему для интервью Дока Итчитта... Этот Суон самый настоящий джентльмен-фашист... в стиле Освальда Мосли. Из хорошей семьи... понимай, как хочешь. Выпускник Гарвардского университета. Учился на юридическом в Колумбийском университете, пробыл год в Оксфорде. Занимался финансовыми делами в Бостоне. В коммерческом банке. Во время войны – майор или что-то в этом роде. Играет в поло, плавал на гоночной яхте к Бермудским островам... Итчитт говорит, что скотина он порядочная, но стелет мягко и красноречив, как епископ.

– Ну, что ж, я буду очень рада, если вместо Шэда мне придется объясняться с джентльменом.

– Дубинка джентльмена бьет так же больно, как дубинка хама.

– Ах, ты! – с сердитой нежностью сказала Линда, проводя пальцами по щеке Джессэпа. Снаружи послышались шаги.

Линда вскочила и чопорно уселась на стуле. Шаги затихли. Линда размышляла вслух:

– Все эти неприятности и эти корпо... Они что-то замышляют против тебя и меня. Мне кажется, они доведут нас до того, что мы... или придем в отчаяние и будем держаться друг за друга, а всех остальных пошлем к черту, или, что более вероятно, мы с головой уйдем в борьбу против Уиндрипа и будем так горды своим участием в этой борьбе, что пожертвуем этому всем на свете, даже друг другом. Так что никто ничего не узнает и не осудит нас. Нам придется быть недостижимыми для злословия.

– Нет, нет! Я и слышать об этом не хочу! Конечно, мы будем бороться, но такие далекие от политики... такие люди, как мы...

– Ты решил напечатать завтра эту статью?

– Да.

– А еще не поздно? Еще можно ее задержать? Он посмотрел на часы над столом – до нелепости похожие на часы в классе, так что по бокам их ожидаешь увидеть портреты Джорджа и Марты.

– Нет, пожалуй, уже поздно... почти одиннадцать. Я не смогу попасть в редакцию вовремя.

– Ты уверен, что не будешь мучиться из-за этого, когда ляжешь спать? Я так не хочу, дорогой, чтоб ты мучился! Ты уверен, что не хочешь позвонить по телефону и задержать статью?

– Уверен. Совершенно уверен.

– Я очень рада. По мне – лучше быть убитой, чем пресмыкаться, сжавшись от страха. Желаю удачи!

Она поцеловала его и поспешно вышла, чтобы еще поработать, а он поехал домой, самоуверенно насвистывая.

Но ему не спалось в его большой кровати темного орехового дерева. Его пугали ночные звуки старого дома – рассыхающиеся стены, шаги бестелесных убийц, всю ночь крадущиеся по деревянным половицам.

XIX

Всякий честный агитатор, то есть человек, честно изучающий и рассчитывающий средства для наиболее эффективного осуществления своей миссии, очень скоро убеждается, что было бы плохой услугой в отношении простого народа – это просто сбивает его толку – знакомить его с действительным положением вещей с той же полнотой, как и более высокие слои общества. И, кроме того, если такой человек часто выступает с речами, он обнаруживает еще один, с виду незначительный, но чрезвычайно важный момент, а именно, что людей гораздо легче убедить вечером, когда они устали от работы и их ум менее склонен к сопротивлению, чем во всякое другое время дня.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик.

Редакция «Информера» занимала трехэтажный с подвалом дом на Президент-стрит, между Элм-стрит и Мейпл-стрит, напротив бокового подъезда отеля «Уэссекс». В верхнем этаже помещалась наборная, во втором этаже – редакционный отдел, бухгалтерия и отдел иллюстраций, в подвале стояли печатные машины; в первом этаже были расположены экспедиция и отдел рекламы, а передняя комната, с выходом прямо на улицу, служила конторой, где принимались подписка, объявления и прочее. В кабинете редактора Дормэса Джессэпа было одно не слишком грязное окно, выходившее на Президент-стрит. Кабинет был просторнее конторы Лоринды Пайк в ее гостинице, но обставлен так же скромно. Правда, на стене висели исторические реликвии: землемерная карта прихода Форты Бьюла от 1891 года; олеография, изображающая президента Мак-Кинли со всеми аксессуарами – орлами, флагами, пушкой и красной гвоздикой, эмблемой штата Огайо; групповая фотография Ассоциации журналистов Новой Англии (на которой Дормэс был третьим пятном в коте ке в четвертом ряду) и поддельный экземпляр старо' газеты с извещением о смерти Линкольна. Комнат содержалась в относительном порядке: в пустол ящике для писем можно было обнаружить лишь две половиной пары теплых перчаток и гильзу 18-калиберного патрона.

Дормэс очень любил свой кабинет.

Это было единственное место, кроме его домашнего кабинета, которое всецело принадлежало ему одному. Ему было бы очень неприятно расстаться с ним или быть вынужденным делить его с кем-нибудь, за исключением разве Бака или Лоринды; каждое утро он спешил подняться в него из нижнего этажа по широкой лестнице темного дерева, с удовольствием вдыхая запах типографской краски.

В то утро, когда появилась его передовица, Дормэс приехал в редакцию спозаранку и около восьми уже стоял у окна своего кабинета и глядел вниз на людей, идущих на работу в магазины и конторы. Некоторые из них были в форме минитменов. У минитменов все больше входило в обычай носить форму и на своей гражданской работе. Они были чем-то взбудоражены. Дормэс видел, как они разворачивали экземпляры «Информера», поднимали головы, указывали на его окно. Собравшись кучками, они возбужденно обсуждали первую страницу газеты. Вот прошел Р.К. Краули, всегда рано открывавший свой банк; он остановился и о чем-то говорит со счетоводом из бакалейного магазина Эда Хоулэнда, и оба качают головой. Старый доктор Олм-стэд, компаньон Фаулера, и Луи Ротенстерн остановились на углу и читают газету. Дормэс знал, что оба они относятся к нему дружески, но сейчас у них на лицах написано колебание, даже страх.

Прохожие скоплялись перед редакцией; сначала это была группа, вскоре превратившаяся в толпу, которая все росла, распалялась, глядя наверх, и начинала шуметь.

В ней было много совершенно неизвестных ему людей: солидные фермеры, приехавшие в город за покупками, совсем несолидная публика, приехавшая в город выпить, чернорабочие из ближайшего трудового лагеря, и все они собрались вокруг минитменов в форме. Весьма вероятно, что многим из них не было никакого до оскорбления государства корпо, но они радовались возможности дать волю своим худшим инстинктам, неважно против кого – как это присуще большинству людей.

Ропот становился все громче, в нем оставалось все меньше человеческого, он все более походил на треск горящих балок. Взгляды всех слились воедино. Дормэсу стало страшно.

Он лишь смутно сознавал, что возле него, положив ему на плечо руку и не произнося ни слова, стоит огромный Дэн Уилгэс, старший наборщик, и где-то рядом слышится кудахтанье Дока Итчитта: «О... господи... неужели... господи, неужели они поднимутся сюда!»

В эту минуту толпа перешла к действиям, подстегнутая выкриком какого-то неизвестного минитмена: «Сжечь этот дом, к чертям эту лавочку, а предателей линчевать!» Все дружно кинулись через улицу и ворвались в контору. Дормэс услышал треск чего-то разбиваемого, и его страх сменился бешенством. Он ринулся вниз по лестнице и остановился, не доходя нескольких ступенек. Громилы, вооруженные топорами и крюками, захваченными в соседнем магазине скобяных изделий, рубили деревянный барьер у двери, разносили вдребезги стеклянный шкаф с художественными открытками и канцелярскими принадлежностями и с гнусными выкриками тянулись через барьер, чтобы сорвать блузку с работавшей там конторщицы. Дормэс закричал:

– Убирайтесь отсюда, бандиты!

Они пошли на него, хищно скрючив когтистые лапы, но он не стал ждать, пока они подойдут. Тяжело ступая, он спускался со ступеньки на ступеньку, весь дрожа, но не от страха, а от безумного гнева. Какой-то детина схватил его за руку и стал ее выламывать. Дормэса пронзила ужасная боль. В этот момент (Дормэс чуть не улыбнулся, так это было похоже на спасательную операцию высадившегося на берег отряда моряков) в контору вошел уполномоченный Шэд Ледью, за которым следовали двадцать минитменов с обнаженными штыками; неуклюже взобравшись на разбитый барьер, он заревел: «Довольно, ребята! Убирайтесь отсюда да поживее!»

Детина отпустил руку Дормэса. Неужели, думал Дормэс, он должен быть благодарен уполномоченному Ледью. Шэду Ледью? Эта грязная свинья – его могучий спаситель!

Шэд продолжал орать:

– Мы не будем громить эту лавочку! Само собой Джессэп стоит, чтоб его линчевать, но

мы получили распоряжение из Ганновера... Корпо берут газету в свои руки. А ну, проваливайте!

Какая-то брызжущая яростью женщина – в одном из своих прежних воплощений она невозмутимо вязала, стоя у гильотины, – протискалась к барьеру и завопила, обращаясь к Шэду:

– Они изменники! Повесить их надо! Мы повесим и вас, если вы будете нам мешать! Где мои пять тысяч долларов?

Шэд спокойно наклонился и ударил женщину по лицу. Дормэс почувствовал, как все его мускулы напряглись от желания броситься на Шэда и отомстить за добрую женщину, которая в конце концов имела такое же право убить его, как и Шэд, но он сдержал себя и отказался от всякого намерения изображать нелепого героя. Штыки минитменов, очищавших помещение от толпы, были реальностью, против которой нельзя было бороться истерикой.

Шэд, стоя на барьере, гремел, словно целый лесопильный завод: «Поворачивайтесь, Джессэп! Возьмите его, ребята!»

И Дормэс, лишившись всякой воли к сопротивлению, зашагал в сопровождении четырех вооруженных минитменов по Президент-стрит, затем по Элм-стрит к зданию суда и окружной тюрьмы. Самое странное в этом, размышлял он по дороге, что человек может вот так отправиться в непредвиденное путешествие, которое, возможно, продлится годы, не беспокоясь по поводу маршрута и билетов, без багажа, даже без запасного носового платка, не дав знать Эмме, куда он направляется, не предупредив Лоринду... Да ну, Лоринда не растеряется. А вот Эмма будет волноваться!

Он узнал в шедшем сбоку конвоире с нашивками взводного или капрала Араса Дили, того самого незадачливого фермера с горы Террор, которому он так часто помогал...или воображал, что помогает.

– А, Арас! – сказал он.

– Угу! – отозвался Арас.

А ну прекрати разговоры и шагай живей рывкнул минитмен, шедший сзади Дормэса, и кольнул его штыком.

Это было не так уже больно, но Дормэс задохнулся от злости. Он привык считать, что его достоинство, его личность неприкосновенны. Смерть могла посягнуть на него, но не грубая рука насилия.

Только почти дойдя до суда, он заметил, что люди смотрят, как его, Дормэса Джессэпа! – ведут в тюрьму. Он попытался пробудить в себе гордость при мысли что он политический заключенный. Но не мог. Тюрьма есть тюрьма.

Окружной дом заключения помещался позади здания суда, представлявшего в настоящее время резиденцию Ледью. Дормэс никогда не бывал ни в этой, ни в какой-либо другой тюрьме, кроме как в качестве репортера, сочувственно беседующего со странными, низшей породы людьми, которые какими-то неисповедимыми судьбами вдруг оказались на положении арестантов.

Войти в позорную заднюю дверь ему, редактору, который всегда входил в главный подъезд суда, которого всегда приветствовали и секретарь суда, и шериф, и судья!

Шэда не было видно. Конвоиры Дормэса молча провели его через железную дверь по коридору в маленькую, пахнущую сырой известью камеру и так же молча ушли. В камере была койка с отсыревшим соломенным тюфяком и еще более влажной соломенной подушкой, табурет, умывальник с одним краном для холодной воды, котелок, два крюка для одежды, забранное решеткой окошко и больше решительно ничего, если не считать утешительной надписи в рельефной рамке из незабудок, представляющей текст из Второзакония: «Придет час, и он будет свободен в своем доме».

– Надеюсь! – довольно сердито сказал Дормэс.

Было около девяти часов утра. Прошел день, вечер наступила ночь, а к нему так никто и не заходил, не приносил ему поесть. Он только пил воду из-под крана собирая ее в

пригоршню, курил в час по одной папиросе и, подавленный непривычной тишиной, начал понимать, отчего в тюрьме сходят с ума.

«Только не хныкать. Ты здесь всего несколько часов а сколько несчастных сидят в одиночках годы по воле тиранов похуже Уиндрипа, а иногда и по воле милых добрых, просвещенных судей, с которыми я играл в бридж».

Но эти вполне резонные соображения мало его утешали.

До него доносились отдаленные отзвуки разговоров из общей камеры, где были собраны пьяницы, бродяги и наказанные за мелкие провинности минитмены, – счастливики: им было с кем поговорить! Но звуки эти лишь еще больше подчеркивали гнетущую тишину.

Он погрузился в судорожное оцепенение. Он чувствовал, что задыхается, и в отчаянии ловил ртом воздух. Только время от времени к нему возвращалась ясность мысли: в такие минуты он думал о позоре своего положения и с еще большим унынием о том, как жестко ему, с его тощим задом, сидеть на деревянном табурете, который все же лучше койки с матрацем, напоминавшим ему раздавленных червей.

В один из таких моментов ему показалось, что он прозрел.

В этой тирании виноват в первую очередь не крупный капитал и не демагоги, которые делают свое грязное дело. Виноват Дормэс Джессэп! Виноваты все добропорядочные, уважаемые и тяжелые на подъем Дормэсы Джессэпы, которые не оказывали отчаянного сопротивления этим демагогам.

Несколько месяцев назад я осуждал, как зло, кровавую резню Гражданской войны и агитацию неистовых аболиционистов, которая к ней привела. Но, может, им приходилось быть неистовыми потому, что иначе они не смогли бы расшевелить таких равнодушных граждан, как я. Если бы наши деды были достаточно проницательны и смелы, чтобы увидеть все зло рабства и власти джентльменов в интересах джентльменов, не было бы нужды ни в агитаторах, ни в войне, ни в кровопролитии.

Именно такие люди, как я, – сознательные граждане считающие себя выше других на том основании, что обеспечены материально и мнят себя «образованными» – были причиной Гражданской войны, Французской революции, а теперь – фашистской диктатуры.

Это я убил раввина Де-Вереца. Это я преследовал евреев и негров. Я не могу винить ни Араса Дили, ни Шэда Ледью, ни Бэза Уиндрипа, а только свою собственную робкую душу и дремлющий ум. Прости меня, господи!

Или, может, уже слишком поздно?

И позднее, когда тьма уже заполнила его камеру, ему пришла в голову еще одна яростная мысль:

«А Лоринда? Теперь, когда мне пинками вправили мозги, я должен выбрать одно или другое: либо Эмму (хлеб мой насущный), либо Лоринду (мое вино), но я не могу иметь и то и другое.

О черт! Ерунда какая! Почему человеку не иметь и хлеб и вино, почему он должен выбирать что-либо одно?

Разве только потому, что нас ждут ожесточенные битвы, когда человеку некогда оторваться для чего-нибудь, кроме куска хлеба... а может быть, будет даже и не до хлеба!»

Ожидание, томительное ожидание в душной камере, безысходное ожидание, пока за грязным оконным стеклом постепенно надвигается глухая тьма.

«Что происходит за стенами этой камеры? Что с Эммой, Лориндой, с редакцией «Информера», с Дэнном Уилгэсом, с Баком, и Сисси, и Мэри, и Дэвидом?

Да, ведь сегодня Лоринда должна предстать перед судом по обвинению Ниппера! Сегодня! (Кажется, что все это было год тому назад!) Как она там? Хорошо ли с ней обошелся военный судья Эффингэм Суон?»

Затем волнение угасало, и Дормэс снова впадал в транс ожидания – безысходного ожидания; он засыпал урывками на своем жутко неудобном табурете и не сразу понял, в чем дело, когда в какой-то несусветно поздний час (после полуночи) его разбудило шумливое появление за решетчатыми дверями его камеры вооруженных минитменов и взводного Араса Дили:

– Ну-ка, вставайте, вставайте! Судья вас требует, судья велел вас привести. Хм! Небось, не думали, что я когда-нибудь буду взводным, а мистер Джессзп?

Дормэса повели по зигзагообразным коридорам к знакомому входу в зал суда, через который вводили подсудимых. Он вспомнил, как через эту дверь ввели Тэда Дили, двоюродного брата Араса, выродка, до смерти избившего свою жену.

...Он не мог побороть чувства, что он теперь сродни Тэду.

Его заставили ждать (снова ждать!) четверть часа перед закрытой дверью суда. За это время он успел рассмотреть своих конвоиров, возглавляемых Арасом Дили. Об одном он знал, что тот отбывал заключение за вооруженный грабеж, а другого – угрюмого молодого фермера, обвиняемого в поджоге из мести соседского амбара, – суд с большим сомнением оправдал.

Дормэс прислонился к грязноватой оштукатуренной стене коридора.

– Эй, ты, стой прямо! Где находишься, черт возьми! И так из-за тебя до такой поры тут застряли! – рявкнул помолодевший, возродившийся Арас, наставив на него штык и горя желанием испробовать его на буржуе.

Дормэс стал прямо.

Он стоял очень прямо, не шевелясь, под портретом Горация Грили. До сих пор Дормэсу было приятно считать этого знаменитейшего журналиста-радикала, с 1825 до 1828 года работавшего в Вермонте печатником, своим коллегой и товарищем. Теперь он чувствовал себя товарищем только революционера Карла Паскаля.

Его не слишком молодые ноги дрожали; икры ног болели. Как бы не упасть в обморок! Что происходит там, за дверью, в суде?

Чтобы избежать позорного обморока, он стал рассматривать Араса Дили. Хотя на нем была совсем новенькая форма, он умудрился расправиться с ней точно так же, как вместе со своей семейкой расправился с домиком на горе Террор – когда-то крепким домиком, сиявшим белизной крепких досок, который теперь весь сгнил и зарос грязью. Фуражка измята, брюки в пятнах, краги плохо сходятся, а на френче одна пуговица болтается на нитке.

«Я не хотел бы быть диктатором над такими, как Арас, но тем более я не соглашусь, чтобы он и ему подобные были диктаторами надо мной, как бы они ни назывались – фашисты, корпо, монархисты, свободные демократические избиратели или еще как-нибудь. Если это означает, что я реакционер, кулак, – пусть! Я и раньше не особенно жаловал таких безалаберных парней, несмотря на все мои неискренние рукопожатия. Неужели господь бог требует от нас, чтобы мы любили ворону так же, как ласточку? Вряд ли. Ну, да, я знаю! У Араса тяжелое положение: все заложено и семеро детей. Но Генри Видер и Дэн Уилгэс – да и канадец Пит Вутонг, который живет через дорогу от Араса и у которого точно такая же земля, – все они бедные, но приличные люди. Они по крайней мере моют уши и моют пороги в своем доме. Будь я проклят, если я отрекусь от американо-методистской теории свободной воли и стремления к совершенствованию, даже если бы это грозило мне отлучением от либеральной веры!» Арас заглянул в комнату суда и захихикал. Открылась дверь, и вышла Лоринда – после полуночи!

Ее компаньон, Ниппер, шел за ней с глупо-торжествующим видом.

– Линда! Линда! – позвал Дормэс и, не обращая внимания на хихиканье любопытных конвоиров, протянул к ней руки и шагнул вперед.

Арас оттолкнул его, а Лоринде крикнул издевательским тоном: «Проходите, чего там!» – и она прошла. Она казалась измученной и постаревшей, и это было так неожиданно для Дормэса, знавшего ясную твердость ее характера.

Арас хихикнул:

– Ха, ха, ха! Ваша подружка, сестренка Пайк...

– Подруга моей жены!

– Ладно, хозяин! Пусть будет по-вашему! Подруга вашей жены – сестренка Пайк получила как следует за то, что нахальничала с судьей Суоном! Больше она не компаньонка мистера Ниппера – он один будет хозяином их гостиницы, а сестренка Пайк вернется к горшкам на кухню, где ей и место! А, может, скоро так будет и с другими дамами, которые воображают, что они очень модные и независимые!

И снова у Дормэса хватило здравого смысла не броситься на штыки. Громкий голос возвестил из комнаты суда:

– Следующее дело! Дормэс Джессэп.

За судейским столом сидели Шэд Ледью в форме батальонного командира минитменов, бывший школьный инспектор Эмиль Штаубмейер, с погонами прапорщика, и третий – высокий, довольно красивый человек, с чересчур холеным лицом. На нем был мундир полковника ММ с буквами «ВС» на воротнике. Он был лет на пятнадцать моложе Дормэса.

Дормэс догадался, что это военный судья Эффингэм Суон, в свое время подвизавшийся в Бостоне.

Минитмены проводили его до скамьи подсудимых и удалились. Двое из них – деревенский парнишка с молочно-белым лицом и бывший служащий бензозаправочной станции – остались на страже по эту сторону входа – входа для преступников.

Судья Суон встал и, словно приветствуя старого друга, заворковал, обращаясь к Дормэсу:

– Дорогой мой, мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить. Мне просто надо вас кое о чем спросить. Садитесь, пожалуйста. Джентльмены, в отношении мистера Дормэса нам, конечно, незачем ломать комедию форменного допроса. Давайте сядем все за этот дурацкий стол... на места, куда сажают невинных ответчиков и преступных адвокатов... сойдем с этого алтаря...слишком возвышенного для такого вульгарного биржевого игрока, как я. Пожалуйста, профессор, пожалуйста, мой дорогой капитан. – И затем, обернувшись к страже: – Выйдите и подождите в коридоре. Закройте дверь.

Несмотря на легкомысленный тон Эффингэма Суона, Штаубмейер и Шэд двинулись к столу со всей важностью, к какой обязывала их форма. Суон весело последовал за ними и, протянув все еще стоявшему Дормэсу свой черепаховый портсигар, ласково пропел:

– Курите, пожалуйста, мистер Дормэс. Почему бы нам не держать себя запросто?

Дормэс неохотно взял папиросу, неохотно сел на стул, на который Суон указал ему совсем не приятельским, а резким, повелительным жестом.

– Моя фамилия Джессэп, полковник. Дормэс – это мое имя.

– А, вот как. Вполне возможно. Почему бы и нет. Совсем во вкусе Новой Англии: Дормэс. – Суон откинулся назад в деревянном кресле, заложив сильные, холеные руки за голову. – Видите ли, милейший. У меня такая скверная память. Я буду вас называть просто «Дормэс» без мистера. Тогда это может сойти и за имя и за фамилию. И мы все будем чувствовать себя друзьями. Так вот, милейший Дормэс, я просил моих друзей из ММ... Надеюсь, они не были слишком назойливы, – у местных отрядов есть такие замашки... Во всяком случае, я просил их пригласить вас сюда просто для того, чтобы посоветоваться с вами как с журналистом. Не думаете ли вы, что большинство местных крестьян уже приходят в себя и готовы принять корпо, как *fait accompli*¹⁵?

Дормэс проворчал:

– Я предполагал, что меня притащили сюда, – и, если хотите знать, ваши молодцы были весьма, как вы выражаетесь, «назойливы»! – из-за передовой статьи, которую я написал о

¹⁵ Совершившийся факт (франц.).

президенте Уиндрипе!

– Ах, так это были вы, Дормэс? Вот видите! Я был прав... Вот что значит плохая память! Теперь я припоминаю какой-то незначительный инцидент в этом роде что-то о нем говорится в деле. Берите еще папироску, мой друг.

– Суон! Я не любитель игры в кошки-мышки – особенно, когда сам являюсь мышкой. Какие у вас против меня обвинения?

– Обвинения?! О моя милая тетя! Сущие пустяки – преступная клевета, передача секретной информации иностранным державам, государственная измена, подстрекательство к насилию – словом, обычный скучный ассортимент. И от всего этого так легко избавиться, мой дорогой Дормэс, если вы только согласитесь – вы видите, как я изо всех сил добиваюсь вашей дружбы, чтобы иметь возможность использовать ваш неоценимый опыт... если бы вы только решили, что в силу осмотрительности... приличествующей вашим почтенным годам...

– Какие там почтенные годы! Ничего подобного! Мне только шестьдесят лет. Вернее, шестьдесят один.

– Все относительно, мой друг. Мне вот сорок семь лет, а я не сомневаюсь, что молокососы считают мой возраст почтенным! Итак, как я уже говорил, Дормэс...

(Почему он вздрагивает от ярости каждый раз, когда Суон его так называет?) – ... в вашем положении члена совета старейшин и при ваших обязанностях в отношении семьи – было бы крайне неприятно, знаете, если бы с ними что-нибудь случилось! – вы не можете себе позволить излишней горячности. Мы от вас хотим немногого, – чтобы вы и ваша газета были заодно с нами... Я буду счастлив поделиться с вами некоторыми никому не известными планами корпо и самого Шефа. Вам бы открылся путеводный маяк!

– Это ему-то? Джессэп не увидит маяка, даже если он окажется у него под носом! – проворчал Шэд.

– Минуточку, дорогой капитан... И, кроме того, Дормэс, мы, конечно, попросим вашей помощи еще в одном деле – нам нужен полный список лиц в округе, которые по вашим сведениям находятся в тайной оппозиции к правительству.

– Чтобы я стал шпионить? Я?

– Совершенно верно!

– Если против меня есть обвинения... я требую, чтобы вызвали моего юриста Мунго Киттерика и чтобы меня судили, а не травили, как дикого зверя.

– Странное имя. Мунго Киттерик! О моя милая тетя! Мне почему-то представляется при этом путешественник с греческой грамматикой в руке. Какая нелепость! Вы, по-видимому, не вполне в курсе, дорогой Дормэс... *Nabeas cogrus*¹⁶, традиционное судопроизводство, как это ни прискорбно, все эти древние святыни времен Великой хартии вольностей временно отменены, о, только временно... прискорбная необходимость... военное положение.

– Черт возьми, Суон...

– Полковник, мой друг, – военная дисциплина, понимаете, что поделаешь, чистейшая ерунда, разумеется.

– Вы прекрасно понимаете, что это вовсе не временно! Что это будет постоянно – то есть до тех пор, пока корпо будут у власти.

– Допустим!

– Суон, то есть, полковник!.. Это ваше «допустим» и «О моя милая тетя!» – это у вас из детективных романов Реджи Форчуна, верно?

– А вы тоже любите детективные романы! Какая великолепная чепуха!

– А это из Эвелина Во! Незаурядное литературное образование для любителя яхт и лошадей, полковник!

¹⁶ Акт о личной свободе

– Любитель яхт, любитель лошадей, ли-те-ра-тур-ное образование! Неужели в моем собственном Sanctum sanctorum² с меня, говоря языком «малых сих», будут спускать штаны? О, мой Дормэс, этого не может быть! Я как раз тогда, когда я и без того без сил, когда с меня только что, если можно так выразиться, с живого содрали кожу, и кто бы вы думали? – ваш любезный друг, миссис Лоринда Пайк. Нет, нет! Это унижает величие суда!

² Святая святых (лат.).

– Шэд снова вмешался:

– Да, мы недурно провели время с вашей подружкой, Джессэп. Я давно знаю про ваши амурные делишки Дормэс вскочил, его стул с грохотом упал на пол! Он рванулся к Шэду, пытаюсь схватить его за гордо Эффингэм Суон схватил его и толкнул на другой стул У Дормэса от бешенства началась икота. Шэд не побеспокоился даже встать и продолжал тем же презрительным тоном:

– Да, вам обоим не поздоровится, если вы вздумаете клеветать на корпо. Хе-хе, Дормэс, неплохо вы с Линди позабавились в последние два года! И никто об этом не знает, ни одна душа! Но вы-то тоже кое-чего не знали. А ведь Линди – и откуда в такой длинноносой, тощей старой деве столько огня, – все время обманывала вас и спала со всеми своими постояльцами, и уж само собой с этим своим компаньоном Ниппером!

Большая рука Суона – наманикюренная рука обезьяны – удержала Дормэса на стуле. Шэд ржал. Эмиль Штаубмейер, сидевший, сложив перед собой кончики пальцев, любезно улыбался. Суон похлопал Дормэса по спине.

Оскорбления в адрес Лоринды угнетали Дормэса меньше, чем чувство беспомощного одиночества. Было уже так поздно, кругом стояла такая тишина. Он был бы рад, если бы хоть конвойные вошли в зал. Их деревенское простодушие, при всей их грубости, было бы легче перенести, чем утонченное издевательство этих трех судей.

Наконец Суон спокойно сказал:

– Я думаю, нам пора перейти к делу... как ни приятно было бы обсудить с начитанным человеком детективные романы Агаты Кристи, Дороти Сейерс и Нормана Клейна. Может быть, мы займемся этим когда-нибудь, когда Шеф посадит нас обоих в одну и ту же тюрьму! Уверяю вас, дорогой Дормэс, нет никакой надобности беспокоить вашего юриста, мистера Манки¹⁷ Киттерика. Я имею все полномочия судить вас, и, как это ни странно, Дормэс, здесь действительно идет суд, несмотря на непринужденную атмосферу. Что касается доказательств вашей вины, то я уже имею все, что нужно, как в невольных признаниях милейшей мисс Лоринды, так и в тексте вашей передовицы, критикующей Шефа, а кроме того, я располагаю исчерпывающими докладами капитана Ледью и доктора Штаубмейера. Я должен был бы, по существу, распорядиться, чтобы вас расстреляли – и я имею полное право это сделать, о, полное право!.. Но у каждого свои слабости... Я слишком милосерден. И к тому же, быть может, мы сумеем найти вам лучшее применение, чем в качестве удобрителя почвы... Вы, пожалуй, слишком худы, чтобы служить хорошим удобрением. Я намерен отпустить вас под честное слово, поручить вам помогать и обучать доктора Штаубмейера, который приказом Ганноверского уполномоченного мистера Рийка назначен главным редактором «Информера» и которому, пожалуй, не хватает специальных знаний. Вы будете помогать ему – и очень охотно, я в этом уверен! – пока он сам всему не научится. А тогда мы посмотрим, что с вами делать! Вы будете писать передовые статьи со всем присущим вам блеском... О, уверяю вас, все уж столько лет восхищаются вашими шедеврами! Но вы будете писать то, что вам прикажет доктор Штаубмейер. Понятно? Ну вот, а сегодня... ну да, сегодня, поскольку дело уже идет к рассвету, вы напишете нам статью, в которой в самых покаянных выражениях извинитесь за ваши выпады... о, да, в самых покаянных. Вы, опытные журналисты, очень ловко это умеете. Признаете, что гнусно оболгали и тому подобное... и так это весело и легко... уж вы знаете как! А с понедельника вы начнете, как и

¹⁷ Monkey - обезьяна (англ.).

другие захудалые провинциальные газетенки, печатать из номера в номер книгу Шефа «В атаку». Вы получите от этого большое удовольствие!

Стук и шум за дверь. Возражения невидимых конвойных. Доктор Фаулер Гринхилл ворвался в зал, остановился на минуту, подбоченясь, и затем гаркнул, направляясь к столу:

– И что вы тут делаете, вы, пародии на судей? Кто он, этот необузданный господин? Он мне не очень нравится, – обратился Суон к Шэду.

– Доктор Фаулер... зять Джессэпа. И довольно плохой актер! Дня три тому назад я предложил ему взять на себя медицинское обслуживание всех минитменов в округе, так этот рыжий крикун сказал, что все мы, и вы, и я, и уполномоченный Рийк, и доктор Штаубмейер, все мы бродяги, которые рыли бы канавы в трудовом лагере, если бы не украли офицерские мундиры.

– Ах так, он это сказал! – промурлыкал Суон. Фаулер запротестовал:

– Он лжет. Вас я не упоминал. Я даже не знаю, кто вы такой.

– Мое имя, любезный сэр, полковник Эффингэм Суон, военный судья!

– Так вот, полковник, это мне ничего не говорит. Никогда о вас не слышал!

– Как это вы прорвались мимо стражи, Фаули? – вмешался Шэд. А раньше он никогда не решался называть этого высокого, решительного человека иначе, как «док».

– О, все ваши «мышки» меня знают. Я лечил почти всех ваших орлов от не называемых в обществе болезней. Я просто сказал им, что нужен здесь как врач.

Суон пустил в ход свои самые бархатные ноты:

– А ведь вы действительно нужны здесь, дорогой друг... хотя мы и не знали этого до настоящей минуты. Так вы, значит, славный захолустный эскулап?

– Да, я врач! И если вы были на войне – в чем я, впрочем, сомневаюсь, судя по вашим жеманным манерам, – вам, может быть, небезынтересно узнать, что я, кроме того, член Американского легиона, бросил Гарвардский университет и ушел на фронт в 1918 году и потом вернулся, чтобы закончить образование. И я хочу предостеречь вашу тройку новоиспеченных Гитлеров...

– Послушайте, дорогой друг! Во-ен-ный! Ай-яй-яй! Тогда ведь нам придется считать вас человеком, отвечающим за свои идиотские поступки, а не просто олухом, каким вы кажетесь.

Фаулер оперся кулаками о стол:

– Хватит! Придется мне разрисовать вашу смазливую рожу...

Шэд встал и пошел вокруг стола, сжав кулаки, но Суон резко остановил его:

– Стоп! Дайте ему кончить! Может быть, ему нравится копать собственную могилу! Знаете... у некоторых людей такие странные представления о спорте. Некоторые, например, обожают рыбную ловлю... эта скользкая чешуя и противный запах! Между прочим, доктор, пока не поздно, я хотел бы сообщить вам, что я тоже на войне, которая должна была покончить с войной в качестве майора. Но продолжайте. Мне так интересно послушать вас еще немного.

– Прекратите болтовню, слышите, военный судья! Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что я не допущу... то мы все не допустим... чтобы вы похитили мистера Джессэпа... самого честного и полезного человека во всей долине Бьюла! Подлые трусы! И это ваше изысканное произношение ни в какой мере не меняет того, что вы такой же трусливый убийца, наряженный солдатиком, как и все они...

Суон изящно поднял руку.

– Минуточку, доктор, будьте так добры, – и затем, повернувшись к Шэду: – Пожалуй, достаточно мы наслушались «товарища», как по-вашему? Выведите негодяя и расстреляйте.

– О'кэй! Прекрасно! – возликовал Шэд и крикнул конвоирам через полуоткрытую дверь: – Позовите капрала и отряд... шесть человек... с заряженными винтовками... Живо, ну!

Отряд был недалеко, и винтовки были уже заряжены. Не прошло и минуты, как в двери появился Арас Дили, и Шэд заревел:

– Сюда! Возьмите этого мерзавца! – Он показал на Фаулера. – Выведите его вон!

Они исполнили это немедленно, несмотря на сопротивление Фаулера. Арас Дили проткнул штыком правое запястье Фаулера. Кровь брызнула на чисто вымытую руку хирурга, и огненные, как кровь, волосы упали ему на лоб.

Шэд вышел вместе с ними, на ходу вытаскивая из кобуры автоматический револьвер и поглядывая на него с нежностью.

Дормэса, бросившегося вслед за Фаулером, удержали двое солдат, зажавшие ему рот. Эмиль Штаубмейер заметно растерялся, зато Эффингэм Суон со своим обычным любезно-самодовольным видом облокотился обеими руками на стол и карандашом постукивал по зубам.

Со двора донесся ружейный залп, ужасный вопль, одинокий выстрел – и все.

XX

Самое плохое в евреях – это их жестокость. Всякий сведущий в истории человек знает, как они истязали бедных должников в тайных катакомбах в эпоху средневековья. Нордические же народы отличаются мягкостью и добросердечным отношением к друзьям, детям, собакам и представителям низших рас.

«В атаку». Берзелиос Уиндрик

При пересмотре Дьюи Хэйком приговора, вынесенного судьей Суоном доктору Гринхиллу, решающую роль сыграло сообщение окружного уполномоченного Ледью о том, что после приведения приговора в исполнение он нашел в квартире доктора Гринхилла самые возмутительные материалы: экземпляры журнала Тробрюбриджа «За демократию», книги Маркса, а также коммунистические брошюры, подстрекающие к убийству Шефа.

Мэри, жена покойного Гринхилла, упорно твердила, что ее муж никогда не читал подобной литературы, что он вовсе не интересовался политикой. Но ее словам, конечно, не верили, поскольку они противоречили показаниям уполномоченного Ледью, его помощника Штаубмейера (всем известного своей ученостью и принципиальностью) и военного судьи Суона. Было решено наказать миссис Гринхилл, вернее, дать суровый урок другим миссис Гринхилл, конфисковав все имущество и деньги, оставшиеся после Гринхилла.

Мэри, правда, боролась не особенно энергично. Может быть, она сознавала свою вину. За два дня из изящной, нарядной и острой на язык женщины она превратилась в едва передвигающую ноги молчаливую старуху, одетую в потрепанное и неопрятное черное платье. Вместе с сыном она перешла жить к отцу, Дормэсу Джессэпу.

Некоторые считали, что Джессэп должен был вступить за нее и отстаивать ее имущество. Но он не имел права этого делать. Ведь он сам был освобожден под честное слово и в любое время мог быть отправлен в тюрьму.

Мэри вернулась в родительский дом, но отказалась занять заставленную мебелью спальню, которую покинула невестой. Она сказала, что ей невыносимы связанные с ней воспоминания, и перешла в мансарду, которую за все годы не удосужились полностью отделать. Там она просиживала все дни и вечера, не произнося ни слова. Зато Дэвид уже к концу первой недели весело играл во дворе, изображая офицера ММ.

Весь дом точно вымер; все ходили запуганные, нервные, вечно в ожидании чего-то неизвестного, все, кроме Дэвида, да, пожалуй, миссис Кэнди, возившейся на кухне.

Трапезы Джессэпов славились раньше своим весельем: Дормэс болтал и шутил с миссис Кэнди и Сисси, смущал Эмму самыми невероятными заявлениями, вроде того, что он собирается в Гренландию или что президент Уиндрик взял себе за правило ездить по Пенсильвании-авеню верхом на слоне; а миссис Кэнди, как все добрые кухарки, самым бессовестным образом старалась, чтобы за обедом наедались до одури и чтобы намечающееся у Дормэса брюшко не переставало расти в результате действия ее пирожков с мясом, ее сладкого яблочного пирога, от которого глаза в мучительной истоме закатывались

под лоб, жирных оладий, жареных цыплят, жаренной в сметане рыбы в сухарях.

Теперь взрослые почти не разговаривали за столом, и хотя Мэри не разыгрывала из себя стоической мученицы, все следили за ней с нервным напряжением. О чем бы ни заговаривали, все напоминало о свершившемся убийстве и корпо; стоило кому-нибудь сказать «и теплая же выдалась осень», как всех за столом начинала сверлить одна мысль: «Значит, минитмены еще вволю намаршируются до снега», – а сказавший сразу смущенно умолкал и в замешательстве требовал еще подливки. Присутствие Мэри, которая сидела каменной статуей, сковывало языки окружающих ее людей.

В результате за столом больше всех говорил Дэвид, получавший от этого величайшее удовольствие, чего нельзя было сказать про его дедушку.

Дэвид трещал, как целое семейство обезьян, то о Фулише, то о своих новых товарищах, детях владельца мельницы Медэри Кола, то о неоспоримом факте малой распространенности крокодилов в реке Бьюла о таком волнующем событии, как отъезд Ротенстерна с детьми прямехонько в Олбани.

Дормэс всегда любил детей, понимал с необычной для родителей и дедов проницательностью, что они то же люди и вполне могут с течением времени стать редакторами. Но у него не хватало сил и терпения без уста ли выносить их болтовню. Да и у кого из мужчин хватает если не считать героев Луизы Олкотт! Он считал (хотя готов был признать, что бывают исключения), что беседа с вашингтонским корреспондентом о политике гораздо интереснее замечаний Дэвида о кукурузных хлопьях, ужах и т. п., так что, продолжая любить ребенка, он страшно уставал от его болтовни. И вообще старался при первой возможности улизнуть от мрачности Мэри и от удручающей заботливости Эммы; каждый раз, когда она канючила: «Мэри, голубка, возьми еще немножко соуса», – ему хотелось плакать.

Дормэс подозревал, что Эмма больше потрясена его заключением в тюрьму, чем убийством зятя. Таких, как Джессэп, просто не сажают в тюрьму. В тюрьму сажают дурных людей, вроде поджигателей амбаров, и людей, разрешающих себе заманчиво-таинственные запретные радости, именуемые «нарушением установленных законов»; дурных людей можно прощать и жалеть, но, во всяком случае, за один стол с ними не садятся. Все это было так необычно, так нарушало заведенный в доме порядок!

И Эмма окружила его такой любовью и заботой, что порой ему становилось невтерпеж, и он готов был отправиться ловить рыбу, и однажды дело дошло до того, что он вытащил на свет божий свои крючки и приманки.

Зато Лоринда ему сказала, глядя на него сияющими глазами:

– А я-то думала, что ты просто жующий жвачку либерал, не возражающий против того, чтобы его доили! Я так горжусь тобой! Ты вдохнул в меня готовность к борьбе... Знаешь, как только я услышала о твоём аресте, так тут же бросилась на Ниппера с хлебным ножом. Ну, во всяком случае, я собиралась это сделать!

В редакции царил еще более мертвящая атмосфера, чем дома. Дормэса особенно пугало то, что в общем было вовсе не так уж плохо, – он боялся, что незаметно привыкнет служить корпо, не испытывая особого стыда, как не испытывали особого стыда некоторые его старые коллеги, занимавшиеся в докорповское время сочинением рекламы для бесполезных втираний или безвкусных папирос или же писавшие штампованные рассказы о юной любви для якобы солидных журналов.

Потрясенному арестом Дормэсу представлялось, что Штаубмейер и Ледью будут стоять над ним в редакции «Информера» с хлыстом в руках и требовать, чтобы он сочинял тошнотворную хвалу корпо; что они будут кричать на него, пока он не восстанет и не убьет их и не будет сам убит. В действительности же Шэд и не показывался в редакции, а хозяин Дормэса Штаубмейер был чрезвычайно любезен и скромен и до приторности восхищался профессиональным мастерством Дормэса. Штаубмейер вполне удовлетворился, когда Дормэс вместо покаянного «извинения», которого требовал Суон, довел до сведения читателей, что «отныне и впредь наша газета не будет заниматься критикой существующего

режима».

Дормэс получил от районного уполномоченного Рийка восторженную телеграмму, выражавшую благодарность за «отважное решение отдать свой великий талант служению народу и исправлению ошибок, несомненно, допускаемых нами в нашем стремлении установить новый, более реалистический государственный порядок».

– Бр-р, – сказал Дормэс и не бросил телеграмму в корзинку для бумаг, а не поленился пойти к мусорному ящику и запихать ее в мусор.

Оставаясь в эти позорные дни в редакции «Информера», он удержал Штаубмейера от увольнения Дэна Уилгэса, перенесшего свою презрительную манеру на нового хозяина и необычайно почтительного теперь к Дормэсу. Затем Дормэс изобрел новый способ писания передовых статей, которые он называл «ай-ай-ай-передовица». Способ состоял в том, что сначала приводился сильнейший обвинительный акт против корпоизма, а затем следовали довольно беспомощные возражения, вроде жалобного «ай-ай-ай... и повернется же язык сказать такое!»

Ни Штаубмейер, ни Шэд не сумели раскусить его хитрость, но Дормэс опасался, как бы эти «ай-ай-ай» не попались на глаза пронизательному Эффингэму Суону Так проходила неделя за неделей, в общем, не слишком плохо, но не было минуты, когда бы он не возмущался этим грязным рабством, когда бы он не заставлял себя через силу тянуть эту лямку, когда бы он не говорил себе презрительно: «Так почему же ты не уходишь?» Ему не приходилось задумываться над ответом, и он звучал достаточно трафаретно: «Я уже слишком стар чтобы начинать жизнь сначала. У меня за плечами жена и дети – Эмма, Сисси, а теперь еще Мэри с Давидом». Раньше ему не раз приходилось слышать, как вполне достойные, но привыкшие кривить душой люди – дикторы радио, расхваливавшие заведомых тупиц-ораторов или заведомо дрянной товар, приветливо чирикавшие «благодарю вас, майор Блистер», а в душе мечтающие дать пинка майору Блистеру; проповедники, не верившие в те обветшалые истины, которые они проповедуют; врачи, не решавшиеся сказать своим истерическим пациенткам, что они просто помешавшиеся на мужчинах эксгибиционистки; или купцы, продававшие туземцам медь за золото, – как все они оправдывались тем, что им уже поздно меняться, и тем, что «у них за плечами жена и дети». А почему бы не предоставить жене и детям умирать с голоду или самим о себе позаботиться, если это единственный способ избавиться от самой томительной, безысходной и отвратительной болезни, состоящей в необходимости всегда немного кривить душой?..

Так он негодовал и... продолжал издавать скучную и немного криводушную газету, но этому пришел конец. Иначе история Дормэса Джессэпа была бы слишком тоскливо заурядной, чтобы стоило ее рассказывать.

Снова и снова, прикидывая карандашом на листках черновой бумаги (испещренных концентрическими кругами, квадратами, завитками и причудливыми рыбами), он приходил к заключению, что, даже не продавая ни «Информера», ни своего дома, чего ему все равно при корповской слежке не удалось бы сделать, он мог бы собрать около 20 тысяч долларов наличными, надумай он бежать в Канаду. Это дало бы ему примерно тысячу долларов годового дохода, то есть двадцать долларов в неделю, если б только удалось вывезти деньги за границу, чему корпо с каждым днем чинили все больше препятствия.

Что ж, он, Эмма, и Сисси, и Мэри могли бы жить на эти деньги в четырехкомнатном коттедже, а Сисси и Мэри, может быть, нашли бы работу.

Но что касается его самого...

Одно дело, когда речь идет о таких людях, как Томас Манн, Лион Фейхтвангер или Ромен Роллан, – они и в изгнании остаются писателями, каждого слова которых ждут с нетерпением, или о таких, как профессор Эйнштейн или Сальвемини, а при корпоизме о таких недавно изгнанных или добровольно ушедших в изгнание американцах, как Уолт Тробриндж, Майкл Голд, Уильям Аллен Уайт, Джон Дос Пассос, Г. Л. Менкен, Рексфорд Тагвелл или Освальд Виллард. Нет такого места в мире, за исключением разве что

Гренландии и Германии, где бы такие светила не нашли дела и не были окружены уважением. Но на что может рассчитывать в чужой стране рядовой газетный писака, особенно если ему уже за сорок пять и особенно, если он женат на такой Эмме (или Каролине, Нэнси, Гризельде и т.п.), которой вовсе не улыбается жизнь в шалаше во имя какой-то там честности и свободы?

Так рассуждал Дормэс, подобно сотням и тысячам других инженеров, учителей, адвокатов и прочих в десятке стран с деспотическим режимом, у которых было достаточно достоинства, чтобы возмущаться тиранией, и достаточно порядочности, чтобы беззастенчиво не торговать собой, но которым недоставало безумства храбрых, чтобы добровольно пойти в изгнание, в тюрьму или на плаху, в особенности когда «у них за плечами жена и дети».

Дормэс однажды намекнул Эмилю Штаубмейеру, что тот уже настолько поднаторел, что сам он подумывает об уходе и о том, чтобы навсегда расстаться с газетной работой.

Сохранивший до сих пор неизменную любезность мистер Штаубмейер на этот раз резко сказал:

– И что же вы думаете делать? Пробраться в Канаду и там примкнуть к тем, кто занимается агитацией против Шефа? Не выйдет! Вы останетесь здесь и будете помогать мне – помогать нам!

В тот же день в редакцию заявился уполномоченный Шэд Ледью и сердито проворчал:

– Доктор Штаубмейер сообщил мне, что вы прекрасно работаете, Джессэп, но я хотел бы предупредить вас, чтобы вы продолжали в том же духе. Не забывайте, что судья Суон отпустил вас под честное слово... в мое распоряжение! Вы можете отлично работать, если захотите!

«Сможешь, если захочешь!» Единственное, за что Дормэс мальчишкой обижался на отца, – это за эту снисходительную фразу.

Дормэсу было ясно, что, несмотря на кажущееся прозаическое спокойствие повседневной работы в газете, ему в равной мере угрожала опасность как полного приятия своего рабства, так и бичей и тюремной решетки в случае его неприятия. Он испытывал все то же отвращение всякий раз, когда писал: «Пятидесятитысячная толпа, приветствовавшая президента Уиндрипа на университетском стадионе в Айова-сити, ясно свидетельствует о непрерывно растущем интересе американцев к политическим событиям», а Штаубмейер исправлял: «Громадная, восторженная толпа из семидесяти тысяч верных и преданных граждан, бурно аплодировавшая и внимательно слушавшая волнующую речь Шефа на красивом университетском стадионе в прекрасном Айова-сити, ясно и непреклонно свидетельствует о все растущей преданности всех истинных американцев делу политического преобразования под водительством корпоративного правительства».

Но, пожалуй, больше всего его угнетало то, что Штаубмейер вселился со своим столом и собственной своей елейной и потной персоной в его кабинет, бывший раньше священным убежищем его уединенных раздумий, и что Док Итчитт, еще так недавно восторженно ему поклонявшийся, теперь как будто исподтишка над ним посмеивался.

В условиях тирании дружба – ненадежное дело. Одна четверть ваших друзей выбирает «благоразумие» и перекочевывает в ряды ваших врагов, другая четверть боится остановиться и заговорить с вами на улице, третью убивают, и вы умираете вместе с ней. Но последняя, благословенная, четверть дает вам силы жить.

Когда Дормэс бывал теперь с Лориндой, у них не было места для шутиливой дружеской болтовни, которая прежде скрашивала им скуку. Лоринда была теперь неистойвой и страстной. Она дарила его своей близостью, но уже через минуту он был для нее только товарищем в их общей борьбе, целью которой было уничтожение корпо. (Она не представляла себе это иначе, как физическое уничтожение; от прежнего ее пацифизма не осталось и следа.) Она вела нужную, опасную работу. Ее бывшему компаньону не удалось удержать ее в кухне; она так организовала работу, что у нее было много свободного времени, – и она открыла кулинарные курсы для дочерей и молодых жен фермеров, которые,

оказавшись на распутье между старым, патриархальным, и новым, промышленным, веком, не были приучены ни к добротной деревенской стряпне в дровяной печи, ни к городской – из консервированных продуктов на электрической плитке; и которые уже, во всяком случае, не имели понятия о том, как, объединив свои силы, можно заставить скупые местные компании отпускать электрическую энергию по умеренному тарифу.

– Ради бога, не говори об этом никому, но я стараюсь поближе сойтись с деревенскими девушками... в предвидении того дня, когда мы начнем действовать против корпо. Я рассчитываю на них, а не на обеспеченных женщин, которые требовали избирательного права, но вместе с тем не выносят самой мысли о революции, – шептала ему Лоринда. – Нельзя сидеть сложа руки, мы должны действовать.

– Хорошо, Лоринда Б. Энтони, – вздохнул Дормэс,

И Карл Паскаль тоже оставался верен себе. Когда он впервые встретил Дормэса после его ареста, он сказал ему:

– Я ужасно болел за вас душой, мистер Джессэп, когда услышал, что они вас схватили. Но неужто вы и сейчас не хотите присоединиться к нам, коммунистам? (И он беспокойно оглянулся по сторонам.) – А я думал, что от большевиков уже ни слуху, ни духу не осталось.

– Ну, да, предполагается, что мы уничтожены. Но может, вы заметили, что время от времени возникают забастовки, хотя здесь, в Америке, не может быть больше забастовок! Почему вы не идете к нам? Ведь ваше место с нами, товарищ!

– Послушайте, Карл: вы всегда говорили, что разница между социалистами и коммунистами состоит в том что вы, коммунисты, стоите за обобществление всех средств производства, а не только предприятий общественного пользования; и что вы признаете ожесточенную классовую борьбу, а социалисты – нет. Но это ерунда! На самом деле разница заключается в том, что вы – коммунисты – служите России. Это ваша Святая Земля. Что ж, я желаю России всего наилучшего и упоминаю ее в своих молитвах вслед за моей семьей, но ведь моя родная страна не Россия, а Америка, и я хочу спасти ее цивилизацию и защитить ее от врагов. Разве так банально признаваться в этом? Но ведь не было бы банальностью для русского товарища сказать, что он за Россию. А Америке с каждым днем все больше нужна наша пропаганда. И, во-вторых, я не что иное, как буржуазный интеллигент. Мне бы, конечно, и в голову не пришло придумывать себе подобное глупое определение, но раз уж вы, красные, его придумали, то мне ничего не остается, как его принять. Поэтому я заинтересован в судьбах своего класса. Верю, что пролетарии – очень благородные ребята, но полагаю вместе с тем, что интересы буржуазной интеллигенции и пролетариата отнюдь не одни и те же. Они хотят хлеба. Мы же хотим – что ж, я не отрицаю! – мы хотим пирожного! А когда ваш пролетарий подымается настолько, что тоже хочет пирожного, так в Америке он тут же становится буржуазным интеллигентом... если только ему удастся.

– Но как подумаешь о том, что трем процентам населения принадлежит 90 процентов всего богатства...

– А я об этом не думаю. Из того, что многие интеллигенты принадлежат к 97 процентам неимущих и что многие актеры, учителя, медсестры, музыканты получают не больше, чем рабочие сцены или электротехники, – из этого вовсе не следует, что у них одинаковые интересы. Не то, сколько вы зарабатываете, а то, как вы расходуете заработанное, – вот что определяет вашу классовую принадлежность; все зависит от того, предпочитаете ли вы похороны поторжественнее или больше книг при жизни. Мне надоело извиняться за то, что у меня чисто вымытая шея!

– Откровенно говоря, мистер Джессэп, вы несете ужасный вздор, и вы сами это знаете!

– Вы так думаете? Ну что ж, зато это мой американский либеральный вздор, а не московская марксистская пропаганда.

– Вы еще придете к нам.

– Послушайте, товарищ Карл. Дело в том, что мы не согласны принять убийство как способ доказательства – вот это и является отличительным свойством либерала!

Отец Пирфайкс был очень немногословен относительно своих планов на будущее:

– Я возвращаюсь в Канаду, в которой родился... стану опять свободным верноподданным его величества. Тяжело складывать оружие, Дормэс, но я не Фома Бекет, я только скромный, запуганный, маленький, жирный чиновник!

Но кто удивил всех своих старых знакомых, так это Медэри Кол – владелец мельницы.

Будучи моложе Фрэнсиса Тэзброу и Р.К. Краули и уступая этим знатым джентльменам в аристократизме, так как только одно поколение, – а не два, как у них, – отделяло его от бородатого янки-фермера, он неизменно держался около них в Сельском клубе. Что касается гражданских заслуг, то он был председателем Ротарианского клуба. Он всегда видел в Дормэсе человека, который, не будучи ни евреем, ни венгром, ни бедняком, тем не менее непочтительно относится к святыням Главной улицы и Уолл-стрит. Они были соседями, но не бывали друг у друга. Теперь же, когда Кол, отводя Дэвида домой или забирая свою дочку Анджелу – новую подругу Дэвида – заходил к Джессэпам в прохладный осенний вечер он охотно оставался выпить чашечку горячего пунша и спрашивал Дормэса, действительно ли тот считает инфляцию «такой хорошей штукой».

В один из таких вечеров его прорвало:

– Джессэп, я не сказал бы этого ни одному человеку в городе, даже собственной жене, но мне становится невмоготу терпеть, как эти «мышки» указывают мне, где я должен покупать мои мешки и сколько я могу платить моим людям. Я вовсе не хочу сказать, что я особенно любил профсоюзы. Но в те времена, по крайней мере, члены профсоюза получали что-нибудь из того, что они у меня вымогали. Теперь же все идет на содержание минитменов. Мы платим им, и платим очень много, чтоб они командовали нами. В тридцать шестом году все это представлялось мне иначе. Только, ради бога, никому не рассказывайте, что я это говорил.

И Кол ушел, в недоумении покачивая головой, – тот самый Кол, который с восторгом голосовал за Уиндрипа.

В один из последних дней октября, проведя облаву одновременно во всех городах, деревнях и глухих углах, корпо раз и навсегда покончили со всеми преступлениями в Америке, о коем титаническом достижении писала даже лондонская «Таймс». Семьдесят тысяч отборных минитменов вкупе с полицейскими, направляемые руководителями секретной службы, арестовали по всей стране всех известных преступников и всех подозреваемых. Арестованные были преданы военному суду; один из десяти был расстрелян немедленно; четверо подверглись тюремному заключению; трое из десяти были отпущены как невиновные... а двоих приняли в организацию минитменов в качестве инспекторов.

Раздавались голоса, что, по меньшей мере, шесть из десяти были невиновны, но на это исчерпывающим ответом служило смелое заявление Уиндрипа: «Я знаю лишь один способ покончить с преступностью – это покончить с ней».

На следующий день Медэри Кол ликующе говорил:

– Я иногда сомневался и склонен был критиковать некоторые аспекты корповской политики, но вы видите, как Шеф разделался с гангстерами и бандитами? Изумительно! Я всегда говорил, что чего нашей стране не хватает, так это прежде всего твердой руки. Этот человек не признает никаких фиглей-миглей! Он понял, что единственный способ покончить с преступностью – это взять да и покончить с ней.

Затем была введена Новая американская система просвещения, которая, по меткому выражению Сарасона, была новее, чем Новая система просвещения Германии, Италии, Польши или даже Турции.

Власти решительно закрыли несколько десятков небольших колледжей, отличавшихся независимым духом, таких, как Уильяме, Бодуэн, Оберлин, Джорджтаун, Антиох, Карлтон, Институт Льюиса и другие; все они были не похожи один на другой, но имели то общее, что еще не превратились окончательно в машины. Университеты отдельных штатов не

закрывались – их просто сливали с центральными корповскими университетами; в каждой из восьми областей должно было быть по одному такому университету. Но для начала правительство организовало только два таких университета.

Университет Уиндрипа в Нью-Йорке разместился в Рокфеллеровском центре и Эмпайр Стэйт Билдинг и занял большую часть Центрального парка под спортивную площадку (парк стал совершенно недоступен для публики, так как остальная его часть была превращена в учебный плац ММ). Вторым был Университет Макгоблина в Чикаго, которому были переданы здания Чикагского и Северо-западного университетов и парк Джексона. Президент Чикагского университета Хатчинз осмелился выразить недовольство всем этим делом и отказался остаться в качестве ассистента, и власти вынуждены были вежливо его сослать.

Сплетники и любители всяких слухов выражали предположение, что присвоение Чикагскому университету имени Макгоблина вместо Сарасона говорит об охлаждении, наступающем между Сарасоном и Уиндрипом, но эти два вождя сумели в корне подавить ложные слухи, появившись вместе на большом приеме, устроенном епископу Кэннону Женской христианской лигой трезвенников; на этом приеме они сфотографировались, пожимая другу руку.

Оба университета начали с того, что зачислили пятьдесят тысяч студентов, натянув нос докорповским университетам, ни один из которых не имел в 1935 году больше тридцати тысяч студентов. Такому широкому приему в университет способствовало, пожалуй, то обстоятельство, что поступить мог всякий, представивший удостоверение о неполном среднем образовании и рекомендацию корповского уполномоченного.

Доктор Макгоблин подчеркивал, что самый факт открытия совершенно новых университетов свидетельствует об огромном культурном превосходстве корповского государства по сравнению с европейскими фашистскими диктатурами.

В то время, как там все инициаторы новой цивилизации ограничились полумерами, выгнав всех учителей-предателей, так называемых «интеллигентов», упрямо отказывавшихся преподавать физику, кулинарию или географию в соответствии с принципами и фактами, установленными политическими органами; а нацисты добавили к этому еще одно разумное мероприятие: уволили евреев, осмелившихся взяться за преподавание медицины, – американцы основали новые и в то же время совершенно ортодоксальные учебные заведения, с самого своего возникновения свободные от малейшего налета «интеллигентщины».

Все корповские университеты должны были иметь одинаковые учебные планы и программы, вполне практичные и современные, никак не связанные с какими-либо «снобистскими традициями».

Совершенно исключались из программы греческий язык, латынь, санскрит, древнееврейский язык, изучение библии, археология, филология; исключалась также история до 1500 года, кроме одного курса, который должен был показать, что на протяжении веков цивилизация сводилась к защите англосаксонской чистоты от варваров. Философия, история философии, психология, экономика, антропология сохранялись в программах, но во избежание суеверных заблуждений, содержащихся в обычных учебниках, эти предметы следовало проходить по новым учебникам, составленным способными молодыми учеными под руководством д-ра Макгоблина.

Считалось полезным, чтобы студенты учились читать, говорить и даже писать на иностранных языках, но они не должны были тратить попусту время на так называемую «литературу»; вместо устарелой художественной литературы и сентиментальной поэзии использовались статьи из свежих газет. Что касается английского языка, то изучение литературы допускалось в известных пределах, с тем чтобы иметь запас цитат для политических выступлений; основными же курсами были рекламное дело, партийная журналистика, коммерческая корреспонденция, причем упоминать авторов до 1800 г., за исключением Шекспира и Мильтона, было запрещено.

Что касается так называемой «чистой науки», то было установлено, что в ней и так уже

накопилось слишком много малопонятных исследований; зато ни один докорповский университет не имел такого количества курсов по горному делу, архитектуре свайных построек, организации промышленности и методам производства, высшей бухгалтерии, терапии ног атлетов, консервированию и сушке фруктов, подготовке воспитателей детских садов, организации турниров по шахматам, шашкам и бриджу, развитию силы воли, оркестровой музыке для массовых митингов, разведению спаниелей, производству нержавеющей стали, строительству дорог и по многим другим предметам, действительно полезным для развития ума и характера человека нового мира. Кроме того, ни одно учебное заведение, даже военное училище в Вест-Пойнте, не придавало раньше такого значения спорту и не считало его настолько важной – отнюдь не вспомогательной – частью обучения. Студенты серьезнейшим образом тренировались во всех игровых видах спорта, и к этому прибавлялись увлекательнейшие состязания на скорость в пехотном строевом учении, в бомбометании, в вождении танков, бронемашин, в стрельбе из пулеметов. Участие в таких состязаниях приравнивалось к сданному зачету, но студентов призывали не заменять спортивными предметами больше одной трети зачетов.

Но особенно ярким свидетельством преимущества скоростных методов обучения в корповских университетах по сравнению со старомодной расхлябанностью было то, что любой смышленный парень мог окончить университет за два года.

Читая проспекты этих университетов, Дормэс вспоминал, что Виктор Лавлэнд, который еще год назад преподавал греческий язык в небольшом Исайя-колледже, теперь вдалбливает арифметику и чтение в корповском трудовом лагере в штате Мэн. Ну что ж, ведь и сам Исайя-колледж закрыт, а бывший его президент д-р Оуэн Пизли, районный директор просвещения, должен стать правой рукой профессора Альмерика Траута, когда ими будет основан Университет Северо-Восточной области, который заменит Гарвардский, Рэд-клифский и Бостонский университеты. Доктор Пизли уже занимался разработкой «проекта» университетского гимна, для чего он разослал письма 167 выдающимся поэтам с просьбой присылать предложения.

XXI

В это утро не только ноябрьский мокрый снег, застилавший горы непроницаемой завесой и делавший дороги такими скользкими, что автомобиль могло в любую минуту занести и ударить о встречный столб, удерживал Дормэса дома перед камином. Нет, его удерживало чувство, что ему незачем идти в редакцию, ибо не предвиделось даже живописной баталии. Но и у камина ему было не по себе. Он не находил достоверных сообщений о последних событиях даже в бостонской и нью-йоркской газетах; в обоих городах вся утренняя пресса была объединена правительством в одну газету, изобиловавшую комиксами и стандартизированными сплетнями о Голливуде и совершенно лишённую новостей.

Он выругался, отшвырнул нью-йоркскую «Дейли корпорейт» и взялся за новый роман о даме, муж которой проявлял полнейшую бесчувственность в постели, будучи слишком поглощён романами, которые он писал о дамах-романистках, мужа которых слишком поглощены романами, которые они пишут о дамах-романистках, чтобы оценить как следует тонкую чувствительность дам-романисток, пишущих о мужчинах-романистах... Он швырнул книгу вслед за газетой. Страдания бедной дамы не имели большого значения в этом горящем мире.

Ему было слышно, как в кухне Эмма обсуждает с миссис Кэнди наилучший способ приготовления пирога с курицей. Они говорили без умолку; они, собственно, не столько разговаривали, сколько думали вслух. Дормэс допускал, что хорошо испечь пирог – дело немаловажное, но звук голосов раздражал его. Потом хлопнула дверь, и в комнату влетела Сисси, хотя Сисси еще час назад полагалось бы быть в школе: она должна была окончить ее

в будущем году и ей, по всей вероятности, предстояло поступить в какой-нибудь из этих жутких новых университетов.

– Что это за новости? Что ты делаешь дома? Почему ты не в школе?

– Да ну ее! – Она присела на низкий стульчик напротив камина, положив подбородок на руки и глядя на отца невидящими глазами. – Я туда, пожалуй, больше не пойду. Каждое утро приходится повторять клятву: «Обязуюсь служить корпоративному государству, Шефу, всем уполномоченным, мистическому колесу и войскам Республики всеми своими помыслами и делами». Ну, скажи на милость, разве не мерзость?

– А как ты рассчитываешь попасть в университет?

– Ха! Стоит лишь улыбнуться профессору Штаубмейеру... если только меня от этого не стошнит!

– Ах, так... Так... – Более он не нашелся: что сказать.

Раздался звонок у парадной двери, послышались шаги, и Джулиэн Фок робко вошел в комнату.

– Это еще что? – набросилась на него Сисси. – Что ты здесь делаешь? Почему ты не в Амхерсте?

– А ну его! – Он присел на корточки рядом с Сисси. С отсутствующим видом он держал ее за руку, и она, казалось, тоже этого не замечала. – Амхерсту – крышка. Корпо сегодня его закрывают. Я пронюхал об этом еще в субботу и смотался. Они завели веселенький обычай сгонять всех студентов, когда закрывают колледж, и арестовывать несколько человек, видно, для того, чтобы подбодрить профессоров. – Затем он обратился к Дормэсу: – А вы не найдете мне какую-нибудь работку в «Информере», сэр, хотя бы стирать пыль с машин?

– Боюсь, что нет, мой мальчик. Я бы рад был. Но я там на положении арестанта. Господи! Уж одно то что я вынужден так тебе ответить, говорит само за себя!

– Простите, сэр. Я понимаю, конечно. Ну, что ж, не знаю, что я буду делать. Помните, в 1933-34 и 35 году сколько толковых ребят – среди них врачи, юристы, инженеры с дипломами – никак не могли найти работу. А теперь и того хуже. Я поспрашивал в Амхерсте, попытал счастья в Спрингфилде, и здесь я уже два дня... хотел найти что-нибудь, прежде чем показаться тебе на глаза, Сис... Я даже наведалься к миссис Пайк и спросил, не нужно ли ей человека мыть посуду в гостинице, но пока ничего не выходит. «Молодой джентльмен, два курса колледжа, 99,3 процента чистых кровей, основательно знающий Тридцать девять параграфов, водит машину, обучает игре в теннис, с хорошим характером, ищет работу – копать канавы».

– Ты обязательно что-нибудь найдешь! Уж я постараюсь, голубчик! – заявила Сисси. Она была с Джулиэном гораздо проще и сердечнее, чем Дормэс от нее ожидал.

– Спасибо, Сис, но, честное слово... Не хочется ныть, но похоже на то, что мне остается либо записаться в минитмены, либо пойти в трудовой лагерь. Я не могу сидеть дома и жить за счет деда. Несчастный старик не так богат, чтобы держать нахлебников.

– Послушай! Идея! – Сисси прильнула к Джулиэну и расцеловала его без всякого смущения, – Гениальная мысль! Знаешь, из серии советов «Какие новые жизненные поприща следует избирать нашей молодежи». Слушай! Прошлым летом у Линды Пайк гостила подруга из Буффало, она декоратор по внутренней отделке квартир, и вот она рассказывала, что у них там черт знает какой спрос на...

– Сисси!

..балки, настоящие, неподдельные, кустарной работы, балки, они идут для загородных коттеджей в псевдо-староанглийском вкусе. Сейчас все на них помешались. Ну вот. А у нас здесь миллионы старых амбаров с балками настоящей кустарной работы пропадают совершенно зря... Фермеры еще спасибо скажут, если их уберут. Я сама об этом подумывала... поскольку я собирать стать архитектором... а Джон Полликоп обещал продать мне замечательный старый, грязный пятитонный грузовик за четыреста монет – разумеется, до инфляционных настоящих денег – в рассрочку. А что, если нам заняться торговлей модными балками?

– Превосходно! – согласился Джулиэн.
– Что ж, пожалуй... – согласился Дормэс.
– Слушайте! – Сисси вскочила. – Пошли, спросим Линди, как она думает. Она у нас единственный деловой человек в семье.

– Не особенно-то хочется выходить из дому в такую погоду... дороги отвратительные,
– проворчал Дормэс.

– Пустяки, Дормэс! Джулиэн сядет за руль! Он не очень-то силен в орфографии, постоянно мажет в теннисе, но машину он водит даже лучше меня! Если даже его занесет, так это – одно удовольствие! Едем! Мама! Мы вернемся часа через два!

– Как же так? А я думала, ты давно в школе, – отозвалась из кухни Эмма. Впрочем, конца фразы никто из трех мушкетеров не слышал. Они уже натянули пальто, замотали шею шарфами и вышли наружу в снег и слякоть.

Лоринду Пайк они застали в кухне, в ситцевом платье с засученными рукавами; она опускала пончики в кипящее масло – картина, возвращающая в те далекие романтические времена (которые Бэз Уиндрик старался воскресить), когда женщина, вырастившая одиннадцать детей, принявшая десятки новорожденных телят, считалась слишком хрупким существом, чтобы ее можно было обременять избирательными правами. Лицо Лоринды пылало от жара, но она весело кивнула им и вместо приветствия спросила: «Хотите пончиков? Сейчас!» Она увела их из кухни от любопытных ушей одной судомойки и двух котлов, и все уселись в красивой буфетной, с расставленными на полках тарелками, чашка ми и блюдами итальянской майолики, совершенно не уместными в вермонтской гостинице и свидетельствующими об излишне изысканном вкусе Лоринды; но она содержала их в такой чистоте и в таком порядке, которые делали честь ее хозяйственности и аккуратности Сисси коротко изложила свой проект, за голыми цифрами которого угадывалась очаровательная картина: она и Джулиэн, пара бродячих цыган в хаки, продают с грузовика серебристые старые сосновые балки.

– Ничего не выйдет, – с сожалением сказала Лоринда. – Дорогие загородные виллы... Их, конечно, строят. Просто диву даешься, сколько всяких дельцов и ловкачей зашибают неплохие денежки на всей этой шумихе с передачей их богатства массам. Но все строительство в руках подрядчиков, связанных с нынешними законами. Добрый старый Уиндрик так дорожит всеми американскими институтами, что сохранил наше традиционное взяточничество, хотя и уничтожил нашу традиционную независимость. Они не дадут вам заработать ни цента.

– Она, кажется, права, – сказал Дормэс.

– Это, пожалуй, в первый раз, – усмехнулась Лоринда. – Раньше я наивно думала, что женщины-избирательницы слишком хорошо знают мужчин, чтоб поверить их благородным заверениям по радио.

Они сидели в автомобиле перед гостиницей; Джулиэн и Сисси впереди, Дормэс на заднем сиденье, внушительный и несчастный в своих многочисленных одеждах.

– Такие дела, – сказала Сисси. – Хорошие времена наступили для молодых мечтателей, и все благодаря Диктатору. Изволь маршировать под военный оркестр... либо сиди дома... либо иди в тюрьму.

– Да... Ну, ладно, что-нибудь да я найду. Сисси, ты пойдешь за меня замуж... когда я найду работу?

(Прямо невероятно, думал Дормэс, как эти современные несентиментальные сентименталисты игнорируют его присутствие... Точно животные.) Даже раньше, если захочешь. Хотя брак представляется мне теперь сплошной нелепостью, Джулиэн, нельзя же в самом деле так: после того, как мы убедились воочию, что все наши старые учреждения – это гниль и ложь, после того, как мы видели, как церковь, государство и все прочее пали ниц перед корпо, нельзя же ожидать от нас, что после всего этого мы будем по-прежнему доверчиво смотреть им в рот. Но для спокойствия таких нетронутых умов, как твой дедушка

и Дормэс, нам придется, наверно, сделать вид, что мы верим, будто священники, поддерживающие Великого Шефа Уиндрипа, все-таки уполномочены господом-богом продавать разрешение на любовь!

– Сисси!

– Ох! А я и забыла, что ты здесь, папа! Но как бы то ни было, детей у нас не будет. Я люблю детей! Я была бы рада, если бы вокруг меня носилась дюжина этих очаровательных дьяволят. Но когда люди так раскисли, что отдали мир на произвол ничтожествам и диктаторам, пусть не ждут, что порядочная женщина станет поставлять детей в этот сумасшедший дом! Чем больше действительно любишь детей, тем меньше хочется рожать их в такое время!

На это Джулиэн возразил решительным тоном наивного ухажера прошлого века:

– Да. Но дети у нас все-таки будут!

– Черт его знает, может, и будут! – ответила нежная девушка.

Между тем именно Дормэс, которого меньше всего принимали в расчет, нашел работу для Джулиэна.

Старый доктор Олмстэд тянулся изо всех сил, стараясь заменить своего бывшего компаньона Фаулера Гринхилла. Но ему трудно было зимой править машиной, и он так люто ненавидел убийцу своего друга, что не соглашался пользоваться услугами не только молодых людей, состоящих в ММ, но даже тех, кто фактически признал теперешних правителей, отправившись в трудовой лагерь. Итак, выбор его пал на Джулиэна, которому отныне предстояло возить его и днем и ночью, а со временем и помогать при анестезировании и перевязках; и Джулиэн, который за неделю мысленно переменял целую кучу профессий, представив себя авиатором, музыкальным критиком, инженером по кондиционированию воздуха и археологом, занимающимся раскопками на Юкатане, теперь твердо решил отдать себя медицине, заменив таким образом Дормэсу его покойно го зятя-доктора.

И, прислушиваясь к тому, как Джулиэн и Сисси мечтают, ссорятся и шепчутся в полуосвященной гостиной, Дормэс черпал у них – и у них, и у Дэвида, и у Лоринды, и у Бака Титуса – решимость продолжать свою работу в редакции «Информера» вместо того, чтобы придушить Штаубмейера,

XXII

Десятого декабря был день рождения Берзелиоса Уиндрипа, хотя на заре своей политической карьеры, когда он еще не уяснил, что ложь иногда попадает в печать и потом несправедливо обращается против вас же, он говорил, что родился двадцать пятого декабря, как и тот, в ком он готов был признать еще более великого вождя, крича при этом с настоящими слезами на глазах, что его полное имя – Берзелиос Ноэль Вайнахт¹⁸ Уиндрип.

Свое рождение в 1937 году он отметил историческим «Постановлением о порядке», в котором говорилось, что, хотя корпоративное правительство доказало свою устойчивость и добрую волю, все еще имеются некоторые неразумные и преступные «элементы», которые из зависти к успехам корпо стремятся разрушить все хорошее. У мягкосердечного правительства иссякло терпение, и оно извещало страну, что отныне и впредь всякий, кто словом или делом попытается нанести вред Государству, будет казнен или лишен свободы. Ввиду того, что тюрьмы уже переполнены, – с одной стороны, преступными клеветниками, а с другой – теми, кого добросердечное правительство должно охранять посредством «превентивного ареста», – по всей стране будут безотлагательно открыты концентрационные лагеря.

Дормэс догадывался, что концентрационные лагеря нужны не столько в качестве

¹⁸ Ноэль, Вайнахт - рождество (франц. и нем.).

дополнительной площади для размещения жертв, сколько для того, чтобы предоставить молодым, веселым минитменам возможность развлекаться без вмешательства старых полиейских и тюремщиков-профессионалов, большинство которых смотрело на заключенных не как на врагов, которых надо истязать, а как на скот, который надо сохранить в целости.

Одиннадцатого числа состоялось торжественное открытие концентрационного лагеря – с оркестром, бумажными цветами и речами районного уполномоченного Рийка и Шэда Ледью; лагерь был открыт в Трианоне, в девяти милях к северу от Форта Бьюла, в помещении экспериментальной школы для девочек. (Девочек и их учительниц, как материал малоценный для корпоративного государства, просто-напросто выставили.) С этого дня и во все последующие дни к Дормэсу от друзей-журналистов со всех концов страны начали поступать секретные сообщения о терроре корпо и о первых кровавых восстаниях против них.

В Арканзасе девяносто шесть бывших фермеров-испольщиков, постоянно жаловавшихся на свои несчастья и почему-то не ставших ни на йоту счастливее в благоустроенном гигиеническом трудовом лагере с бесплатным еженедельным концертом, напали на контору и убили начальника лагеря и пятерых его помощников. Выступивший против них Литтлрокский полк ММ окружил восставших со всех сторон, загнал их на поле и здесь, приказав им бежать, открыл пулеметный огонь по спинам так смешно спотыкавшихся и падавших людей.

В Сан-Франциско докеры затеяли совершенно незаконную стачку, причем их вожаки, заведомые коммунисты, произносили такие изменнические речи против правительства, что местный командир ММ распорядился привязать троих из них к кипе индийского тростника, которую затем полили керосином и подожгли. Этот командир в назидание другим недовольным, пока преступники горели, отстрелил им пальцы и уши причем показал такое искусство в стрельбе, которой его обучили в рядах ММ, что не убил ни одного из то их, пока отделявал их таким образом. Впоследствии он занялся поисками Тома Муни (освобожденного Верховным судом США в начале 1936 года), но этот знаменитый антикорповский агитатор вовремя перепугался и бежал на шхуне на Таити.

В Потакете некий популярный дантист и директор банка, которому, казалось бы, должны быть чужды гнилые, мятежные настроения так называемых рабочих лидеров, совершенно неосновательно возмутившись вниманием, проявленным в кафе несколькими молодыми людьми в форме ММ к его жене (все они были в отпуску и просто веселились с юношеской непосредственностью и задором), в общей свалке стал палить из револьвера и убил троих из них. Как правило, считая это делом, лишенным общественного значения, минитмены не оглашали подробностей того, как они воздействуют на бунтовщиков, но в данном случае, поскольку дурак-дантист проявил себя маньяком-убийцей, местный начальник ММ разрешил газетам напечатать сообщение о том, что дантисту отпустили шестьдесят девять ударов гибким стальным прутом, а затем, когда он пришел в себя, поместили для осознания его кровавого идиотизма в камеру, на полу которой на два фута стояла вода, но зато, как бы в насмешку, отсутствовала вода для питья. К сожалению, человек этот умер раньше, чем успел обратиться за утешением к религии.

В Скрентоне католический священник церкви в рабочем районе был похищен и избит.

В Канзасе некто по имени Джордж У.Смит с бухты-барахты собрал две сотни фермеров, вооруженных дробовиками и спортивными ружьями и до смешного малым количеством автоматических револьверов, и повел их поджигать казарму минитменов. Были вызваны танки, и от горе-бунтовщиков не осталось и мокрого места. Их сначала отравили ипритом, а затем разнесли в пух и прах ручными гранатами; благодаря сей мудрой стратегии сентиментальные родственники не смогли обнаружить останков негодяев и использовать их для пропаганды.

Иначе обстояло дело в Нью-Йорке. Здесь минитмены, чтобы обезопасить себя от подобных сюрпризов, арестовали в бывшем Манхэттене и Бронксе всех лиц, подозреваемых

в принадлежности к коммунистической партии, а также тех, о ком было известно, что они якшаются с коммунистами, и подвергли их заключению девятнадцати концентрационных лагерях на Лонг-Айленде... Большинство из них плакалось, что они вовсе не коммунисты.

Впервые в истории Америки – за исключением разве периода Гражданской войны и мировой войны – люди боялись говорить то, что им приходило в голову. На улице, в поезде, в театре оглядывались, чтобы удостовериться, не слушает ли кто-нибудь, прежде чем сказать, например, что на западе засуха: как бы кому-нибудь не пришло в голову, что говорящий считает Шефа виновником засухи! Особенно остерегались официантов, которых подозревали в связи с ММ. Те, кто не мог удержаться от разговоров о политике, называли Уиндрипа «Полковник Робинзон» или «Доктор Браун», а Сарасона – «Судья Джонс» или «Мой кузен Каспар», и можно было услышать, как при такой, казалось бы, невинной фразе, как: «Мой кузен уже как будто не так увлекается игрой в бридж с доктором, как раньше... не иначе, как они скоро совсем рассорятся», со всех сторон несется встревоженное «Ш-ш-ш!».

Все пребывали в каком-то постоянном страхе, безмянном и вездесущем, в непрерывном нервном напряжении, точно в стране, пораженной чумой. Внезапный стук, неожиданные шаги, незнакомый почерк на конверте бросали людей в дрожь; месяцами они не могли спокойно спать. А с приходом страха исчезла гордость.

Ежедневно – с регулярностью бюллетеней о погоде – приходили сообщения, что еще кого-то внезапно подвергли «превентивному аресту», и в основном это были известные лица. В первое время минитмены, за исключением их операции против Конгресса, осмеливались арестовывать только неизвестных и беззащитных людей. Теперь же происходило неслыханное: людей, казавшихся неуязвимыми и недоступными для обычных законов – судей, офицеров армии, бывших губернатор банкиров, отказавшихся сотрудничать с корпо, евреев-адвокатов, бывших послов – арестовывали и швыряли в те же вонючие и грязные камеры.

Для журналиста Дормэса и членов его семьи был особенно важно, что среди арестованных знаменито стей было много журналистов: Рэймонд Моли, Фрэнк Саймоне, Фрэнк Кент, Хейвуд Браун, Марк Селливэн Эрл Браудер, Франклин Адаме, Джордж Селдес, Фрезир Хэнт, Гарет Гаррет, Грэнвилл Хикс, Эдвин Джеймс Роберт Морс Ловетт. Все это были до смешного разные люди, сходявшиеся только на том, что все они не желали ходить под ферулой Сарасона и Макгоблина.

Среди арестованных было, однако, совсем мало журналистов из херстовских газет.

Чума подступала все ближе к Дормэсу: малоизвестные редакторы из Лоуэлла, Провиденса и Олбани, не повинные ни в чем, кроме того, что они недостаточно восторженно отзывались о корпо, были арестованы для «выяснения», и прошли недели и месяцы, а о них не было ни слуху, ни духу.

Она подступила еще ближе, когда начали сжигать книги. По всей стране наиболее образованные из минитменов весело жгли книги, которые представляли угрозу для Рах Ронiana¹⁹ корповского государства. Эта форма охраны государства, настолько новая, что она едва ли была известна до 1300 года, была введена министром культуры Макгоблином, но в каждой области участникам похода против книг разрешалось изымать книги по собственному усмотрению. В северо-восточной области Дьюи Хэйк назначил цензорами судью Эффингэма Суона и доктора Оуэна Пизли, и составленный ими список вызвал всеобщее одобрение и восхищение.

Суон понимал, что настоящую опасность представляют не такие явные анархисты и нытики, как Дэрроу, Стеффенс и Норман Томас, – подобно гремучим змеям, они производят шум, который предупреждает об их ядовитости. Настоящими врагами являются те, чьи

¹⁹ Римский мир (лат.) - мир, обязательный для государств, находившихся под владычеством Римской империи.

имена освящены смертью и которые сумели под этим прикрытием пробраться даже в самые почтенные школьные библиотеки, люди, столь порочные, что они предавали корповское государство за много лет до того, как оно возникло; и Суон (с энтузиазмом поддержанный Пизли) запретил продажу и хранение книг Торо, Эмерсона, Уитьера, Уитмена, Марка Твена, Хоуэллса, а затем «Новую Свободу» Вудро Вильсона, ибо, хотя в конце жизни Вильсон стал здоровым, практическим политиком, до этого он был заражен вредными идеями.

Само собой разумеется, что Суон запретил также иностранных атеистов, как живых, так и мертвых: Уэллса, Маркса, Шоу, братьев Манн, Толстого и П.Г. Вудхауза с его беспринципными насмешками над аристократическими традициями. (Кто знает? Может быть, когда-нибудь он еще будет сэром Эффингэмом Суоном, баронетом корповской империи?) Кое в чем Суон проявил прямо-таки ослепительную гениальность: он был настолько дальновиден, что заметил опасность, таящуюся в томике циничного «Собрания афоризмов» Уилла Роджерса.

До Дормэса доходили вести о сожжении книг в Сиракузах, Шенектеди, Хартфорде, но все это казалось невероятным, как рассказы о привидениях.

Было семь часов вечера. Семья Джессэпа сидела за обедом, когда на крыльце раздалась шаги, которых все и ждали и боялись. Миссис Кэнди – даже хладнокровная миссис Кэнди! – в волнении схватила за грудь и не сразу пошла открывать дверь. Даже Дэвид замер, не донеся ложку до рта.

Голос Шэда: «Именем Шефа», – тяжелые шаги в передней – и в столовую ввалился Шэд, не снимая фуражки, держа руку на револьвере. Скаля зубы и добродушно подмигивая, он воскликнул:

– Здорово! Ищем вредные книги. По распоряжению районного уполномоченного. Пошли, Джессэп – Он посмотрел на камин, для которого когда-то носил дрова, и ухмыльнулся.

– Может быть, вы посидите в соседней комнате... Черта с два я посижу в соседней комнате! Сегодня ночью мы будем жечь книги. Пошевеливайтесь, Джессэп! – Шэд посмотрел на возмущенно побледневшую Эмму, посмотрел на Сисси, подмигнул и с ухмылкой спросил: – Ну, как дела, миссис Джессэп? Хелло, Сисси! Как мальчишка?

Но на Мэри Гринхилл он не посмотрел, и она на него тоже.

В передней Дормэс увидел стоявших с глупым видом четырех минитменов и Эмиля Штаубмейера, с еще более глупым видом прохныкавшего:

– Приказ... понимаете... распоряжение.

Дормэс из осторожности ничего не сказал; он молча повел их наверх, в свой кабинет.

За неделю до этого он отобрал все книги, которые только могли показаться не совсем сумасшедшему корпо радикальными: «Капитал», Веблена, все русские романы и даже «Народные пути» Сэмнера и «Неблагополучие в культуре» Фрейда, книги Торо и других отъявленных негодяев, запрещенных Суоном; старые комплекты «Нейшн» и «Нью-рипаблик» и все экземпляры труппиджевского «За демократию»; он вынес все это из кабинета и запрятал в старый диван на чердаке.

– Я говорил, что здесь ничего нет, – сказал Штаубмейер после осмотра. – Пойдем дальше.

Но Шэд запротестовал:

– Ха! Я знаю этот дом. Я здесь работал раньше... Имел счастье поднимать эти ставни на окнах и выслушивать брань вот в этой самой комнате. Вы не помните того времени, Док... когда я подстригал у вас газоны, а вы драли нос! (Штаубмейер покраснел.) Уж будьте уверены, я знаю, что говорю. Внизу, в гостиной, полно вредных книг.

И действительно, в комнате, которую называли когда гостиной, а когда залом и которую одна старая дева, полагавшая, что редакторы – народ романтический, назвала даже студией, имелось томов двести – триста, преимущественно подписных изданий. Шэд угрюмо смотрел на них, ковыряя шпорой вылинявший брюссельский ковер. Он был огорчен. Он

должен найти какую-нибудь крамолу.

Он показал на самое любимое сокровище Дормэса – тридцатичетырехтомного иллюстрированного Диккенса, принадлежавшего еще его отцу, – единственный случай, когда последний решился на безумное расточительство. Шэд спросил у Штаубмейера:

– А что этот Диккенс... он, кажется, все чем-то был недоволен...школы ему не нравились, полиция и все такое?

– Да, но ведь, Шэд... Послушайте, капитан Ледью, это было сто лет назад...

– Не имеет значения. Дохлая крыса воняет хуже, чем живая!

Дормэс воскликнул:

– Но ведь сто лет назад! Кроме того...

Но минитмены уже вытаскивали тома Диккенса с полок и с грохотом швыряли на пол. Дормэс схватил одного минитмена за руку, в дверях вскрикнула Сисси.

Шэд подскочил к нему и, подставив громадный красный кулак к самому его носу, зарычал:

– Хочешь, чтобы из тебя тут же, на месте, вышибли ли душу? Или отложим до другого раза?

Дормэс и Сисси, сидя рядом на кушетке, смотрели, как книги сбрасывают в кучу. Он держал ее за руку и старался успокоить, повторяя чуть слышно: «тише, тише!» Да, Сисси была красивая молоденькая девушка, и ведь всего только позапрошлой ночью, неподалеку от города, такую же молоденькую красивую учительницу раздели догола, изнасиловали и оставили валяться на снегу.

Дормэс все же пошел посмотреть, как будут жечь книги. Это было все равно, что взглянуть в последний раз на умершего друга.

На свежесвыпавший снег навалили кучу щепок, стружек и еловых поленьев. (Завтра на месте столетнего газона будет большое выжженное пятно.) Вокруг костра плясали школьники, воспитанные в духе минитменов, слушатели новых модных курсов счетоводства и никому не известные деревенские парни. Они хватали книги из кучи, охраняемой веселым и довольным Шэдом, и бросали их в огонь. Дормэс видел, как его Мартин Чезлвит взлетел в воздух и упал на горящую крышку старинного комода. Книга раскрылась на иллюстрации Физа, которая в детстве всегда смешила Дормэса.

Он увидел старого мистера Фока, молча ломавшего руки. Когда Дормэс дотронулся до его плеча, старик Фок печально сказал:

– Они забрали у меня «Погребальную урну» и «Imitatio Christi». Не понимаю почему, не могу понять. И теперь они их здесь сжигают!

Дормэс не знал, кому принадлежали и почему сюда попали такие книги, как «Алиса в стране чудес», Омар Хайям, Шелли, «Человек, который был четвергом», «Прощай, оружие!», которые горели все в одной куче во славу диктатора и во имя просвещения его народа Костер уже потухал, когда Карл Паскаль протолкался через толпу к Шэду Ледью и закричал ему:

– Слушай, ты! Мне сказали, что вы тут в мое отсутствие ворвались в мою комнату и забрали без меня мои книги!

– Было дело, товарищ!

– И вы сожгли их... сожгли мои...

– Дудки, товарищ! Их мы не сожгли. Это слишком важная улика, товарищ. – Шэд захохотал. – Они в полицейском участке. А мы как раз тебя ждем. Это получилось так кстати, что мы нашли все твои коммунистические книжечки! Эй, вы! Возьмите его!

Итак, Карл Паскаль был первым жителем Форты Бьюла, отправившимся в Трианонский концентрационный лагерь. Впрочем, нет, он был вторым. Первым был простой электротехник (до того незаметный человек, что о нем легко и позабыть), который никогда в жизни и словом не обмолвился на политическую тему. Звали его Брейден. Один минитмен, приятель Шэда и Штаубмейера, хотел занять его место. Брейден был отправлен в

концентрационный лагерь. Брейден заявил на допросе у Шэда, что ему ничего не известно ни о каких заговорах против Шефа, за что был бит плетьюми. Он умер в темной одиночке еще до Нового года.

Бывалый корреспондент одной лондонской газеты, посвятивший две недели декабря тщательному изучению обстановки в Америке, написал в своем репортаже, а затем сказал по радио в программе Би-би-си следующее: «Ознакомившись с обстановкой в Америке, я убедился, что там не только нет недовольных нынешним руководством, но что народ благоденствует как никогда и полон решимости построить Мужественный Новый Мир. Я спросил весьма известного банкира-еврея, правда ли, что евреев угнетают, и он заверил меня, что «когда до них доходят эти нелепые слухи, они только пожимают плечами».

XXIII

Дормэс нервничал. К нему домой для просмотра личной переписки в его кабинете явилась группа минитменов, возглавляемая не Шэдом, а Эмилем и незнакомым батальонным командиром из Ганновера. Обыск производили достаточно корректно, но с пугающей тщательностью. Затем, по беспорядку, который он обнаружил у себя в столе в редакции «Информера», он понял, что кто-то и тут просматривал его бумаги. Эмиль его избегал. Шэд вызвал Дормэса к себе и грубо его допрашивал о переписке с агентами Уолта Тробрюбриджа, о которой им якобы доложила агентура.

Итак, Дормэс нервничал. Он был уверен, что скоро будет отправлен в концентрационный лагерь. На улице он постоянно оглядывался: ему казалось, что за ним следят. Торговец фруктами Тони Моляни – красноречивый сторонник Уиндрипа, Муссолини и жевательного табака как средства от порезов и ожогов – слишком настойчиво расспрашивал его о его планах на то время, когда он окончательно «развяжется с газетой»; а однажды какой-то бродяга изо всех сил старался занять миссис Кэнди забавными разговорами, а сам так и шнырял глазами по полкам в буфетной – не опустели ли они в преддверии бегства хозяев. Но, может быть, бродяга и в самом деле был бродягой.

В середине дня Дормэсу позвонил в редакцию Бак Титус:

– Вы сегодня вечером будете дома, часов так в девять? Отлично! Я приду. Очень важно! Если можно, постарайтесь, чтобы ваши все были дома, и Линда Пайк и молодой Фок, хорошо? У меня есть идея, очень важно!

Так как в корповские времена все важные дела обычно касались предстоящего ареста, то Дормэс и его дамы ждали Бака с большим нетерпением. Лоринда слишком весело щебетала: в присутствии Эммы на нее всегда нападала говорливость; ее приход не разрядил напряжения. Джулиэн вошел с робким видом, и его приход также не разрядил напряжения. Миссис Кэнди принесла чай, который никто не просил и в который она плеснула рома, и только она, пожалуй, несколько разрядила напряжение, но все равно все скучали и томились, пока не появился Бак, опоздавший на десять минут и весь засыпанный снегом.

– Простите, заставил вас ждать, но мне надо было созвониться по телефону. Есть новости, о которых еще не знают и у вас в редакции. Пожар приближается. Сегодня днем арестовали редактора ратлендского «Геральда»... не предъявлено никакого обвинения... ничего не известно... Я получил эти сведения от одного посредника, с которым я имею дела в Ратленде... Теперь ваша очередь, Дормэс. По-моему, они просто ждали, пока вы поднатаскаете Штаубмейера. А может, Ледью хотел помучить вас ожиданием. Как бы то ни было, вам следует убраться. И завтра же! В Канаду! И там оставаться! Ехать надо на автомобиле. С самолетом больше ничего не выйдет... Канадское правительство запретило это. Вы, Эмма, Мэри с Дэви, Сисси, вся компания... захватите и Фулиша и миссис Кэнди с канарейкой!

– Это просто невозможно! Мне нужно несколько недель, чтоб реализовать свои сбережения. Пожалуй, я смогу собрать тысяч двадцать, но для этого нужно время.

– Оставьте мне доверенность, если вы мне доверяете. А кому вам и доверять, если не

мне? Мне скорее удастся получить деньги, чем вам... я в лучших отношениях с корпо: продаю им лошадей, и они думают, что я такой горлопан, который рано или поздно все равно перейдет к ним. Я достал для вас полторы тысячи канадских долларов для начала. Они со мной.

– Нам ни за что не перебраться через границу. Минитмены охраняют каждый дюйм, ловят как раз таких пассажиров, как я.

– Я достал права канадского шофера и канадский номер. Наденем его на мою машину. Поедем на моей:

меньше подозрений. У меня вид самого настоящего фермера. Да ведь я и вправду фермер. Я сам намерен отвезти вас всех. Мне переслали автомобильный номер в ящике с элем, под бутылками! Итак, завтра же ночью отправляемся, если не будет слишком ясной погоды. Хорошо бы пошел снег.

– Но, Бак, послушайте! Я не намерен бежать. Я ведь ни в чем не виноват. Зачем мне бежать?

– Чтобы спасти свою жизнь, мой мальчик, всего-навсего.

– Я не боюсь их!

– Бойтесь!

– Ну, в общем, в этом смысле, может быть, и боюсь! Но я не позволю кучке маньяков и бандитов выгнать меня из страны, которую создали я и мои предки!

Эмма пыхла, пытаясь придумать что-нибудь убедительное; Мэри, казалось, проливала невидимые слезы; Сисси что-то пискнула; Джулиэн и Лоринда, порываясь что-то сказать, перебивали друг друга, и опять все та же непрошенная миссис Кэнди, стоя в дверях, открыла прения:

– Вот все они, мужчины, упрямы, как бараны. Все до единого. Вечно что-то из себя строят. Как же, станет он думать о том, каково будет женщинам, если его заберут и расстреляют! Это все равно, что стать перед паровозом и заявить, что так как вы строили дорогу, вы имеете на нее больше прав, чем паровоз, а потом, когда машина вас переедет и уедет себе дальше, мы должны будем восхищаться, какой вы были герой! Что ж, может быть, кому-нибудь это и покажется геройством, а вот я...

– Какого черта вы все на меня нападаете и стараетесь сбить с толку, чтоб я не выполнил моего долга по отношению к государству так, как я его понимаю!..

– Вам за шестьдесят, Дормэс. Весьма вероятно, что многие из нас с большим успехом смогут выполнять свой долг, находясь в Канаде... как Уолт Тробрэдж, – тоном просьбы сказала Лоринда. Эмма посмотрела на свою подругу Лоринду без особой нежности.

– Значит, пусть корпо раскрадывают страну, а мы даже и рта не разинем! Нет!

– Руководствуясь такими аргументами, несколько миллионов человек пошли на смерть, чтобы спасти демократию и облегчить приход фашизма, – усмехнулся Бак.

– Отец! Поедем с нами. Мы ведь не можем уехать без тебя. А мне страшно здесь. – В голосе Сисси, неукротимой Сисси, действительно звучал страх. – Сегодня Шэд остановил меня на улице и предложил пойти прогуляться. Пошекотал мне подбородок, – такая душка! Но серьезно, он так ухмылялся, как будто был вполне уверен, что я не осмелюсь отказаться... Мне стало страшно!

– Я достану ружье и прихлопну...

– О, я из этого пакостника душу...

– Ну, дайте мне до него добраться... – закричали разом Дормэс, Джулиэн и Бак, сверкая глазами, а затем робко оглянулись, когда Фулиш залаял на шум, и миссис Кэнди, которая стояла, прислонившись, как мороженая треска, к косяку двери, фыркнула:

– Вот еще вояки!

Дормэс засмеялся. Единственный раз в жизни он проявил дальновидность – он согласился:

– Хорошо. Мы поедем. Просто вообразите себе, что я человек с большой силой воли и что вам понадобилась целая ночь, чтобы меня уговорить. Завтра ночью отправляемся. – Он

только умолчал о том, что, как только его семья будет в безопасности, обеспеченная деньгами в банке, а для Сисси найдется работенка, он намерен бежать от них и вернуться сюда, на свое место в строю. По крайней мере прежде чем убьют его самого, он убьет Шэда.

Одна лишь неделя оставалась до рождества, которое в семье Джессэпа всегда праздновали с сердечным весельем, украшая дом цветными гирляндами; и в этом безумном дне приготовления к бегству было что-то от рождественского веселья. Чтобы избежать подозрений, Дормэс провел большую часть времени в редакции, и сотни раз ему казалось, что во взгляде Штаубмейера скрыта угроза хорошенько избить его линейкой, – так он смотрел когда-то в школе на учеников, которые болтали во время урока, или на других подобных преступников. Зато Дормэс растянул обеденный перерыв на два часа и вечером рано вернулся домой; при мысли о Канаде и свободе с его души спала тяжесть, лежавшая на ней столько месяцев, а просматривая свой гардероб, он оживился, точно собираясь на рыбную ловлю. Приготовления шли наверху, при спущенных шторах – ни дать, ни взять шпионы из книги Филиппса Оппенгейма, притаившиеся в темной спальне с каменным полом на старинном постоялом дворе. Внизу миссис Кэнди делала вид, что занята обычными делами; она вместе с канарейкой должна была остаться дома и очень удивляться, когда минитмены придут сообщить ей, что Джессэпы, по-видимому, бежали.

Дормэс взял по пятьсот долларов в каждом местном банке, сказав, что собирается купить фруктовый сад. Он был слишком хорошо выдрессированным домашним животным, чтобы позволить себе неуместные замечания, но он не мог не усмехнуться, обнаружив, что в то время как он брал с собой только все деньги, какие ему удалось достать, папиросы, полдюжины носовых платков, две пары носок, гребенку, зубную щетку и первый том шпенглеровского «Заката Европы» (это отнюдь не была его любимая книга, но он уже много лет пытался заставить себя прочитать ее во время железнодорожных поездок), то есть в то время как он не взял ничего такого, чего нельзя было бы засунуть в карман пальто, Сисси считала необходимым забрать все свое новое белье и большой портрет Джулиэна в раме, Эмма – альбом фотографий, изображавших ее детей в возрасте от одного до двадцати лет, Дэвид – свой новый игрушечный аэроплан, а Мэри – свою тихую, мрачную ненависть, которая была тяжелее любого сундука.

Джулиэн и Лоринда пришли им помочь. Джулиэн шептался с Сисси по углам. Лоринда и Дормэс остались наедине всего на одну минуту – в старомодной ванной комнате для гостей.

– Линда! Боже мой!

– Ничего, наша возьмет! В Канаде у тебя будет время перевести дух. Иди к Трубриджу!

– Конечно, но покинуть тебя .. Я все надеялся, что каким-нибудь чудом нам удастся провести вместе месяц... вдвоем... В Монтре, Венеции или Йеллоустоне. Это ужасно, когда жизнь вот так разбивается, теряет цель и смысл.

– У нее есть смысл! Никакому диктатору уже не задушить нас! Пойдем отсюда.

– Прощай, моя Линда!

Даже прощаясь, он не захотел пугать ее признанием, что собирается вернуться, снова подвергнуть себя опасности.

Они обнялись около старой жестяной ванны с деревянной отделкой, в комнате, слегка пахнущей газом от старой колонки, обнялись в окрашенной закатным багрянцем дымке на вершине горы.

Тьма, резкий ветер, издевательски-неторопливый снежок и при этом бурно веселый Бак Титус, сделавший все возможное, чтобы походить на фермера, – в меховой шапке, вытертой во многих местах, и в ужасающем кожаном пальто.

Дормэс снова подумал, что он ни дать ни взять всадник из отряда капитана Чарльза Кинга, преследующего индейцев сквозь снежную бурю.

Они едва поместились в автомобиле; Мэри рядом с Баком; сзади Дормэс между Эммой

и Сисси; у них в ногах Дэвид, Фулиш и игрушечный аэроплан, свернувшиеся все в один клубок и укрытые полостью. Багажник и решетка перед радиатором были загромождены накрытыми брезентом чемоданами.

– Господи, как мне хочется тоже уехать! – простонал Джулиэн. – Послушай, Сисси! Замечательная идея для детектива! Но я серьезно: посылай открытки дедушке – с видами церкви и тому подобное, подписывайся «Джен», и то, что ты напишешь о церкви, я буду знать, что ты это говоришь о себе и обо... А, к черту все уловки! Как я буду без тебя, Сисси?

Миссис Кэнди сунула в грудь вещей, и без того грозившую обрушиться на колени Дормэса и на голову Дэвида, узелок, сердито буркнув:

– Если уж вам приходится бежать, как угорелым, через всю страну... тут слоеный кокосовый торт. – И, фыркнув, прибавила: – Как повернете за угол, можете выбросить его в канаву, воля ваша! – И, разрыдавшись, побежала в кухню, в дверях которой стояла Лоринда, молча протягивая к ним дрожащие руки.

Уже в темных переулках, которыми они пробирались через Форт Бьюла, автомобиль стал нырять в снежных заносах. Затем они выбрались на шоссе и понеслись к северу.

Сисси весело воскликнула:

– Ах, как хорошо! Рождество в Канаде! Вот повеселимся!

– А в Канаде есть Сайта Клаус? – раздался вопрошающий голос Дэвида, заглушенный теплой полостью и пушистыми ушами Фулиша.

– Конечно, есть, голубчик! – уверила его Эмма и затем, обращаясь к взрослым: – Ну, не умница ли?

– Еще бы не умница! – прошептала Сисси Дормэсу. – Я сегодня минут десять билась, пока научила его это сказать. Возьми меня за руку. Надеюсь, Бак знает дорогу.

Бак Титус отлично знал все проселочные дороги, ведущие от Форта Бьюла к границе, а скверную погоду предпочитал хорошей. То одолевая подъем, на котором автомобиль дрожал и натужно гудел, то петляя между холмов, они пробирались к Канаде. Мокрый снег налип на ветровое стекло и потом смерзся, и Баку пришлось вести машину, высунув голову в окно, через которое внутрь врывался леденящий ветер.

Дормэсу почти ничего не было видно, кроме напрягшейся шеи Бака да обледенелого стекла. Случалось, что из темноты где-нибудь ниже уровня дороги выплывал огонек, и он тогда знал, что они мчатся вдоль горного уступа и что если машину занесет, она будет лететь вниз сто, а то и двести футов и при этом неоднократно перевернется. Один раз машину действительно стало заносить – эти четыре секунды показались им вечностью. Бак рванул машину направо, потом опять налево и наконец выровнял – и все это не замедляя хода, как будто ничего не случилось, меж тем как у Дормэса обмякли колени.

Страх еще долго не отпускал его, а потом ему стало все равно: он так замерз и изнемог, что не ощущал ничего, кроме тупого позыва к рвоте каждый раз, когда автомобиль сильно встряхивало. Возможно, что он заснул, во всяком случае, он проснулся, и проснулся с ощущением, что автомобиль из последних сил карабкается вверх, что он надрывно хрипит, стараясь одолеть скользкий подъем. А что если мотор остановится, если тормоза откажут и они скатятся вниз? Такие предположения без конца приходили ему в голову и непрерывно его мучили.

Потом он решил не спать и попытался быть веселым и полезным спутником. Он заметил, что освещенное фарами заснеженное стекло кажется усеянным алмазами. Он отметил это, но не мог заставить себя долго думать об алмазах, даже в таком количестве.

Он попробовал завязать разговор.

– Не унывай. На рассвете будем завтракать... по ту сторону границы! – обратился он к Сисси.

– Завтракать! – повторила она с горечью.

И они продолжали пробиваться через снег в своем движущемся гробу, и все вокруг было мертво, за исключением алмазного стекла и силуэта Бака.

Эта езда продолжалась бесконечно долго, но вдруг автомобиль сильно трянуло, он подскочил, потом еще раз. Мотор работал с бешеным напряжением, издавая невыносимый рев, но автомобиль не двигался с места. Внезапно мотор остановился, Бак выругался и, как черепаха, убрал голову в автомобиль. Протяжно и жалобно закрипел стартер. Мотор снова загудел и опять остановился. Они услышали, как на деревьях потрескивают замерзшие ветки, как взвизгивает во сне Фулиш. Автомобиль был словно хижина в пустыне перед надвигающейся бурей. Тишина, казалось, прислушивалась – так же как и все они.

– Что случилось? – спросил Дормэс.

– Завяз. Не идет дальше. Попали в сугроб мокрого снега, вероятно, дренажная труба... Черт возьми! Придется вылезать.

Когда Дормэс с трудом сполз со скользкой подножки, его пронизал ветер. Он так окоченел, что едва мог стоять.

Чувствуя себя в ответственной и важной роли эксперта, Дормэс зажег электрический фонарик и осмотрел сугроб, после чего сугроб осмотрела Сисси, после чего Бак нетерпеливо забрал у них фонарик и дважды осмотрел сугроб сам.

– Хворосту надо, – одновременно сказали Сисси и Бак, пока Дормэс молча тер застывшие уши.

Втроем от ходили взад и вперед, ломали ветки и клали их по; колеса машины, и когда Мэри вежливо осведомилась из автомобиля, не может ли и она чем-нибудь помочь, ей никто не ответил.

Автомобильные фары освещали заброшенную хижину, стоящую в стороне от дороги, – это была некрашенная деревянная хибарка с разбитым окошком и без двери. Эмма с нескончаемыми вздохами выбравшаяся из автомобиля и ступавшая по снегу, как иноходец на лошадиной выставке, смиренно сказала:

– Вон там домик... может быть, мне пойти туда приготовить на спиртовке горячего кофе... для термоса не было места Хочешь горячего кофе, Дормэс?

Это было столь разумное предложение, что Дормэсу было трудно поверить, что его сделала жена, а не миссис Кэнди.

Когда автомобиль удалось сдвинуть, подостлав под колеса ветки и прутья, и он благополучно преодолел сугроб, все вошли в хижину и под ее кровлей пили кофе с великолепным кокосовым тортом миссис Кэнди.

«Как здесь чудесно, – думал Дормэс. – Мне тут нравится. Не трясет, не качает, никуда отсюда не пойду».

Но он ушел. Спокойная неподвижность хижины осталась позади, далеко позади, и они снова тряслись в автомобиле, усталые, вконец иззябшие. Дэвид то и дело просыпался, плакал и снова засыпал. Фулиш проснулся один раз, вопросительно гавкнул и снова вернулся к снам об охоте на кроликов. И Дормэс спал, голова его качалась, как верхушка мачты при крутой волне, плечо было прижато к плечу Эммы, рука грелась на талии Сисси, а душа плавала в невыразимом блаженстве.

Когда он проснулся, начинался мутный рассвет.

Автомобиль стоял, как показалось Дормэсу, в маленьком поселке у перекрестка дорог, и Бак при электрического фонаря рассматривал карту.

– Где мы находимся? – прошептал Дормэс.

– Осталось несколько миль до границы.

– Кто-нибудь нас задержал?

– Нет. Доедем, все будет хорошо.

Выехав из Ист-Беркшира, Бак свернул с большой дороги, ведущей к границе, на старую лесную тропу, по которой так мало ездили, что колеи на ней был точно две бегущие рядом змейки. Хотя Дормэс ничего не говорил, все чувствовали его беспокойство и напряжение – казалось, он прислушивается к притаившемуся во тьме врагу. Дэвид сел, завернувшись в синюю полость. Фулиш вскочил, фыркнул, посмотрел обиженно, но, проникшись общим настроением, ласково положил лапу на колени Дормэса и стал настоятельно требовать, чтоб

тот ее пожал, да не раз, а несколько. При этой церемонии Фулиш сохранял важность, достойную венецианского сенатора или гробовщика.

Они спустились в полумрак окруженной деревьями ложины.

Выскользнувший откуда-то луч прожектора внезапно осветил их таким ярким, ослепительным светом, что Бак чуть не съехал с дороги.

– Вот черт! – тихо сказал он. Остальные промолчали.

Он медленно подъехал к прожектору, установленному на площадке перед маленьким бараком. На залитую светом дорогу вышли двое минитменов. Это были молодые деревенские парни, но с хорошими винтовками.

– Куда направляетесь? – довольно добродушно спросил старший.

– В Монреаль, к месту жительства. – Бак показал свои канадские права...

Они ехали на машине с двигателем внутреннего сгорания, и их освещали электричеством, но Дормэсу пограничник показался часовым 1864 года, при свете фонаря изучающим паспорт подле деревенского фургона, в котором скрываются лазутчики генерала Джо Джонстона, переодетые рабочими с плантации.

– Ну что ж. Как будто все в порядке. Но у нас тут были неприятности с эмигрантами. Придется вам подождать батальонного командира, он придет около полудня.

– Послушайте, инспектор, это невозможно! У меня Монреале опасно больна мать.

– Это я уже не раз слышал. Может, вы и не врете. Но все равно вам придется ждать командира. Можете зайти и посидеть у огня, если хотите.

– Но нам необходимо...

– Вы слышали, что я сказал! – Минитмены взяли за ружья.

– Хорошо. Только мы вот как сделаем. Мы вернемся в Ист-Беркшир, позавтракаем там, умоемся и опять приедем сюда. Вы говорите, он будет в полдень?

– О'кэй! Послушай, братец, мне что-то чудно, почему вам вздумалось ехать здесь, когда есть превосходное шоссе. Ну, всего хорошего. Больше таких номеров не пробуйте! Нарветесь на батальонного, а он не такая деревенщина, как мы с тобой!

Беглецы уезжали с неприятным чувством, что пограничники смеются за их спиной.

Они попытались счастья у трех пограничных постов, и у всех трех их повернули назад.

– Итак? – сказал Бак.

– Что ж. По-видимому, надо поворачивать домой. Моя очередь вести машину, – устало сказал Дормэс.

Отступление было тем более унижительно, что во всех случаях пограничники удовольствовались тем, что посмеялись над ними. Клетка была слишком прочной, так что тем не о чем было беспокоиться. Единственным ясным ощущением Дормэса, когда они, поджав хвост, ехали назад, к насмешкам Шэда Ледью и удивленным восклицаниям миссис Кэнди, было сожаление, что они не застрелили хотя бы одного корпо, и он в исступлении повторял:

– Теперь я понимаю, почему такие, как Джон Браун, становились убийцами.

XXIV

Дормэс никак не мог решить, знает ли Эмиль Штаубмейер – и через него Шэд Ледью – о его попытке бежать. Действительно ли Штаубмейер смотрел на него с таким видом, как будто ему что-то известно, или ему только так казалось? Что тот, собственно, имел в виду, когда сказал: «Я слышал, что дороги на север неважные... совсем неважные»?

Но знали они или не знали, мучительно было то, что ему приходится дрожать, как бы какой-то безграмотный грузчик, Шэд Ледью, не проведал, что хотел уехать в Канаду; и что какому-то рыцарю линейки, Штаубмейеру, мистеру Сквирсу с дипломом «педагога», дано теперь колотить взрослых людей вместо мальчишек, и что он занимает пост редактора «Информера»! Его собственного «Информера»! Штаубмейер! Не человек, а классная доска!

С каждым днем Дормэсу становилось все невыносимее писать об Уиндрипе, и при

одном упоминании Шефа им овладевала неукротимая ярость.

Его личный кабинет, линотипная с ее веселой трескотней, грохочущая печатная с запахом краски, который раньше был ему так же приятен, как запах грима актеру, – все это теперь было ненавистно и угнетало его. Ни стойкая вера Лоринды, ни насмешки Сисси, ни рассказы Бака не могли оживить в нем надежду.

Поэтому он особенно обрадовался, когда его сын Филипп позвонил ему из Вустера:

– Ты дома в воскресенье? Мерилла развлекается в Нью-Йорке, и я совсем один и вот надумал заглянуть на денек, посмотреть, как у вас там дела.

– Давай, давай! Это будет чудесно! Мы так давно тебя не видели. Я скажу матери, чтобы она приготовила твои любимые бобы.

Дормэс от души обрадовался. И только спустя некоторое время его радость омрачилась. Он задумался о том, не оставшийся ли это с детства миф, что Филипп так уж любит Эммины бобы и ржаной хлеб. И почему это современные американцы, вроде Филиппа, предпочитают пользоваться междугородным телефоном, вместо того чтобы написать за день или за два. Это вовсе не разумно, думал старомодный деревенский редактор, тратить семьдесят пять центов на телефонный разговор, чтобы сэкономить на пять центов времени.

– Пустяки! Как бы то ни было, я буду рад повидаться с мальчиком! Я уверен, что он самый блестящий молодой адвокат в Вустере. Единственный удачливый член семьи.

Его поразил вид Филиппа, важной поступью вошедшего в гостиную. Он уже забыл, что этот молодой, идущий в гору адвокат в свои тридцать четыре года так сильно облысел. Ему показалось, что Филипп слишком снисходителен в обращении и, пожалуй, чересчур сердечен.

– Ей-богу, папа, ты не представляешь, как приятно вернуться домой, на старое пепелище. Мать и сестры наверху? Черт возьми, какая ужасная история – это убийство бедного Фаулера. Ужасно! Я просто в ужас пришел. Наверно, произошла какая-то ошибка – судья Суон пользуется репутацией человека исключительно добросовестного.

– Никакой ошибки не было. Суон – сущий дьявол.

В буквальном смысле слова! – Тон Дормэса был далеко не таким отеческим, как в первую минуту, когда он вскочил, чтобы поздороваться с любимым сыном.

– Правда? Мы еще вернемся к этому. Я узнаю, нельзя ли произвести более серьезное расследование. Суон? Удивительно! Мы с тобой все это обсудим. А сейчас побегу наверх расцеловать маму, и Мэри, и крошку Сисси!

Но Филипп больше не вернулся к теме об Эффингэме Суоне и о «более серьезном расследовании». Весь вечер он с убийственным усердием изображал сыновние и братские чувства, и, когда Сисси спросила его: «С чего эти телячьи нежности, Филко?» – он только подкупающе улыбнулся, как комиссионер по продаже автомобилей.

Дормэс с сыном остались наедине лишь около полуночи.

Они сидели наверху, в священном кабинете. Филипп закурил превосходную сигару Дормэса с видом киноартиста, роль которого только в том и заключается, чтобы закурить превосходную сигару, и любезно сказал:

Превосходная сигара, сэр, просто превосходная!

А почему бы и нет?

– Да нет, я просто... Я просто похвалил ее...

– В чем дело, Фил? У тебя что-то на уме. Что такое? Уж не поссорились ли вы с Мериллой?

– О нет! Ничуть! Мне, правда, не все нравится. Она немного расточительна... но у нее золотое сердце, и я должен тебе сказать, Pater, она пользуется большим успехом в Вустере, особенно на званных обедах.

– Тогда в чем же дело? Выкладывай, Фил. Чтонибудь серьезное?

– Да-а, боюсь, что это серьезно. Послушай, папа О, сиди спокойно! Я был очень обеспокоен, когда услышал, что ты... э-э... что ты не совсем в ладах с некоторыми

представителями власти.

– Ты говоришь о корпо?

– Разумеется! О ком же еще?

– А может быть, я вовсе не признаю их властью?

– Пожалуйста, не шути. Я говорю серьезно. По правде говоря, до меня дошло, что нелады у тебя с ними весьма основательные.

– Кто же это тебя информирует?

– Пишут... старые школьные товарищи. А ты действительно против корпо?

– Ты очень догадлив!

– Что ж, я сам... я лично не голосовал за Уиндрипа, но я начинаю понимать, что ошибался. Мне теперь ясно, что он обладает не только большой силой личного обаяния, но представляет собой также реальную созидательную силу... что он настоящий, надежный государственный деятель. Некоторые говорят, что все делает Ли Сарасон, но ты этому не верь. Стоит только посмотреть, что сделал Уиндрип для своего родного штата еще до того, как он сблизился с Сарасоном! Еще говорят, что Уиндрип груб. Но ведь Линкольн и Джексон тоже были грубы. Что касается меня, то я думаю, что Уиндрип...

– Единственное, что ты должен думать об Уиндрипе, – это что его бандиты убили твоего шурина, замечательного человека! И множество других хороших людей! Или ты прощаешь такие убийства?

– Нет! Конечно, нет! Как ты можешь так думать, папа?! Никто не питает большего отвращения к насилию, чем я. Но тем не менее нельзя сделать яичницу, не разбив яиц...

– Замолчи!

– Почему, Pater?

– Прежде всего не называй меня Pater! А потом, если я еще услышу эту фразу о «яичнице», я, кажется, кого-нибудь убью! Так говорили все, кто хотел оправдать любое зверство при любой форме деспотизма – фашисты ли, нацисты или же наши собственные реакционеры, подавлявшие профсоюзное движение. Яичница! Яйца! Кто это позволил тиранам разбивать человеческие души, словно яичную скорлупу, проливать человеческую кровь!

– Простите, сэр. Фраза эта, может быть, действительно немного затаскана! Я только хотел сказать... я только пытался реалистично представить ситуацию!

– Реалистично! Еще одна подслащенная банальность, оправдывающая убийство!

– Но послушай, отец, я признаю, происходят ужасные вещи – из-за несовершенства человеческой природы, – но ведь можно простить применение подобных средств, когда цель – обновление нации.

– Нет, нельзя! Я никогда не смогу простить зло, и ложь, и жестокость! А еще меньше я склонен прощать фанатиков, оправдывающих их «обновлением нации»! Вспомни, что говорил Ромен Роллан: страна, проявляющая терпимость к злу и дурным средствам, к дурным этическим нормам, за одно поколение будет отравлена так, что у нее уж не сможет быть хорошей цели. Ты сам-то сознаешь, как точно ты повторяешь рассуждения левых деятелей, для которых порядочность, доброта, правдивость – это «буржуазная мораль»? А я и не знал, что ты стал марксистом-материалистом!

– Я? Марксистом? Что ты говоришь!..

Дормэс был доволен, что ему удалось растревожить снисходительно-самодовольное спокойствие сына.

– Что ты говоришь! Да я больше всего ценю корпо именно за то, что они, как мне известно – а я имею достоверные сведения из Вашингтона, – спасли нас от нашествия красных агентов Москвы – коммунистов, замаскировавшихся под скромных профсоюзных деятелей!

– Да что ты говоришь? (Неужели этот идиот забыл, что его отец – газетчик и менее всего склонен доверять «достоверным сведениям из Вашингтона»?) – Это самое! И я считаю, что в политике надо быть реалистом – прости, отец, ты, кажется, не любишь этого слова, –

ну, скажем, быть... быть...

– Нет, именно реалистом, чего уж!

– Вот именно!

(Дормэс вспомнил, что такие задатки проявлялись Филиппа еще в детстве, и впервые в жизни усомнился правильно ли он делал, отказывая себе в свое время в удовольствии выпороть мальчишку.) – Все дело в том, Pater, что Уиндрип – во всяком случае, корпо – утвердились прочно, и нам следует основывать свою деятельность не на какой-то прекрасной утопии, а на том, что есть в действительности. Подумать только, чего они достигли! Взять хотя бы для примера то, как они убрали с дорог рекламные плакаты, как они покончили с безработицей, не говоря уж об их поистине гениальном ходе, когда они разом покончили с преступностью в стране.

– О господи!

– Прости... что ты сказал, папа?

– Ничего! Ничего! Продолжай!

– А сейчас мне становится ясно, что корпо добились успехов не только в материальной, но и в духовной области.

– Как?

– Вот так! Они вдохнули в страну новую жизнь. До них мы все погрязали в корыстных расчетах, каждый думал только о материальных благах и удобствах... холодильниках, телевизорах и кондиционировании воздуха. Мы утратили твердость духа, свойственную нашим предкам-пионерам. Многие молодые люди даже отказывались от военного обучения, которое одно лишь приучает к дисциплине, и воспитывает силу воли, и порождает дух товарищества. Ах, прости, пожалуйста! забыл, что ты пацифист!

– Больше уже не пацифист, – хмуро пробормотал Дормэс.

– Само собой, есть вещи, о которых мы не можем с тобой быть одного мнения. Но в конце концов, как публицист, ты должен прислушиваться к голосу молодежи.

– Это вы-то молодежь? Нет, вы не молодежь. Духовно вам две тысячи лет. Вы с вашими замечательными новыми империалистическими теориями восходите примерно к сотому году до нашей эры!..

– Но ты только выслушай, папа! Как ты думаешь, для чего я примчался сюда из Вустера?

– Бог тебя знает!

– Я хотел поговорить с тобой начистоту. До Уиндрипа мы здесь, в Америке, малодушно бездействовали, в то время как Европа сбрасывала все узы... и монархию, и эту устаревшую парламентско-демократически-либеральную систему, означающую, по существу, власть профессиональных политиков и самовлюбленных «интеллигентов». Нам надо догнать Европу... нам нужна экспансия... это закон жизни. Нация, как и отдельный человек, должна идти вперед, иначе она пойдет назад.

Это неизбежно!

– Я знаю, Фил. Я часто писал об этом, в тех же выражениях, еще до 1914 года!

– Вот как? Ну, что ж... Мы должны распространяться! Нам надо захватить Мексику, а может быть, и Центральную Америку, и хороший кусок Китая. Мы должны это сделать ради самих этих стран, раз они не могут навести у себя порядок. Может быть, я и ошибаюсь, но...

– Да что ты. этого не может быть!

– Уиндрип, и Сарасон, и Дьюи Хэйк, и Макгоблин – это все крупные люди... они заставили меня задуматься. Так вот, я приехал сюда, чтобы...

Ты считаешь, что я должен проводить в «Информере» линию корпо?

– Ну да, конечно! Примерно это я и хотел сказать. (Мне вообще непонятно, почему ты не занял более благоразумную позицию... с твоим живым умом!) Во всяком случае, время эгоистического индивидуализма миновало. Настала пора единства. Один за всех и все за одного...

– Филипп, может быть, ты скажешь мне без обиняков, к чему ты, в сущности, клонишь?

Перестань болтать!

– Хорошо, раз ты требуешь, чтобы я... как ты выразился, «перестал болтать», хотя мне кажется, что ты мог бы со мной обойтись и повежливее, принимая во внимание, что я не поленился приехать из Вустера. У меня есть достоверные сведения, что тебе предстоит очень серьезные неприятности, если ты не покончишь со своей о позицией... или, во всяком случае, не перестанешь демонстративно отказываться поддерживать... правительство – Ну и что ж из того? Это у меня будут серьезные неприятности!

– В том-то и дело, что не только у тебя! По-моему тебе хоть раз в жизни не мешало бы подумать о матери и сестрах, а не только о твоих эгоистических «идеях» с которыми ты так носишься! В такое тяжелое время разыгрывать из себя чудака-«либерала» – уж не забавная шутка!

Дормэс вспыхнул, как ракета.

– Говорю тебе, перестань болтать! – рявкнул Дормэс. – Что тебе нужно? В каких ты отношениях с этой бандой?

– Мне официально предложено занять почетное место помощника военного судьи, но твоя позиция...

– Филипп, я проклинаю тебя, и, кажется, не столько за то, что ты изменник, сколько за то, что ты стал такой самодовольной скотиной! Покойной ночи!

XXV

Праздники придумал, вероятно, дьявол, чтобы ввести людей в заблуждение, будто можно быть счастливым по заказу.

Первое рождество, которое Дэвид праздновал у бабушки с бабушкой, грозило оказаться – такое было у всех чувство – его последним рождеством с ними. Мэри плакала, запершись у себя, но когда накануне сочельника к ним ввалился Шэд Ледью, чтобы допросить Дормэса, заговаривал ли с ним Карл Паскаль о коммунизме, Мэри подошла к нему в прихожей, пристально на него посмотрела и с жутким спокойствием проговорила:

– Убийца! Я убью и тебя и Суона!

С лица Шэда впервые сползла самоуверенная ухмылка. Чтобы создать хоть подобие рождественского веселья, все вели себя очень шумно, но и омела, и звездочки, и блестяшки на большой елке, и вся обстановка семейного праздника в безмятежном старом доме в маленьком городке по существу, скрывали в себе то же мрачное отчаяние, которое заполняет душу одинокого пьяницы в большом городе. Дормэс думал, что, пожалуй, им всем лучше было бы напиться как следует, махнуть на все рукой и сидеть в кафе, положив локти на залитый вином столик, нежели общими усилиями поддерживать видимость семейного счастья. И он возненавидел корпо еще за то, что они украли у них этот радостный мирный праздник.

К обеду пригласили Луи Ротенстерна, потому что он был одиноким, как перст, холостяком, но еще больше потому, что он был евреем и в условиях диктатуры маньяков постоянно подвергался оскорблениям и дрожал за свою жизнь. (Евреи уже потому достойны уважения, что степень их непопулярности всегда является точным мерилем жестокости и глупости существующего режима, так что даже такой меркантильный, любящий деньгу и тяжеловесную шутку еврей-обыватель, как Ротенстерн, является чувствительным мерилем варварства.) После обеда пришел любимец Дэвида Бак Титус, притащивший ему кучу подарков – тракторы, пожарные машины, настоящий лук со стрелами; Бак как раз громко упрашивал миссис Кэнди протанцевать с ним какой-то танец, который он довольно неопределенно называл «легкой фантазией», когда раздался стук в дверь.

Вошел Арас Дили с четверкой минитменов.

– Ротенстерн тут? Ага! Привет, Луи! Надевайте-ка пальто и марш – таков приказ!

– В чем дело? Что вы от него хотите? В чем он обвиняется? – возмущенно спрашивал Бак, все еще держа смущенную миссис Кэнди за талию.

– Не знаю, может, ни в чем. Приказано только привести его в штаб для допроса. Приехал районный уполномоченный Рийк. Хочет кое-кого кое о чем расспросить. Ну, ты, идем!

После этого веселая компания не отправилась уже, как предполагалось раньше, на лыжную прогулку к Лоринде. На следующий день они узнали, что Ротенстерна отправили в трианонский концентрационный лагерь вместе с владельцем магазина скобяных изделий Раймонд Прэйдзуэлом – сварливым стариком самых консервативных взглядов.

Оба эти ареста казались невероятными. Ротенстерн был слишком безответным человеком. И хотя Прайдуэла никак нельзя было назвать безответным, хотя он, наоборот, не стеснясь, заявлял, что не был в восторге от Ледью, когда тот служил работником, а теперь еще меньше в восторге от него, когда он стал местным правителем, но ведь Прайдуэл – это освященный временем институт. С таким же успехом можно было потащить в тюрьму местную баптистскую церковь из бурого песчаника.

Спустя некоторое время магазин Ротенстерна перешел к приятелю Шэда Ледью.

Это здесь возможно, размышлял Дормэс. Это может случиться и с ним. Скоро ли? Прежде чем его арестуют, он должен облегчить свою совесть уходом из редакции «Информера».

Профессор Лавлэнд, в прошлом преподаватель классических языков в Исайя-колледже, ныне уволенный из трудового лагеря за неспособность обучать арифметике лесорубов, прибыл в город с женой и детьми проездом на новое место работы – он собирался стать конторщиком в гранитной каменоломне своего дяди около Фэйр Хэвен. Он навестил Дормэса и при этом был как-то истерически весел. Затем он зашел к ювелиру Кларенсу Литтлу – «удостоил его посещением», как сказал бы Кларенс Литтл, человек нервный и издерганный, родившийся на небольшой вермонтской ферме. До тридцати лет у него на руках была большая мать, и он так и не смог осуществить свою заветную мечту – поступить в колледж и изучать греческий язык. Хотя Лавлэнд был его ровесником, он относился к нему с величайшим почтением, видел в нем Китса и Лиддела в одном лице. Лучшими его минутами были те, когда Лавлэнд читал ему Гомера.

Лавлэнд стоял, облокотившись о прилавок.

– Ну как, Кларенс? Каковы успехи в латинской грамматике?

Да что, профессор, какая тут грамматика! Видно, слабый я человек, кое-как заставляю себя работать, а больше уж теперь ни на что не способен.

И я тоже! Не называйте меня профессором. Я всего только табельщик на гранитной каменоломне. Что за жизнь!

Они не заметили, как в магазин вошел какой-то неуклюжий человек в штатской одежде, а если и заметили, то приняли его за покупателя. Но человек прорычал:

– О, так, значит, вам, голубчикам, не нравится теперешняя жизнь? Небось, не любите корпо? И о Шефе неважного мнения?

И он с такой силой ткнул пальцем Лавлэнду под ребро, что тот вскрикнул:

– Мне дела нет до вашего Шефа!

– Ах, вот как! Что ж, голубчики, придется вам обоим прогуляться со мной в участок!

– А кто вы такой?

– О, всего только офицер минитменов, не больше! У него оказался автоматический револьвер. Лавлэнда не слишком били, потому что он сумел попридержаться язык. Но Литтл закатил такую истерику, что им пришлось положить его на кухонный стол и всыпать ему сорок ударов стальным шомполом по обнаженной спине. На нем оказалось желтое шелковое белье, и это чрезвычайно развеселило минитменов; особенно потешался широкоплечий молодой инспектор, о котором говорили, что он в нежной дружбе с батальонным командиром, толстым, писклявым человеком в очках.

Литтл не смог уже самостоятельно взобраться на грузовик, который должен был доставить его и Лавлэнда в трианонский концентрационный лагерь. Один глаз у него совсем

закрылся и был весь окружен кровоподтеками – ни дать ни взять испанский омлет, по определению шофера.

Грузовик был открытый, но бежать они не могли, к как находившиеся в нем трое арестованных были скованы друг с другом за руку. Они лежали на полу кузова. Шел снег.

Третий арестованный ничем не походил ни на Лавлэнда, ни на Литтла. Его звали Бен Триппен. Он был рабочим на мельнице Медэри Кола. Ему было столько же дела до греческого языка, сколько какому-нибудь павиану но зато его весьма заботило, как прокормить шестерых детей.

Его арестовали за попытку избить Кола и за то, что он ругал корповский режим, когда Кол снизил его заработную плату с девяти долларов в неделю (в докорповской валюте) до семи с половиной.

Что касается жены и детей Лавлэнда, то Лоринда временно взяла их к себе, пока не удалось собрать для них денег и отправить их к родителям миссис Лавлэнд жившим на ферме в штате Миссури. Потом дела у них поправились. Миссис Лавлэнд сумела произвести впечатление на грека с напомаженными усами – владельца закуской, и он дал ей работу. Ее обязанности заключались в том, чтобы мыть посуду и угождать хозяину иными способами.

Администрация округа объявила в воззвании, подписанном Эмилем Штаубмейером, что она решила упорядочить сельское хозяйство на высоких участках на горе Террор. Для начала полдюжину беднейших семейств переселили в большой, спокойный старый дом большого, спокойного старого фермера Генри Видера, двоюродного брата Дормэса Джессэпа. У этих бедняков было очень много детей, так что в каждой комнате, где Генри и его жена мирно жили вдвоем с тех пор, как выросли их собственные дети, четыре-пять человек спали на полу. Генри Видеру это не понравилось, и он не слишком деликатно сказал об этом ММ, вселившим постояльцев. Еще хуже было то, что переселенным беднякам эта затея тоже не нравилась.

– Как бы там ни было, а своя крыша над головой у нас есть. Не пойму, зачем надо было нас сунуть к Генри, – сказал один.

– Я не хочу, чтобы другие мне мешали, но и сам не хочу мешать другим. Мне вот совсем не нравится этот дурацкий желтый цвет, в который Генри выкрасил свой сарай, но, черт возьми, это – его дело.

За подобные разговоры Генри и двоих «упорядоченных» сельских хозяев отправили в трианонский концентрационный лагерь, а остальные так и остались в доме Генри, уничтожая запасы из кладовой Генри и ожидая дальнейших приказаний.

«До того, как я составлю компанию Генри, и Карлу, Лавлэнду, я обязан отряхнуть прах «Информера» со своих ног», – сказал себе Дормэс в конце января.

Он отправился к окружному уполномоченному Ледью.

– Я уйду из «Информера». Штаубмейер усвоил все чему я мог его научить!

– Штаубмейер? Вы имеете в виду помощника уполномоченного Штаубмейера?

– Бросьте! Мы не на параде и не играем в солдатики. Не возражаете, если я присяду?

– Я смотрю, вам плевать, возражаю я или нет! Слушайте, Джессэп, и зарубите себе на носу, куда вы не уйдете. Я давно бы мог упрянуть вас в Трианон на миллион лет и всыпать вам в придачу девяносто плетей, но... вы всегда так хвастались, какой вы порядочный да честный, что у меня душа радуется, глядя, как вы лижете пятки Шефа... и мои!

– Больше я этого делать не буду! Довольно! И я понимаю, что заслужил ваше презрение тем, что пошел на это!

– Нет, вы поглядите на него! Вы будете делать все, что я прикажу, да еще спасибо говорить. А мне, думаете, нравилось у вас работать? Смотреть, как вы с супругой и дочками едете на пикник, а я должен оставаться дома и убирать подвал. Как же, ведь я был всего-навсего грязный работник, весь в вашей же грязи!

– А нам, может, вовсе не хотелось, чтоб вы нас сопровождали, Шэд! До свидания!

Шэд засмеялся. В этом смехе послышался скрип ворот концентрационного лагеря.

Сисси подсказала Дормэсу правильный образ действий.

Он поехал в Ганновер к начальнику Шэда, районному уполномоченному Джону Селливэну Рийку. Его заставили ждать не больше получаса. Дормэс был поражен, увидев, каким бледным, неуверенным и запуганным стал за это время некогда несокрушимо веселый и румяный Рийк, но уполномоченный изо всех сил старался говорить уверенно.

Чем могу быть вам полезен, Джессэп?

– Вы позволите мне быть откровенным?

– Что? Ну, конечно! Откровенность всегда была моим коньком!

– Рад это слышать. Дело в том, что я больше совершенно не нужен в «Информере». Как вы, вероятно знаете, я обучал своего преемника, Эмиля Штаубмейера. Теперь он вполне может занять мое место, и я хотел бы уйти. Я ему только мешаю.

– А почему бы вам не остаться и не помогать ему? Ведь всегда может понадобиться то одно, то другое.

– Потому, что мне в тягость выполнять распоряжения там, где я столько лет сам распоряжался. Вам, наверное, это понятно?

– Ну еще бы! Даже очень! Хорошо, я подумаю. Вы не откажетесь писать статьи для моей газеты? Я являюсь совладельцем одной газеты.

– Отчего же? С удовольствием!

(Как это понять? Или Рийк предвидит близкий конец корповской деспотии и начинает маневрировать? Или он боится, как бы они его не вышвырнули?) – Я очень хорошо представляю, как вы себя чувствуете, дружище Джессэп.

– Благодарю вас! Вы не откажетесь дать мне записку к окружному уполномоченному Ледью с указанием, чтобы он отпустил меня – если можно, со строгим указанием?

– Пожалуйста. Подождите минуточку, сейчас напишу.

Дормэс постарался уйти из «Информера», в котором правил тридцать семь лет, как можно тише и незаметнее.

Штаубмейер держался снисходительно. Док Итчитт насмешливо поглядывал на Дормэса, но рабочие типографии во главе с Дэном Уилгэсом с чувством жали ему руку. И вот в шестьдесят два года, чувствуя себя более крепким и энергичным, чем когда-либо в жизни, Дормэс вдруг оказался не у дел. Все, что ему оставалось, – это принимать пищу и рассказывать внуку сказки о слоне.

Но такое положение продолжалось меньше недели. Стараясь не возбудить подозрений у Эммы и Сисси и даже у Бака Титуса и Лоринды, он улучил момент, когда они с Джулиэном остались наедине:

Послушайте, мой мальчик, я думаю, мне пора помногу заняться государственной изменой. (Ради всего святого, помалкивайте об этом, ни в коем случае не проболтайтесь даже Сисси.) Вам, наверно, давно известно, что коммунисты, на мой взгляд, слишком слепо преданы своей идее. Но мне сдается, что они самые мужественные, самоотверженные и толковые люди со времен ранних христианских мучеников, с которыми, кстати, роднит волосатость и любовь к катакомбам. Я хочу связаться с ними и узнать, нет ли у них для меня какой-нибудь черной работы. Считается, что все коммунисты уже в тюрьме. Не могли бы вы связаться с Карлом Паскалем в Трианоне и разузнать у него, к кому мне обратиться?

– Думаю, что смогу. Доктора Олмстэда иногда вызывают туда к больным, – хотя они ненавидят его, зная, что он их терпеть не может, но их лагерный врач – пьянчуга и бездельник, а им бывает нужен настоящий врач, когда кто-нибудь из тюремщиков повредит себе руку, избивая заключенного. Я постараюсь, сэр.

Спустя два дня Джулиэн вернулся.

– Боже мой, что за клоака этот Трианон! Мне приходилось ждать доктора Олмстэда в машине перед воротами, но я не решался туда сунуться. Раньше это были хорошие, даже красивые здания, когда в них помещалась школа для девочек, а теперь они все ободраны, перегорожены на камеры, повсюду воняет карболкой и испражнениями, а воздух – там

вообще его нет, – чувство такое, будто ты заколочен в ящике; просто понять не могу, как кто-нибудь может прожить в такой камере хоть час, а ведь там набито по шесть человек! Размер камеры 12 футов на 10 футов, потолок на уровне семи футов, а свет – только от крошечной лампочки, наверно, не больше 25 свечей, – о том, чтобы читать, даже думать нечего. Правда, они выходят на прогулку на два часа в день, все время ходят и ходят по двору – все такие сгорбленные, такие подавленные, будто из них выколотили все мужество, даже Карл немного подался, а вы помните, какой он был гордый, насмешливый. Мне удалось с ним повидаться, он говорит, что надо связаться с этим человеком – я записал его имя, вот оно, – но ради бога сожгите записку, как только вы его запомните.

– А что, он – они его...

– О, да, его били, еще как! Он не говорит об этом но у него на лице большой шрам – от виска к подбородку. Я мельком видел Генри Видера. Вы помните, какой он был – крепкий, как дуб? Теперь он все время дергается при любом неожиданном звуке вздрагивает, ловит ртом воздух. Он не узнал меня; он, наверно, никого не узнает.

Дормэс заявил родным – и постарался, чтобы об этом знало как можно больше народа, – что все еще ищет подходящий фруктовый сад, куда бы можно было переехать с семьей; после этого он отправился в путешествие в южном направлении, взяв с собой в портфеле пижаму, зубную щетку и первый том «Заката Европы» Шпенглера.

Адрес, указанный Карлом Паскалем, оказался конторой очень почтенного торговца церковной утварью и одеждой, находившейся в Хартфорде в штате Коннектикут над помещением кафе. Хозяин – большой джентльмен – проговорил с Дормэсом не меньше часа о цимбалах, клавикордах, о музыке Палестрины и лишь после этого направил его к инженеру, занятому постройкой дамбы в Нью-Гемпшире, а тот, в свою очередь, послал его к портному, в маленький магазинчик в переулке в городе Линн; и только этот последний послал его, наконец в северную часть штата Коннектикут, в восточный штаб Коммунистической партии Америки – того, что от нее осталось. Не расставаясь со своим портфелем, Дормэс поднялся на холм по скользкой от грязи дороге, непроходимой для любого автомобиля, и постучал в облезлую зеленую дверь низкого домика, скрытого за кустами старой сирени и таволги. Худая женщина открыла дверь и окинула его неприветливым взглядом.

– Я хотел бы поговорить с мистером Эйли, мистером Бэйли или мистером Кэйли.

– Никого из них нет дома. Вам придется прийти еще раз.

– Что ж, тогда я подожду. Что остается делать в наше время?

– Хорошо. Входите.

Спасибо. Передайте им это письмо. (Портной предупредил его, что «все это выглядит довольно глупо, все эти пароли и прочее, но вы понимаете, если заберут кого-нибудь из Центрального Комитета...»)

– Он издал свистящий странный звук и провел ножницами по горлу.) Она провела его мимо круто поднимавшейся кверху лестницы и впустила в маленькую комнату с дешевыми узорчатыми обоями и гравюрами на стенах. В комнате было несколько черных деревянных кресел-качалок с ситцевыми подушками, и Дормэс сел в одно из них. Читать было нечего, кроме сборника методистских церковных гимнов и настольного словаря. Гимны он все знал наизусть, и к тому же он всегда любил читать словари – бывало даже, что, увлекшись словарем, он задерживал очередную передовую статью. Он с удовольствием открыл словарь:

Фенил, сущ. хим. Одновалентный радикал C_6H_5 ; рассматривается как основа многочисленных бензоловых производных; например, фенил-гидроксил $C_6H_5 OH$.

Ферекрат. сущ. хориямбический трехстопный каталектический стих, состоящий из одного спондея, одного хориямба и одного каталектического слога.

«Скажи, пожалуйста, а я и не знал. А теперь знаю», – удовлетворенно подумал Дормэс и тут заметил, что в узком дверном проеме стоит широкоплечий человек с лохматыми седыми волосами и повязкой на одном глазу и сердито на него смотрит. Дормэс узнал его по портретам. Это был Билл Эттербери, шахтер, портовый рабочий, один из старых лидеров

ИРМ, боевой вождь АФТ, руководивший не одной забастовкой, просидевший пять лет в Сан-Квентине и проживший с почетом пять лет в Москве. Говорили, что он теперь стал секретарем нелегальной коммунистической партии.

– Я мистер Эйли. Чем могу служить? – спросил Билл.

Он провел Дормэса в заднюю комнату, где за столом красного дерева, покрытым пятнами и царапинами, сидели приземистый человек со светлыми кудрявыми волосами и глубокими морщинами на бледном лице и элегантно одетый стройный молодой человек.

– Здравствуйте, – сказал мистер Бэйли с русско-еврейским акцентом. О нем Дормэс ничего не знал, кроме того, что его зовут не Бэйли.

– Доброе утро, – буркнул мистер Кэйли; это был, если Дормэс не ошибался, Элфри, сын миллионера-банкира; брат его был известным исследователем, одна сестра – женой епископа, другая – графиней, а сам он раньше был преподавателем экономики в Калифорнийском университете.

Дормэс попытался объяснить этим заговорщикам с холодными и быстрыми глазами, зачем он к ним явился – Вы согласны стать членом партии, если, что весьма маловероятно, вас согласятся принять, и безоговорочно выполнять любые указания? – вкрадчиво спросил Элфри.

– Вы хотите сказать, согласен ли я убивать и красть?

– Вы начитались детективных рассказов о «красных»! Ничего подобного! То, что вам придется делать, будет потруднее, чем забавляться автоматом. Согласитесь вы забыть, что когда-то были уважаемым редактором газеты и привыкли отдавать распоряжения, и вместо этого одеться бродягой и тащиться пешком по снегу, распространять революционные брошюры, даже если вы лично будете считать их совершенно бесполезными для нашего дела?

– Э... Я... Я не знаю. Мне кажется, что как газетный работник с небольшим опытом...

– К черту! Нам совершенно ни к чему «опытные газетные работники»! Нам нужны опытные расклейщики листовок, которые любят запах клея и не любят спать. И еще нам нужны – но вы для этого, пожалуй, староваты – сумасшедшие фанатики, готовые организовывать забастовки, хорошо зная, что будут избиты и брошены за решетку.

– Нет, мне кажется, я... Послушайте. Я уверен, что Уолт Трубридж объединится с социалистами, радикальными сенаторами из левых, с фермерско-лейбористскими группами и тому подобное...

Билл Эттербери громко расхохотался. Это было похоже на страшный взрыв.

– О да, я уверен, что они объединятся, все эти грязные, трусливые, нерешительные реформистские социал-фашисты вроде Трубриджа, которые льют воду на мельницу капиталистов и стремятся к войне с Советской Россией, и при этом им не хватает ума понять, что они делают, и получить хорошую мзду за свое предательство.

– Я восхищаюсь Трубриджем! – отрезал Дормэс.

– Еще бы!

Элфри встал и сказал Дормэсу на прощание даже с некоторой сердечностью:

– Мистер Джессэп, я сам вырос и воспитался в здоровой буржуазной семье, не то что эти два головореза, и я могу оценить ваши намерения, ваши попытки, хотя они не могут этого сделать. Видимо, мы еще более неприемлемы для вас, чем вы для нас!

– Это верно, товарищ Элфри. Вы оба еще не избавились от своих буржуйских заскоков, как сказал бы ваш Хью Джонсон! – захихикал мистер Бэйли.

– Смотрите только, как бы Уолт Трубридж не прогнал Бэза Уиндрипа, пока вы тут будете спорить о заблуждениях Троцкого. До свидания! – сказал Дормэс.

Когда он спустя два дня рассказал об этом Джулиэну, тот с недоумением спросил:

– Кто же все-таки победил – вы или они?

– По-моему, никто не победил, – ответил Дормэс. – Во всяком случае, я теперь знаю, что не в едином хлебе спасение, но во всем, что исходит из уст господ бога... Фанатичные и ограниченные коммунисты, безразличные и поверхностные янки – не удивительно, что

диктатор держит всех нас в своих руках и все мы помогаем ему творить его дело.

Даже в тридцатые годы, вопреки утвердившемуся восторженному мнению, что кино, автомобили и иллюстрированные журналы покончили с провинциализмом американских городишек, подобных Форту Бьюла, ушедшие на покой люди, вроде Дормэса, которые не могли себе позволить поехать в Европу, Флориду или Калифорнию, решительно не знали, куда деваться, и чувствовали себя такими же ненужными, как старая собака в воскресенье, когда никого из семьи нет дома. Они бродили о городе, заходили в магазины, в вестибюли гостиниц, на вокзал и бывали довольны, когда им приходилось четверть часа прождать в парикмахерской. Ни кафе, стол популярных в Европе, ни клубов, кроме сельского клуба, который посещала главным образом молодежь по вечерам!

И вот незаурядный Дормэс Джессэп, культурный человек, так же скучал в отставке, как скучал бы, вероятно, банкир Краули.

Он делал вид, что играет в гольф, но на самом деле не мог понять, какой может быть смысл в том, чтобы прерывать хорошую прогулку для отбивания палкой небольших мячей; а главное, его раздражал вид многочисленных мундиров минитменов на поле. У него не хватало апломба (которого с лихвой хватило бы у Медэри Кола), чтобы часами толкаться в вестибюле отеля «Уэссекс» и чувствовать себя при этом как дома.

Он сидел в кабинете и читал до тех пор, пока не уставали глаза. Но он с раздражением чувствовал, что его постоянное присутствие в доме раздражает Эмму и миссис Кэнди. Да! Он охотно продал бы дом и ту небольшую долю в «Информере», которую оставило ему правительство, отняв у него газету, и уехал, уехал бы немедленно к Скалистым Горам или в любое другое новое место.

Но он прекрасно понимал, что Эмма вовсе не стремится ни в какие новые места, и ясно видел, что та самая Эмма, к уютному теплу которой так приятно было возвращаться после работы, надоедала ему (да и он ей), когда ему все время приходилось торчать у нее на глазах. Вся разница была в том, что Эмма и мысли не допускала, что кто-нибудь, не будучи исчадием ада, может тяготиться присутствием своего верного супруга.

– Почему бы тебе не съездить повидать Бака или Лоринду? – предлагала она.

– Неужели ты несколько не ревнуешь меня к Лоринде? – спрашивал он тем небрежнее, чем серьезнее хотел это знать.

Она смеялась.

– Тебя? В твоём возрасте? Как будто кто-нибудь может польститься на твою любовь!

А Лоринда вот польстилась, негодовал он и тут же ехал «повидать ее», менее обычного терзаясь своим двойственным положением.

Только раз он зашел в редакцию «Иформера».

Штаубмейер сюда и не показывался, и было совершенно очевидно, что действительным редактором здесь был этот хитрый, неотесанный Док Итчитт, который не считал нужным ни подняться при появлении Дормэса, ни выслушать его мнение по поводу новой верстки страниц, посвященных сельской корреспонденции.

Это отступничество было труднее снести, чем грубость Шэда Ледью, потому что Шэд и раньше был по-деревенски уверен, что Дормэс глуп, как все «настоящие городские», а Док Итчитт был раньше большим ценителем и поклонником редакторского мастерства Дормэса. Шел день за днем, а Дормэс ждал. Для очень многих переворот превращается в сплошное ожидание. Это одна из причин того, что туристы редко видят что-либо за внешним спокойствием и довольством в деспотической стране. Ожидание и его родная сестра – смерть кажутся такими спокойными и довольными.

В конце февраля Дормэс чуть ли не ежедневно встречал страхового агента, называвшего себя мистером Димиком; мистер Димик из Олбани. Это был серый, незаметный человек, в серой, пыльной, измятой одежде, с глазами навывкате, горевшими бессмысленным энтузиазмом. Куда ни пойдешь, он всюду был тут как тут: и в аптекарских магазинах, и в павильоне для чистки сапог – и повсюду гудел одним и тем же монотонным голосом: моя

фамилия Димик... мистер Димик из Олбани, Олбани, штат Нью-Йорк. Может быть, вас заинтересует новая замечательная форма страхования жизни. Замечательная!

Но, казалось, он и сам не верил в то, что она так уж замечательна.

Он всем ужасно надоел.

Он постоянно таскался из одного магазина в другой, но, по-видимому, продавал очень мало страховых полисов, если вообще что-нибудь продавал.

Через два дня Дормэс осознал, что мистер Димик из Олбани попадаетея ему на глаза что-то уж чересчур часто. Выйдя из отеля «Уэссекс», он увидел мистера Димика, прислонившегося к фонарному столбу и делавшего вид, что он смотрит в совершенно противоположную сторону, но три минуты спустя мистер Димик забрел вслед за ним в лавку Тома Эйкена и стал прислушиваться к егоговору с Томом о рыбной ловле.

Дормэсу стало не по себе. Он решил проследить за ним и, прокравшись вечером в город, увидел, как мистер Димик с необычайным для него оживлением беседует шофером автобуса Бьюла – Монпелье. Дормэс пристально посмотрел на них. Мистер Димик выкатил на него свои водянистые глаза и проквакал:

– Добрый вечер, мистер Дормэс, с удовольствием побеседую с вами о страховании, когда у вас выдастся время, – и, волоча ноги, ушел.

Вечером Дормэс достал револьвер, прочистил его, сказал «А, ерунда!» и снова положил в стол. Тут у парадной двери раздался звонок. Сойдя вниз, он увидел мистера Димика, сидящего в передней у дубовой вешалки со шляпой в руке.

– Я бы хотел поговорить с вами, если вы не очень заняты, – проскулил мистер Димик.

– Пожалуйста. Заходите. Садитесь.

– Нас кто-нибудь слышит?

– Нет. А что?

Серости и вялости мистера Димика как не бывало; голос его зазвучал резко:

– Кажется, местные корпо меня раскусили, поэтому нельзя терять ни секунды. Я приехал от Уолта Труубриджа. Вы догадались, вероятно... Я наблюдал за вами всю неделю, наводил о вас справки. Вы должны стать местным представителем Труубриджа и всей нашей организации. Речь идет о тайной войне против корпо. Мы называем это НП – Новое подполье, по аналогии с тайным подпольем, переправлявшим негров в Канаду перед гражданской войной. Четыре отдела: печатание агитационной литературы, ее распространение, собиание сведений о преступлениях корпо и организация побегов в Канаду или Мексику лиц, которым угрожает арест. Вы, конечно, ничего обо мне не знаете. Может быть, я корповский шпион. Вот мое удостоверение, а также позвоните в Берлингтон вашему другу, мистеру Сэмсону. Только ради бога, будьте осторожны! Разговоры, возможно, подслушиваются. Спросите его обо мне в том смысле, что вы интересуетесь страхованием. Он наш. Вы тоже будете с нами. Позвоните сейчас!

Дормэс позвонил Сэмсону:

Скажите, Эд, вы знаете некого Димика – долговязый такой, с глазами навывкате? Можно на него положиться в смысле страхования?

– Да. Работает от Уолбриджа. Можете на него положиться.

– Хорошо!

XXVI

Наборная «Информера» закрывалась в одиннадцать часов вечера, так как газету надо было доставлять в деревни, расположенные на расстоянии сорока миль, а более позднего городского выпуска не было. Старший наборщик Дэн Уилгэс задержался, после того как все разошлись, и набирал плакат ММ, объявлявший, что 9 марта состоится грандиозный парад, и мимоходом упоминавший о том, что президент Уиндрип бросает вызов всему миру.

Дэн прервал работу, быстро осмотрелся и зашагал в кладовую. При свете запыленной электрической лампочки кладовая с ее старыми красно-черными афишами, возвещавшими

об окружной ярмарке, с расклеенными по стенам корректурными оттисками неприличных раешников казалась складом мертвых новостей. Из кассы с петитом, служившим раньше для набора брошюр, а теперь замененным монотипом, Дэн набрал комплект литер, завернул их в бумагу и спрятал в карман куртки. Чтобы сделать незаметной образовавшуюся в кассе недостачу, он решился на такую штуку, которая возмутила бы всякого порядочного печатника, даже если бы дело было во время забастовки. Он заполнил недостачу не из другой петитной кассы, а старыми корпусными литерами.

Большой, волосатый Дэн, старательно вытаскивающий крошечные литеры, был уморительно похож на слона, изображающего курицу.

Он выключил свет на третьем этаже и, тяжело ступая, пошел вниз. Заглянул в редакционные комнаты. Там не было никого, кроме Дока Итчитта, сидевшего в небольшом освещенном кругу у письменного стола; его нездоровое лицо казалось зеленым под маленьким щитком, защищающим глаза от света. Он редактировал статью номинального редактора газеты Эмиля Штаубмейера и хихикал про себя, черкая ее большим карандашом. Услышав шаги Дэна, он вздрогнул.

– Хэлло, Док!

– Хэлло, Дэн. Задержался?

– Да, заканчивал одну работу. Спокойной ночи!

– Скажи, Дэн, ты за последнее время видел старого Джессэпа?

– Забыл уж, когда видел его последний раз. Ах да дня два назад встретился с ним в магазине Рексолла – Ну и как он, все еще недоволен режимом?

– Ничего об этом не говорил. Старый дурак! Если ему даже не по нраву наши храбрые ребята в мундирах, так ведь должен же он понимать, что Шеф пришел всерьез и надолго, черт возьми!

– Конечно, должен понимать! Да и режим отличный. Способному человеку теперь ничего не стоит продвинуться на газетной работе, не то, что раньше, когда кучка снобов не давала никому ходу, воображая себя бог весть какими образованными только оттого, что им довелось учиться в колледже.

– Верно. Ну что ж, к черту Джессэпа и всех старых дураков. Спокойной ночи, Док!

Дэн и Итчитт с серьезнейшим видом отдали друг другу гвардейский салют, подняв руку. Дэн спустился вниз, вышел на улицу и направился домой. Он остановился перед баром Билли и, поставив ногу на втулку колеса старого, грязного форда, стал завязывать шнурок от ботинка. Завязав его – для этого ему пришлось предварительно его развязать, – он оглянулся по сторонам, бросил свертки из карманов в старое ведро, стоявшее на переднем сиденье автомобиля, и спокойно продолжал свой путь.

Из бара вышел Пит Вутонг, фермер-канадец, живший на горе Террор. Пит был явно пьян. Он напевал какую-то доисторическую песенку. Шел, спотыкаясь, с трудом забрался в автомобиль и повел его причудливыми вензелями, пока не завернул за угол. Тут он внезапно и полностью протрезвел и с неожиданной быстротой погнал «форд» из города.

Пит Вутонг был не слишком хорошим тайным агентом – его хитрости были слишком очевидны. Ну что же, он стал агентом только неделю тому назад. За эту неделю, Дэн Уилгэс четыре раза бросал ему в ведро тяжелые пакеты.

Пит проехал мимо ворот усадьбы Бака Титуса, замедлил ход, сбросил ведро в канаву и быстро поехал домой.

На рассвете Бак Титус, выйдя на прогулку с тремя ирландскими волкодавами, споткнулся о ведро, вынул из его пакеты и положил в карман.

На следующий день вечером Дэн Уилгэс в подвале Бака набирал петитом брошюру под названием «Сколько людей убили палачи корпо?». Брошюра была подписана Спартанец; это был один из псевдонимов Дормэса Джессэпа.

Все они – руководители местного отделения Нового подполья – были очень довольны, когда однажды по дороге к Баку Дэн был задержан и обыскан неизвестными минитменами, которые не нашли на нем ни шрифтов, ни каких-либо компрометирующих документов –

ничего, кроме папиросной бумаги.

Корпо издали постановление, обязывающее всех лиц, торгующих типографским оборудованием и бумагой, составлять списки покупателей, сделав невозможным приобретение материалов, необходимых для выпуска антикорповской литературы иначе, как посредством контрабанды; Дэн Уилгэс помаленьку крал шрифт из типографии; Дэн вместе с Дормэсом, Джулианом и Баком выкрал из подвала «Информера» старую ручную печатную машину; а бумагу тайно привозил из Канады опытный контрабандист Джон Полликоп, радовавшийся возможности вернуться к любимому занятию, которого он лишился после отмены сухого закона.

Вряд ли Дэн Уилгэс примкнул бы ко всему этому делу, столь непохожему на привычную обстановку «Информера», только из-за отвлеченного недовольства Уиндрипом или окружным уполномоченным Ледью. Он присоединился к бунтовщикам отчасти из любви к Дормэсу, а отчасти возмущаясь Доком Итчиттом, который открыто радовался тому, что все союзы печатников были влиты в правительственные объединения. А может быть, оттого еще, что Док иногда насмехался и лично над ним – не чаще одного-двух раз в неделю, – когда у него на рубашке оставались следы жеваного табака. Дэн сказал Дормэсу ворчливым тоном:

– Ладно, хозяин, пожалуй, я присоединюсь к вам, только, когда произойдет эта ваша революция, чур сам повезу Дока на гильотину. Помните «Повесть о двух городах»? Хорошая книга, правда? Может, нам выпустить юмористическое жизнеописание Уиндрипа? Всего-то и нужно, что изложить факты!

Бак Титус, довольный, как мальчик, которого взяли на пикник, предложил свой уединенный дом и в особенности его огромный подвал для штаба Нового подполья; сидя в его комнате у камина и попивая пунш, Бак, Дэн и Дормэс обсуждали самые страшные заговорщические планы.

В ячейку Нового подполья, образованную Джессэпом в Форте Бьюла, в середине марта входил он сам, его дочери, Бак Титус, Дэн, Лоринда, Джулиэн Фок, доктор Олмстэд, Джон Полликоп, отец Пирфайкс (споривший с агностиком Дэном и атеистом Полликопом больше, чем он когда-либо спорил с Баком), миссис Видер – жена Генри Видера, находившегося в концлагере, Гарри Киндерман, еврей, у которого корпо отобрали все имущество, адвокат Мунго Киттерик – совсем не еврей и совсем не социалист, фермеры Пит Вутонг и Даниэль Бабкок и еще человек десять. Старик Фок, Эмма Джессэп и миссис Кэнди были более или менее бессознательными орудиями НП. Но все они, независимо от веры и профессии, горели той религиозной страстностью, которой, по мнению Дормэса, так не доставало всякого рода церквям; и если алтари и разноцветные окна никогда не были для него священными предметами, то теперь он вчуже постигал их святость, когда с благоговением смотрел на такой священный хлам, как старые типографские литеры и скрипучий ручной печатный станок.

Иногда это был все тот же мистер Димик из Олбани; иногда другой страховой агент, хохотавший над тем, что ему удалось застраховать новый «линкольн» Шэда Ледью; потом явился армянин, продававший коврики; затем мистер Сэмсон из Берлингтона, которому были нужны сосновые стружки для бумажной массы; но как бы то ни было, Дормэс не реже раза в неделю получал информацию от Нового подполья. Он был теперь занят так, как никогда не бывал занят в пору своей работы в газете, и счастлив, как молодой провинциал, приехавший повеселиться в Бостон.

Весело напевая, он работал на маленьком станке, грохая педалью и сам восхищаясь искусством, с каким научился вставлять листы. Лоринда выучилась у Дэна набирать и делала это с большим рвением, но без достаточной бдительности в отношении орфографии. Эмма, Сисси и Мэри складывали листовки и сшивали от руки брошюры. Все это происходило в старом каменном подвале, пахнущем опилками, известью и гниющими яблоками.

Кроме брошюр Спартанца и Энтони Б. Сюзен (это была Лоринда), их главным нелегальным изданием был еженедельник на четырех страницах под названием «Вермонт Виджиленс», выходивший благодаря рвению Дормэса около трех раз в неделю. Еженедельник помещал информацию, получаемую от других ячеек НП, переписывал статьи из труппиджевского «За демократию» и из канадских, британских, шведских и французских газет, корреспонденты которых передавали по дальнему проводу сведения, которые министру просвещения Макгоблину, заведующему департаментом печати, стоило потом немало труда опровергнуть. Одному английскому корреспонденту удалось, например, передать по телефону в Мехико-сити (откуда позвонили в Лондон) сообщение об убийстве президента Южно-Иллинойского университета, человека семидесяти двух лет, убитого выстрелом в спину «при попытке к бегству».

Дормэсу было теперь ясно, что ни он, ни другие рядовые граждане не знали и сотой доли того, что происходило в Америке. Уиндрик и Къ, – так же, как Гитлер и Муссолини, – поняли, что, осуществляя строжайший контроль над печатью, разгромив в самом начале все организации, которые могут стать опасными, и сосредоточив в руках правительства все пулеметы, орудия, бронированные автомобили и аэропланы, современное государство имеет возможность сохранять над населением гораздо более полную власть, чем во времена средневековья, когда бунтовавшие крестьяне были вооружены только вилами и благими намерениями, но когда и государство было вооружено немногим лучше.

Жуткие, невероятные сведения доходили до Дормэса и под впечатлением этих ужасов ему стало казаться, что его собственная жизнь и жизнь Сисси, и Лоринды, и Бака не имеют такого уж большого значения.

В Северной Дакоте двух фермеров, обвиненных в подстрекательстве, гнали перед автомобилем ММ по февральским сугробам, а когда они падали без сил, их били насосом, понуждая снова бежать, пока наконец не прикончили выстрелом в голову – и кровь убитых окрасила белый снег прерии.

Президент Уиндрик, который, по-видимому, начинал утрачивать крепкие нервы и самонадеянность прежних лет, заметив как-то, что двое минитменов его личной охраны о чем-то со смехом перешептываются в приемной перед его кабинетом, завопил, схватил со стола автоматический револьвер и стал в них палить. Но он был плохим стрелком. Заподозренных телохранителей прикончили их же товарищи.

На вокзальной площади в Канзас-сити орда молодых людей в штатском сорвала одежду с монахини и погналась за ней, шлепая ее ладонями по голому телу. Полиция вмешалась только спустя некоторое время. Никто не был арестован.

В штате Юта окружной уполномоченный, противник мормонов, привязал старика мормона к столбу на голой скале, и, так как это было очень высоко, старика стал беспокоить холод и ослепительный свет солнца, поскольку предусмотрительный уполномоченный предварительно срезал ему веки. В правительственных сообщениях подчеркивалось, что мучителю был сделан выговор районным уполномоченным и что он был отстранен от должности, но ни словом не упоминалось о том, что он получил затем новое назначение в другой округ в штате Флорида.

Руководители реорганизованного стального картеля, многие из которых в доуиндриповские времена служили в стальных компаниях, устроили в честь министра просвещения Макгоблина и военного министра Лутхорна водное празднество в Питсбурге. Столовая большого отеля была превращена в бассейн и заполнена водой, наценкой розовой эссенцией; пирующие плыли в раззолоченной римской барже. Их обслуживали официантки – девушки, забавно подплывавшие к барже с подносами и еще чаще – с шампанским.

Государственный секретарь Ли Сарасон был арестован в подвальном помещении Клуба красивых юношей в Вашингтоне по какому-то туманному обвинению; арестовавший его полисмен, узнав Сарасона, немедленно извинился и освободил его; полисмен был в ту же ночь убит в своей постели таинственным ночным вором.

Альберт Эйнштейн, изгнанный из Германии за свою преступную преданность

математике, идее мира и игре на скрипке, был теперь изгнан из Америки за те же преступления.

Миссис Леонард Ниммет, жена конгрегационалистского пастора в Линкольне, штат Небраска, отправленного в концентрационный лагерь за пацифистскую проповедь, была убита выстрелами через дверь, когда отказалась открыть пришедшим с обыском минитменам, искавшим запрещенную литературу.

В Род-Айленде в маленькую синагогу, помещавшуюся в подвале, кто-то тайком поставил стеклянные сосуды с окисью углерода. Дверь заперли снаружи, окна были заколочены, к тому же девятнадцать человек, собравшихся в синагоге, почувствовали газ только тогда, когда уже было слишком поздно. Всех их нашли на полу с торчащими кверху бородами. Среди них не было ни одного моложе шестидесяти лет.

Тома Крелла... Но то был и впрямь возмутительный случай, потому что на нем был найден экземпляр газеты «За демократию» и документы, удостоверяющие его принадлежность к Новому подполью, что было весьма удивительно, поскольку он был всем известен как работающий и ничем не замечательный носильщик на небольшой железнодорожной станции в Нью-Гемпшире. Тома Крелла бросили в колодец с гладкими цементными стенами, в котором вода стояла на высоте пяти футов, да там и оставили.

Бывший член Верховного суда Гоблин из Монтаны был арестован поздно ночью и прямо из постели доставлен на допрос, продолжавшийся шестьдесят часов он обвинялся в переписке с Трубриджем. Передавали, что главным следователем был человек, которого судья Гоблин много лет назад приговорил к тюремному заключению за вооруженный грабёж.

Дормэс в один день получил сообщения о закрытии четырех различных литературных демократических обществ – финского, китайского, штата Айова и общества, которое объединяло горняков штата Миннесота; руководители были избиты, клубные помещения разгромлены, старые рояли разбиты и все это – под тем предлогом, что у них хранилось без разрешения оружие, причем во всех случаях члены общества уверяли, что это старинные пистолеты для любительских спектаклей. На этой же неделе в Алабаме, Оклахоме и Нью-Джерси арестовали троих человек за то, что они имели при себе следующие возмутительные книги: «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи (и поделом: невестку окружного уполномоченного в Оклахоме тоже звали Экройд), «Ожидание Лефти» Клиффорда Одетса и «Февральский холм» Виктории Линкольн.

– Но подобные вещи случались и до Уиндрипа, – уверял Дормэса Джон Полликоп. – Просто вы не считали нужным сообщать о таких пустяках в своей газете. Достаточно вспомнить историю с фермерами-испольщиками, или с юношами из Скоттсборо, или же тайную войну калифорнийских оптовиков против земледельческих союзов, диктатуру на Кубе, расстрел бастующих горняков в Кентукки. Поверьте мне, Дормэс, та реакционная братия, которая повинна во всех этих преступлениях, сейчас сдружилась с Уиндрипом. А больше всего меня пугает то, что если Уолт Трубридж поднимет восстание и вышвырнет Бэза, то эти стервятники заделаются пылкими патриотами, демократами, горячими сторонниками парламентаризма и все равно не выпустят из рук награбленной добычи.

– Я гляжу, Карл Паскаль успел обратить вас в коммунизм до того, как его отправили в Трианон, – фыркнул Дормэс.

Джон Полликоп подскочил чуть ли не на четыре фута и завопил:

– Коммунизм! Вот уж им никогда не удастся создать Единый фронт! А Паскаль, он же просто агитатор, да ...да я...

Труднее всего для Дормэса было переводить статьи майской прессы, наиболее благосклонно относившейся корпо. Весь в поту, несмотря на то, что стоял март и было прохладно, Дормэс сидел, склонившись над кухонным столом, в подвале Бака, перелистывая немецко-английский словарь, пыхтел, покусывал карандаш, покусывал голову, всем своим видом напоминая школьника с приклеенной седой бородой, и, наконец, жалобно взывал к Лоринде:

– Ну, как ты переведешь такую заумь:

Er erhalt noch immer eine zweideutige Stellung den Juden gegenüber?²⁰ Лоринда отвечала:

– Милый, я знаю по-немецки только одну фразу, которой научил меня Бак: «Verfluchter Schweinehund»²¹ Он уверяет, что она означает «Благослови вас бог...».

Слово за словом он сделал подстрочник статьи из «Фелькишер беобахтер» – похвальное слово Шефу и Вдохновителю, а затем перевел все это на удобопонятный английский язык.

«Америка положила блестящее начало. Никто не поздравляет президента Уиндрипа с большей искренностью, чем мы, немцы. Можно надеяться, что его целью является основание народного государства. К сожалению, президент Уиндрип не решился еще порвать с либеральной традицией. В отношении евреев он пока занимает двойственную позицию. Мы можем только предположить, что логически эта позиция, должна измениться по мере того, как движение будет развиваться по своему естественному пути. Агасфер, или Вечный жид, всегда будет врагом свободного и осознавшего себя народа, и Америка должна будет осознать, что с евреями так же невозможно примириться, как с бубонной чумой».

Из «Нью-мэссиз», который с риском для жизни издавали коммунисты, Дормэс брал материал о горняках, о фабричных рабочих, чуть не умиравших с голоду и подвергавшихся аресту за малейшую критику... Но в основном в «Нью-мэссиз» занимались тем, что с религиозной тупостью, на которую никак не повлияли события происшедшие с 1935 года, сообщали последние новости Марксе и злобно клеветали на всех членов Нового подполья, включая избитых, арестованных и убитых, которых клеймили как «реакционных провокаторов фашизма». В качестве иллюстраций помещались карикатуры Гроппера, изображавшие Уолта Трубриджа в форме ММ, целующего ногу Уиндрипа.

Информационные бюллетени доходили до Дормэса самыми невероятными путями: их доставляли ему отпечатанными на тончайшей папиросной бумаге специальные курьеры; их пересылали по адресу миссис Видер или Даниэля Бабкока между страницами каталогов (это делал один из участников Нового подполья, служивший в экспедиционной фирме «Миддлбэри и Роу»); их вкладывали в картонки с зубной пастой или папиросами, направляемые в магазин Эрла Тайсона (один из его служащих был агентом Нового подполья); их сбрасывал около дома Бака шофер грузовика, перевозившего мебель, детина, с физиономией хулигана, бывший поэтому вне всяких подозрений. Эти новости, приходившие такими трудными и опасными путями, были гораздо более животрепещущими, чем те, что он получал в былые времена у себя в редакции, когда одна пачка бюллетеней «Ассошиэйтед пресс» заключала в себе известия о стольких миллионах умирающих с голоду китайцев, о стольких государственных деятелях, убитых в Центральной Европе, о стольких церквах, воздвигнутых великодушным Эндрю Меллоном, что все это казалось обычным и неинтересным. А теперь он был похож на миссионера восемнадцатого века, ожидающего в Северной Канаде новостей, которые идут к нему из Бристоля несколько месяцев, и гадающего, не объявила ли Франция войну и благополучно ли разродилась ее величество.

Дормэс прекрасно понимал, что ему приходится одновременно узнавать о битве при Ватерлоо, о диаспоре, об изобретении телеграфа, об открытии бацилл и о крестовых походах, и если ему требуется десять дней на то, чтобы получить эти новости, то будущим историкам понадобятся десятилетия, чтобы оценить их по достоинству. Может быть, они позавидуют ему, человеку, живущему в эпоху знаменательнейшего исторического перехода? А может быть, они от души посмеются над взрослыми детьми 1930-х годов, воинственно размахивавшими флажками и игравшими в национальных героев? Ибо он считал, что эти

²⁰ В отношении евреев он пока занимает двойственную позицию.

²¹ Проклятый пес.

историки не будут ни фашистами, и воинственными американцами, ни английскими националистами, а просто улыбочивыми либералами, которых сражающиеся между собой фанатики сегодня называют расхлябанными и мягкотелыми.

Во всей этой подпольной работе самой трудной задачей для Дормэса было избежать подозрений, которые могли привести его в концентрационный лагерь; сохранить видимость безвредного старого бездельника, каким он действительно был три недели назад. Утомленный ночной работой в подвале Бака, он тем не менее часами просиживал в вестибюле отеля «Уэссекс», обсуждая вопросы рыбной ловли, изо всех сил изображая человека надломленного и не представляющего ни малейшей опасности.

Время от времени, в такие вечера, когда в подвале у Бака не было работы и он мог побездельничать у себя в кабинете, стыдясь своего спокойствия и уюта, он снова погружался в мечты о башне из слоновой кости. Он часто перечитывал «Арабские ночи» Теннисона, не потому, что это такое замечательное произведение, а потому, что когда-то оно первое поразило его и пробудило в нем – еще совсем мальчишке – чувство красоты.

Царство сладостной неги, тени холмов,
Испещренные светом блещут поляны,
Отдаленный и мягкий шум городов,
Многолистные тени мирта лесов,
Кедр могучий, и тамариски,
И душистые розы кругом.
За оградой кустов обелиски
Славят память великих времен,
Этот теплый и радостный сон –
Царство доброго Аль Рашида.

Он наслаждался обществом Ромео и Юргена. Айвенго и лорда Питера Уимзи; он видел площадь святого Марка и сказочные башни Багдада; с Дон Хуаном Австрийским он отправлялся на войну и без всякой визы путешествовал по золотой дороге в Самарканд «А ведь Дэн Уилгэс, тайно печатающий революционные воззвания, и Бак Титус, развозящий их ночью на мотоцикле, не менее романтичны, чем Ксанду... Черт побери, мы сами творим эпос, но только еще не появился Гомер, способный его написать!»

Торговец рыбой Уит Бибби был бессловесным стариком, и такой же старой казалась его лошадь, хотя она ни в какой мере не была молчаливой, а, наоборот, издавала самые разнообразные непристойные звуки. Двадцать лет его всем примелькавшийся возок, с виду похожий на миниатюрную походную кухню, развозил скумбрию и треску, форель и устриц по усадьбам долины Бьюла. Заподозрить Уита Бибби в подрывной деятельности было бы так же смешно, как заподозрить в этом его лошадь. Люди постарше помнили, что он когда-то гордился своим отцом, капитаном, участником Гражданской войны, который впоследствии стал пьяницей и фермером-неудачником, молодежь вообще забыла, что когда-то была Гражданская война.

Конец марта. Лучи солнца освещают осевший и почерневший снег. Уит медленно подъезжает по грязному снегу к дому Трумена Уэбба. По дороге сюда он уже оставил в десяти местах заказанную рыбу, всего только рыбу, но здесь, у Уэбба, он оставляет, сверх того, ни словом об этом не обмолвившись, пачку брошюр, завернутых в запачканную рыбой газетную бумагу.

К следующему утру все эти брошюры уже лежат в почтовых ящиках фермеров, живущих за Кизметом, в двенадцати милях от этих мест.

На следующий день поздно вечером Джулиэн Фок привез к тому же Трумену Уэббу старого доктора Олмстэда. У мистера Уэбба больна тетка. Еще недели две назад она не нуждалась в столь частых визитах врача, но – как все жители округа могли убедиться, что

они и не преминули сделать, подслушав переговоры сторон по сельской телефонной линии, – доктору придется теперь навещать каждые три-четыре дня.

– Ну что, Трумен, как поживает старушка? – весело спросил доктор Олмстэд.

Стоя на крыльце, Уэбб тихо ответил:

– Все в порядке! Валяйте. Никто не появлялся. Джулиэн быстро выскочил из машины, открыл багажник, и оттуда вылез высокий человек в визитке и потертых брюках, с фетровой шляпой под мышкой, который, охая от боли, с трудом расправлял затекшие члены.

Доктор сказал:

– Трумен, мы привезли очень важную дичь, за которой по пятам гонятся сыщики! Познакомьтесь: конгрессмен Ингрэм... товарищ Уэбб.

– Хм! Вот уж не думал дожить до того, что меня будут величать «товарищ». Очень рад вас видеть, сэр. Послезавтра мы переправим вас в Канаду. У нас есть про запас несколько верных лесных тропинок через границу... А теперь вас ждут великолепные горячие бобы.

Чердак, где мистер Ингрэм провел ночь и куда поднимались по лестнице, обычно скрытой за грудой ящиков, был «подпольной станцией», послужившей в 1850-х годах, во времена деда Трумена, убежищем для семидесяти двух черных рабов, бежавших в Канаду, и на стене над усталой головой беглеца еще можно было прочесть надпись, сделанную углем много десятилетий назад:

«Ты накрываешь для меня стол в присутствии врагов моих».

Действие происходит в седьмом часу вечера около каменоломни «Тэзброу и Скарлетт». Джон Полликоп в своем аварийном автомобиле тащит на буксире машину Бака Титуса.

Завидев патруль, они останавливаются, и Джон принимается демонстративно копаться в моторе у Бака. Столь невинное занятие не вызывает ни малейших подозрений у минутменов. Но вот они останавливаются у самой глубокой ямы в каменоломне. Бак бродит, зевая, около машины, а Джон возится с мотором. «Давай!» – командует Бак, и оба подбегают к громоздкому ящику с инструментами, стоящему на заднем сиденье машины Джона, хватают из него охапку экземпляров «Вермонт Виджиленс» и бросают их в каменоломню. Ветер подхватывает листовки.

Наутро десятники Тэзброу успели порвать много листовок, но около сотни все же попало в карманы рабочих каменоломни и оттуда пошло по рукам рабочего люда в Форте Бьюла.

Сисси вошла в столовую, устало потирая лоб.

– Я раздобыла интересную вещь, папа. С помощью миссис Кэнди. Будет что послать другим агентам НП. Послушай, папа! Мы теперь с Шэдом такие друзья – водой не разольешь. Ну, ну, не лезь на стену! Если понадобится, я сумею вытащить у него из кобуры револьвер. Шэд тут как-то расхвастался, что Фрэнк Тэзброу, он и уполномоченный Рийк проворачивают одну аферу сбывают гранит для общественных построек. И он сказал – понимаешь, он хотел показать, на какой короткой ноге он с Фрэнком, – так вот он сказал, что все данные об этой махинации Тэзброу заносит в красную записную книжку, которую держит у себя в письменном столе. Старик Фрэнк, конечно, считает, что ему бояться нечего, – у такого верного корпо никогда не будет обыска! Так вот, двоюродная сестра миссис Кэнди нанялась на время к Тэзброу, и, черт меня побери, если...

(– Сисс-си!) – ...если две старушки не выкрали для меня сегодня эту красную книжечку. Я тут же сфотографировала все страницы, и они положили ее назад! И знаешь, что обо всем этом сказала наша Кэнди? «Печка, – говорит, – у Тэзброу совершенно не тянет. Разве в такой печке испечешь порядочный пирог!»

XXVII

Мэри Гринхилл, мстившая за убийство Фаулера, была единственным человеком среди

заговорщиков, которым руководило чувство смертельной ненависти, а не увлеченность интересной, хотя и немного нелепой игрой. Ненависть и стремление отомстить убийцам оказались для Мэри укрепляющим лекарством. Она поднялась из мрачной бездны скорби, ее глаза снова загорелись живым блеском, в голосе зазвучало трепетное веселье. Она сняла вдовый траур и стала появляться в ярких платьях – правда, приходилось теперь экономить и каждую свободную копейку отдавать в фонд Нового подполья, но Мэри стала такой тоненькой, что могла носить самые сногшибательные платья Сисси.

Смелости у нее было больше, чем у Джулиэна и даже чем у Бака, – она увлекала Бака на самые рискованные авантюры.

Так, однажды днем Бак и Мэри – с виду дружная супружеская чета – бродили в сопровождении Дэвида и Фулиша по центру Берлингтона, где их никто не знал, хотя многие разбитые городские псы и уверяли растерявшегося провинциала Фулиша, что они с ним где-то встречались.

Время от времени, когда на них никто не смотрел, Бак бормотал: «Давай!» – а Мэри, стоя в двух шагах от минитменов или полисменов, с беспечным видом выкладывала скомканные листовки. Это было «Краткое жизнеописание Джона Селливэна Рийка, второсортного политического проходимца, а также занимательные картинки из жизни палача полковника Дьюи Хэйка. Пособие для воскресных школ».

Она вынимала скомканные листки из специально устроенного внутреннего кармана своей норковой шубы, который шел от плеча до талии. Он был сделан по совету Джона Полликопа, изобретательная супруга которого пользовалась в свое время таким карманом для тайной перевозки спиртного. Брошюры были скомканы очень обдуманно. С расстояния в два ярда они казались выброшенной ненужной бумажкой, но каждая лежала так, что в глаза бросались напечатанные красным шрифтом слова: «Хэйк топтал старика, пока тот не умер». Эти измятые листовки, брошенные в мусорные урны, воткнутые в невинные игрушечные вагончики перед лавками скобяных изделий, засунутые между апельсинами во фруктовом магазине, куда они зашли купить плитку шоколада для Дэвида, – привлекли в этот день внимание нескольких сот берлингтонцев.

По дороге домой Мэри, сидевшая на заднем сиденье, воскликнула:

– Это их расшевелит! И пусть только папа закончит книжку о Суоне... О господи!

Дэвид оглянулся на нее. Она сидела, закрыв глаза стиснув руки.

Мальчик прошептал Баку:

– Если б только мама так не волновалась!

– Твоя мама – замечательная женщина, Дэви!

– Я знаю, но... Я ее боюсь!

Один план Мэри и придумала и осуществила сама. Она украла с журнального прилавка магазина Тайсона десяток экземпляров «Ридерс дайджест» и десяток номеров журнала большого формата. Позже она незаметно положила их на место. Они казались нетронутыми но в каждом номере большого журнала лежала листовка «Готовьтесь примкнуть к Уолту Трубриджу», а под обложкой «Ридерс дайджест» скрывалась брошюра «Живые измышления корповской прессы».

Чтобы всегда быть в центре заговора, отвечать на телефонные звонки, принимать беглецов и отваживать любопытных, Лоринда отказалась от остатка своей доли в «Таверне долины Бьюла» и поселилась у Бака в качестве экономки. Пошли сплетни. Но в такое время, когда все труднее становилось с хлебом и мясом, людям некогда было обсасывать эти сплетни, как леденцы, и, кроме того, кто мог всерьез заподозрить эту вьедливую культуртрегершу, для которой опыты по применению туберкулина были гораздо важнее, чем любовная игра с пастушком на лесной лужайке? И так как Дормэс очень часто бывал у Бака и иногда оставался ночевать, то теперь эти робкие любовники впервые имели возможность отдаться своей страсти.

Не столько лояльность в отношении доброй Эммы (которая была слишком довольна

жизнью, чтобы ее можно было жалеть, и слишком уверена в незыблемости своего положения, чтобы ревновать), сколько о возвращении к необходимости прятаться по углам сделал их любовь такой осторожной и скупой. Оба они не были столь наивны, чтобы думать, что даже у самых порядочных людей любовь исчерпывается одной комбинацией, вроде обязательного хлеба с маслом, но оба не любили что-либо делать украдкой.

Комната Лоринды в доме Бака – большая, квадратная, светлая, со старинными обоями, на которых множество маленьких мандаринов изысканно выходили из паланкинов у окаймленного ивами пруда, с кроватью под балдахин и с пестрым тряпичным ковром, – комната та за два дня (так быстро идет жизнь во время революции) стала единственным местом, где Дормэс чувствовал себя дома. С живостью молодого новобрачного влетал он в эту комнату, не заботясь о состоянии туалета Лоринды. А Бак все видел, все знал и только посмеивался.

В этом своем новом, свободном состоянии Дормэс гораздо сильнее чувствовал физическое очарование Лоринды. Отдыхая летом на побережье Кейп Код, он с придирчивостью малоискушенного провинциала отмечал, что расфуфыренные модницы, раздевшись до купального костюма, часто оказываются худыми и, по его мнению, неженственными со своими торчащими лопатками и резко проступающими позвонками, которые напоминали ему цепь, протянутую вдоль спинного хребта. Глядя на их тонкие, беспокойные ноги и жадные губы, он думал, что они, наверно, очень страстные и немного развращенные, и теперь он с удовлетворением посмеивался, когда думал, что у Лоринды под ее строгими серыми костюмами, которые казались целомудренными в сравнении с пестрыми летними шелками «юных очаровательниц», нежная, мягкая кожа, а линия от плеч к груди восхитительна.

Его наполняла счастьем мысль, что она всегда близко, тут же, в доме, и что можно в любой момент отложить какую-нибудь важную брошюру о выпуске займа и стремглав броситься в кухню, чтобы там без всякого стеснения обвить руками ее талию.

Ему нравилось, что при всей своей независимости яркой феминистки Лоринда теперь на каждом шагу требовала от него знаков внимания. Почему он не привез ей из города конфет? Не откажется ли он позвонить вместо нее Джулиэну? Почему он забыл привезти ей книгу, которую обещал, или обещал бы, не забудь она его об этом попросить? Он с наслаждением бегал по всем ее поручениям и был идиотски счастлив. Эмма давным-давно исчерпала свою изобретательность по части всяких то требований. Теперь ему открылось, что любящему приятнее давать, чем брать, – истина, в которой он раньше, находясь в положении предпринимателя и человека со средствами, у которого забытые школьные товарищи то и дело пытаются одолжить денег, был склонен сомневаться.

Он лежал рядом с Лориндой на ее широкой кровати; занималась мартовская заря; за окном судорожно плясали на ветру кривые ветви вяза, но в камине еще тлели последние угли, и он был безмерно счастлив. Он смотрел на спящую Лоринду, на хмурую гримаску на ее лице, которая не только не старила ее, а делала похожей на обидевшуюся по пустякам школьницу. Лоринда с вызывающим видом обнимала подушку в старомодной, обшитой кружевом наволочке. Он засмеялся. Чего только они не сделают вдвоем! Листовки были только началом их революционной деятельности. Они проникнут в журналистские круги в Вашингтоне и будут добывать секретные сведения (он довольно смутно представлял себе, какие сведения и как они будут получать), которые помогут им взорвать корповское государство. А когда революция завершится, они поедут на Бермудские острова или на Мартинику... любовники на лиловых скалах, у лилового моря... на фоне лилового величия. Или (и он вздохнул и настроился на героический лад, с удовольствием потягиваясь и позевывая в широкой теплой постели), если их ждет поражение, если они будут арестованы минитменами и приговорены к смерти, они умрут вместе, насмехаясь над расстреливающими их палачами, отказавшись от повязки и смело глядя смерти в глаза, и слава их, подобно славе Сервета, и Маттеотти, и профессора Феррера, и Хеймаркетских мучеников, будет греметь вечно, и дети, размахивая флажками, будут повторять их имена.

– Дай сигарету, милый!

Блестящие бусинки-глаза Лоринды смотрели на него скептически.

– Не кури так много!

– А ты не командуй так много! Милый мой! – села, поцеловала его в глаза, в виски и упрямо слезла с кровати искать свои сигареты.

– Дормэс! Я очень счастлива сейчас, когда мы вместе. Но... – Она сидела, заложив ногу за ногу, на табуретке с сиденьем из индийского тростника перед старым туалетным столиком красного дерева – на нем не было ни серебра, ни кружев, ни хрусталя, а только простая деревянная щетка для волос и несколько пузырьков с незатейливой парфюмерией – и смотрела на него неуверенным взглядом.

– Видишь ли, милый, наше дело – да ну их, эти пышные слова, неужели мне от них не отделаться, – я хочу сказать, что эта наша с тобой работа в Новом подполье представляется мне чрезвычайно важной – не сомневаюсь, что и тебе тоже. Но я заметила, что с тех пор, как мы – две чувствительные души – обрели уютную пристань, ты не с таким жаром пишешь свои чудесные ядовитые листовки, а я с куда меньшей отвагой их распространяю. У меня бывают глупые мысли, что мне надо беречь свою жизнь для тебя. А ведь я должна думать лишь о том, что моя жизнь принадлежит революции. А у тебя нет такого чувства? Есть, милый? Правда, есть?

Дормэс спустил ноги с кровати, тоже закурил антигигиеническую папиросу и брюзгливо сказал:

– Пожалуй! Но при чем здесь листовки? Это у тебя просто пережиток религиозного воспитания. Чувство долга по отношению к несчастному человечеству, которое, может быть, предовольно тем, что Уиндрип им помыкает и дает ему «хлеба и зрелищ» – правда, за вычетом хлеба.

– Конечно, это религиозное чувство – преданность революции! А почему бы и нет? Это – одно из немногих подлинно красивых религиозных чувств. Рационалистичный и совсем не сентиментальный Сталин все же в каком-то смысле жрец. Не удивительно, что большинство проповедников ненавидит красных и выступает против них! Они завидуют их религиозной власти. Но... нам не решить судьбы мира за одно утро, Дормэс. Вчера мистер Димик велел мне ехать в Бичер Фоллс – знаешь, « канадской границе – и взять на себя руководство естной ячейкой НП. Для вида открыть там летнее кафе. Так что придется мне покинуть тебя, и Бака, и Сисси и уехать ко всем чертям. Ко всем чертям!

– Линда!

Не глядя на него, она усиленно мяла в пальцах сигарету.

– Линда!

– А?

– Ты сама предложила это Димику! Он и не думал ничего тебе приказывать, это все твоя идея!

– Ну и что же?

– Линда! Линда! Неужели ты так хочешь уйти от меня? Ты... моя жизнь!

Она медленно подошла к кровати, медленно села подле него.

– Да, уйти от тебя и от себя самой. Весь мир в цепях, и я не могу быть свободна для любви до тех пор, пока не помогу разбить эти цепи.

– Мир всегда будет в цепях!

– Значит, я никогда не буду свободна для любви! О, если бы нам с тобой был дан один чудесный год любви, когда мне было восемнадцать лет! Это была бы еще одна жизнь. Ну что ж, никому еще не удавалось переводить часы назад... да еще чуть ли не на двадцать пять лет назад. Боюсь, что сегодня это факт, от которого никуда не уйдешь. А я стала такой... за эти последние две недели, с приближением апреля... я не могу думать ни о чем, кроме тебя. Поцелуй меня. Я уезжаю сегодня.

Как всегда бывает на секретной работе, отдельные сведения, которые Сисси удавалось выведать у Шэда Ледью, не имели для НП решающего значения, но, подобно составным частям загадочной картинки, эти сведения в соединении с другими, собранными Дормэсом, Баком, Мэри и отцом Пирфайксом, этим опытным добытчиком признаний, с достаточной ясностью рисовали несложную, в сущности, картину деятельности корповских аферистов, так трогательно принимаемых некоторыми за патриотических пастырей.

Сисси сидела с Джулиэном на крылечке в один из обманчиво теплых апрельских дней.

– Эх, хорошо бы месячишка через два поехать с тобой пошататься, Сис! Только ты да я. Байдарка и палатка. Скажи, Сис, тебе обязательно нужно ужинать сегодня с Ледью и Штаубмейером? Я просто не могу об этом спокойно думать! Смотри, я убью Шэда. Совершенно серьезно!

– Да, обязательно, милый. По-моему, Шэд уже совсем обалдел от любви – и сегодня вечером, когда он выставит милейшего Эмиля с его омерзительной дамой – кто бы она ни была, – я хочу выведать у него, кто у них на очереди для ареста. Я не боюсь Шэда, мое сокровище из сокровищ!

Он не улыбнулся на это, а сказал с серьезностью, еще совсем недавно неведомой легкомысленному юноше-студенту:

– А ты принимаешь в расчет, когда вот так внушаешь себе, что сможешь обвести Шэда вокруг пальца, что он силен, как горилла, и примерно так же обходителен? В один прекрасный вечер... Боже мой! Подумать только! Может быть, сегодня вечером... он перестанет стесняться, схватит тебя... и...

Она отвечала ему с той же серьезностью:

– Ну и что? Чем, по-твоему, я рискую? В самом худшем случае он меня изнасилует...

– Боже мой!..

– Неужели ты и в самом деле думаешь, что в эпоху Новой Цивилизации, скажем, с 1914 года, кто-нибудь считает это более серьезной неприятностью, чем, скажем, перелом ноги? «Удел тот хуже смерти!» Какой мерзкий старый ханжа с баками придумал эту фразу? И как он, верно, смаковал ее своими старческими шершавыми губами. Бывает удел много хуже... Например, годами работать лифтершей. Нет... погоди! Я вовсе не легкомысленна! У меня нет ни малейшего желания быть изнасилованной, разве что немного любопытно. И уж, во всяком случае, не Шэдом: от него так отвратительно пахнет, когда он возбужден. (О господи, милый, если бы ты знал, что это за грязная свинья! Я ненавижу его в пятьдесят раз больше, чем ты! Брр!) Но я согласна даже на то, чтобы это случилось, лишь бы мне удалось спасти таким образом хоть одного порядочного человека от кровавой дубинки корпо. Я уже больше не резвая девочка с Плэзент-хилл, я познавшая страх женщина с горы Террор.

Все происходящее представлялось Сисси чем-то нереальным, какой-то пародией на старую мелодраму, в которой городской злодей хочет обесчестить «Нашу Нелл» поспорив на бутылку шампанского.

Шэд даже в модном пиджаке, в калейдоскопически пестром шотландском свитере (из Миннесоты) и белых полотняных спортивных брюках не обладал небрежной соблазнительностью городского щеголя.

Эмиль Штаубмейер явился к Шэду в его новые апартаменты в отеле «Звезда» в сопровождении соломенной вдовушки, охотно показывавшей свои золотые зубы и пытавшейся скрыть морщины на шее под толстым слоем пудры кирпичного цвета. Особа эта была преотвратительна. Ее труднее было переносить, чем грохотавшего Шэда, который мог бы даже тронуть сердце напутствующего капеллана, но не раньше чем его благополучно вздернули бы.

Синтетическая вдова все время прижималась к Эмилю, а когда тот с утомленным видом снизошел до того, что хлопнул ее по спине, она захихикала:

– Но-но, попрош-шу!

В апартаментах Шэда было чисто и достаточно просторно. Больше о них нечего было сказать. Обстановку «гостиной» составляли дубовые стулья, обитая кожей козетка и четыре портрета ничем особенным не занятых маркиз. Свежесть белья на кровати в соседней комнате пробудила в Сисси самые худшие опасения.

Шэд угощал их виски со льдом и имбирным пивом из литровой бутылки, открытой по меньшей мере накануне, сэндвичами с курицей и ветчиной, пахнущей селитрой, и мороженым шести цветов – все шесть разновидностей пахли клубникой. После этого он стал дожидаться, – не слишком сдерживая свое нетерпение и изо всех сил стараясь походить на генерала Геринга, – чтобы Эмиль со своей дамой отправились к чертям собачьим и чтобы Сисси поддалась его мужскому очарованию. Он только фыркал на школьные анекдоты Эмиля; наконец этот ель знания резко поднялся и увел свою даму, проржав на прощание:

– Смотрите, капитан, не делайте тут со своей подружкой ничего такого, чего не позволяет папа!

– Ну-ка, крошка... поди поцелуй меня – заорал Шэд, повалившись на кожаную козетку.

– А это еще неизвестно, захочется мне или нет!

Ей было очень противно, но она изо всех сил старалась быть задорной и кокетливой. Маленькими шажками она подошла к козетке и села на таком расстоянии от тяжеловесного Шэда, чтобы он мог достать рукой и притянуть ее к себе. Она с циничным спокойствием наблюдала за ним, вспоминая свой опыт с молодыми людьми, за исключением Джулиэна: с Джулиэном у них все было иначе. Все они в таких случаях проделывали одно и то же, притворяясь при этом, что за манипуляциями их рук не скрывается никакой задней мысли; девушке с умом и характером оставалось только забавляться, наблюдая, как они восхищены своей техникой. Вся разница была в том, что одни начинали сверху, а другие снизу.

Ну да. Так она и думала. Шэд, не отличавшийся изысканной прихотливостью какого-нибудь Мэлкома Тэзброу, например, начал с того, что с нарочитой небрежностью положил ей руку на колено.

Она вздрогнула. Его мускулистая лапа была ей противна, как скользкий, извивающийся угорь. Она отодвинулась с деланным девическим испугом.

– Я тебе нравлюсь? – спросил он.

– О... да... как будто.

– Проклятье! Я для тебя все еще ваш работник! Хотя я теперь окружной уполномоченный! И батальонный командир! И, может быть, скоро буду старшим командиром! – Он с благоговением произносил эти священные титулы. Вот уже двадцать раз он говорил ей одно и то же и все теми же словами! – А ты все еще думаешь, что я гожусь только для того, чтобы таскать дрова для камина.

– Ну что ты, Шэд! Что ты! Я всегда думаю о тебе как о самом старом товарище моего детства! Помнишь как я к тебе приставала, чтобы ты мне дал повозить газонокосилку! Я всегда про это вспоминаю!

– Серьезно? – Он потянулся к ней, как неуклюжий дворовый пес.

– Ну, конечно! И, откровенно говоря, мне даже неприятно, что ты как будто стыдишься того, что работал у нас! Разве ты не знаешь, что папа, когда был мальчиком, работал у соседей-фермеров как простой рабочий: и дрова колот, и газон подстригал, и все такое – и очень радовался, когда получал за это деньги. – Она подумала, что на редкость удачно соврала экспромтом. Случайно это было правдой, но она этого не знала.

– Правда? Seriously? Вот здорово! Значит, старик тоже поработал на своем веку граблями! Вот уж не думал! А знаешь, он не такой уж плохой мужик, этот старый хрыч... только упрямый.

– Но ты ведь неплохо к нему относишься, правда, Шэд? Никто не знает, какой он славный. Я хочу сказать, что в наше сложное время его надо защищать от тех, кто его не понимает, от посторонних, правда, Шэд? Ты ведь будешь его защищать?

– Ладно, что смогу, то сделаю, – сказал батальонный командир с таким гнусным самодовольством, что Сисси чуть не залепила ему пощечину. – Но только если он будет

хорошо себя вести, крошка, и не будет якшаться ни с кем из этих красных бунтовщиков... и если ты будешь мила со мной! – Он потянул ее к себе, словно мешок с зерном.

– О! Шэд! Ты меня напугал! Нужно быть нежным! Такой большой, сильный человек, как ты, может себе позволить быть нежным! Только маменькиным сынкам приходится быть грубыми! А ты такой сильный!

– Да, силенка пока есть! Кстати, раз уж мы заговорили о маменькиных сынках, что ты находишь в этой тряпке Джулиэне? Неужели он тебе нравится?

– Да, знаешь, – сказала Сисси, пробуя незаметно снять свою голову с его плеча. – Мы с ним в детстве играли вместе.

– Ты только что говорила то же самое обо мне.

– Что ж, это верно.

Стараясь разыгрывать роль соблазнительницы, избегая при этом какого-либо риска, новоявленная разведчица Сисси преследовала довольно смутную цель. Она хотела получить от Шэда важную информацию для НП Она сидела, нежно склонив головку к мясистому плечу Шэда, а между тем воображение лихорадочно рисовало ей дальнейшие события: вот она пристает к Шэду чтобы он назвал ей, кого минитмены собираются арестовать, вот она ловко от него отделяется и бросается искать Джулиэна – ах, черт возьми, почему они не договорились встретиться вечером! Ну, ладно, он или дома, или повез куда-нибудь доктора Олмстэда; вот Джулиэн мелодраматически бросается к дому обреченной жертвы и везет ее ночью к канадской границе... пожалуй, неплохо еще, чтобы беглец приколол к своей двери помеченную позавчерашним числом записку с указанием, что он уезжает по делам, тогда Шэд ее не заподозрит. Все эти картины, ярко разукрашенные фантазией, пронеслись у нее в голове в течение одной минуты. Сделав вид, что ей надо высморкаться, она выпрямилась, а затем, отодвинувшись еще дюйма на два, промурлыкала:

– Дело, конечно, не только в физической силе. У тебя такая большая политическая власть, Шэд. Ты, наверно, можешь отправить в концлагерь кого захочешь?

– Это верно, мне ничего не стоит сплавить парочку-другую, если они станут чудить.

– Еще бы! И, наверно, так и сделаешь! Кого ты думаешь арестовать в ближайшее время, Шэд?

– Чего?

– Ну чего там! Расскажи мне один маленький секретик!

Что ты задумала, крошка? Выспросить меня хочешь?

– Ну что ты, зачем, я просто...

Ну ясно! Ты хочешь обойти старого олуха, выведать у него все, что он знает... А знает он немало, можешь быть уверена! Брось, крошка, ничего не выйдет!

– Шэд, я просто... мне просто хотелось бы посмотреть, как отряд минитменов кого-нибудь арестовывает. Это, должно быть, страшно интересно!

– Еще как интересно! Когда какой-нибудь болван пытается сопротивляться, а ты выбрасываешь в окошко его радиоприемник! Или жена у него развоюется и пойдет молотить языком, и ты, чтобы немножко ее проучить у нее на глазах задаешь мужу хорошую трепку... это может, звучит немного грубо, но, в общем, идет им на пользу – по крайней мере они больше не безобразничают.

– Ах, только не сочти меня злой и неженственной! Ах, как мне хочется посмотреть, как вы кого-нибудь забираете – хоть разочек! Ну, скажи мне по-товарищески! Кто у вас на очереди?

– Шалунья ты, шалунья! Нельзя обманывать папу! Ты женщина, тебе пристало заниматься любовью! Поди ко мне, позабавимся, крошка! Ведь ты же без ума от меня!

На этот раз он действительно схватил ее, сжал ей грудь. Она сопротивлялась, всерьез испугавшись. Куда девался ее цинизм, ее уверенность многоопытной женщины? Она кричала: «Не надо... не надо!» Она плакала настоящими слезами, больше от злости, чем от стыда. Он слегка ослабил тиски рук, и она догадалась разрыдаться:

– О Шэд, если ты действительно хочешь, чтоб я любила тебя, ты должен дать мне

время! Ведь тебе не нужна потаскуха, которая позволит тебе все, что угодно... Тебе, при твоём положении... Ах нет, Шэд, быть этого не может.

– Что ж, пожалуй, что и так, – сказал он с глупым самодовольством.

Она вскочила с мокрыми глазами и через открытую дверь увидела в спальне на столе связку из двух или трех ключей. Ключи от его конторы, от тайных шкафов и ящичков, где лежат планы корпо! Никаких сомнений! Её живое воображение в одно мгновение нарисовало ей, как она сделает оттиск ключей, как Джон Полликоп, этот мастер на все руки, изготовит для неё ключи, как они с Джулианом проберутся ночью в штаб корпо с риском для жизни, миновав часовых, и перероют у Шэда все его жуткие папки с делами...

Сисси смущенно пробормотала:

Можно, я пойду умоюсь? Вся в слезах... как глупо! У тебя в ванной комнате случайно нет пудры?

Что ты, за кого ты меня принимаешь? Что я, деревенщина или монах, что ли? Уж будь покойна, у меня припасено. Есть и пудра – в ящичке с лекарствами, – два сорта. Все к услугам дам!

Ей было противно, но она заставила себя хихикнуть, вошла в спальню, закрыла дверь и заперла ее на ключ.

Она сразу бросилась к ключам. Схватила блокнот грубой желтой бумаги и карандаш и попыталась сделать штриховой отпечаток ключа, как они это делали в детстве с монетами для игры в «С. Джессэп и Дж. Фок, Бакалея».

Отпечаток передавал только общие очертания ключа: мелкая нарезка, в которой было все дело, получалась неясно. В смятении она попробовала копировальную бумагу, потом туалетную в сухом и мокром виде. Ничего не выходило. Она прижала ключи к свече, стоявшей в китайском подсвечнике у кровати Шэда. Свеча была слишком твердая. Так же и мыло. А Шэд уже теребил ручку двери, бормотал «черт возьми» и наконец взревел:

– Что ты там делаешь? Спать легла, что ли?

– Сейчас выйду!

Она положила ключи на место, выбросила желтую и копировальную бумагу в окно, поставила на место свечу и, положив мыло, вытерла лицо сухим полотенцем, напудрилась так, точно стену штукатурила, и выскочила в гостиную. Шэд ослабил в предвкушении удовольствия. Охваченная ужасом, она сообразила, что теперь, пока он опять не уселся и не воспламенился наново, у нее был единственный шанс на спасение. Она схватила Шляпку и пальто, поспешно проговорила огорченным голосом:

В другой раз, Шэд... Отпусти меня теперь, милый! – И убежала раньше, чем он успел раскрыть рот.

Свернув в коридоре за угол, она увидела Джулиэна. Он стоял, натянутый, как струна, с видом сторожевого держа правую руку в кармане пальто, словно в ней был револьвер.

Она бросилась к нему на грудь и зарыдала.

– Что он сделал с тобой? Я убью негодяя!

– Да нет, он меня не соблазнил. Я не из-за этого плачу! Просто я не гожусь в разведчики.

Но кое-что из этого все же получилось.

Храбрость Сисси заставила Джулиэна решиться на то, о чем он давно думал, но чего боялся: вступить в организацию ММ, надеть форму и снабжать Дормэса информацией об их планах.

– Я уговорю Лео Куинна... знаешь его? Его отец – кондуктор на железной дороге. Он еще в баскетбол играл в школе. Я уговорю его, чтоб он возил доктора Олмстэда вместо меня и исполнял разные поручения НП. Он парень выдержанный и ненавидит корпо. Только, видишь ли, Сисси... видите ли, мистер Джессэп... для того, чтобы заслужить доверие у минитменов, я должен притвориться, что совершенно порвал с вами и со всеми старыми друзьями. Знаете что! Завтра вечером мы с Сисси пойдем по Элм-стрит и изобразим, будто

мы рассорились. Как ты думаешь, Сис?

– Великолепно! – пылко воскликнула эта неисправимая актриса.

Они договорились, что каждый вечер в одиннадцать часов она будет приходить в березовую рощу, где они играли в детстве. Здесь дорога кружила, и к месту свидания можно было выйти с четырех сторон. Тут он должен был передавать ей сведения о планах минитменов.

Но когда он в первый раз подкрался к ней ночью в роще и она с перепугу навела на него свой фонарик, она вскрикнула, увидев его в форме инспектора ММ. Голубой френч и фуражка набекрень, представлявшие собой в кинокартинах и исторических книгах символ молодости и надежды, сейчас говорили только о смерти... Она подумала, что и в 1864 году они, может быть, говорили большинству женщин скорее о смерти, чем о луне и магнолиях. Она бросилась к нему и обняла, словно желая защитить его от его же формы; окруженная опасностями, дрожащая за свою любовь, Сисси из ребенка становилась женщиной.

XXIX

Пропагандисты Нового подполья встречали ожесточенное сопротивление со стороны правительственной пропаганды; и хотя среди памфлетистов, работавших для НП в Америке и в изгнании, за границей, были сотни способнейших журналистов-профессионалов, их все же до некоторой степени стесняло уважение к фактам, которое никогда не служило препятствием для корповских журналистов. У корпо также были собраны выдающиеся силы. У них служили президенты университетов, известные дикторы, восхвалявшие в прежнее время зубные эликсиры и кофе без кофеина, знаменитые бывшие военные корреспонденты, бывшие губернаторы, экс-вице-президенты Американской федерации труда и даже такой артист своего дела, как директор отдела рекламы могущественной корпорации фабрикантов электрооборудования.

Само собой, газеты были слишком хорошо очищены от духа дрянненького либерализма, чтобы печатать противников корпо; само собой, в отношении таких старомодных демократических стран, как Великобритания, Франция и скандинавские государства, им рекомендовалось ограничиваться максимально краткой информацией, лучше даже совсем обходиться без иностранной информации, за исключением сообщений о благодеяниях, оказанных Абиссинии Италией, построившей там хорошие дороги, добившейся, чтоб поезда ходили по расписанию, и избавившей население от нищих и от честных людей, а также приобщившей эту страну к прочим духовным благам римской цивилизации. Зато газеты никогда не уделяли столько полос комиксам; особенной популярностью пользовалась очень забавная серия походов нелепого чудака из Нового подполья, в неизменном траурном костюме и высокой шляпе с крепом, которого постоянно препотешно избивали минитмены. Никогда, даже в те времена, когда мистер Херст освобождал Кубу, газеты не пестрели таким изобилием огромных заголовков, набранных красным шрифтом. Никогда не было так много драматических описаний убийств – убийцами всегда оказывались известные антикорпо. Никогда не выходило такого количества печатного материала, достойного своего двадцатичетырехчасового бессмертия, в котором доказывалось – и доказывалось при помощи цифр, – что заработная плата в Америке теперь выше, цены на товары ниже, американский военный бюджет меньше, армия и ее снаряжение гораздо больше, чем когда-либо в истории. Никогда не употреблялись столь веские аргументы, как те, например, которые доказывали, что все противники корпо – коммунисты.

Почти ежедневно Уиндрик, Сарасон, доктор Мак-гоблин, военный министр Лутхорн или вице-президент Пирли Бикрофт смиренно обращалась по радио к своим хозяевам – широким массам населения – и поздравляли их с тем, что они закладывают фундамент нового мира, и, маршируя плечом к плечу под Великим флагом и деля как блага мира, так и радости грядущей войны, показывают пример американской солидарности.

Субсидируемые правительством кинокартины (может ли быть лучшее доказательство

внимания, оказываемого искусству доктором Макгоблином и другими нацистскими руководителями, чем тот факт, что киноартисты, получавшие в доуиндриповские времена только тысячу пятьсот золотых долларов в неделю, теперь получали пять тысяч?) были полны минитменов: то они мчались в бронированных автомобилях со скоростью восемьдесят миль в час, то пилотировали эскадрильи из тысячи самолетов, то трогательно ласкали девочку, нянчащую котенка.

Все решительно, включая Дормэса Джессэпа, говорили в 1935 году: «Если у нас когда-нибудь и будет фашистская диктатура, то все будет совсем иначе, чем в Европе, – слишком сильны в Америке юмор и дух независимости».

В течение почти целого года после прихода Уиндрипа к власти этот постулат казался правильным. Шеф снимался за игрой в покер – без пиджака и в сдвинутом на затылок котелке, – в обществе журналиста, шофера и двух суровых рабочих-металлистов. Доктор Макгоблин лично дирижировал духовым оркестром клуба Лосей и соревновался в нырянии с красавицами Атлантик-сити. Рассказывали, что минитмены извинялись перед политическими заключенными за то, что вынуждены их арестовать, и что заключенные любезно шутили со стражей... поначалу.

Через год все это отошло в область предания, и ученые с удивлением обнаружили, что кнут и наручники причиняют такую же боль в чистом американском воздухе, как в гнилых туманах Пруссии.

Читая запрятанные им в старый диван книги разных авторов – смелого коммуниста Карла Биллингера, смелого антикоммуниста Чернавина и смелого нейтраллиста Лорана, – Дормэс чувствовал, как перед ним вырисовывается нечто вроде биологии диктаторских государств. Всеобщий страх, отречения от своих убеждений, те же методы ареста – внезапный стук в дверь поздно ночью, отряд полиции, удары, обыск, издевательство над испуганными женщинами, допрос, неизбежные истязания, а затем официальное избиение, – когда арестованного заставляют считать удары, пока он не теряет сознания, загаженные постели и прокисшая похлебка, стража, забавляющаяся стрельбой перед самым носом арестованного, думающего, что это и есть казнь, одинокое ожидание в неизвестности, такое долгое и мучительное, что люди сходят с ума и вешаются...

Так было в Германии, точно так же было в Италии, Венгрии, Польше, Испании, Кубе, Японии, Китае. Не многим отличалось и то, что происходило во время Французской революции, провозгласившей свободу и братство.

Повсюду та же система пыток, словно все диктаторы руководствовались одним и тем же учебником садизма. И теперь в веселой, приветливой, беспечной стране Марка Твена хозяйничала кучка маньяков-убийц, и Дормэс видел, что им было здесь так же привольно, как и в Центральной Европе.

Американские заправилы манипулировали финансами не менее ловко, чем европейские. Уиндрип обещал сделать всех богаче и умудрился сделать всех, за исключением нескольких сот банкиров, промышленников и военных, гораздо беднее. Он готовил свои выступления по финансовым вопросам без помощи специалистов по высшей математике: любой представитель печати мог это сделать. Чтобы показать сто процентов экономии на военных расходах, в то время как численно армии возросла на семьсот процентов, надо было только отнести все расходы по содержанию минитменов на счет невоенных департаментов, – так, например, обучение и искусству колоть штыком было отнесено за счет департамента просвещения. Чтоб показать увеличение средней заработной платы, проделывались фокусы с «категориями труда» и «потребным минимумом зарплаты», причем забывали указать, какое количество рабочих имело право на этот «минимум» и какой процент денег, числившихся по графе заработной платы, шел на содержание миллионов в трудовых лагерях.

Эффект получался потрясающий. Мир не видывал более смелого и романтического взлета фантазии.

Даже самые лояльные корпо начинали удивляться: зачем без конца увеличиваются

вооруженные силы страны – регулярная армия и отряды минитменов? Уж не готовился ли испуганный Уиндрик защищаться против восстания всего народа? Или он собирался завоевать всю Северную и Южную Америку и стать императором? Или и то и другое вместе? Как бы то ни было, численность войск возросла настолько, что даже при деспотической налоговой политике корповское правительство все время страдало от недостатка средств. Правительство всячески стремилось увеличить экспорт, стало широко применять демпинг пшеницы, кукурузы, лесоматериалов, меди, нефти и машин. С помощью угроз и штрафов фермеров заставляли производить как можно больше продуктов, а затем по низким ценам забирали у них все для экспорта. Но внутри страны цены все время росли, и чем больше страна экспортировала, тем меньше потребляли промышленные рабочие. А ретивые окружные уполномоченные забирали у фермеров (следуя патриотическому примеру, показанному многими среднезападными округами в 1918 году) даже зерно, оставленное на семена, лишая их, таким образом, возможности вырастить урожай на следующий год; на тех же землях, где раньше фермер собирал столько пшеницы, что не знал, что с ней делать, он теперь голодал, не имея хлеба. И этого голодного фермера уполномоченные заставляли платить за корповские облигации, приобретенные в рассрочку по принуждению. Но когда он в конце концов умирал от голода, он мог и о чем больше не беспокоиться.

В Форте Бьюла теперь раза два в неделю выстраивались очереди за хлебом.

Из всех проявлений корповской диктатуры Дормэса обенно поражал неуклонный спад веселья среди населения, хотя этот процесс шел у него на глазах и он мог его наблюдать у себя на улице.

Америка, подобно Англии и Шотландии, никогда, сущности, не была веселой страной. Она проявляла склонность к тяжеловесной и шумной шутливости, пряча в глубине души тревогу и чувство неуверенности, по образу своего святого покровителя Линкольна, с его смешными рассказами и трагической душой. Но по крайней мере это была страна сердечных и шумных приветствий, оглушительного джаза, звавшего к танцу, озорных выкриков молодежи и какофонии мчащихся автомашин.

И все это напускное веселье с каждым днем теперь шло на убыль.

Общественные развлечения были для корпо весьма доходной статьей. Но хлеб заплесневел, а зрелища закрыли. Корпо ввели новые и увеличили старые налоги на автомобили, кинокартины, театры, танцы и прохладительные напитки. В ресторанах пользование граммофонами или радио облагалось налогом. Будучи холостяком, Ли Сарасон ввел дополнительный налог на холостяков и незамужних женщин, а заодно обложил налогом и все свадьбы, на которых присутствовало больше пяти человек.

Даже самые отчаянные юноши все реже посещали общественные развлечения, так как всем, не носившим форму, было небезопасно появляться на людях. Любое общественное место кишело шпионами. В результате все сидели дома, беспокойно вздрагивая при звуке шагов, телефонном звонке или легком стуке ветки плюща в окно.

Десятка два лиц, непосредственно связанных с Новым подпольем, были единственными людьми, с которыми Дормэс отваживался говорить о чем-нибудь, кроме погоды, хотя раньше он страх как любил почесать языком. Чтоб дойти до «Информера», ему всегда требовалось минут на десять больше, чем всякому другому так как он останавливался на каждом углу – расспросить о больной жене, поговорить о политике, о вид на урожай картофеля, поспорить о деизме или потолковать о рыбной ловле.

Когда ему случалось читать о работе подпольщиков в Риме или Берлине, он им страшно завидовал. Правда, их окружали тысячи правительственных агентов незримых глазу и тем более опасных шпионов; но у них были и тысячи товарищей, с которыми можно было поболтать по душам и поговорить о деле, у которых можно было черпать бодрость и уверенность в том, что не так уж глупо рисковать жизнью ради этой ветреной дамы – Революции. Все эти конспиративные квартиры в больших городах – может быть, некоторые

из них и на самом деле были озарены розовым сиянием, в которое их одевало воображение беллетристов. Но Форт Бьюла и ему подобные городишки были так разобщены, заговорщики были так хорошо знакомы друг другу, что и речи не могло быть о какой-нибудь романтике, и только необъяснимая вера могла заставить людей продолжать свое дело.

Теперь, после отъезда Лоринды, ему не доставляло никакого удовольствия красться по закоулкам для того лишь, чтобы встретиться с Баком, Дэном Уилгэсом или с милейшей Сисси!

Бак, и он сам, и остальные – до чего же они были неопытны! Как им не хватало руководства таких ветеранов-агитаторов, как мистер Эйли, мистер Бэйли или мистер Кэйли!

Их жалкие брошюры, их газета с расплывающимся шрифтом казались ничтожными по сравнению с неистовым ревом корповской пропаганды. И казалось совершенно бессмысленным – более того, безумием – рисковать жизнью в мире, где фашисты преследовали коммунистов, коммунисты преследовали социал-демократов, социал-демократы преследовали всех, кого можно; где арийцы, смахивавшие на евреев, преследовали евреев, смахивавших на арийцев, а евреи преследовали своих должников; где все государственные и церковные деятели восхваляли мир и неопровержимо доказывали, что единственный способ добиться мира – это готовиться к войне. Какой смысл добиваться справедливости в мире, который так ненавидит справедливость? Почему бы не ограничиться тем, чтобы есть, читать, любить и спать, Обеспечив себя от вторжения вооруженных полицейских?

Он так и не сумел найти смысл в своих поступках.

Он просто продолжал поступать, как прежде.

В июне, когда ячейка Нового подполья в Форте Бьюла существовала уже месяца три, мистер Фрэнсис Тэзброу, специалист по обращению камня в золото, зашел к своему соседу Дормэсу.

– Как поживаете, Фрэнк?

– Прекрасно, Дормэс. Как поживает старый критикан?

– Прекрасно, Фрэнк. Все еще критикует. К тому же и погода для критики подходящая. Хотите сигару?

– Благодарю. Спички есть? Спасибо. Я вчера видел Сисси. Она прекрасно выглядит.

– Да, она прекрасная девушка. А я вчера видел Мэлкома – он проезжал мимо. Как ему нравится областной университет в Нью-Йорке?

– Очень... очень... Спортивная работа поставлена великолепно. В будущем году Примо Карнера будет обучать их теннису. По-моему, он говорил, – Карнера... и как будто именно теннису... во всяком случае, Мэлком говорит, что спортивные занятия у них на высоте. Послушайте, Дормэс, я хотел поговорить с вами об одном деле. Я, э-э... дело в том... только это должно остаться между нами. Я знаю, что вам можно доверить секрет, хоть вы и журналист... или были журналистом. Дело в том, что (это я узнал из первых рук) предвидятся кое-какие перемены в правительстве... Это пока секрет, мне сказал сам областной уполномоченный полковник Хэйк, Лутхорн не будет больше военным министром... Он хороший парень, но он не сумел добиться настоящей популярности для корпо, обманул надежды Шефа. Его место займет Хэйк, который будет также верховным маршалом минитменов вместо Ли Сарасона... Сарасон, как я понимаю, слишком перегружен. Джон Селливэн Рийк, видимо, станет областным уполномоченным, и тогда должность районного уполномоченного по Вермонту-Нью-Гемпширу остается вакантной, и я один из возможных кандидатов. Я очень много выступал за корпо кроме того, у меня прекрасные отношения с Дьюи Хэйком... Я дал ему немало ценных советов в области строительства общественных зданий. Совершенно очевидно, что никто из наших окружных уполномоченных не может рассчитывать на должность районного уполномоченного... даже доктор Штаубмейер... не говоря уже о Шэде Ледью. Если бы вы согласились поддержать меня, ваше влияние могло бы оказаться очень полезным...

– Да что вы, Фрэнк! Самое худшее, что можно придумать, если вы заинтересованы в этой должности, – это чтобы я вас поддержал! Корпо меня не любят. О, они понимают, конечно, что я лоялен, что я не какой-нибудь грязный, трусливый антикорпо, но я недостаточно шумно восторгался ими в газете, чтобы заслужить их милость.

– В том-то и дело, Дормэс! У меня появилась блестящая идея. Даже если они вас и не любят, они вас уважают и прекрасно знают, как долго вы играли в нашем штате видную роль. Мы все были бы очень рады, если бы вы открыто примкнули к нам. И вот если бы вы, положим, это сделали и при этом признали, что пришли к корпоизму благодаря моему влиянию, то это было бы для меня очень существенной поддержкой. И вам, как старому другу, я могу сказать, что должность районного уполномоченного могла бы оказаться очень полезной и в деловом плане, помимо связанных с ней общественных преимуществ. Если только я получу это назначение, обещаю вам добиться, чтобы «Информер» отобрали у Штаубмейера и у этого прохвоста Итчитта и возвратили вам. Вы сможете руководить им по своему усмотрению... при условии, конечно, что у вас хватит здравого смысла воздерживаться от критики Шефа и государства. Или же, если хотите, я, пожалуй, сумею получить для вас должность военного судьи (теперь для этого не обязательно быть юристом) или должность районного директора просвещения, которую занимает президент Пизли. Это вас очень позабавит – просто потеха, как все эти учителя лижут пятки директору! Ну, решайтесь, старина! Вспомните, как нам с вами было славно в старое время! Возьмитесь за ум, смиритесь с неизбежным, присоединяйтесь к нам и создайте мне хорошую рекламу. Что вы думаете... а?

Дормэс думал, что самое трудное испытание для революционера-пропагандиста – это не то, что он должен рисковать жизнью, а то, что он должен быть любезным с такими людьми, как будущий уполномоченный Тэзброу.

Ему казалось, что голос его звучит вполне вежливо, когда он пробормотал:

– Боюсь, что я слишком стар для такого опыта, Фрэнк.

Но Тэзброу, очевидно, обиделся. Он вскочил, пробурчал: «Ну, что ж, отлично!» – и ушел.

«Эх, надо было дать ему возможность сказать, что надо быть реалистом, или что, не разбивши яиц, не сделаешь яичницы!» – с сожалением подумал Дормэс.

На следующий день Мэлком Тэзброу, увидев Сисси на улице, демонстративно сделал вид, что не замечает ее. Джессэпы только посмеялись над этим. Но им было уже не так смешно, когда Мэлком прогнал Дэвида из своего фруктового сада, который был для Дэвида его великим западным лесом, где он в любое время мог повстречать сразу Кита Карсона, Робин Гуда и полковника Линдберга, вышедших на охоту.

Не имея иных оснований, кроме слов Фрэнка, Дормэс мог только намекнуть в «Вермонт Виджиленс» о предстоящем назначении на пост военного министра полковника Дьюи Хэйка; кстати, он привел воинский послужной список Хэйка: в 1918 году он был во Франции в чине младшего лейтенанта, и ему довелось быть под огнем неполных пятнадцать минут; единственный случай, когда он увенчал себя лаврами военачальника, произошел во время забастовки в Орегоне, когда отряду войск штата, которым он командовал, удалось подстрелить одиннадцать забастовщиков, пятерых из них – в спину.

После этого Дормэс окончательно и с легкой душой выбросил Тэзброу из головы.

XXX

Но что значила необходимость быть любезным с самодовольным мистером Тэзброу по сравнению с необходимостью хранить молчание, когда в конце июня стало известно об аресте некоего баттингтонского журналиста, которого заподозрили в том, что он и есть редактор «Вермонт Виджиленс» и автор брошюр, написанных Дормэсом и Лориндой! Его отправили в концентрационный лагерь. Бак, Дэн Уилгэс и Сисси не только не дали Дормэсу заявить на себя, но и не позволили ему навестить пострадавшего, а когда он, за отсутствием Лоринды,

пытался объяснить положение Эмме, она сказала: «Как это удачно, что обвинили не тебя, а кого-то другого!»

Эмма считала всю эту возню с НП какой-то запретной игрой, придуманной ее малышом Дормэсом, чтобы не скучать в отставке. Он потихоньку допекает всех этих корпо. Ее брали, конечно, сомнения, хорошо ли допекать законную власть, но ведь Дормэс всегда был удивительно отчаянным малышом – точь-в-точь (часто рассказывала она Сисси) как тот отчаянный шотландский терьер, что был у нее, когда она жила у родителей. Его звали мистер Мак-Нэбит – маленький такой шотландский терьер, но – боже мой! – до чего он был храбрый – просто настоящий лев!

Эмма была, пожалуй, рада, что Лоринда уехала, хотя она любила ее и беспокоилась, как-то та справляется со своим кафе в новом городе, среди чужих людей. Но все-таки (об этом она рассказывала не только Сисси, но и Мэри и Баку) Лоринда с ее завиральными идеями о женском равноправии и о том, что рабочие ничуть не хуже своих хозяев, плохо влияла на Дормэса, и без того склонного оригинальничать и совершать непозволительные поступки! (Эмма кротко недоумевала: почему Бак и Сисси усмехались при этих словах? Она, кажется, не сказала ничего особенно смешного!

За многие годы она притерпелась к привычке Дормэса работать по ночам и не испытывала никакого неудобства если он возвращался от Бака чуть ли не утром, как она говорила, «с петухами», но ей не нравилось, что он опаздывает к обеду и к ужину. Ей также казалось очень странным, что в последнее время он так охотно встречался с «простыми людьми», вроде Джона Полликопа, Дэна Уилгэса, Даниэля Бабкока и Пита Рутонга. Ведь Пит, говорят, не умеет даже писать и читать, а Дормэс такой образованный! Что бы ему чаще бывать в обществе таких симпатичных людей, как Фрэнк Тэзброу, профессор Штаубмейер, или мистер Краули, или этот его новый друг Джон Селливэн Рийк?

И что бы ему держаться подальше от политики? Она всегда говорила, что это не занятие для джентльмена!

Подобно Дэвиду, которому было 10 лет (и подобно 20-30 миллионам других американцев в возрасте от одного до 100 лет, но его ровесников по умственному развитию), Эмма считала парады минитменов очень красивым зрелищем, напоминающим фильмы из времен Гражданской войны, и даже весьма поучительным; конечно, раз Дормэс неважного мнения о президенте Уиндрипе, то и она против него, но все-таки мистер Уиндрип так красиво говорил о чистоте языка, о посещении церкви, о снижении налогов и об американском флаге!

Реалисты, «делающие яичницу», как и предсказывал Тэзброу, быстро шли в гору. Полковник Дьюи Хэйк, уполномоченный Северо-восточной области, стал военным министром и верховным маршалом ММ, а бывший министр полковник Лутхорн вернулся к себе в Канзас, в контору по продаже недвижимости, и все деловые люди отзывались о нем с большой похвалой за то, что он с такой легкостью отказался от величия Вашингтона во имя тех требований, которые предъявляла к нему практическая деятельность и семья, по утверждению печати, страшно по нем скучавшая все это время. В ячейках НП носились слухи, что Хэйка, может быть, ждет пост и повыше военного министра, что Уиндрипу надоело терпеть избаловавшегося в лучах славы Ли Сарасона.

Фрэнсис Тэзброу был назначен районным уполномоченным в Ганновере, но мистер Рийк не стал областным уполномоченным. Говорили, что у него слишком много друзей среди прежних политических деятелей, места которых с таким энтузиазмом занимали корпо. Новым областным уполномоченным, вице-королем и генералом стал военный судья Эффингэм Суон, единственный человек, которого Мэри Гринхилл ненавидела больше, чем Шэда Ледью.

Суон был великолепным уполномоченным. Через три дня после вступления в должность он арестовал Джона Рийка и семерых заместителей окружных уполномоченных, предал их суду и приговорил к тюремному заключению – все это в течение 24 часов; затем он отправил в концентрационный лагерь для самых закоренелых преступников

восьмидесятилетнюю женщину, мать члена НП, ни в каких других преступлениях не замеченную. Лагерь этот помещался в бывшей каменоломне, где на дне постоянно стояла вода. Говорили, что после произнесения приговора Суон поклонился ей о изысканной любезностью.

Из штаба Нового подполья в Монреале призывали к усилению мер предосторожности при распространении литературы. Агенты НП исчезали один за другим.

Бак только посмеивался, но Дормэс нервничал. Его беспокоило, что какой-то незнакомый ему высокий человек с неприятными глазами, с виду коммивояжер, дважды заводил с ним разговор в вестибюле отеля «Уэссекс», прозрачно намекая, что он противник корпо, и явно желая услышать от Дормэса какое-нибудь нелестное замечание по адресу Шефа и минитменов.

Дормэс теперь соблюдал крайнюю осторожность при поездках к Баку. Он каждый раз оставлял машину на какой-нибудь другой лесной тропинке и пешком пробирался к конспиративному подвалу.

Вечером 28 июня 1938 года ему показалось, что за ним следят – так неотступно преследовал его автомобиль с красноватыми фарами, который увязался за ним на Кизметской дороге, ведущей к дому Бака. Он свернул на проселок, потом на другой – автомобиль за ним. Тогда он остановился у левой обочины дороги и в сердцах вышел из машины – неизвестный автомобиль проехал мимо и Дормэс успел заметить, что за рулем сидит человек, похожий на Шэда Ледью. Он быстро повернул и, не скрываясь, помчался к Баку.

В подвале Бак спокойно перевязывал пачки «Виджиленс» отец Пирфайкс, без рясы, сидел за некрашеным сосновым столом и писал обращение к католикам Новой Англии; он указывал в нем, что, хотя корпо, не в пример наци в Германии, достаточно умны, что-бы угождать прелатам, они снизили заработную плату рабочим-католикам из Канады и расправились с их вожаками ми так же беспощадно, как и с безбожниками-протестантами.

Пирфайкс улыбнулся Дормэсу, потянулся, закурил трубку и сказал, посмеиваясь:

– Как думает великий церковник Дормэс: будет это простительным или смертным грехом, если я напечатаю этот маленький шедевр, сочинение моего любимого автора, без епископского *imprimatur*?²².

– Стивен! Бак! Кажется, мы попались! Видимо, нам надо немедленно складываться и убирать отсюда станок и шрифт.

Он рассказал, что за ним следили. Затем позвонил Джулиану в штаб ММ. Ввиду того, что среди минитменов было много канадцев, говорящих по-французски, он не решился пустить в ход свои познания во французском языке и заговорил на великолепном немецком языке, которому обучился, занимаясь переводами:

– *Denkst du ihr Freunds dere haben a Idee die letzt Tag von vot ve mach here?*²³.

Воспитанник колледжа Джулиэн, в достаточной степени приобщенный к международной культуре, смог ответить ему на том же немецком языке:

– *Ja, Ich mein ihr vos sachen morning free. Look owid!*²⁴ Как уходить? Куда?

Спустя час явился перепуганный Дэн Уилгэс.

– Послушайте! За нами следят. – Дормэс, Бак и священник обступили черного от типографской краски викинга. – Иду сейчас и вдруг слышу: что-то шевелится в кустах около самого дома. Я зажег фонарик. – смотрю, а там Арас Лили – разрази меня гром – и не в

²² Дозволено к печати (лат.).

²³ Не думаешь ли ты, что твои друзья догадываются за последнее время о том, что мы здесь делаем?

²⁴ Да. Я думаю, что вам надо попытаться уйти завтра утром, Берегитесь! (исковерка. нем.).

форме – а вы ведь знаете, как Арас почитает своего бога – простите, отец, – как он почитает свою форму! Переодет! Чтоб мне провалиться! В спецовку! Точь-в-точь, как осел, на которого с веревки свалилась простыня. Он следит за домом. Занавески, правда, спущены, но кто его знает, что он успел увидеть...

Трое верзил в ожидании распоряжений смотрели на коротышку Дормэса.

– Надо немедленно отсюда все убрать! Не теряя ни секунды! И спрятать у Трумена в его мансарде. Стивен, звоните Полликопу, Мунго Киттерика и Питу Вутонгу – вызовите их срочно сюда. Пусть Джон по дороге зайдет к Джулиану и передаст, чтоб он приехал как можно скорее. Дэн, разбирайте станок! Бак, свяжите всю литературу в пачки! – Говоря это, Дормэс заворачивал литеры в газетную бумагу.

Еще затемно, в три часа утра, Полликоп повез по направлению к ферме Трумена Уэбба все оборудование типографии НП. Он ехал в старом грузовике Бака, в котором для отвода любопытных глаз и ушей испуганно мычали две телки.

На следующий день Джулиан решил пригласить своих старших офицеров, Шэда Ледью и Эмиля Штаубмейера, на покер к Баку. Они явились весьма охотно. В доме Бака они застали самого хозяина, Дормэса, Мунго Киттерика и Дока Итчитта – последний был абсолютно невинным участником обмана.

Играли в гостиной Бака. В какой-то момент Бак во всеуслышание объявил, что желающие пива вместо виски найдут его на льду в подвале, а желающие вымыть руки могут пойти в ванную на верхнем этаже. Шэд поспешно пошел за пивом. Док Итчитт еще поспешнее отправился мыть руки. Оба отсутствовали гораздо дольше чем бы надо.

Когда гости разошлись и Бак с Дормэсом остались одни, Бака охватил неудержимый порыв веселости.

– Чего мне стоило сохранять постную физиономию, когда я слышал, как миляга Шэд открывает ящик за ящиком и добросовестнейшим образом шарит по всему подвалу в поисках листовок! Ну что, капитан Джессэп, теперь, я думаю, они уверились, что здесь не скрывается я гнездо предателей! Господи, ну не олух ли Шэд!

Это было тридцатого июня, часа в три утра.

Дормэс весь день и весь вечер сочинял крамолу; готовые листки он прятал в печку в своем кабинете, накрыв их газетой, чтобы в случае обыска сразу все поджечь, – прием, о котором он узнал из антифашистской книги Карла Биллингера «Родина».

Дормэс писал об убийствах, совершенных по приказу уполномоченного Эффингэма Суона.

Первого и второго июля во время прогулки по городу ему попался навстречу тот самый тяжеловес-коммивояжер, который уже раньше приставал к нему в вестибюле отеля «Уэссекс» и который теперь стал настойчиво приглашать его выпить. Дормэс уклонился, но вскоре заметил, что за ним следит незнакомый молодой человек в ярко-оранжевой рубашке и серых спортивных брюках, которого во время июньского парада он видел в форме ММ, Третьего июля, вконец перепугавшись, Дормэс поехал к Трумену Уэббу, проколесив лишний час, чтобы замести следы. Он сказал Трумену: ничего не печатать и ждать указаний.

Когда Дормэс вернулся домой, Сисси с беззаботным видом сообщила ему, что Шэд настойчиво звал ее завтра, четвертого июля, на пикник ММ и что она – черт с ней, с информацией! – наотрез отказалась. Она боится его, особенно в обществе его головорезов-приятелей.

В ночь на четвертое июля Дормэс забывался сном только на короткие, мучительные мгновения. Им овладела беспричинная уверенность, что за ним сейчас придут. Ночь была облачная, грозная, тревожная. Сверчки наводили жуть своим зловещим ритмом. Сердце Дормэса колотилось им в унисон. Он хотел бежать, но как, и куда, и как оставить семью под такой угрозой? Он первый раз за многие годы он пожалел, что не спит рядом с невозмутимой Эммой, подле ее теплого округлого тела. Он посмеялся сам над собой. Что может сделать Эмма, как она защитит его от минитменов? Только заплачет! И что тогда? И вот он, всегда

плотно притворивший дверь своей спальни, чтобы ни звук не нарушал его священного уединения, выскочил из кровати и открыл дверь, чтобы слышать ровное дыхание Эммы, порывистые движения Мэри во сне и посапывание Сисси.

На заре его разбудили хлопнушки. Он услышал за окном топот. Он замер в судорожном напряжении. В следующий раз он проснулся уже в половине восьмого и был слегка раздосадован тем, что ничего не случилось

Минитмены мобилизовали все свои блестящие каски и всех годных под седло лошадей в округе – некоторых для этого пришлось выпрягать из плуга, – чтобы должным образом отметить праздник «Новой Свободы» в утро четвертого июля. Американский легион не участвовал в пышном параде. Эта организация была запрещена, многие руководители Американского легиона были расстреляны. Другие, благоразумные, заняли должности в организации ММ.

За войсками, построенными в каре, смиренно жались местные жители, а семья Джессэпа с независимым видом держалась в сторонке. С приветствием выступил экс-губернатор Айшэм Хэббард, добрый, старый петух, умевший говорить «ку-ка-ре-ку» с большим чувством, нежели любой другой властелин птичьего двора со времен Эзопа. Он объявил, что у Шефа наблюдаются разительные черты сходства с Вашингтоном, Джефферсоном и Уильямом Мак-Кинли, а также с Наполеоном в его самую лучшую пору.

Затрубили трубы, минитмены браво зашагали в неизвестном направлении, и Дормэс вернулся домой, чувствуя, что смех пошел ему на пользу. После обеда он по случаю дождя предложил Эмме, Мэри и Сисси сыграть партию в бридж, с миссис Кэнди в качестве добровольного арбитра.

Но гроза в горах не давала ему покоя. Каждый раз, когда ему доставалось быть болваном, он подходил к окну. Дождь перестал, на короткий обманчивый миг выглянуло солнце, мокрая трава казалась ненастоящей, с рваными, словно подол обтрепанной юбки, неслись над долиной, постепенно скрывая от глаз громаду горы Фэйтфул; солнце померкло, как при катаклизме; и сразу весь мир погрузился в зловещую тьму.

– Что это? Совсем темно стало! Сисси, зажги свет – сказала Эмма.

С шумом полил дождь, и Дормэсу, смотревшему в окно, показалось, что он смыл все знакомые очертания мира. В этом потоке он различил огни огромного автомобиля, из-под колес которого вылетали целые фонтаны «Интересно, что это за марка? – подумал Дормэс. – Должно быть, шестнадцатилиндровый «кадиллак». Машина свернула к нему во двор, едва не сшибла столб у ворот и со скрежетом остановилась у крыльца. Из нее выскочили пять минитменов в черных непромокаемых плащах. Не успел он додумать мелькнувшую у него мысль, что народ как будто все незнакомый, как они уже были в комнате. Начальник минитменов (его Дормэс, во всяком случае, видел впервые) подошел к Дормэсу, окинул его пренебрежительным взглядом и ударил в лицо.

Не считая легкого укола штыком во время прежнего ареста, случайных приступов зубной или головной боли, а также ноющего пальца, на котором ему случалось повредить ноготь, Дормэс за последние тридцать лет не знал настоящих физических страданий. Это было так же невероятно, как и ужасно: эта мучительная боль в глазах, и в носу, и в разбитых губах. Он стоял, согнувшись, с трудом переводя дыхание, а офицер снова ударил его в лицо и небрежно заметил:

– Вы арестованы.

Мэри бросилась на офицера и начала колотить его фарфоровой пепельницей. Двое минитменов оттащили ее, швырнули на кушетку, и один из них продолжал ее держать. Двое других стояли над оцепеневшей Эммой и замершей, как перед броском, Сисси.

У Дормэса внезапно началась рвота, и он рухнул на пол, словно был мертвецки пьян.

Он видел, как минитмены стаскивали книги с полок и швыряли их на пол, так что трещали переплеты, как они прикладами револьверов разбивали вазы, абажуры и маленькие столики. Один из них выстрелом автоматического револьвера выбивал в белой панели

камином буквы ММ.

Офицер сказал только: «Осторожно, Джим», – и поцеловал бившуюся в истерике Сисси.

Дормэс сделал попытку подняться. Минитмен ударил его сапогом по локтю. Боль была невыносимая, и Дормэса всего скрутило. Он слышал, как они поднимаются по лестнице, и вспомнил, что рукопись его статьи об убийствах, совершенных по распоряжению областного уполномоченного Суона, спрятана в печке в его кабинете.

Из спален на втором этаже было слышно, как ломают мебель, – казалось, там хозяйничает десяток сошедших с ума дровосеков.

Несмотря на боль, Дормэс попытался подняться: надо сжечь бумаги в печке, прежде чем их найдут. Он с трудом поднял голову: что с женщинами? Ему удалось разглядеть Мэри, привязанную к кушетке (когда это случилось?). Но глаза застилал туман, мысли путались, и он не мог ничего ясно разобрать. Он спотыкался, то и дело падал, полз на четвереньках, но все же пробрался за ними в спальню и затем по лестнице в свой кабинет на третьем этаже.

Он увидел, как офицер кидает за окно его любимые книги и пачки писем, собранные за двадцать лет, как он шарит в печке, как радуется и торжествует, найдя исписанные листы бумаги: «Хорошенькую вещицу вы тут написали, Джессэп. Суон будет рад это почитать!»

– Я требую... послушайте... уполномоченный Ледью... районный уполномоченный Тэзброу... это мои друзья, – запинаясь, проговорил Дормэс.

– Мне о них ничего не известно. Я сам веду это дело, – засмеялся офицер и дал Дормэсу пощечину, не причинив ему особенно сильной боли, но усугубив в нем жгучее чувство стыда, в которое его повергло сознание собственной трусости, заставившей его апеллировать к Шэду и Фрэнсису. Он больше не открывал рта, не жаловался, не доставил им даже удовольствия бесполезными просьбами насчет женщин, когда его столкнули вниз по лестнице, – с последней площадки он слетел прямо вниз и ударился об пол большим плечом, – а затем швырнули в автомобиль.

Шофер, ожидавший за рулем, уже завел мотор. Автомобиль с воем тронулся, колеса то и дело заносило на мокрой мостовой. Но Дормэс, у которого от этого всегда подкатывало под ложечку, на этот раз ничего не замечал. Да и что бы он мог сделать, если бы и заметил?

Он сидел, зажатый между двумя конвойными, на заднем сиденье, и то, что он не мог заставить шофера ехать медленнее, казалось ему частицей его бессилия перед властью диктатора – бессилия человека, который всегда был уверен, что его личное достоинство и социальное положение ставят его выше законов, судей и полицейских, выше всех неприятностей, которые являются уделом обыкновенного рабочего.

Его выгрузили, как упрямого мула, у входа в тюрьму во дворе суда. Он решил, когда его приведут к Шэду, так отчитать негодяя, что тот вовек не забудет. Но Дормэса не повели в суд. Кто-то пинком толкнул его к большому черному грузовику, стоявшему у входа, буквально пинком в зад, но, измученный тоской и болью, он все же подумал: «Что хуже: физическая боль от такого пинка или духовное унижение от того, что тебя превращают в раба? К черту! Не надо софистики! Хуже всего, конечно, боль в зад!»

Подгоняемый ударами, он поднялся по стремянке в грузовик. Из темной глубины раздался стон:

– Господи, неужели и вас тоже, Дормэс?! Это был голос Бака Титуса; вместе с ним в грузовике были Трумен Уэбб и Дэн Уилгэс. Дэн был в наручниках, так как оказал сильное сопротивление.

Все четверо были слишком измучены, чтобы разговаривать. Грузовик швыряло из стороны в сторону, и их бросало друг на друга. Дормэс сказал только с искренней болью:

Вы не представляете, как я жалею, что втянул вас в это! – А затем солгал в ответ на мучительный стон Бака «А что эти скоты, не обидели женщин?»

Они ехали примерно три часа. Дормэс был почти в сознательном состоянии, и, невзирая на мучительную боль в спине при каждом толчке, невзирая на то, что на лице у него болел каждый нерв, он все время засыпал, просыпался от собственных стонов и снова

засыпал.

Грузовик остановился. Дверцы открылись, и они увидели множество огней, освещавших белые кирпич здания. Дормэс смутно понял, что они находятся территории бывшего Дортмутского колледжа, теперешнего штаба корповского районного уполномоченное Уполномоченный – ведь это старый знакомый Фрэнсис Тэзброу! Он сейчас будет освобожден! Он будут свободны, все четверо.

Отчаяние, вызванное унижениями, исчезло. Он освободился от гнетущего страха, как потерпевший кораблекрушение при виде приближающейся спасательной лодки.

Но ему не пришлось увидеть Тэзброу. Минитмены молча, если не считать чисто машинальной брани, отвели его через коридор в камеру, бывшую раньше частью классной комнаты, и оставили его, угостив на прощание затрещиной. Он опустился на деревянную койку с соломенной подушкой и тотчас же заснул. Обычно наблюдательный, он был слишком потрясен, чтобы заметить, какова его камера; он запомнил только, что она показалась ему наполненной серными испарениями.

Когда он пришел в себя, лицо его совершенно одеревенело. Одежда была разорвана и отвратительно пахла блевотиной. Это было так унижительно, словно он совершил что-то постыдное.

Дверь рывком открылась, и ему сунули грязную чашку слабого кофе и сухую корку хлеба, чуть смазанного маргарином, а когда он с отвращением отказался от еды, двое конвойных вывели его в коридор, как раз когда он хотел воспользоваться уборной. Даже про это он тут же забыл, охваченный страхом. Один из конвойных схватил его за аккуратно подстриженную бородку; он дергал ее и весело смеялся. «Мне давно хотелось посмотреть, снимается эта козлиная бородка или нет!» – ржал он. Пока он так издевался над Дормэсом, второй конвойный ударил Дормэса в ухо и заорал:

– Ну-ну, козел! Ждешь, чтобы тебя подоили? За что попал, говори? Похож вроде на еврейчика портного...

– Кто он? – засмеялся другой. – Нет! Это какой-то газетчик... расстрел ему обеспечен... измена... Только сначала они его хорошенько измордуют за то, что он был таким болваном-редактором.

– Что, он редактор? Скажи, пожалуйста! Послушайте, ребята, что мне пришло в голову! Эй, где вы! – Четверо или пятеро полуодетых минитменов выглянули из какой-то двери. – Вот этот тип – писака! Сейчас он нам покажет, как он пишет! Смотрите!

Он побежал по коридору к двери с надписью «мужская», вернулся оттуда с листком бумаги, использованным по назначению, бросил его перед Дормэсом и заорал:

– А ну, хозяин! Покажи нам, как ты пишешь свои штучки! Напиши-ка нам что-нибудь... своим носом!

У него были руки, как клещи. Он нагнул Дормэса, прижал его носом к грязной бумаге и держал так, к великому удовольствию и забаве его товарищей. Прервал эти занятия офицер, снисходительно скомандовавший:

– А ну, ребята, бросьте эти штуки и отведите его в общую!.. Его сегодня судят.

Дормэса отвели в грязную комнату, где ожидало уже шесть человек, среди них Бак Титус. Над одним глазом у него была грязная повязка; она прилегала неплотно, и было видно, что лоб рассечен до кости. Бак нашел в себе силы приветливо ему кивнуть. Дормэс тщетно старался сдержать рыдания.

Он стоял целый час, вытянувшись во фронт, под надзором вооруженного арапником часового с физиономией убийцы; часовой дважды хлестнул Дормэса этим арапником, когда у того невольно обвисали руки.

Бака повели к следователю первым. Дверь за ним захлопнулась, а затем Дормэс услышал ужасный вопль, как будто Бака ранили насмерть. Вопль замер, он перешел в сдавленный хрип. Когда Бака вывели, лицо у него было грязное и серое, как его повязка, по которой теперь расплзлось пятно крови. Человек, стоявший у двери, ткнул пальцем в Дормэса и проворчал:

– Следующий!

Теперь он увидит наконец Тэзброу! Но в маленькой комнате, куда его ввели (Дормэс сразу даже растерялся: он почему-то рассчитывал увидеть большой судебный зал), был только арестовавший его вчера офицер; он сидел за столом и просматривал какие-то бумаги, а с обеих сторон около него неподвижно стояли минитмены, держа руку на кобуре револьвера.

Офицер заставил его подождать, а потом резко выпалил:

– Имя?

– Вы его знаете!

Конвойные, стоявшие около Дормэса, ударили его с обеих сторон.

– Имя?

– Дормэс Джессэп.

– Вы коммунист?

– Нет, я не коммунист!

– Двадцать пять ударов... и касторка.

Не верившего своим ушам, ничего не понимавшего Дормэса потащили через комнату в находившуюся за ней камеру. Длинная деревянная скамья вся почернела от запекшейся крови, вся провоняла засохшей кровью. Конвойные схватили Дормэса, грубо закинули ему голову, разжали челюсти и влили в него целую бутылку касторки. Они сорвали с него одежду и швырнули ее на липкий пол. Потом бросили его лицом вниз на скамью и стали бить стальным удилищем. Каждый удар врезался ему в тело, а они били медленно, со вкусом, стараясь не дать ему слишком рано потерять сознание. Но он был уже без сознания, когда, к великому удовольствию стражи, подействовала касторка. Он очнулся уже в своей камере на полу, на куске грязной мешковины.

В течение ночи его два раза будили, чтобы спросить:

– Ну что, ты коммунист? Сознайся лучше! Мы из тебя душу вышибем, если не признаешься!

Никогда в жизни он не испытывал такой слабости, но он никогда не испытывал и такого гнева; гнев был слишком велик, чтобы он мог подтвердить что-либо, даже для спасения собственной жизни. Он только огрызался: «Нет!» Но после третьего избияния он, задыхаясь от злости, подумал, что, пожалуй, это «нет» уже не соответствует действительности. После каждого вопроса его били кулаками, но стальным прутом больше не хлестали – запретил местный медик.

Это был молодой врач, с виду спортсмен, в коротких, широких брюках. Он, зевая, поглядел на конвойных в пропахшем кровью погребе и равнодушно проговорил:

– Прутом бить не стоит, а то он отдаст концы. Дормэс оторвал голову от скамьи и прохрипел:

– Вы считаете себя врачом и якшаетесь с этими убийцами?!

– Молчать, ты, тварь! Такого мерзавца, как ты, надо бить смертным боем... да так с тобой и сделают, я только думаю, что ребятам лучше побережь тебя до суда!

Доктор продемонстрировал свое ученое рвение тем, что страшно больно вывернул ухо Дормэса, одобрительно хихикнул: «За дело, ребята!» – и вразвалку пошел к выходу, демонстративно напевая.

Три вечера подряд его допрашивали и били – один раз глубокой ночью, и стража жаловалась на бесчеловечное обращение офицеров, заставлявших их работать так поздно. Они развлекались тем, что били ремнем от сбруи, на котором была пряжка.

Дормэс чуть не сдался, когда допрашивавший его офицер заявил, что Бак Титус сознался в противозаконной пропаганде, и привел при этом столько подробностей об их работе, что Дормэс готов был ему поверить. Но он не стал слушать. Он говорил себе: «Нет, нет! Бак скорее умрет, чем сознается в чем-нибудь. Это все Арас Дили вынюхал».

Офицер ворковал:

– Будьте разумны, последуйте примеру вашего друга Титуса и скажите нам, кто еще

был в заговоре, кроме него, вас, Дэна Уилгэса и Уэбба. Тогда мы вас отпустим. Мы сами все прекрасно знаем... о, мы знаем все подробности... но мы хотим убедиться, пришли ли вы наконец в себя, обратились ли в истинную веру, мой маленький друг. Итак, кто еще был замешан? Назовите только имена. Мы вас сразу отпустим, или вам хочется еще раз отведать касторки и плетей?

Дормэс не ответил.

– Десять ударов, – сказал офицер.

Дормэса каждый день выгоняли на получасовую прогулку – потому, может быть, что он предпочитал бы лежать на своей жесткой койке, стараясь по возможности не двигаться, чтобы успокоилось его бешено колотившееся сердце. С полсотни заключенных прогуливались во дворе, бессмысленно шагая по кругу. Он проходил мимо Бака Титуса. Поздороваться с ним – значило бы попроситься на удар от стражи. Они приветствовали друг друга быстрым движением век, и, глядя в его ясные глаза спаниеля, Дормэс знал, что Бак никого не выдал.

Один раз он видел Дэна Уилгэса, но Дэн не гулял, как другие; его вывели под стражей из карцера-с разбитым носом, с оторванным ухом, он был похож на человека, отделанного боксером. Он казался наполовину парализованным. Дормэс пытался расспросить про Дэна одного из часовых в его коридоре. Часовой этот, парень с красивым и чистым лицом, известный в своей деревне как первый щеголь и нежный сын, рассмеялся:

– Ах, твой дружок Уилгэс? Болван думает, что он сильнее наших ребят. Говорят, он все кидается на них с кулаками. Это ему даром не пройдет, не сомневайся!

В эту ночь Дормэсу показалось – он не был уверен, но ему казалось, – что он слышал вопли Дэна. На следующее утро ему сообщили, что Дэн – Дэн, который всегда так негодовал, когда ему приходилось набирать сообщение о чем-нибудь самоубийстве, – повесился у себя в камере.

В один прекрасный день Дормэса неожиданно для него привели в комнату – на этот раз довольно большую, – где его должны были судить.

Но судьей был не районный уполномоченный Фрэнсис Тэзброу и не какой-нибудь военный судья, а радетель о народном благе, сам великий Эффингэм Суон, новый областной уполномоченный.

Когда Дормэса подвели к судейскому столу, Суон просматривал статью, написанную о нем Дормэсом. Он заговорил – нет, этот грубый, усталый человек не был уже тем веселым, светским собеседником, который когда-то играл с Дормэсом, словно мальчик, обрывающий крылышки у мух.

– Джессэп, признаете ли вы себя виновным в попытках ниспровержения существующего строя?

– Что... Дормэс беспомощно оглянулся в поисках адвоката.

– Уполномоченный Тэзброу! – позвал Суон.

Наконец Дормэс увидел товарища своих детских игр.

Тэзброу ни в коей мере не старался избегать взгляда Дормэса. Произнося свою речь, он смотрел на него очень прямо и очень приветливо.

– Ваше превосходительство, мне очень тяжело разоблачать этого человека, Джессэпа, которого я знал всю жизнь и которому я пытался помочь, но он всегда был пустым малым, он был общим посмешищем в Форте Бьюла, потому что вечно корчил из себя великого политического деятеля!.. Когда Шефа выбрали президентом, он был очень недоволен, так как не получил никакого политического поста, и старался посеять недовольство, где только мог... я сам слышал, как он агитировал.

– Довольно! Благодарю вас. Окружной уполномоченный Ледью, скажите, правда это или нет, что этот вот арестованный, Джессэп, пытался убедить вас примкнуть к заговору против моей особы?

Шэд пробормотал, не глядя на Дормэса:

– Да, это правда.

Суон заговорил скрипучим голосом:

– Джентльмены, я полагаю, что этих показаний плюс собственная статья подсудимого, которая имеется здесь перед нами, вполне достаточно для установления его вины. Подсудимый, если бы не ваш возраст и не ваша дурацкая старческая слабость, я приговорил бы вас к ста ударам плетью, как я приговорил всех других коммунистов, угрожающих корпоративному государству. Но, принимая во внимание ваш возраст, я приговариваю вас к содержанию в концентрационном лагере на срок, который может быть продлен по решению суда, но не меньше семнадцати лет. – Дормэс быстро прикинул. Ему теперь шестьдесят два года. Ему будет тогда семьдесят девять. Он больше не увидит свободы. – Кроме того-на основании предоставленного мне, как областному уполномоченному, права издавать чрезвычайные постановления, – я приговариваю вас также и к расстрелу, но пока откладываю приведение этого приговора в исполнение... до тех пока вы не будете пойманы при попытке к бегству! Я надеюсь, Джессэп, что в тюрьме у вас будет больше чем достаточно времени, чтобы вспоминать о том, с каким умом и блеском вы написали эту восхитительную статью обо мне! И о том, что в любое холодное утро вас могут вывести на дождь и расстрелять.

В заключение он, между прочим, сказал страже:

– И двадцать ударов плетью.

Спустя две минуты они влили в него касторовое масло; он пытался вцепиться зубами в грязное дерево скамьи пыток; он слышал визг стального удилица, когда часовой, забавляясь, пробовал его в воздухе, прежде чем опустить на сплошь израненную спину Дормэса.

XXXI

Когда открытый тюремный фургон приблизился к трианонскому концентрационному лагерю, последние вечерние лучи еще ласкали поросшую березами, кленами и тополями гору Фэйтфул. Но сумерки быстро ползли вверх по склону горы, и долина тонула в холодном мраке. Измученный Дормэс равнодушно и устало поник.

Строгие корпуса трианонской школы для девочек в девяти милях к северу от Форты Бьюла, ныне превращенные в концентрационный лагерь, пострадали гораздо больше, чем дортмутский колледж, где многие здания были отведены для личного пользования корпо и их приятельниц, в большинстве высокомерных выскочек. Казалось, что над школой пронеслось наводнение. Мраморные лестницы исчезли. (Одна из них украшала теперь резиденцию жены начальника лагеря, миссис Каулик, жирной, увешанной драгоценностями женщины, злобной и религиозной, считавшей всех противников Шефа коммунистами, которых надо расстреливать на месте.) Окна были выбиты. На стенах красовались надписи мелом: «Да здравствует Шеф!» – вперемежку с другими надписями – менее невинного свойства, которые были стерты, но не очень тщательно. Газоны и клумбы с мальвами сплошь заросли сорной травой.

Здания были расположены по трем сторонам четырехугольника; четвертая сторона и промежутки между усами были загорожены некрашеным деревянным забором, поверх которого была натянута колючая проволока.

Все комнаты, за исключением кабинета начальника лагеря капитана Каулика (он был полнейшим нулем, и только нуль способен добиться чести быть капитаном-квартирмейстером и начальником тюрьмы), заросли грязью. Его кабинет был просто унылой дырой, пропахшей виски, в противоположность остальным комнатам, пропахшим аммиаком.

Каулик был не такой уж злой человек. Он хотел бы, чтобы лагерная стража, состоявшая из одних минитменов, обращалась с заключенными не слишком жестоко, кроме тех случаев, когда те пытались бежать. Но он был человеком мягким, слишком мягким для того, чтобы огорчать ММ и, может быть, даже создавать у них рефлекс торможения своим

вмешательством в их методы поддержания дисциплины. Возможно, бедняги руководствовались самыми лучшими намерениями, когда беспощадно били шумливых арестантов, утверждавших, что они не совершили никакого преступления. Добрый Каулик на некоторое время спас Дормэсу жизнь; он дал ему возможность полежать месяц в затхлом тюремном госпитале и получать на обед похлебку с куском настоящей говядины. Тюремный врач, опустившийся пьянчужка, получивший медицинское образование в конце 80-х годов и в своей гражданской практике едва не наживший себе неприятностей за незаконные аборты, которые он совершал в трезвом состоянии, был тоже довольно добродушен и в конце концов разрешил Дормэсу пригласить доктора Олмстэда из Форта Бьюла; благодаря этому впервые за четыре недели Дормэс получил известия с воли.

В обычной жизни он не мог бы вынести и часа, не зная, что делается с его семьей и его друзьями, теперь же он в течение месяца не знал, живы ли они.

Доктор Олмстэд, повинный в такой же мере, как и Дормэс в том, что корпо называли изменой, едва сумел улучшить момент, чтобы с ним поговорить, так как тюремный врач все время торчал в палате, шамкая себе что-то под нос и тыча наугад мазилкой с йодом в иссеченные плетью спины своих пациентов. Олмстэд присел на край койки Дормэса, застеленной вонючими одеялами, которые не были в стирке уже много месяцев, и забормотал:

– Слушайте, но сами молчите. Миссис Джессэп ваши дочери здоровы; они очень напуганы, но арест им как будто не угрожает. У Лоринды Пайк тоже все благополучно. Ваш внук Дэвид отлично выглядит, хотя я боюсь, что из него выйдет заправский корпо, как и из всех теперешних юнцов. Бак Титус жив. Он в концлагере – около Вудстока. Наша ячейка НП делает, что возможно, – ничего не печатаем, но передаем сведения. Получаем их от Джулиэна Фока. Он идет в гору – вот потеха, – уже взводный командир! Мэри, и Сисси, и отец Пирфайкс продолжают распространять бостонские листовки и помогают Куину (моему шоферу) и мне переправлять эмигрантов в Канаду... Да, да, мы продолжаем... Это все равно, что подушка с кислородом для умирающего от пневмонии!.. На вас тяжело смотреть, Дормэс, вы стали похожи на призрак. Но вы поправитесь. При вашем тщедушном сложении у вас великолепные нервы. Этот рыцарь бутылки смотрит на нас. Прощайте!

Больше ему не разрешили повидаться с доктором Олмстэдом, но, видимо, влиянием Олмстэда объяснялось то, что, когда Дормэса выпустили из госпиталя, все еще очень слабого, но уже способного двигаться, он получил завидную должность уборщика камер и коридоров, а также уборных и умывальных. Было бы гораздо хуже, если бы его послали на работы в лесу на горе Фэйтфул, где стариков, падавших под тяжестью бревен, конвойные под началом садиста лейтенанта Стойта забивали до смерти, улучая момент, когда капитан Каулик смотрел в другую сторону. Это было также лучше тягостной праздности в исправительных «собачьих конурах», где заключенные лежали голышом в кромешной тьме и где «безнадежных» исправляли тем, что не давали им спать по сорок восемь или даже по девяносто шесть часов кряду. Дормэс старательно выполнял свои обязанности. Нельзя сказать, чтобы он особенно любил эту работу, но он гордился тем, что справляется с ней не хуже любого профессионала из греческой закуской, и был рад облегчить участь товарищей по заключению хотя бы тем, что поддерживал в чистоте полы.

Да они мои товарищи, говорил он себе. Он видел, что он, вообразивший себя капиталистом на том основании, что мог по своей воле «нанимать и выгонять» теоретически был «предпринимателем», на деле оказался таким же беспомощным, как любой дворник, едва только крупному капиталу в лице корпо вздумалось от него отделаться. Но в то же время он упорно твердил себе, что он так же не верит в диктатуру пролетариата, как и в диктатуру банкиров и крупных собственников; он по-прежнему считал, что каждый врач, каждый проповедник, пусть экономически он так же зависим, как самый скромный из его паствы, должен все же чувствовать свое, хоть небольшое, превосходство над ними и должен поэтому работать больше, чем они, иначе он никуда не годный врач, никуда не годный проповедник. Он считал, что сам он был гораздо более знающим и честным репортером, чем

Док Итчитт, и несравненно лучше разбирался в политике, чем большинство его читателей – лавочников, фермеров, фабричных рабочих.

И все же он настолько утратил свою буржуазную спесь, что ему льстило, его даже радовало, когда простые люди – фермеры, рабочие, шоферы и просто бродяги – называли его «Дормэс», а не «мистер Джессэп», когда они отдавали должное его храбрости во время экзекуций, его выдержке и умению ладить с людьми в переполненной камере, признавали в нем настоящего мужчину, чуть ли не равного себе.

Карл Паскаль посмеивался:

– А что я говорил вам, Дормэс! Вы еще станете коммунистом!

– Может быть, и стану, Карл, когда вы, коммунисты, выгоните всех своих лжепророков и хныкальщиков, перестанете гнаться за властью, восхвалять московское метро.

– Ну хорошо, пусть так, почему же вы тогда не присоединяетесь к Максиму Истмэну? Говорят, он бежал в Мексику и у него там целая партия троцкистов чистой воды из семнадцати членов!

– Семнадцать членов? Слишком много. Мне надо чтобы восстал один человек – поднялся один на вершину горы и оттуда воззвал к людям. Я большой оптимист, Карл. Я все еще надеюсь, что Америка когда-нибудь поднимется до уровня Кита Карсена.

Подметая и прибирая, Дормэс имел возможность разговаривать с другими заключенными. Он усмехался при мысли, как много знакомых у него оказалось среди преступного мира. Карл Паскаль, Генри Видер, его двоюродный брат; Луи Ротенстерн, похोдивший теперь на мертвеца, смертельно уязвленный тем, что его больше не считали настоящим американцем; Клифф Лигтл – ювелир, умиравший от чахотки; Бен Триппен, работавший на мельнице Медэри Кола и слывший там первым весельчаком; профессор Виктор Лавлэнд из бывшего Исайя-колледжа и Рэймонд Прайдуэл – старый консерватор, который был по-прежнему так чужд подхалимства, так чист среди грязи и так горд, что конвойные испытывали чувство неловкости, когда били его. Коммунист Паскаль, республиканец Прайдуэл а Генри Видер, который всегда плевать хотел на политику и который теперь оправился от первого потрясения, вызванного арестом, – эти трое стали друзьями, потому что обладали большей храбростью и достоинством, чем кто-нибудь другой в тюрьме.

Дормэс жил вместе с пятью другими заключенными в камере, двенадцати футов в длину, десяти в ширину и восьми в высоту, которую любая школьница из выпускного класса находила когда-то невозможно тесной для одинокой молодой особы. Здесь они спали в два яруса, по три койки в каждом. Здесь они ели, умывались, играли в карты, читали и наслаждались на досуге размышлениями, которые, как уверял их в своем воскресном получении капитан Каулик, должны были исправить их темные души и превратить их в верных корпо.

Никто из них, включая, конечно, и Дормэса, особенно жаловался. Они привыкли спать в густом табачном и зловонии, привыкли питаться впроголодь и иметь достоинства и свободы не больше, чем обезьяна в клетке, – так же, как человек привыкает к мысли, что болен раком. Им оставалась только бешеная ненависть с угнетателям, и все они, люди вполне мирные, охотно повесили бы всех корпо, и злых и мягкосердечных. Дормэс теперь еще лучше понимал Джона Брауна.

Его товарищами по камере были Карл Паскаль, Генри Видер и трое людей, которых он раньше не знал: бостонский архитектор, батрак и наркоман, бывший владелец сомнительного ресторана. Они вели интересные беседы – особенно занятен был ресторатор, который с невозмутимым видом защищал всякое преступление, говоря, что единственным настоящим преступлением является бедность.

Самой жестокой мукой Дормэса, если не считать боли, испытываемой при побоях,

было ожидание. Оно стало чем-то осязаемо реальным, такой же действительностью, как хлеб или вода. Сколько времени он здесь просидит, сколько времени он здесь просидит? Ожидание мучило его днем и ночью, во сне и наяву, и у своей койки он постоянно видел этот образ Ожидания, застывший в позе ожидания, – серый, омерзительный призрак.

Это напоминало ожидание запаздывающего поезда на грязной станции, затянувшееся не на часы, а на месяцы.

Захочется Суону развлечься? Прикажет он вывести Дормэса и расстрелять? Теперь это не особенно его беспокоило; он не мог себе этого представить так же, как теперь не мог себе представить, что целует Лоринду, гуляет по лесу с Баком, играет с Дэвидом и Фулишем. Его видения подсказывались лишь самыми грубыми потребностями плоти: то это был ростбиф с подливкой и, то горячая ванна – это высшее из наслаждений в обстановке, когда единственное умывание, если не считать душа раз в две недели, сводилось к обтиранию мокрой тряпкой из одного таза на шесть человек.

Кроме ожидания, еще один призрак тяготел над ними – мысль о побеге. О побеге (гораздо больше, чем зверствах и об идиотизме корпо) шептались заключенные по ночам. Когда бежать? Как бежать? Уползти кустами, когда их выведут в лес на работу? Или каким-нибудь чудом распилить решетку на окне камеры, и выскочить, и пройти незамеченными под носом у часовых? Прицепиться снизу к грузовику и уехать таким образом? (Детская фантазия!) Они мечтали о побеге так же истерично и неотвязно, как политические деятели мечтают о голосах. Но обсуждать это вслух приходилось со всей осторожностью, так как тюрьма кишела предателями.

Дормэс не хотел этому верить. Он не мог понять, как может человек предать своих товарищей, и не верил до тех пор, пока два месяца спустя после его приезда в лагерь Клиффорд Литтл не сообщил часовому о намерении Генри Видера бежать в фургоне с сеном. Генри поплатился за это соответствующим образом, Литтл был выпущен на свободу, а Дормэсу все это причинило не меньше страданий, может быть, чем тому и другому, хотя он и старался убедить себя, что Литтл болен туберкулезом и что корпо выбили из него все человеческое.

Каждому заключенному полагались в месяц два свидания, и, таким образом, Дормэс постепенно повидал Эмму, Мэри, Сисси и Дэвида. Но при всех свиданиях присутствовал дежурный ММ, который стоял на расстоянии двух футов и внимательно прислушивался, так что Дормэс слышал одно только быстрое невнятное бормотание:

– Мы все здоровы... Бак, говорят, здоров... Лоринда как будто хорошо устроилась со своим новым кафе... Филипп пишет, что у него все здоровы.

Однажды приехал сам Филипп – его важный сын, ставший еще более важным с тех пор, как его назначили судьей, очень огорченный безумным радикализмом отца и еще более огорчившийся, когда Дормэс колко заметил, что больше обрадовался бы приезду собаки Фулиша.

Были еще письма, но все они писались в расчете на тюремную цензуру и ничего не давали человеку, которому так хотелось услышать живые голоса своих друзей.

Эти безрадостные свидания, эти пустые письма делали ожидание еще более тяжелым, так как заставляли Дормэса думать, что его ночные видения обманчивы; может быть, мир вне тюрьмы совсем не такой живой, светлый и интересный, каким он остался у него в памяти, может быть, он такой же беспросветный, как его камера.

Дормэс раньше мало знал Карла Паскаля, теперь же этот страстный спорщик-марксист стал его ближайшим другом, его единственным утешением.

Карл мог доказать и блестяще доказывал, что от всех бед, вроде протекающих кранов, скудных пастбищ трудности с обучением высшей математике и бездарных романов, имеется одно только средство – учение Ленина.

Подружившись с Карлом, Дормэс, как влюбленная старая дева, трясся, как бы того не расстреляли – честь, которой обычно достаивались коммунисты. Через некоторое время он понял, что этого нечего бояться. Карл не первый раз сидел в тюрьме. Он был тем опытным и

умелым агитатором, о каком мечтал Дормэс, работая в Новом подполье. Он сумел разноухать такие пикантные подробности о каждом из тюремщиков, что они его боялись, боялись, как бы он даже во время расстрела не успел рассказать чего-нибудь лишнего карательному взводу. Они добивались его расположения с большим усердием, чем одобрения капитана Каулика, и робко преподносили ему маленькие подарки, вроде жевательного табака и канадских газет, как школьники, старающиеся задобрить учителя.

Даже Арас Дили, переведенный с ночной службы в Форте Бьюла на место надзирателя в Трианоне (награда за то, что он сообщил Шэду Ледью сведения, касающиеся банкира Р.К. Краули, которые стоили последнему нескольких сот долларов), даже Арас, этот законченный доносчик и пройдоха, вздрагивал при появлении Карла и сразу становился шелковым. Он-то знал Карла и раньше!

Несмотря на присутствие лейтенанта Стойта, бывшего кассира, который в прошлом развлекался тем, что расстреливал собак, а теперь, при благословенном режиме корпо, развлекался, избивая людей, трианонский лагерь не отличался такой жестокостью нравов как районная тюрьма в Ганновере. Но все же из грязного окна своей камеры Дормэс повидал немало ужасов.

Однажды утром, лучезарным сентябрьским утром когда в воздухе уже чувствовалась осень, он увидел, как взвод стрелков вывел его двоюродного брата Генри Видера, недавно пытавшегося бежать. Генри всегда был тверд, как гранит. У него была походка военного. Он гордился тем, что каждое утро брился у себя в камере точно так же, как брился раньше у себя в кухне старого белого дома на горе Террор. Теперь он шел сгорбившись, шатаясь. Его лицо римского сенатора было запачкано навозом, на который они бросили его в последнюю ночь.

Когда они выходили из ворот, лейтенант Стойт, командовавший взводом, остановил Генри, засмеялся и с невозмутимым видом ударил его сапогом в пах.

Генри подняли. Через три минуты Дормэс услышал выстрелы, а еще через три минуты взвод возвратился, неся на старой двери скорченное мертвое тело с пустыми открытыми глазами. Дормэс закричал. Носильщики наклонили носилки, и тело скатилось на землю.

Но через это проклятое окно ему пришлось увидеть и нечто худшее. Конвойные привезли новых арестованных – Джулиэна Фока в изорванном мундире и его деда, такого хрупкого, сребровласого и растерянного, в измазанных грязью священнических одеждах.

Дормэс видел, как их протащили по двору к зданию, в котором когда-то обучали девушек танцам и игре на рояле и в котором теперь помещался карцер и одиночки.

Прошли две недели, две недели ожидания, мучительного, как непрекращающаяся боль, пока Дормэс улучил возможность во время прогулки секунду поговорить с Джулиэном. Тот пробормотал:

– Меня поймали со статьей о взятках ММ. Я хотел передать ее Сисси. Хорошо, что на статье не было указано, кому она предназначается.

Джулиэн отошел, но Дормэс успел заметить, что в глазах его было выражение безнадежности и что его узкое изящное лицо все покрыто кровоподтеками.

Администрация лагеря, по-видимому, решила, что Джулиэн, первый шпион среди ММ, пойманный в районе Форте Бьюла, был слишком хорошим объектом для издевательств, чтобы его стоило сразу расстрелять. Его следовало подержать для примера. Дормэс часто видел, как стража волокла Джулиэна через двор в помещение, где обычно происходила порка, и ему казалось потом, что он слышит крики и стоны Джулиэна. Его держали даже не в карцере, а в открытой клетке, отделенной от коридора решеткой, так что проходившие заключенные могли видеть рубцы на его обнаженной спине, когда он, свернувшись на полу, скулил, как побитая собака.

И еще Дормэс видел, как дед Джулиэна крался по двору, вытаскивал из отбросов мокрый, грязный хлеб и с жадностью его жевал.

Весь сентябрь Дормэс тревожился, как бы теперь, когда Джулиэна нет в Форте Бьюла, Шэд Ледью силой не сделал Сисси своей любовницей. Как возликует Шэд, возвысившись от

слуги до безграничного владыки!

Несмотря на душевные терзания по поводу Фоков, Генри Видера и всех своих товарищей по тюрьме, даже самых неотесанных, Дормэс к концу сентября почти оправился от перенесенных побоев. Он уже с радостью подумывал, что, может быть, проживет еще десяток лет; он немного стыдился этой радости, видя кругом столько страданий, но чувствовал себя совсем молодым.

И вдруг однажды ночью – было часа два или три – лейтенант Стойт стащил Дормэса с койки и сначала заставил его вскочить на ноги, а потом опять повалил на койку такой зуботычиной, что к Дормэсу сразу вернулся его прежний страх, отчаяние и нечеловеческое унижение.

Его поволокли в кабинет, капитана Каулика.

Капитан начал вежливо:

– Мистер Джессэп, мы получили сведения, что вы имеете отношение к предательству взводного командира Джулиэна Фока. Ему пришлось, видите ли, э... э... короче говоря, он не выдержал и во всем признался. Что касается вас лично, то вам не угрожает никакое дополнительное наказание, если вы согласитесь нам помочь. Случай с мистером Фоком должен послужить предостережением для других. Если вы скажете нам все, что вам известно об отвратительной измене этого молодого чел века, это самым благоприятным образом отразится на вашей судьбе. Вы бы, наверно, не возражали получить хорошую спальню на одного?

Четверть часа спустя Дормэс все еще клялся, что он решительно ничего не знает о «подрывной деятельности» Джулиана.

Капитан Каулик сказал обиженным тоном:

– Ну, что ж, если вы отказываетесь воспользоваться нашим великодушием, боюсь, что я вынужден буду предоставить вас лейтенанту Стойту... Пожалуйста, помягче с ним, лейтенант.

– Хорошо, сэр, – сказал лейтенант.

Капитан устало вышел из комнаты, и Стойт заговорил с ним действительно мягко, что очень удивило Дормэса, так как в комнате находились двое минитменов-конвойных, перед которыми Стойт любил покрасоваться.

– Джессэп, вы человек разумный. Ваши попытки защитить Фока совершенно бесполезны, – у нас и без того достаточно улик, чтобы его расстрелять. Вы ничуть не ухудшите его положение, если сообщите нам некоторые подробности об его предательстве, а себе окажете этим большую услугу.

Дормэс ничего не сказал.

– Будете говорить? Дормэс покачал головой.

– Хорошо... Тиллет!

– Слушаю.

– Приведите человека, который донес на Джессэпа. Дормэс думал, что конвойный приведет Джулиэна, но в комнату, дрожа и спотыкаясь, вошел дед Джулиэна. Дормэс не раз видел, как во дворе тюрьмы старик, стараясь сохранить достоинство рясы, оттирал на ней мокрой тряпкой пятна, но поскольку в камерах не было крючков для одежды, то его одеяние (мистер Фок никогда не был богатым человеком, и ряса и раньше была не из дорогих) жутко измялось. Глаза его сонливо мигали, а серебристые волосы были спутаны.

Стойт (ему было лет 30) весело обратился к двум старикам:

– Ну, детки, довольно упрямитесь, постарайтесь умницами, и тогда все мы скоро ляжем спать. Почему вы не хотите быть откровенными, когда каждый из вас уже сознался, что другой изменник?

– Что? – удивился Дормэс.

– Ну, конечно, старый Фок рассказал нам, что вы посылали статьи его внука в «Вермонт Виджиленс». Теперь, если вы нам еще скажете, кто печатал это дермо...

– Я ни в чем не сознавался. Мне не в чем сознаваться, – сказал мистер Фок.

Стоит заорал:

– Молчать! Ты, старый лицемер! И ударом повалил его на пол.

Старик медленно поднялся на четвереньки, и лейтенант ударил его в бок тяжелым сапогом. Двое часовых удерживали Дормэса, который рвался и выкрикивал что-то невнятное.

Стоит издевательски крикнул Фоку:

– Ну, старая скотина, раз уж ты стоишь на коленях, можешь помолиться!

– Сейчас!

Мистер Фок с трудом поднял голову, извалявшуюся в пыли, выпрямил плечи, протянул кверху дрожащие руки и прочувствованным голосом, который Дормэс помнил с тех времен, когда люди были людьми, воскликнул:

– Отче наш, ты так долго прощал! Не прощай им, но прокляни их, ибо они ведают, что творят!

Он упал лицом вниз, и Дормэс понял, что никогда больше не услышит этого голоса.

В парижской «La Voix litteraire» профессор Гийом Семи, прославленный знаток художественной литературы, писал в своем обычном благожелательном тоне:

«Я не претендую на осведомленность в вопросах политики и допускаю, что мои впечатления при четвертом посещении Соединенных Штатов нынешним летом 1938 года были поверхностными и не отражали всего влияния корпоизма на жизнь страны, но я могу заверить вас, что никогда раньше этот народ не поднимался до такого величия, что я никогда не видел нашего молодого западного родственника таким могучим, пышущим здоровьем и жизнерадостностью. Я предоставляю моим коллегам-экономистам объяснять так скучные вещи, как шкала заработной платы, а сам говорю только о том, что я видел на бесчисленных парадах массовых спортивных слетах организации ММ, а так же юношей и девушек из Молодежного движения корпо, – а видел я такие румяные, довольные лица, такой неизменный энтузиазм и восторг по отношению к их герою, их Шефу, мосье Уиндрипу, что я невольно восклицал: «Вот целый народ, окунувшийся в Реку Юности!»

Повсюду в стране идет такое невиданное строительство как общественных зданий, так и многоквартирных домов для более бедных слоев населения, какого не было никогда. В Вашингтоне мой старый знакомый, министр просвещения мосье Макгоблин высказался в своей обычной, мужественной и в то же время интеллигентной манере: «Наши враги утверждают, что наши трудовые лагеря, в сущности, то же рабство. Ну, что ж, поедем, дружище! Посмотрите сами». И он отвез меня в сказочно-быстром американском автомобиле в такой лагерь под Вашингтоном, приказал собрать рабочих и прямо спросил их: «Вам плохо здесь?»

– Как один человек, все ответили «нет», с таким же воодушевлением, как наши родные храбрые солдаты на бастионах Вердена.

Мы провели там не меньше часа. Мне позволили ходить по всему лагерю и задавать любые вопросы через переводчика, которого любезно предоставил его превосходительство д-р Макгоблин; все рабочие, к которым я обращался с вопросами, неизменно заверяли меня, что они никогда так хорошо не питались, о них никогда так не заботились и они никогда не испытывали такого чуть ли не романтического интереса к избранной ими работе, как в этом трудовом лагере – в этом научно организованном сотрудничестве во имя общего блага.

Я отважился затем спросить мосье Макгоблина, есть ли хоть крупица истины в сообщениях, которые распространяются таким бессовестным образом (увы, особенно в нашей прекрасной Франции) и которые утверждают, что содержащихся в концентрационных лагерях противников корпоизма плохо кормят и что с ними жестоко обращаются. Доктор Макгоблин разъяснил мне, что у них вообще нет «концентрационных лагерей», если подразумевать под этим место заключения. Их лагеря – это, по существу, школы, где взрослые и к несчастью, введенные в заблуждение велеречивыми пророками половинчатой религии «либерализма», подвергаются перевоспитанию и где их учат понимать новую эру авторитарного экономического контроля. Он заверил меня, что в таких лагерях фактически

нет стражи, а есть терпеливые учителя и что оттуда каждый день выходят на свободу люди, в прошлом совершенно не понимавшие корпоизма и потому выступавшие против него, а теперь ставшие восторженными сторонниками Шефа.

Очень жаль, что Франции и Великобритании до сих пор приходится барахтаться в трясине парламентаризма и так называемой демократии, с каждым днем все глубже погружаясь в болото долгов и промышленного застоя – и все из-за трусости наших либеральных лидеров, людей слабых и старомодных, никак не решающихся порвать с традициями и выбрать либо фашизм, либо коммунизм; людей, которые не осмеливаются, – а может быть, они просто боятся лишиться власти – отбросить устаревшие методы, как сделали немцы, американцы, итальянцы, турки и другие по-настоящему смелые народы, и передать разумный и научно обоснованный контроль всемогущего тоталитарного государства в руки решительных людей».

В октябре месяце в Трианонский лагерь прибыл Джон Полликоп, арестованный по подозрению в том, что он, может быть, помог бежать одному эмигранту, и, когда он встретился со своим другом Карлом Паскалем, они, не подумав спросить друг друга о здоровье, сразу вступили в обычную пикировку, словно продолжая разговор, прерванный лишь полчаса назад.

– Ну, что, старый большевик, что я тебе говорил) Если бы вы, коммунисты, присоединились тогда к нам и к Норману Томасу и поддержали Франка Рузвельта, то мы с тобой не сидели бы теперь здесь.

– Ерунда! Именно Томас и Рузвельт и привели фашизму! Помолчи-ка, Джон, и послушай. Что такое «Новый курс» Рузвельта, если не фашизм в чистом виде? Что он дает рабочим? Вы только подумайте. Нет подожди, послушай меня...

Дормэсу показалось, что он вернулся домой, и у него стало легче на душе, хотя он в то же время подумал, что его Фулиш, наверно, лучше разбирается в экономике, чем Джон Полликоп, Карл Паскаль, Герберт Гувер, Бэз Уиндрик, Ли Сарасон и он сам, вместе взятые, а даже если это не так, то у Фулиша по крайней мере хватает ума скрывать свое невежество под предлогом, что он не говорит по-английски.

Сидя у себя в гостинице, Шэд Ледью размышлял о своих неудачах. Он послал в концлагерь больше изменников, чем любой другой окружной уполномоченный во всей области, и все-таки он до сих пор не получил повышения.

Было поздно. Он только что вернулся с обеда, устроенного Фрэнсисом Тэзброу в честь областного уполномоченного Суона и комиссии, состоявшей из судьи Филиппа Джессэпа, директора просвещения Оуэна Пизли и бригадира Кипперсли, которая обследовала предельную налоговую платежеспособность населения Вермонта.

Шэд чувствовал себя обиженным. Все эти проклятые снобы только и делали, что драли перед ним нос! Весь обед проговорили об этом дурацком спектакле – первом корповском обозрении «Вызываем Сталина», написанном Ли Сарасоном и Гектором Макгоблином и поставленном в Нью-Йорке. Послушать только их разглагольствования о «корпоративном искусстве», о «драме, свободной от еврейских влияний», о «чистых линиях англосаксонской скульптуры» и даже, черт возьми, о «корпоративной физике»! Просто драли нос, вот и все! А когда Шэд рассказал им пресмешную историю о дерзком священнике из Форта Бьюла, о некоем Фока, которого так возмущало, что ММ в воскресенье утром производят учения вместо того, чтобы ходить к нему в лавочку слушать его проповеди, что он заставил своего внука клеветать на них, и которого Шэд презабавно арестовал в его собственной церкви, – так они даже не изволили улыбнуться! Кто они такие, подумаешь! Он сам прочитал от доски до доски книгу Шефа «В атаку» и может цитировать ее наизусть; опять же и за столом старался держать себя как полагается и мизинец отставлял, когда брался за рюмку.

Он чувствовал себя одиноким.

Его старые товарищи, с которыми он встречался когда-то за бильярдом или в

парикмахерской, боялись его, а эти паршивые снобы, вроде Тэзброу, до сих пор его презирали.

Он тосковал по Сисси Джессеп. С тех пор, как ее отца отправили в Трианон, Шэд никак не мог уговорить ее прийти к нему, хотя он был окружным уполномоченным, а она только дочерью разоблаченного преступника.

Он сходил по ней с ума. Он даже готов был жениться на ней, если нельзя ее заполучить иным путем. Но когда он только намекнул на это – почти намекнул, – она рассмеялась ему в лицо – слишком много она о себе понимает, паршивка.

Когда он был работником, он думал, что быть богатым и знатным бог вещь как весело. Но сейчас ему вовсе не было весело! Странно...

XXXII

Доктор Лайонел Адаме, бакалавр искусств, доктор философии, негр, был сначала журналистом, потом американским консулом в Африке, а ко времени избрания Берзелиоса Уиндрипа – профессором антропологии в Гарвардском университете. У него, как и у прочих его коллег-негров, отобрали кафедру и передали ее более достойному и нуждающемуся белому, который участвовал в качестве фотографа в одной экспедиции на Юкатан и посему считался знатоком антропологии. В разгоревшейся полемике между сторонниками фабианской школы, рекомендовавшими неграм терпеливо сносить новое рабство, и радикалами, требовавшими объединения с коммунистами для борьбы за экономическое освобождение равно как белых, так и черных, профессор Адаме примкнул к первым.

Он разъезжал по стране и убеждал свой народ, что следует быть «реалистами» и строить свое будущее не на основе какой-нибудь фантастической утопии, а на основе неумолимой действительности.

Неподалеку от Берлингтона находилась небольшая колония негров, занимавшихся в основном овощеводством и садоводством. Большинство их было потомками рабов, которых до Гражданской войны переправляли в Канаду такие энтузиасты, как дед Трумена Уэбба, но которые были так преданы насильственно усыновившей их стране, что после войны вернулись в Америку. Из этой колонии в большие города ушло немало молодых людей, которые (до того как корпо принесли стране освобождение) работали в качестве сиделок, врачей, чиновников и продавцов.

В этой колонии профессор Адаме прочитал лекцию, в которой убеждал молодых цветных бунтарей стремиться к духовному самоусовершенствованию, а не к социальному возвышению.

Так как он не был лично известен в Берлингтоне, то капитану Оскару Ледью, по прозвищу «Шэд», было поручено присутствовать на лекции в качестве цензора. Громадный и неуклюжий, он сидел в кресле в самом конце зала. Если не считать речей офицеров ММ и наставлений учителей в бытность его в начальной школе, это была первая лекция, которую ему довелось слышать, и она не очень-то ему нравилась. Его раздражало, что самонадеянный негр не лопотал на дурацком жаргоне, на котором изъяснялись черномазые в книжках Октава Рой Коуэна, любимого писателя Шэда, а пребойко чесал по-английски, не хуже самого Шэда. Еще более его раздражало, что эта болтливая образина так похожа на бронзовую статую, и, кроме того, – это было уже свыше человеческих сил – вырядилась в смокинг!

Поэтому, когда эта обезьяна, называвшая себя Адамсом, заявила, что среди негров есть хорошие поэты и учителя и даже врачи и инженеры, что было уже явным подтрекательством к антиправительственным действиям, Шэд дал знак своему взводу и арестовал Адамса посреди лекции, обратившись к нему со следующими словами:

– Ах ты, черномазая вонючка, я тебе покажу, как разевать пасть!

Доктора Адамса доставили в Трианонский концлагерь Известный шутник лейтенант Стоит решил поместить негра в одну камеру с этими нахалами (почти коммунистами, можно

сказать) Джессэпом и Паскалем, полагая, что это им придется не по вкусу. Но, как это ни невероятно, им, по-видимому, понравился Адамс: они разговаривали с ним так, будто он был белый, да еще с образованием! Тогда Стойт перевел его в одиночку, чтобы он мог как следует обдумать свое преступление, состоящее в том, что он укусил руку, кормившую его.

Величайшим событием за всю историю Трианона было появление там в ноябре 1938 года Шэда Ледью в качестве заключенного.

Больше половины заключенных попало в концлагерь по вине этого самого Шэда Ледью.

Передавали, что он арестован по обвинению Фрэнсиса Тэзброу. Официально за то, что вымогал взятки у лавочников, на самом деле за то, что недостаточно щедро делился этими взятками с Тэзброу. Но заключенные не столько гадали, как он сюда попал, сколько обдумывали, как с ним расправиться, раз уж он здесь.

Отбывавшие наказание минитмены, за исключением таких красных, как Джулиэн Фок, жили в концентрационных лагерях на особом положении; их обычно охраняли от простых, то есть уголовных, то есть политических, заключенных; и большинство из них, исправившись, возвращалось в ряды ММ, значительно пополнив свои знания по части расправы с недовольными. Шэд был помещен в отдельную неплохую камеру, и каждый вечер ему разрешалось проводить два часа в офицерской столовой. Политические подонки не входили с ним в соприкосновение, так как у них не совпадали часы прогулки.

Дормэс всячески отговаривал заключенных замышлявших расправу с Шэдом.

– Послушайте, Дормэс, неужели после всего, что мы перенесли, вы продолжаете оставаться буржуазным пацифистом и все еще верите в священную неприкосновенность такой свиньи, как Ледью? – спросил его Карл Паскаль.

– Что ж, да, пожалуй, верю в какой-то степени Я знаю, что Шэд вырос в нищей семье, где было двенадцать полуголодных ребят. У него было не слишком много возможностей стать человеком. Но главное не это Гораздо важнее то, что я не считаю индивидуальный террор эффективным средством борьбы с деспотизмом. Кровь тиранов – это семя, из которого вырастают массовые убийства и...

– Ого, да вы я смотрю, используете против меня мои же слова и цитируете абсолютно правильное общее положение, когда мы имеем дело с частным случаем, который нужно ликвидировать, – сказал Карл. – Как хотите, а из этого конкретного тирана мы-таки выпустим кровь.

И Паскаль, которого Дормэс, несмотря на весь его пыл, считал порядочным пустозвоном, посмотрел на него застывшим взглядом, в котором не осталось и следа от прежней приветливости и добродушия. Затем он спросил товарищей по камере – со времени появления Дормэса у них несколько изменился состав:

– Ну, как? Прикончим эту тифозную заразу, Ледью?

И все они – Джон Полликоп, Трумен Уабб, хирург, плотник – медленно, деловито кивнули.

Однажды во время прогулки один из заключенных споткнулся и упал, свалив еще одного, а потом стал громко оправдываться – все это перед самым входом в камеру Ледью. Перед камерой собралась целая толпа. Дормэс, стоявший с краю, видел, как Шэд выглянул в зарешеченное оконце и как его широкое лицо побелело от страха.

Неизвестно кто, неизвестно каким образом зажег и бросил в камеру Шэда большой кусок ваты, пропитанной керосином. Огонь перекинулся на деревянную перегородку отделявшую камеру Шэда от соседней. Через несколько секунд комната напоминала топку горячей печи. Шэд выл, метался, бил себя руками по плечам. Дормэсу вспомнился вопль лошади, которую терзали волки.

Когда Шэда вынесли, он был мертв. Лица у него не было вовсе.

Капитан Каулик был смещен с должности начальника лагеря и канул в неизвестность,

из которой появился. На его место был назначен приятель Шэда, неукротимый Тизра, дослужившийся уже до чина батальонного командира. В качестве первого карательного мероприятия он собрал всех двести заключенных во дворе и заявил им:

– Слушайте вы, убийцы, вы даже не представляете себе, что вы будете есть и как вы будете спать, пока я не вышибу из вас охоту бунтовать.

Тому, кто выдаст заключенного, бросившего горящую вату в камеру Шэда, было обещано полное освобождение. За этим последовало не менее энергичное предупреждение со стороны заключенных, что предатель все равно не выйдет на волю живым. В конечном итоге, как и предполагал Дормэс, смерть Шэда обошлась им всем гораздо дороже, чем она того стоила, хотя для него – принимая во внимание Сисси и принимая во внимание показания Шэда на суде – она стоила очень много; она была самым светлым и радостным событием за последнее время.

Был назначен специальный суд под председательством самого областного уполномоченного Эффингэма Суона. В течение одного часа суд допросил сорок свидетелей и вынес приговор. Десять заключенных – по одному на каждые двадцать человек – были выбраны по жребию и тут же расстреляны. Среди них был профессор Виктор Лавлэнд, несмотря на свои лохмотья и шрамы до последней минуты сохранивший вид ученого: даже к стенке он вышел в очках, и его русые волосы были разделены аккуратным пробором.

Лица, бывшие на особом подозрении, вроде Джулиэна Фока, теперь еще чаще подвергались порке и еще дольше содержались в особых камерах, где нельзя было ни спать, ни есть, ни лечь.

В декабре на две недели был наложен запрет посещения и письма, а вновь прибывшие заключенные запирались в одиночки. Во всех камерах заключенные засиживались за полночь, словно школьники в дортуаре, и шепотом судили и рядили – просто ли это месть Снэйка Тизры, или же на воле случилось нечто такое о чем заключенные не должны знать.

XXXIII

Мэри Гринхилл пришлось взять на себя руководство ячейкой Нового подполья в Форте Бьюла, когда Джулиан Фок, и его дед, и Джон Полликоп были арестованы и отправлены в ту же тюрьму, где был отец Мэри, и когда запуганные репрессиями более робкие революционеры, вроде Мунго Киттерика и Гарри Киндермана, совсем отказались от участия в НП. В этой ячейке остались теперь только Сисси, отец Пирфайкс, доктор Олмстэд со своим шофером и еще человек шесть. Мэри осуществляла руководство с превеликим гневом и усердием, но не слишком разумно. Вся деятельность ячейки ограничивалась теперь оказанием помощи при побегах за границу и передачей маловажных антикорповских материалов, которые удавалось добывать без Джулиэна.

Злой дух, вселившийся в Мэри с тех пор, как был казнен ее муж, овладел всем ее существом, и вынужденное бездействие приводило ее в ярость. Она совершенно серьезно заводила речь о политических убийствах. И раньше, задолго до того, как наступил день дочери Дормэса Мэри Гринхилл, защищенные золотом тираны трепетали в своих дворцах, вспоминая о молодых вдовах, вынашивавших планы мести в поселках между темных холмов.

Сначала она хотела убить Шэда Ледью, который (по ее предположению) собственноручно застрелил ее мужа. Но в таком маленьком городке, как Форт Бьюла, это убийство могло бы навлечь еще большие несчастья на ее уже и так сильно пострадавшую семью. Она не шутя предлагала (до того как Шэд был арестован и убит), чтобы Сисси в целях шпионажа согласилась с ним жить. Сисси, еще недавно столь легкомысленная дерзкая, а теперь, когда у нее отняли Джулиэна, похудевшая и молчаливая, была совершенно уверена, Мэри сошла с ума, и боялась спать с ней в одном доме. Она вспоминала, как однажды Мэри – в то далекое время, когда она была кристально ясной и кристально-твердой спортсменкой, – ударила хлыстом фермера, мучившего у нее на глазах собаку.

Мэри раздражала осторожность доктора Олмстэда и отца Пирфайкса, которые хоть и любили по-своему неопределенное состояние, называемое Свободой, вовсе не были готовы пойти во имя нее на мученичество. Она возмущалась, кричала на них: и они еще смеют называть себя мужчинами? Почему они тогда ничего не делают?

Дома ее ужасно раздражала мать, которая сокрушалась о пребывании Дормэса в тюрьме едва ли больше, чем о своих любимых столиках, поломанных при аресте.

Ее решение убить нового областного уполномоченного Эффингэма Суона созрело в равной мере под влиянием безмерного восхваления и возвеличения его в корповской печати и сообщений о его скоропалительных смертных приговорах в тайных донесениях Нового подполья. Она считала, что Суон даже больше повинен в смерти Фаулера, чем Шэд, который тогда еще не был отправлен в Трианон. Свои планы она обдумывала очень спокойно. Корповская пропаганда возрождения национальной гордости американцев немало способствовала тому, что мирные домохозяйки стали мыслить подобным образом.

К заключенным в концлагерях в одно посещение пускали только одного человека. Поэтому, когда Мэри в начале октября побывала у отца и Бака Титуса в другом лагере, она им обоим сказала невнятной скороговоркой почти одни и те же слова: «Когда я выйду за ворота, я подниму Дэвида – о, господи, какая он стал громадина, – чтобы вы могли его увидеть. Если со мной что-нибудь случится, ну, если я заболею или еще что-нибудь, пожалуйста, позаботьтесь о нем когда выйдете отсюда, пожалуйста!»

Она старалась сказать это так, чтобы не встревожить их, но это ей плохо удалось.

Мэри взяла из небольшой суммы, которую от положил на ее имя после смерти Фаулера, столько чтобы ей хватило месяца на два, оставила матери и сестре доверенность на получение остальных денег спокойно, с веселым видом поцеловала на вокзале Дэвида, Эмму и Сисси и уехала в Олбани, столицу Северо-Восточной области. Мэри сказала им, что ей надо переменить обстановку и она решила пожить немного у замужней сестры Фаулера под Олбани.

Она и на самом деле пожила некоторое время у своей золовки – столько, сколько ей понадобилось, чтобы сориентироваться, как действовать дальше. Через два дня после приезда она отправилась на новый учебный аэродром корповского Женского авиационного корпуса и записалась на курсы вождения самолета и бомбометания.

Когда начнется неизбежная война, когда правительство решит, какая страна – Канада, Мексика, Россия, Куба, Япония или, может быть, Стейтен-Айленд – «угрожает ее границам», и начнет наступательные операции по защите страны, тогда лучшие летчицы этого корпуса станут офицерами вспомогательных частей армии. Старомодные «права», дарованные женщинам либералами, можно (для их же пользы) у них отобрать, но права умереть в бою у них никто не собирался отнимать.

В период обучения она писала родным успокаивающие письма – чаще всего открытки Дэвиду с просьбой слушаться бабушку.

Она жила в веселом пансионе для офицеров ММ, которые знали всJ – а немножко и рассказывали – о частых инспекционных поездках уполномоченного Суона на самолете. Мэри было сделано немало оскорбительных предложений – свидетельство того, что она еще не утратила своего женского очарования.

Она водила машину с пятнадцати лет: в Бостоне, с его оживленным уличным движением, по равнинам Квебека, в буран по горным дорогам; ей приходилось чинить машину среди ночи; у нее был точный глаз, хорошо натренированные нервы и решительность безумца, готовящего убийство и старающегося скрыть свое безумство. После десяти часов обучения, проходившего под руководством минитмена-летчика, считавшего, что в воздухе так же удобно заниматься флиртом, как и в любом другом месте, и никак не понимавшего, почему Мэри все смеется над ним, она совершила свой первый самостоятельный вылет и великолепно посадила машину.

Инструктор сказал ей (наряду с не относящимися к делу комплиментами), что она

совсем не знает страха, и добавил, что единственное, чего ей недостает для полного мастерства, – это немножко страха.

Одновременно она прилежно изучала бомбометание, эту новую отрасль культуры, усердно насаждаемую корпо.

Особенно заинтересовалась она ручной гранатой. В ней надо вытащить предохранитель, прижимая рычаг пальцами к гранате, а затем бросить. Через пять секунд после ослабления рычага граната взрывается и убивает массу народа. Такие гранаты никогда не применялись с самолета, но стоит попробовать, думала Мэри. Офицеры ММ рассказывали ей, как Суон, узнав, что толпа рабочих, выброшенных со сталелитейного завода, взбунтовалась, взялся сам командовать усмирявшими их войсками и собственноручно (это их особенно восхищало) швырнул такую гранату в толпу. Были убиты две женщины и ребенок.

Мэри отправилась в свой шестой самостоятельный полет в серое ноябрьское утро со снежными облаками. Она никогда не пускалась в разговоры с наземной командой, но в это утро она сказала, что ее восхищает возможность подняться с земли «как настоящий ангел», взмыть вверх и повиснуть там в этой неведомой сумятице облаков. Она погладила стойку своей машины, моноплана с открытой кабиной, нового и очень быстроходного военного самолета, предназначенного и для преследования и для быстрого сбрасывания бомб – быстрого убийства нескольких сот человек, идущих в строю.

Мэри знала, что на аэродроме находился в это время районный уполномоченный Эффингэм Суон, который собирался куда-то лететь на своем большом самолете с закрытой кабиной, как будто в Новую Англию.

Она легко узнала его.

Это был высокий человек с видом важного сановника и выправкой военного, в изысканно простом синем костюме и в легком летном шлеме. Вокруг него суетился десяток приближенных подхалимов – секретари телохранители, окружные уполномоченные, директора отделов просвещения, отделов труда, – у всех шляпы в руках, улыбки на лицах, униженная благодарность в душах за то, что он позволяет им существовать. Он покрикивал на них, торопил. Когда он стал подниматься по ступенькам в кабину (Мэри с улыбкой подумала о Кэйзи Джонсе, отправляющемся на небо), на огромном мотоцикле подъехал курьер с последними телеграммами. Мэри с удивлением подумала, что там, должно быть, не меньше полусотни желтых конвертов. Суон швырнул их секретарю, который покорно полз по лесенке за ним. Дверца вице-королевской кабины закрылась за уполномоченным, его секретарем и двумя телохранителями, карманы которых отвисли под тяжестью револьверов.

Рассказывали, что в самолете Суона был письменный стол, раньше принадлежавший Гитлеру, а еще раньше Марату.

Мэри поднялась в кабину своего самолета и услышала, что механик кричит ей снизу, с восторгом показывая на набиравший разбег самолет Суона:

– Глянь-ка! Сам хозяин Суон! Вот это парень! Я слышал, он летит в Вашингтон побалакать с Шефом – подумать только! – с самим Шефом!

– А что если кто-нибудь возьмет да и выстрелит в мистера Суона и Шефа, вот будет ужас, а? Весь ход истории изменится! – прокричала Мэри вниз.

– Какое там! Видела его охрану? Да они отобьются от целого полка! Им ничего не стоит расправиться с Уолтом Тробрэйджем и всеми остальными коммунистами, вместе взятыми.

– Надо полагать! Разве только сам бог, если он выстрелит с небес, может попасть в мистера Суона.

– Ха, ха! Здорово сказано! Но на днях кто-то сказал, что бог, видно, спит крепким сном. Может, ему пора проснуться! – сказала Мэри и подняла руку.

Максимальная скорость ее самолета была 285 миль в час, а золотой колесницы Суона – двести тридцать.

Она а летела теперь над ним, немного позади его самолета, казавшийся огромным,

когда она смотрела на размах его крыльев с земли, теперь казался не больше белого голубя, несущегося над пестрым линолеумом земли.

Мэри вытащила из карманов своей летной куртки три ручные гранаты, которые вчера изловчилась утащить из школы. Унести более тяжелую бомбу ей не удалось. Глядя теперь на них, она впервые содрогнулась; впервые она почувствовала себя человеком, а не просто механическим приспособлением к самолету, как мотор.

«Надо спешить, пока во мне не заговорила слабая женщина», – со вздохом подумала она и спикировала на самолет Суона.

Ее появление было совершенно неожиданным. Ни смерть, ни Мэри Гринхилл не договаривались с Эффингэмом Суоном о встрече в это утро; они не вели телефонных разговоров с его раздражительными секретарями, и встреча с ними не была внесена в расписание последнего дня жизни этого великого владыки. В своих служебных кабинетах в десятке ведомств, в своем мраморном доме, в зале Совета, на трибуне во время парадов – везде его драгоценная особа надежно охранялась сталью. Такое низменное создание, как Мэри Гринхилл, нигде не смогло бы приблизиться к нему – за исключением воздуха, где император и простолудин равно поддерживаются игрушечными крыльями и милостью божьей.

Мэри трижды пикировала на его самолет и сбрасывала гранату, но каждый раз промахивалась. Самолет Суона пошел на снижение, охрана стреляла вверх, в нее.

– А ну, хорошо же! – сказала она и спикировала прямо на светлое металлическое крыло.

В последние секунды Мэри подумала, как похоже это крыло на цинковую стиральную доску, которую она видела девочкой у предшественницы миссис Кэнди – как же это ее звали? – Мэми или что-то в этом роде.

Потом она пожалела, что в последние месяцы мало бывала с Дэвидом. Ей показалось, что самолет Суона летит навстречу ей, а не она падает на него.

Потом был страшный удар. Она как раз взяла свой парашют и поднялась, чтобы выпрыгнуть – слишком поздно! Она увидела только безумный вихрь сломанных крыльев и огромных двигателей, которые как будто швырнуло ей в лицо.

XXXIV

Что касается деятельности Джулиэна до его ареста, то главный штаб Нового подполья в Монреале, по-видимому, не считал особенно ценными его сообщения о вымогательстве и жестокостях ММ и об их планах выслеживания агитаторов НП. Однако ему удалось своевременно предупредить несколько человек, которым угрожал арест и которые успели бежать в Канаду. По должности ему пришлось несколько раз принимать участие в порке. Он так дрожал при этом, что остальные минитмены смеялись над ним; и удары, которые он наносил, отличались подозрительной легкостью.

Он поставил себе целью добиться перевода в районный штаб ММ в Ганновере и для этого в свободное время изучал машинопись и стенографию. У него был замечательный план: пойти к старому другу семьи уполномоченному Фрэнсису Тэзброу сказать ему, что он хочет своими благородными качествами возместить государству неверность отца и получить место секретаря Тэзброу! Если бы только ему удалось заглянуть в личные бумаги Тэзброу! Вот был бы лакомый кусочек для Монреалья!

Во время свиданий с Сисси они не раз обсуждали этот замечательный план. Она на целые полчаса забывала тогда об аресте отца и Бака и о возрастающей душевной тревоге Мэри, за которой ей виделось безумие В самом конце сентября ей пришлось быть свидетельницей внезапного ареста Джулиэна.

Она наблюдала смотр войск ММ. Пусть она теоретически презирала синие мундиры ММ, о которых Уолт Тробрюбридж не раз говорил: «Старинная эмблема героизма и борьбы за свободу кощунственно превращена Уиндрипом и его шайкой в символ жестокости, тирании

и лжи», – это нисколько не мешало ей гордиться своим подтянутым, блистательным Джулиэном, официально возвышенным над его маленькой армией из десяти человек.

В тот момент, когда рота стояла вольно, окружной уполномоченный Шэд Ледью подкатил в большом автомобиле, выскочил, быстро подошел к Джулиэну, заорал: «Этот парень – изменник», – сорвал с воротника Джулиэна рулевое колесо ММ, ударил его по лицу и передал своим телохранителям, меж тем как сподвижники Джулиэна свистели, визжали и хохотали ему вслед.

Ей не разрешали навестить Джулиэна в Трианоне. Она ничего не знала о нем, кроме того, что он еще не казнен.

После гибели Мэри, которую похоронили с воинскими почестями, к ним заехал Филипп, совершавший судейский объезд штата Массачусетс. Он все только качал головой и поджимал губы.

– Честное слово, – сказал он Эмме и Сисси, – мне иногда невольно приходит в голову, что и отец и Мэри не в здравом рассудке, то есть я хочу сказать, были не в здравом рассудке. Мне очень неприятно это говорить, но в наше нелегкое время нужно смотреть правде в лицо, – я, право, иной раз готов предположить, что у нас в семье, видимо, есть какая-то склонность к безумию. Слава богу, я избежал этого несчастья – если у меня нет других достоинств, то, по крайней мере, я совершенно в своем уме! Хотя отец поэтому считает меня посредственностью. Вот у тебя этого совершенно нет, Mater. А тебе, Сесилия, нужно быть начеку (Сисси даже подскочила, не потому, что Филипп назвал ее сумасшедшей, – это она расценила бы как комплимент, – а оттого, что он назвал ее «Сесилия». Хотя в конце концов это действительно ее имя). – Мне очень неприятно говорить это тебе, Сесилия, но мне часто казалось, что у тебя есть опасная склонность к легкомыслию и эгоизму. Теперь выслушайте меня: как вы знаете, я очень занятой человек и просто не могу терять время на всякие споры и обсуждения; мне кажется, что теперь, когда Мэри уже нет, самое лучшее – я могу почти с полной уверенностью сказать, что Мерилла тоже так думает – это запереть ваш дом или, еще лучше, попытаться его сдать на то время, пока father э-э... на то время, пока он будет отсутствовать. У меня, конечно, не такой большой дом, но в нем современные удобства, газовая плита, ванны паровое отопление и прочее, и у меня один из лучших телевизоров в Роз-лейн. Я не хочу вас обидеть, и бы там обо мне ни говорили, я всецело стою за сохранение традиций – так же как покойный бедняга Суон вам это известно, но в то же время мне кажется, что этот старый дом слишком мрачен и старомоден... я пытался убедить отца немного его модернизировать, да куда там... Как бы то ни было, я считаю, что тебе с Дэви надо немедленно переехать к нам в Вустер. Что касается тебя, Сисси, мы тебе, конечно, всегда рады но, может быть, ты предпочтешь что-нибудь более интересное, захочешь, например, вступить в Женскую бригаду помощи корпо...

– Дьявол бы его побрал с его добротой! – негодовала Сисси. Она даже не могла настроиться должным образом, чтобы как следует оскорбить его, а ей очень захотелось это сделать, когда она увидела, что он привез Дэвиду форму ММ и тот немедленно надел ее и расхаживал в ней с прегордым видом, выкрикивая по примеру мальчиков, с которыми он теперь играл: «Да здравствует Уиндрип!»

Она позвонила по телефону Лоринде Пайк и сообщила Филиппу, что поедет к Лоринде и будет помогать ей в кафе. Эмма и Дэвид уехали в Вустер; в последнюю минуту на вокзале Эмма решила прослезиться, хотя Дэвид напоминал ей о заверениях дяди Филиппа, что Вустер – это все равно что Бостон, Лондон, Голливуд и ранчо на диком Западе, вместе взятые. Сисси пока осталась в доме и стала подыскивать съемщика. Миссис Кэнди, намеревавшаяся открыть маленькую кондитерскую и не считавшая нужным посвящать Сисси в то, уплачено ли ей жалованье за последние недели, готовила ей теперь разные заморские блюда, которые во всем доме любили только Сисси и Дормэс, и они не без удовольствия обедали вместе на кухне.

Шэд решил, что пришла пора действовать.

Однажды ноябрьским вечером он бесцеремонно ввалился к ним в дом. Никогда Сисси

так его не ненавидела, но никогда так и не боялась, зная, что он может отыграться на ее отце, Джулиэне, Баке и других заключенных в концлагере.

– Ну вот, твой дружок, Джулиэни, который думал, как ловко нас обошел, попался, бедняга, сам! – проворчал Шэд. – Больше он уж не будет тебе надоедать.

– Не так уж он был плох. Не будем говорить о нем... Может быть, сыграть тебе что-нибудь?

Ладно. Валяй. Я всегда любил настоящую музыку, – сказал вельможный уполномоченный, развалившись на кушетке и положив ноги в сапогах на штофное кресло. Он чувствовал себя хозяином в комнате, где когда-то выгребал золу из камина. Если он этим преследовал цель отвратить Сисси от такого противного духу корпо явления, как диктатура пролетариата, то он мог это сделать с гораздо большим успехом, чем судья Филипп Джессэп. Шэд ведь был заурядным темным представителем про-ле-та-ри-ата.

Послушав Сисси минут пять, Шэд забыл о своем намерении быть утонченным.

– Брось ты эти интеллигентские штучки! – рявкнул он. – Поди сюда и посиди со мной.

Сисси осталась сидеть у рояля. Что делать, если он попытается взять ее силой? Джулиэн уже не появится в решающий момент, чтобы спасти ее. Но она вспомнила про миссис Кэнди в кухне и улыбнулась.

– Чему это ты радуешься?

– Да... я как раз вспомнила про мистера Фока, как он блял, когда вы его арестовали.

– Да, вот смех был. Старый хрыч мекал, как козел. (Интересно, хватит у нее сил убить его? И нужно ли его убивать? Намеревалась ли Мэри убить Суона или нет? Очень она повредит отцу и Джулиэну, если убьет Шэда? И, кстати, очень это больно, когда вешают?) Шэд зевнул.

– Слушай, Сис, как ты смотришь, чтоб нам с тобой махнуть недельки через две в Нью-Йорк? Поживем в свое удовольствие. Я сниму самый лучший номер в самом лучшем отеле, походим по театрам. Там сейчас идет «Вызываем Сталина» – говорят, штучка что надо – настоящее корповское искусство... будем пить самое настоящее шампанское. Ну а потом, если у нас все на лад, можно будет, если ты не возражаешь и пожениться.

– Шэд! Но нам же ни за что не прожить на твое жалованье. Я хочу сказать, корпо тебе мало платят, то есть не то чтобы мало, но надо бы побольше.

– Послушай, детка. Я вовсе не собираюсь всю жизнь перебиваться на несчастное жалованье окружного уполномоченного. Можешь мне поверить, скоро я стану миллионером.

И тут он ей все рассказал: рассказал всю подноготную о своих аферах, которую она так долго и тщетно пыталась выведать. Может быть, он разоткровенничался потому, что был трезв. В пьяном виде Шэд, вопреки всем правилам, становился сугубо осторожен и скрытен.

У него был план. Как и все, что придумывал Шэд Ледью, чтобы быстро разбогатеть, этот план был нелеп и трудно выполним. Сущность его планов всегда заключалась в том, чтобы самому избежать каких бы то ни было усилий и обездолить как можно больше людей. Так, еще в бытность свою работником он задумал заняться разведением собак, причем для начала в качестве окружного уполномоченного он не только, подобно всем корпо, брал взятки у лавочников, обещая им заступничество перед ММ, но и входил к ним в долю, обещая крупные заказы от ММ. Он похвастался Сисси, что у него в сейфе лежат тайные договоры с торговцами, написанные по всем правилам и скрепленные подписями.

Сисси с трудом выпроводила его в этот вечер, причем он ушел под впечатлением, что окончательная победа над ней займет не больше трех-четырёх дней. После его ухода она долго рыдала от обиды и злости на плече миссис Кэнди. Та, прежде чем начать ее утешать, отложила в сторону большой мясной нож, с которым она, по-видимому, весь вечер простояла за дверью.

На следующее утро Сисси поехала в Ганновер и, глазом не моргнув, выболтала Фрэнсису Тэзброу все, что знала об интересных документах, хранившихся у Шэда в сейфе. Она никогда больше не видела Шэда Ледью. Сисси была потрясена, узнав о его убийстве.

Всякое убийство казалось ей отвратительным. Она вообще не видела никакого

героизма, а только варварскую жестокость в необходимости убивать, но она знала, что, если бы это оказалось нужным, она опять поступила бы так же.

Дом Джессэпа с большой помпой занял благороднейший римлянин, политический проходимец, экс-губернатор Айшэм Хаббард, которому надоело пробавляться мелкой спекуляцией недвижимым имуществом и угодным правом и который поэтому с удовольствием принял назначение на место Шэда Ледью.

Сисси поспешила в Бичер Фоллз к Лоринде Пайк. Отец Пирфайкс взял на себя руководство ячейкой НП не преминув при этом сказать, как он говорил ежедневно со времени избрания Бэза Уиндрипа, что он сыт по горло всей этой свистопляской и твердо решил немедленно ехать к себе в Канаду. На его письменном столе лежало расписание поездов, идущих в Канаду. Оно лежало там уже два года.

Нервы Сисси были взвинчены до предела, и она с трудом выносила заботы миссис Кэнди, которая ее по-матерински опекала и кормила, плакала над ней и спозаранку гнала ее спать. Она считала, что с нее за глаза хватит тех отеческих наставлений, которыми осчастливил ее Филипп. Поэтому для нее было большим облегчением, что Лоринда встретила ее как взрослую, как человека, для которого жалость может быть только оскорбительна.

Кафе Лоринды помещалось в старом доме, и сейчас, в зимнее время, в нем не бывало посетителей, кроме непрерывно сменяющихся друг друга пострадавших беглецов. Лоринда, оторвавшись на минуту от своего вязанья, впервые упомянула покойную Мэри.

– Твоя сестра, по-видимому, намеренно убила Суона, как ты думаешь?

– Не знаю. Корпо, видимо, так не думали. Они устроили ей торжественные похороны с военными почестями.

– Ну и что же? Естественно, они не хотят, чтоб пошли толки об убийствах, – пример может оказаться заразительным. Я согласна с твоим отцом. Я считаю, что, как правило, убийства не оправдывают себя. Это ошибочная тактика. Между прочим, Сисси, мне, кажется, удастся вырвать твоего отца из концлагеря.

– Что?

Лоринде были совершенно чужды супружеские охи и ахи Эммы, она и сейчас говорила деловым тоном словно заказывала яичницу.

– Я испробовала все. Ездил к Тэзброу, ездила к этому рыцарю от просвещения Пизли – ни черта не вышло. Их больше устраивает, чтобы Дормэс сидел в лагере. Но эта крыса, Арас Дили, служит теперь там в охране. За хорошие деньги он согласен помочь твоему отцу бежать. Я надеюсь, что Дормэс будет здесь к рождеству, а отсюда мы переправим его в Канаду.

– Ой! – сказала Сисси.

Спустя несколько дней, читая зашифрованную телеграмму из штаба Нового подполья, в которой речь шла как будто о доставке мебели, Лоринда вскрикнула:

– Сисси! В Вашингтоне все полетело вверх тормашками – вся их чертова лавочка! Ли Сарасон низложил Бэза Уиндрипа и стал диктатором!

– Ой! – сказала Сиси.

XXXV

Диктатор Берзелиос Уиндрип день ото дня становился все более жадным к власти. Он по-прежнему говорил себе, что хочет прежде всего принести духовное и материальное оздоровление гражданам своей страны и что если ему и случается быть жестоким, то только по отношению к безумцам и реакционерам, предпочитающим никуда не годную старую систему. Однако после восемнадцати месяцев президентства его стала бесить наглость, с какой Мексика, Канада и Южная Америка (самой судьбой, несомненно, предназначенные стать его достоянием) резко отвечали на его резкие дипломатические ноты, отнюдь не

торопясь стать частью его империи.

С каждым днем он требовал от всех окружающих более громких, более убедительных подтверждений своей правоты. Как он будет справляться со своими изнурительными обязанностями, если никто не будет оказывать ему поддержки? – спрашивал он. Всякого – Сарасона до последнего курьера, – кто ежеминутно уверял его в своей преданности, он подозревал в злых умыслах. Он постоянно усиливал свою личную охрану, а также постоянно увольнял телохранителей, теряя к ним доверие, а однажды даже расстрелял двоих. Во всем мире у него не было никого, с кем бы он мог поговорить по душам, кроме его старого помощника Ли Сарасона да еще, пожалуй, Гектора Макгоблина. Он чувствовал себя одиноким, и иногда ему хотелось бы вместе с башмаками и новым костюмом сбросить с себя обязанности диктатора. Он не мог больше устраивать веселые попойки. Кабинет обратился к нему с нижайшей просьбой не куролесить в барах и ресторанах: это роняло его достоинство, к тому же общение с посторонними было для него небезопасно.

Ему оставалось лишь до поздней ночи играть в покер со своей охраной; в этих случаях он пил напропалую, страшно ругался и бешено вращал глазами, когда проигрывал, а это – при всей готовности телохранителей дать ему выиграть – случалось нередко, так как он всегда задерживал их жалованье и запирал от них ложки. Он больше уже не был развеселым рубахой-парнем Бэзом, но сам не замечал этого.

Тем не менее он продолжал кричать о своей любви к народу, хотя боялся и презирал отдельных людей, и все собирался совершить какое-нибудь историческое деяние. Он обязательно даст каждой семье обещанные 5 тысяч долларов, как только ему удастся это устроить.

Ли Сарасон, постоянно занятый делом, столь же терпеливый за письменным столом, сколь жадный до удовольствий ночью, искусно внушал чиновникам, что это он их настоящий повелитель и творец корпоизма. Он всегда выполнял свои обещания, в то время как Уиндрип постоянно о них забывал. Искатели должностей стучались в дверь его кабинета. В Вашингтоне жулисты говорили между собой, что такой-то заместитель, секретарь, такой-то генерал – «сарасоновские люди». Его клика не была правительством в правительстве: она была самим правительством, только без рупора. Министр корпораций (бывший вице-президент Американской федерации труда) тайно приходил к нему каждый вечер с докладом по рабочему вопросу и частности, о рабочих лидерах, недовольных Уиндрипом, то есть недовольных своей собственной долей в общей добыче. Секретарь государственного казначейства (некий Уэбстер Скитл, который не был ставленником Сарасона, а помогал ему просто по дружбе) конфиденциально сообщал ему о делах крупных предпринимателей. Поскольку в государстве корпо миллионеру обычно удавалось уговорить судей в арбитраже по трудовым спорам «здорово» смотреть на вещи и поскольку забастовки были запрещены, а крупные предприниматели считались государственными чиновниками, последние пребывали в блаженной уверенности, что власть их незыблема на веки веков.

Сарасон знал о том, что обнаглевшие промышленные бароны при помощи ММ избавлялись от «смутьянов», в особенности от евреев-радикалов, а под евреем-радикалом понимался еврей, у которого не было собственного предприятия. (Некоторые бароны и сами были евреями; но нельзя же доводить расовую лояльность до абсурда, позволяя ей идти вразрез с интересами бумажника.) Преданность всех тех негров, у которых хватало ума удовлетворяться безопасностью и хорошей платой и у которых не было каких-то там дурацких идеалов, Сарасон обеспечил себе тем, что сфотографировался, пожимая руку знаменитому негритянскому священнику, доктору Александру Ниббсу, а также широко рекламируемыми сарасоновскими премиями неграм, имеющим самые большие семьи, или с рекордной быстротой натирающим полы, или же дольше всех проработавшим без отпуска.

– Наши добрые друзья-негры никогда не станут бунтовать, если их поощрять таким образом, – заявил Сарасон репортерам.

Сарасон с большим удовлетворением узнал, что в Германии все военные оркестры

исполняют теперь его национальный гимн «Слався, Бэз» наряду с гимном «Хорст Вессель». За границей ему приписывалось авторство и текста и музыки этого гимна, хотя он, строго говоря, написал только слова.

Точно так же, как мелкого банковского служащего одинаково заботит как местопребывание банковских облигаций на сотню миллионов долларов, так и десяти центов его личных денег, предназначенных на завтрак, так и Бэза Уиндрипа одинаково заботило благосостояние, то есть повиновение ста тридцати с лишним миллионов американских граждан, и такая мелочь, как настроение Ли Сарасона, в чьем одобрении он видел наивысшую награду. (Жену свою Уиндрип видел не чаще раза в неделю, и, во всяком случае, какое значение могло иметь мнение этой простой женщины?) Гектор Макгоблин пугал его своими демоническими замашками; военный министр Лутхорн и вице-президент Пирли Бикрофт порядком ему приелись, хотя раньше он любил их; в них было слишком много от его собственного провинциального прошлого, убегая от которого он взвалил на себя даже ответственность правителя страны. Он полагался и надеялся только на неисповедимого Ли Сарасона, и этот Ли, с которым он хаживал когда-то на рыбную ловлю, на попойки, а однажды даже на мокрое дело и в котором он видел самого себя, только наделенного большей уверенностью и красноречием, был теперь поглощен мыслями, в которые Бэз не мог проникнуть. Улыбка Ли была ширмой, а не окошком.

Чтобы проучить Ли и таким путем вернуть его дружбу, Бэз, назначив на пост военного министра вместо симпатичного, но недостаточно расторопного полковника Лутхорна (Бэз объяснил свое решение тем, что Лутхорн «не тянет») полковника Дьюи Хэйка – уполномоченного Северо-Восточной области, отдал Хэйку также пост верховного маршала ММ, который до того времени наряду с десятком других должностей занимал Ли. Бэз ожидал со стороны Ли взрыва возмущения, за которым последует раскаяние и возврат прежней дружбы. Но Ли сказал только:

– Хорошо, как вам будет угодно, – и сказал очень холодно.

«Как заставить Ли быть хорошим мальчиком и снова приходиться к нему играть?» – грустно раздумывая человек, собиравшийся создать всемирную империю Он подарил Ли тысячедолларовый телевизор. Ли поблагодарил его еще холоднее прежнего и ни разу словом не помянул, хорошо ли принимает его великолепный аппарат – последнее слово еще несовершенной телевизионной техники.

Когда Дьюи Хэйк энергично взялся за повышение боеспособности как регулярной армии, так и армии минитменов (он всех извел ночными учебными походами при полном боевом снаряжении, причем никто не мог даже пожаловаться, так как он первый подавал пример своим личным усердием), Бэз стал подумывать, не сделать ли Хэйка своим новым наперсником... Конечно, ему не хотелось бы сажать Ли в тюрьму, но ведь Ли стал относиться к нему просто наплевательски – и это после того, как он для него столько сделал.

Бэз не знал, как поступить. Он еще больше растерялся, когда к нему пришел Пирли Бикрофт и коротко сказал, что он устал от всего этого кровопролития и возвращается на свою ферму, а что касается его высокой должности вице-президента, то это дело Бэза.

«Неужели распри великих государственных деятелей ничем не отличаются от мелких свар приказчиков в магазине отца? – ломал голову Бэз. – Нельзя же расстрелять Бикрофта: это может вызвать серьезное недовольство. Но ведь это же неприлично, это просто кощунство – раздражать императора». И, давая выход раздражению, он приказал расстрелять одного бывшего сенатора и двенадцать рабочих, находившихся в концентрационном лагере, обвинив их в том, что они непочтительно отзывались о его особе.

Государственный секретарь Сарасон зашел вечером к президенту Уиндрипу в отель, где тот фактически жил, пожелать ему спокойной ночи.

Ни в одной газете об этом не проскользнуло ни строчки, но Бэза так удручала чопорность Белого дома, а с другой стороны, он был так запуган красными сумасбродами и

врагами корпо, которые с похвальной настойчивостью и изобретательностью один за другим то пытались проникнуть в это историческое здание и убить его, что он предпочел оставить там для вида жену, а за исключением больших приемов никогда не показывался в его жилой части.

Ему нравился его номер в отеле; он был простой человек и предпочитал виски, пироги с рыбой и глубокое кожаное кресло бургундскому красному, голубой форели и изящной мебели в стиле Людовика XV. В отведенном ему номере из двенадцати комнат, занимавшем весь десятый этаж небольшого и мало кому известного отеля он выделил себе для личного пользования только скромную спальню, огромную гостиную, представлявшую собой сочетание конторы с гостиничным вестибюлем, большой стеной шкаф для напитков, второй шкаф, в котором помещались его тридцать семь костюмов, и ванную комнату, уставленную банками соснового экстракта, представлявшего единственное косметическое средство в его личном обиходе. Бэз мог явиться домой в парадном костюме, расцвеченном, как лошадиная попона, признанном триумфом лондонского портняжного искусства, но дома он предпочитал красные сафьяновые домашние туфли со стоптанными каблуками и выставлял напоказ свои красные подтяжки и трогательно-голубые резинки на рукавах. Подобному наряду гораздо больше соответствовала обстановка отеля, с которой он сроднился за годы, предшествовавшие его появлению в Белом доме, и которая была ему так же знакома, как дедовские закрома и провинциальные городишки. В остальных десяти комнатах занимаемого им помещения, полностью изолировавших его личные покои от коридоров и лифтов, день и ночь толпилась охрана. Попастись в комнату Бэза в этом его убежище было почти так же трудно, как проникнуть к арестованному убийце в полицейском участке.

– Мне кажется, Хэйк отлично справляется с военным ведомством, а, Ли? – сказал президент. – Само собой, если ты захочешь снова стать верховным маршалом...

– Мне ничего не нужно, – ответил великий государственный секретарь.

– Может быть, нам вернуть полковника Лутхорна и сделать его помощником Хэйка? Он большой дока на счет всяких мелочей.

На лице Сарасона отразилось некоторое замешательство – насколько самоуверенный Ли Сарасон вообще был способен испытывать замешательство.

– Как, разве вы не знаете? Лутхорна мы списали в расход десять дней назад.

– Что? Лутхорн убит? Почему мне не сказали?

– Мы полагали, что лучше держать это в тайне. Он был очень популярен. И очень опасен. Постоянно толковал об Аврааме Линкольне.

– Вот так и получается, что я никогда ничего не знаю. Даже газетные вырезки подвергаются обработке, прежде чем попасть ко мне.

– Мы не хотим вас беспокоить по мелочам. Вы это прекрасно знаете! Разумеется, если вы считаете, что я плохо организовал работу вашего секретариата...

– Ах, брось, не придирайся к слову, Ли! Я просто хотел сказать... Я, конечно, знаю, как ты стараешься оградить меня от второстепенных дел, чтобы я мог посвятить все свои силы высшим государственным проблемам. Но Лутхорн... Мне он чем-то нравился. Вечно выдумывал забавные штуки, когда мы играли в покер.

Бэз Уиндрип почувствовал себя одиноким – совсем как некий Шэд Ледью в своих апартаментах в гостинице, отличавшихся от его собственных только величиной. Чтобы забыть об этом, Бэз гаркнул с нарочитой веселостью:

– Скажи, Ли, ты когда-нибудь думаешь о том, что будет дальше?

– Конечно, нам с вами, кажется, уже приходилось об этом говорить.

– Черт возьми, но ты только подумай, каких мы можем наделать дел! Подумай только, Ли! А вдруг провернем Североамериканское королевство! – Бэз наполовину верил в то, что говорил, во всяком случае, на четверть. – Как тебе понравится стать герцогом Каролинским... или Великим Герцогом, или же – как там это называется – Великим Верховным Правителем ордена Лосей? А как насчет Объединенной Империи Северной и

Южной Америки? Я мог бы тебя сделать королем – ну, скажем, королем Мексики. Как тебе это понравится?

– Весьма занятно, – машинально ответил Ли, как он всегда отвечал, когда Бэз начинал плести бессмыслицу.

– Но ты должен держаться меня, Ли, и не забыть, что я для тебя сделал. Да, не забывать этого.

– Я никогда ничего не забываю... Кстати, придется списать в расход или по крайней мере посадить в тюрьму также и Пирли Бикрофта. Этот изменник все еще считается вице-президентом Соединенных Штатов, и если он изловчится вас убить или низложить, то некоторые ограниченные люди, придерживающиеся буквы закона, будут считать его президентом.

– Нет, нет, нет! Он мне друг, что бы он обо мне ни говорил... подлая его душа, – прохныкал Бэз.

– Хорошо. Вы хозяин. Спокойной ночи, – сказал Ли.

Покинув обиталище президента, воплощавшее мечту какого-нибудь водопроводчика о рае земном, Сарасон вернулся в свой будуар, отделанный абрикосовым шелком, где он жил с несколькими красивыми молодыми офицерами ММ. Все это были яркие вояки, не лишенные, однако, вкуса к музыке и поэзии. С ними Ли не проявлял того бесстрастия, как в обществе Уиндрипа. Он либо сердился на своих молодых друзей и тогда пребольно их хлестал, либо у него начинался пароксизм покаяния, и тогда он целовал их раны. Журналисты, раньше как будто относившиеся к Сарасону благожелательно, говорили, что он променял зеленый щиток для глаз на венки из фиалок.

На заседании кабинета в конце 1938 года государственный секретарь Сарасон сообщил членам правительства тревожные новости. Вице-президент Бикрофт – не говорил ли он им, что его следовало расстрелять?.. – бежал в Канаду, отрекся от корпоизма и примкнул к заговору Уолта Трубриджа. Налицо были признаки почти настоящего восстания на Среднем Западе и на Северо-западе, в особенности в Миннесоте и обеих Дакотах, где агитаторы, в большинстве случаев быв влиятельные политические деятели, требовали, чтобы штаты отделились от корпоративного союза и образовали самостоятельное кооперативное (в сущности, почти социалистическое) государство.

– Ерунда! Просто банда безответственных болтунов, – смеялся президент Уиндрип. – А я-то думал, что ты в курсе всех дел, Ли! Ты, видно, позабыл, что я сам лично на прошлой неделе выступил по радио с речью, обращенной специально к этой части страны. И она была великолепно принята. Население Среднего Запада абсолютно мне предано. Там понимают и одобряют все, что я делаю.

Не удостоив его ответом, Сарасон потребовал, чтобы в целях объединения всех слоев населения в порыве достохвального патриотизма, всегда возникающего при угрозе нападения извне, правительство немедленно организовало на мексиканской границе серию хорошо продуманных прискорбных инцидентов, оскорбляющих достоинство нации, угрожающих ее целостности, и на этом основании объявило Мексике войну, как только выяснится, что страна достигла нужного патриотического накала.

Министр финансов Скиттл и генеральный прокурор Порквуд покачали головами, но военный министр Хэйк и министр просвещения Макгоблин с энтузиазмом поддержали Сарасона. Когда-то, сказал ученый Макгоблин, правительства пассивно давали вовлечь себя в войну и благодарили провидение за то, что оно даровало им счастливую возможность отвлечь народное внимание от неурядиц внутреннего порядка, но в наши дни, в дни обдуманной плановой пропаганды, подлинно современное правительство, вроде правительства корпо, должно рассчитать, какая война ему выгодна, и должно самым тщательным образом организовать ее рекламу. Что касается его лично, то он считал бы разумным предоставить организацию всего этого дела гению рекламы – Ли Сарасону).

– Нет, нет, нет! – закричал Уиндрип. – Мы еще не готовы для войны. В свое время мы,

несомненно, заберем в свои руки Мексику. Мы призваны управлять ею и обратить ее в христианство. Но я боюсь, что ваш дурацкий план может привести как раз к обратному. Вы дадите оружие в руки слишком большого количества безответственных людей, и они могут воспользоваться этим и повернуть оружие против нас, поднять революцию и сбросить всю нашу шайку! Нет, нет! Я часто задумываюсь, не была ли ошибкой вся эта затея с минитменами, которые получили в свои руки оружие и прошли военное обучение. Это была твоя идея, Ли, а не моя.

Сарасон спокойно возразил ему:

– Дорогой Бэз, то вы благодарите меня за организацию этого «великого крестового похода граждан-солдат, защищающих свои дома» – как вы любите говорить в ваших выступлениях по радио, – то вы до того их боитесь, что у вас чуть ли не расстраивается желудок. Пожалуйста, решите раз и навсегда, так или этак.

И Сарасон, не поклонившись, вышел из комнаты.

– Я не потерплю, чтоб он так разговаривал со мной! – плакался Уиндрип. – Негодяй, он забывает, что всем обязан мне. В один прекрасный день он увидит в своем кресле нового государственного секретаря. Он, видно, думает, что такие должности растут на каждом дереве. Может быть, ему желательно побыть председателем банка... а может быть, ему хочется стать императором Англии!

Поздно ночью президента Уиндрипа разбудил голос часового в соседней комнате:

– Да, да, пропустите его... это государственный секретарь.

Президент нервно нажал выключатель лампы, стоявшей на столике у кровати, – в последнее время он плохо засыпал и читал допоздна.

В ее слабом свете он увидел, что в комнату вошли и направились к его кровати Ли Сарасон, Дьюи Хэйк и доктор Гектор Макгоблин. Худое лисье лицо Ли было белым, как мел. Его глубоко сидящие глаза напоминали глаза лунатика. В костлявой правой руке он держал длинный охотничий нож, который потонул во мраке, когда он занес руку вверх. Уиндрип подумал: интересно где в Вашингтоне можно купить кинжал; и еще Уиндрип подумал: черт знает, какая глупость – прямо как в кино или в исторических романах, которые он читал мальчишкой; и еще Уиндрип подумал, и все в то же мгновение: господа, ведь они меня сейчас убьют!

– Ли, – закричал он, – ты этого не сделаешь!

Ли фыркнул, как человек, почуявший неприятный запах.

Тогда Берзелиос Уиндрип, совершенно непонятно как умудрившийся стать президентом, по-настоящему проснулся:

– Ли! Вспомни, как я отдал тебе свой последний цент в тот раз, когда заболела твоя старая мать, и дал тебе свой автомобиль, чтобы ты мог поехать ее повидать, а сам вынужден был ехать на митинг на попутной машине! Вспомни, Ли!

– А, черт. Я помню... Генерал!

– Да, – без особой готовности откликнулся Дьюи Хэйк.

– Посадим его, пожалуй, на эсминец и дадим ему возможность удрать во Францию или Англию. Паршивый трус, видно, боится умирать. Мы его, конечно, прихлопнем, если он вздумает вернуться в Штаты. Заберите его и позвоните министру военно-морского флота насчет какого-нибудь судна, а потом погрузите его и отправьте.

– Хорошо, сэр, – с еще меньшей готовностью отозвался Хэйк.

Все прошло очень гладко: войска, послушные Хэйку, военному министру, заблаговременно заняли Вашингтон.

Спустя десять дней Бэз Уиндрип высадился в Гавре и со вздохом отправился в Париж. Это было его первое посещение Европы, если не считать трехнедельной поездки в качестве туриста. Ему страшно не доставало сигарет «Честерфилд», оладий и живой человеческой речи, вроде: «Эй ты, какая муха тебя укусила?» – вместо этого вечного дурацкого «oui?».

В Париже он и остался, хотя оказался там на положении второстепенного трагического

персонажа, вроде экс-короля Греции, Керенского, русских великих князей, Джими Уокера и нескольких экс-президентов Южной Америки и Кубы; эти лица бывают вполне довольны если их приглашают в гостиные, где подается более или менее приличное шампанское и где есть надежда встретить человека, который любезно выслушает вашу историю и назовет вас «сэр». И все-таки, внутренне торжествовал Уиндрип, ему удалось обойти эту сволочь: за два незабвенных года диктаторства он успел перевести за границу на свой секретный счет около четырех миллионов долларов. С этого времени имя Уиндрипа только изредка упоминается в мемуарах бывших дипломатов с моноклями. Бывший президент Уиндрип остаток своих дней был «бывшим». Его настолько быстро забыли, что только четыре американских студента пытались совершить на него покушение.

Чем более умильно бывшие приверженцы Бэза (Мак-гоблин, сенатор Порквуд, доктор Альмерик Траут и прочие) раньше угодничали и льстили Уиндрипу, тем с большим рвением они теперь клялись в верности новому президенту, высокочтимому Сарасону.

Сарасон обнародовал воззвание, в котором говорилось, что, как удалось обнаружить, Уиндрип расхищал народные средства и продался Мексике, пообещав не допустить войны с этой преступной страной, и что он, Сарасон, с чувством горечи и тревоги, поскольку он больше, чем кто-либо другой, был обманут своим мнимым другом Уиндрипом, уступил настоятельным просьбам кабинета и принял на себя президентство вместо вице-президента Бикрофта, изменника, высланного за пределы страны.

Президент Сарасон начал с того, что назначил на самые ответственные должности в государстве и в армии наиболее обаятельных из своих юных друзей-офицеров. Ему, по-видимому, нравилось огорошить всех назначением эдакого розового двадцатипятилетнего юноши с влажными глазами уполномоченным федерального Района, включающего Вашингтон и Мэриленд. Разве он не верховный правитель, разве не полубог, на манер римского императора? Неужели он не может бросить вызов всей этой черни, которую он (бывший социалист) научился презирать за ее слабость и беспомощность.

«Мне хотелось бы, чтобы весь американский народ имел только одну шею», – повторял он чужую фразу которая очень веселила его мальчиков.

В чопорном Белом доме Кулиджа и Гаррисона он устраивал оргии (так в старину называли вечеринки) сплетающимися телами, гирляндами цветов и вином красивых бокалах, напоминающих римские кубки.

Хотя заключенным тюрем и концлагерей, вроде Дормэса Джессэпа, трудно было этому поверить, но среди минитменов, правительственных чиновников, офицеров и просто частных граждан были десятки тысяч убежденных сторонников корпо, которые воспринимали легкомысленное правление Сарасона как настоящую трагедию.

Это были идеалисты корпоизма, и их было немало наряду с садистами и обманщиками; в 1935 и в 1936 годах они поддержали Уиндрипа и КО, считая, что при всех их несовершенствах они способны спасти страну от засилья Москвы, с одной стороны, и, с другой стороны, от той расхлябанности и лени, от той утраты человеческого достоинства, которой была больна добрая половина американской молодежи, чьи идеалы сводились (по утверждению этих идеалистов) к беспринципной праздности и нежеланию чему-нибудь учиться, к гнусавой танцевальной музыке, к мании автомобилизма, к разнузданной сексуальности и пошлым комиксам, то есть к рабской психологии, превращающей Америку в законную добычу любой компании насильников.

Генерал Эммануил Кун был одним из корповских идеалистов.

Такие, как он, не одобряли убийства, вершившиеся при корповском режиме, но они старались убедить себя и других, что «это же революция, а во время революции всегда бывали кровопролития – и гораздо большие, чем у нас».

Их привлекала парадная сторона корпоизма: грандиозные демонстрации с красно-черными флагами, пышными, как грозвые тучи. Они гордились построенными

корпо дорогамп, больницами, телестанциям, авиалиниями; их волновали процессии корповской молодежи, лица которой светились гордостью и верой в мифы о корповском героизме, о спартанской силе чистых юношей и девушек и о полубожественной власти всемиловейшего отца – президента Уиндрипа. Они верили или, нее заставляли себя верить, что в лице Уиндрипа возродились добродетели Энди Джексона, Фаррагута и Джеба Стюарта, сменившие пошлый культ призовых боксеров – единственных героев 1935 года.

Эти идеалисты надеялись очень скоро положить конец жестокостям и продажности ответственных лиц. Им казалось, что рождается новое корповское искусство, что возникает корповская наука, серьезная и глубокая, свободная от традиционного снобизма старых университетов, сильная своей молодостью и еще более прекрасная в силу своей «целесообразности». Идеалисты были убеждены, что корпоизм – это монархизм со свободно избранным народным героем в качестве монарха; что это фашизм без алчных и эгоистичных вождей; свобода, сочетающаяся с порядком и дисциплиной; что это настоящая традиционная Америка, без ее расточительства и пустого провинциального фанфаронства.

Подобно всем религиозным фанатикам, они обладали блаженным даром слепоты и были глубоко убеждены (поскольку газеты, которые они читали, ничего об этом не говорили), что не было ни кровавой жестокости в судах и концлагерях, ни ограничений свободы слова и мысли. Они верили, что воздерживаются от критики корповского режима не потому, что она жестоко карается, а потому, что это было бы очень дурным тоном, все равно, что рассказывать непристойные анекдоты.

Все эти идеалисты были изумлены и потрясены сарасоновским переворотом не меньше самого Берзелиоса Уиндрипа.

Угрюмый военный министр Хэйк сердился на президента Сарасона за влияние, которым он пользовался в народе и особенно в войсках. Ли выслушивал его смеясь, но однажды он был настолько польщен похвалой, которую Хэйк воздавал его художественным способностям, что согласился написать по его заказу песню. Впоследствии ее распевали миллионы; она с самой популярной из солдатских баллад, самопроизвольно созданных анонимными солдатскими бардами во время войны между Соединенными Штатами и Мексикой. Деятельный Хэйк, который не менее свято, чем Сарасон, верил в силу организованной рекламы, решил помочь самопроизвольному появлению таких патриотических народных баллад, обеспечив анонимного барда. Он умел предвидеть и «предвосхищать технику будущего» не хуже какого-нибудь автомобильного фабриканта.

Сарасон так же жаждал войны с Мексикой (или Абиссинией, Сиамом, Гренландией, или любой другой страной, лишь бы его любимые молодые художники могли написать его портрет в героической позе на фоне экзотического ландшафта), как и Хэйк; не только надеясь отвлечь внимание недовольных от того, что делается внутри страны, но также видя в войне возможность покрасоваться. В ответ на просьбу Хэйка он написал веселую песню завоевателей, хотя Соединенные Штаты в это время теоретически были еще с Мексикой в самых дружественных отношениях. Песня пелась на мотив «Мадемуазель из Армантьер». Если испанские слова в ней звучали и не совсем точно, миллионы вскоре поняли, что «Хабла у?» означает «Habla Usted?», то есть «Говорите ли вы?».

Сеньорита из Гваделупы,
Скоро ночь,
С бравым янки спорить глупо –
Юбки прочь!
Если падре нас вместе накроет,
Он скандал нам ужасный устроит,
Хинки, динки, хабла у?

Сеньорита из Монтерея,

Я минитмен.
Сеньорита, поскорее
Сдавайся в плен.
Сеньорита, не надо смущаться,
Ты в постели начнешь улыбаться,
Хинки, динки, хабла у?

Сеньорита из Мацатлана,
Иди сюда!
Будешь ты говорить неустанно:
Вот это да!
Никогда ты меня не забудешь
И женой мексиканца не будешь,
Хинки, динки, хабла у?

Если президент Сарасон и казался иногда легкомысленным то это ни в коей мере не относилось к его участию в научной подготовке войны, которое выражалось в устройстве репетиции хоров ММ, исполнявших его новую песню с великолепно заученной непосредственностью.

Его друг Гектор Макгоблин – теперешний государственный секретарь – заверял Сарасона, что эта мужественная песня – одно из его величайших творений. Хотя Макгоблин лично не принимал участия в необычных ночных развлечениях Сарасона, он находил их очень забавными и часто говорил Сарасону, что он единственный оригинальный творческий гений среди всей этой компании спесивых болванов, включая Хэйка.

– Берегитесь этого прохвоста Хэйка, Ли, – сказал Макгоблин. – Он честолобец, форменная горилла и благочестивый пуританин, а этой тройной комбинации я очень боюсь. Солдаты его любят.

– Ерунда! Что они могут в нем видеть? Он просто аккуратный военный бухгалтер, – отмахнулся Сарасон.

В эту ночь у него была пирушка, на которой в качестве новинки, к негодованию его близких друзей, присутствовали девушки, исполнявшие весьма оригинальные танцы. Когда на следующее утро Хэйк стал ему выговаривать, Сарасон – у него с похмелья болела голова – бесцеремонно на него наорал. В следующую ночь, ровно через месяц после того, как Сарасон узурпировал власть, Хэйк устроил переворот.

На этот раз дело обошлось без мелодраматического кинжала в занесенной руке, хотя Хэйк, по традиции, пришел поздно ночью; фашисты, как и пьяницы, в основном функционируют ночью. Хэйк вошел с отрядом отборных штурмовиков в Белый дом, где президент Сарасон в лиловой шелковой пижаме развлекался в обществе своих друзей, застрелил Сарасона и большинство его приятелей и провозгласил себя президентом.

Гектор Макгоблин бежал на самолете на Кубу и оттуда еще дальше. В последний раз его видели в горах на острове Гаити; на нем была майка, грязные тиковые брюки и плетенные из травы сандалии. Он отрастил длинную рыжую бороду и жил – здоровый и счастливый – в маленькой хижине с миловидной туземкой занимаясь современной медициной и изучая древнюю магию.

Когда президентом стал Дьюи Хэйк, американские граждане почувствовали, что им уж совсем не везет и стали жалеть о добрых демократических либеральных временах Уиндрипа.

Уиндрип и Сарасон ничего не имели против веселья, против танцев на улице, поскольку их можно было облагать налогом. Хэйк принципиально был против подобных вещей. Будучи атеистом в вопросах теологии, в остальном он стоял на позициях строго ортодоксального христианства. Он первый заявил народу, что не видать им никаких 5 тысяч долларов в год, а что вместо этого «они пожнут плоды дисциплины и научного

тоталитарного государства не в виде цифр на бумаге, а в виде неоценимых дивидендов народной Славы, Патриотизма и Могущества». Он изгнал из армии всех офицеров, не переносивших трудных походов и длительной жажды, и уволил всех уполномоченных, включая некоего Фрэнсиса Тэзброу, слишком легко и слишком очевидными средствами наживших большие состояния.

Он обращался со всей страной, как с хорошо управляемой плантацией, где рабов кормили лучше, чем раньше, где их меньше обманывали надсмотрщики и где они были так заняты, что времени у них хватало только на работу и на сон, и они почти не имели возможности впасть в расслабляющие пороки, вроде смеха, пения (кроме военных песен о победе над Мексикой), жалоб и размышлений. Во времена Хэйка в концентрационных лагерях пороли гораздо реже, поскольку минитменам было приказано не терять драгоценного времени на этот вид спорта, и вместо того, чтобы избивать мужчин, женщин и детей, утверждающих, что они не хотят быть рабами даже на самой лучшей плантации, просто, не говоря худого слова, их расстреливать.

Хэйк так сумел использовать духовенство – протестантское, католическое, еврейское и либерально-агностическое, – как и не снилось ни Уиндрипу, ни Сарасону. Наряду со многими священниками, которые, подобно мистеру Фоку и отцу Пирфайксу, подобно кардиналу Фаульхаберу и пастору НимЛллеру в Германии считали своим христианским долгом противиться порабощению и истязаниям своей паствы, было немало прославленных пастырей, главным образом в больших городах, чьи проповеди по понедельникам печатались в газетах, которым корпоизм дал возможность с большим шумом и выгодой исповедовать патриотизм. Их призванием было творить благое дело, очищая от грехов и примиряя с небом бедных храбрых юношей-воинов, и если не было войны, где они могли бы это делать, они не жалели сил, чтобы ее затеять.

Эти более практические священнослужители, будучи, подобно врачам и юристам, в состоянии выведывать тайны, стали очень ценными шпионами в напряженный период после февраля 1939 года, когда Хэйк был занят подготовкой войны против Мексики (Канады? Японии? России? – их черед придет позже). Даже если армия состоит из рабов, необходимо убедить их, что они свободные люди и борются за свободу, иначе эти негодяи могут перевернуться на сторону врага.

Так царствовал добрый король Хэйк, и если в стране и были недовольные, они не могли заявить о своем недовольстве дважды.

А в Белом доме, где во времена Сарасона танцевали бесстыдные юноши, при новом режиме – добродетели и дубинки – миссис Хэйк, дама в очках с непреклонно-приветливой улыбкой, устраивала приемы для членов Женской христианской антиалкогольной лиги, членов Христианской ассоциации женской молодежи и Женской лиги против красного радикализма, а также для бесполезных личностей, числящихся их мужьями, – это было расширенное и разукрашенное вашингтонское издание вечеров, которые она когда-то устраивала в своем бунгало в Эглантине.

XXXVI

В трианонском лагере вновь разрешили переписку и свидания. Миссис Кэнди приехала навестить Дормэса с неизменным слоеным кокосовым тортом, и он узнал от нее о смерти Мэри, об отъезде Эммы и Сисси и о свержении Уиндрипа и Сарасона. Но все эти новости, казалось, исходили из какого-то другого, нереального мира куда меньше его волновали – кроме мысли, что он ни когда больше не увидит Мэри, – чем обилие вшей и крыс в их камере.

На рождество запрет еще не был снят, и они отпраздновали его возле елки, сооруженной Карлом Паскалем из еловой ветки и папиросной фольги. Они смеялись – не

очень весело – над своей елкой, тихонько напевали в темноте «Stille Nacht»²⁵, и Дормэс думал о всех товарищах в политических тюрьмах Америки, Европы, Японии и Индии.

Но для Карла товарищами, по-видимому, были только приобщенные к таинству марксизма – коммунисты. И, запертый с ним в одной камере, Дормэс болезненно переживал растущую ожесточенность и нетерпимость Карла – не менее трагический результат ненавистного режима корпо, а может быть, вообще диктатуры как таковой, чем гибель Мэри, Дэна Уилгэса и Генри Видера. В заключении Карл ни на йоту не утратил мужества, не утратил и изобретательности по части одурачивания стражи, но с каждым днем у него все меньше оставалось чувства юмора, терпимости к другим, дружеского тепла – всего того, что давало силы жить людям, запертым в одну клетку. Он и раньше относился к коммунизму, как к святыне – и иногда это было немного смешно, – но теперь он стал форменным фанатиком, и его фанатизм был так же ненавистен Дормэсу, как фанатизм инквизиции или протестантов-фундаменталистов; семья Джессэпа уже в течение трех поколений отвергала убийство во имя спасения души.

В своем рвении Карл становился невыносим. Ночью товарищи по камере не могли заставить его замолчать, даже рявкнув: «Заткнись! Дай спать! Ты из нас всех сделаешь корпо».

Иногда ему удавалось их убедить. Когда его товарищи по камере принимались проклинать лагерную стражу, Карл останавливал их:

Послушать вас, так все объясняется тем, что корпо, а в особенности минитмены, сплошь негодяи. Негодяев среди них, конечно, предостаточно. Но даже самые худшие из них, даже убийцы-профессионалы не лучают такого удовольствия, карая еретиков вроде с с вами, как честные, порядочные, тупоголовые корпо, обманутые разглагольствованиями своих лидеров о Свободе, Порядке, Обеспеченности, Дисциплине и Могуществе! Теми самыми громкими словами, которыми еще до Уиндрипа пользовались спекулянты, чтобы скрыть свои непомерные прибыли. А особенно в ходу у них было слово «Свобода»! Свобода отбирать пеленки у грудных детей! В наши дни честный человек не может спокойно слышать слово «свобода» после того, что сделали с ним республиканцы! И еще я вот что вам скажу: многие минитмены здесь в лагере такие же горемыки, как и мы с вами, – просто им не удалось найти порядочной работы в блаженной памяти золотом веке Франка Рузвельта – бухгалтеры, которым приходилось копать канавы, агенты по продаже автомобилей, которым никак не удавалось находить покупателей, солдаты, вернувшиеся с войны и узнавшие, что их место занято другими; все они пошли за Уиндрипом, потому что думали, что он им даст «обеспеченную жизнь», которую он обещал. Вот олухи! Они еще узнают!

Порассуждав таким образом еще часок о том, как отвратительна уверенность корпо в своей непогрешимости, товарищ Паскаль менял тему и пространно высказывался о непогрешимой правоте коммунистов – в особенности тех священных образцов коммунизма, которые блаженствовали в святом граде Москве, где, как полагал Дормэс, улицы вымощены необесценивающимися рублями.

Святой град Москва! Карл относился к нему с таким же нерассуждающим и слегка истеричным восхищением, с каким иные фанатики в свое время относились к Иерусалиму, Мекке, Риму, Кентербери и Бенаресу. Прекрасно, пусть себе, думал Дормэс. Пусть себе поклоняются своим священным источникам – это вовсе не такое уж плохое развлечение для умственно отсталых. Но тогда почему же они возражают если он считает священными Форт Бьюла, или Нью-Йорк, или Оклахома-сити?

Когда Дормэс как-то выразил сомнение, так ли велики залежи железа в России, Карл с пеной у рта стал доказывать, что это совершенно несомненно! Ведь Россия – это Святая Россия и в качестве полезного атрибута святости должна иметь достаточные запасы железной руды; чтобы знать это, Карлу вовсе не нужны специальные данные, ему

25 «Тихая ночь» - немецкая рождественская песня.

достаточно веры.

Дормэс не возражал бы против поклонения Карла Святой России. Но ведь Карл осыпал его насмешками беспрестанно повторяя слово «наивно» (любимое, а может быть, и единственное известное журналистам-коммунистам слово), когда Дормэс заикался о поклонении Святой Америке. Карл часто говорил о фотографиях в московском журнале «News», изображавших сильно обнаженных девушек на русских пляжах, что они свидетельствуют о процветании рабочих при большевизме; но он считал совершенно такие же фотографии сильно обнаженных девушек на пляжах Лонг-Айленда свидетельством вырождения рабочих при капитализме.

Дормэс с тревогой думал о том, что борьба в мире идет не между коммунизмом и фашизмом, а между терпимостью и фанатизмом. А в Америке дело осложняется еще и тем, что наихудшие фашисты отрекаются от слова «фашизм» и проповедают порабощение капитализму под видом конституционной и традиционной исконно американской свободы. Они хуже всех потому, что крадут не только заработную плату, но также и честь. Преследуя свои цели, они готовы цитировать не только священное писание, но также и Джефферсона.

Превращение Карла Паскаля в такого же фанатика, как большинство вождей коммунистической партии, потому огорчало Дормэса, что когда-то он простодушно надеялся, что массовость коммунизма является залогом спасения от циничного диктаторства. А теперь он видел, что должен остаться одиноким – «либерал», презираемый всеми шумливыми пророками за отказ быть послушным орудием и тех и других. Но на худой конец, либералы, сторонники терпимости, может быть, сумеют сохранить что-то от цивилизации, независимо от того, какой вид тирании установится в мире. Когда я думаю об истории, я все больше и больше убеждаюсь, – размышлял Дормэс, – что все лучшее было создано свободным, ищущим, критическим духом, сохранение этого духа гораздо важнее, чем какая бы ни была социальная система. Но и поклонники ритуала-и варвары способны запереть людей науки и заставить их замолчать навсегда».

Да, самое ужасное из содеянного этими врагами чести и совести, промышленными пиратами и их преемниками, вооруженными дубинками корпо, – это то, что они превратили смелых, добрых, пылких и полуграмотных Карлов Паскалей в ожесточенных фанатиков. И как великолепно это у них получилось! Дормэсу было тяжело с Карлом; ему приходило в голову, что его следующим тюремщиком может оказаться не кто иной, как сам Карл; он вспоминал, как большевики, придя к власти, с полной уверенностью в своей правоте арестовали таких замечательных женщин, как Спиридонова, Брешковская и Измаилович, которые своей деятельностью против царя, своей готовностью снести сибирскую ссылку во имя «свободы для народных масс» немало содействовали свершению революции, благодаря которой большевики сумели взять в свои руки управление страной, и не только снова запретить народным массам свободу, но еще и объяснить им, что свобода – это всего-навсего дурацкий буржуазный предрассудок.

Таким образом, Дормэс, спавший на расстоянии двух с половиной футов над своим старым приятелем, чувствовал себя совершенно одиноким. Генри Видер, Виктор Лавлэнд и мистер Фок были уже покойниками, а с Джулиэном, которого держали в одиночной камере, ему почти не удавалось поговорить.

Дормэс мечтал о побеге; эта мысль неотвязно владела им во сне и наяву, доводя его почти до безумия; ему показалось, что у него остановилось сердце, когда однажды взводный Арас Дили шепнул ему в уборной, где Дормэс как раз мыл пол:

– Послушайте, мистер Джессэп, миссис Пайк устраивает вам побег. Я вам помогу бежать, как только будет возможно.

Все дело было в часовых, несших караул за оградой лагеря. Как уборщик, Дормэс имел возможность выходить из своей камеры. Арас ослабил доски и раздвинул колючую проволоку в одном проходе между зданиями. Но за оградой Дормэса могли подстрелить часовые.

С неделю Арас наблюдал. Он знал, что один из ночных часовых частенько напивался

пьяным. Ему прощали это за то, что он лучше других умел избивать смутьянов. В течение недели Арас всячески поддерживал пагубную привычку часового за счет Лоринды и делал это с таким усердием, что его самого дважды уносили в кровать без чувств. Снэйк Тизра заинтересовался было этим делом, но Снэйк и сам после двух рюмок настраивался на демократический лад и запевал «Старую прялку».

Арас по секрету сообщил Дормэсу:

– Миссис Пайк... она боится послать вам записку, как бы ее кто не перехватил, но она просила сказать вам, чтобы вы никому из товарищей не говорили, что собираетесь улизнуть, а то все может всплыть наружу.

И вот однажды вечером, когда Арас сунул голову к ним в камеру и грозно рявкнул: «Эй ты, Джессэп, что же это у тебя один бак совсем грязный?» – Дормэс спокойно окинул взглядом камеру, которая в течение шести месяцев была для него спальней, кабинетом и скинией, взглянул на Карла Паскаля, который читал на своих нарах, медленно покачивая ногой в одном рваном носке, на Трумена Уэбба, штопавшего штаны, на клубы табачного дыма под потолком вокруг электрической лампочки и молча вышел в коридор.

Стояла мгlistая январская ночь.

Арас сунул ему старую шинель ММ, шепнул на ходу: «Третий проход справа; фургон против церкви на углу» – и исчез.

Дормэс на четвереньках пролез под колючей проволокой и спокойно вышел на улицу. Вдалеке маячил единственный часовой, и он, судя по нетвердой походке, был пьян. За квартал от него стоял мебельный фургон.

Шофер и его помощник приподняли его домкратом и, видимо, готовились менять огромную шину. При свете фонаря Дормэс рассмотрел, что шофер был тот самый человек с физиономией бандита, который развозил пакеты с листовками Нового подполья.

Шофер буркнул: «Влезайте – живо». Дормэс притаился между письменным столом и качалкой.

В то же мгновение он почувствовал, что фургон стал прямо – из-под него вытащили домкрат, – и услышал голос шофера:

– Порядок. Поехали. Придвиньтесь-ка поближе и послушайте, что я вам скажу, мистер Джессэп. Вам слышно? ММ не слишком-то строго стерегут таких, как вы, почтенных джентльменов. Они считают, что стоит у вас отобрать ваши конторы, особняки и автомобили, у вас уже ни на что не хватит пороку. Но вы вроде не такой человек, мистер Джессэп. А потом они уверены, что, даже случись вам бежать, они без труда поймают вас снова, потому что вам не спрятаться, как парню, который уже давно шатается без работы и немало побродяжил на своем веку. Но вы не беспокойтесь, мы все устроим. У революционера всегда есть настоящие друзья – и враги тоже, это уж верное слово.

Тут только Джессэпу пришло в голову, что по приговору Эффингэма Суона он в случае побега подлежит смертной казни.

– А ну его ко всем чертям! – пробормотал он, как это делал Карл Паскаль, и с наслаждением вытянулся в мчавшемся грузовике, радуясь движению.

Свободен! Мимо него мелькали огни встречных деревень.

Один раз его спрятали под сеном в сарае; в другой раз – в еловой роще высоко на горе; а одну ночь он проспал на крышке гроба в мастерской гробовщика. Он крался укромными тропинками; ехал в машине аптекаря; укутанный в меховое пальто с высоким воротником и в меховой шапке трясся в коляске мотоцикла сотрудника Нового подполья, служившего взводным командиром у ММ. Последний высадил его перед нежилым домиком, к которому их привел извилистый проселок. У дома этого был совсем запущенный вид: некрашенные, потемневшие стены, осевшая крыша и сугробы до самых окон.

Дормэс подумал, что это ошибка. Мотоцикл с грохотом отъехал; он постучал в дверь, и ему открыли Лори да Найк и Сисси, вскрикнувшие в один голос:

– Милый!

Он мог только пробормотать:

– Ну вот!

С него стащили меховое пальто, и он стоял посреди комнаты с ободранными обоями и совершенно пустой если не считать железной кровати, двух стульев и стола, – маленький человек с грязным лицом, бледным к худым, как после болезни; его когда-то холеные усы и борода казались пучками свалывшейся соломы, волосы космами свисали на шею, одежда висела ключьями, – старый, больной, унылый бродяга. Он опустился на стул и устался на женщин. Может быть, они и настоящие – может быть, они действительно здесь; может быть, он и вправду на небесах и смотрит на двух самых главных ангелов, – но он так часто и так жестоко обманывался в своих видениях за эти ужасные месяцы! Дормэс разрыдался, а они утешали его, ласково глядя и даже не очень много болтая.

– Я приготовила для тебя горячую ванну.

– А я помою тебе спину.

– А потом мы дадим тебе горячего куриного бульона и мороженого.

Это было все равно что услышать: господь бог ожидает тебя на своем троне, и благословенны будут все, кого ты благословишь, и враги твои будут повержены в прах!

Эти святые женщины действительно достали длинную жестяную ванну, поставили ее на кухне, наполнили водой, согретой в чайнике и в кастрюле на печке, приготовили щетку, мыло, большую губку и такое длинное пушистое банное полотенце, какого Дормэс даже не помнил. А Сисси еще умудрилась привезти из Форты Бьюла его башмаки, рубашки и три костюма, которые казались ему теперь королевским одеянием.

Он в течение шести месяцев ни разу не принял горячей ванны, вот уже три месяца носил одно и то же белье и два месяца (в самую зиму) обходился без носков.

Если ли увидев Лоринду и Сисси, он почувствовал близость рая, то, медленно, с наслаждением погрузившись в горячую ванну, он окончательно уверился, что попал на небо и предался райскому блаженству.

Они вошли в комнату, когда он был еще полуодет, так же мало заботясь о скромности, как если бы он был двухлетним ребенком, с которым у него действительно появилось что-то общее. Они сначала посмеивались, но смех этот сменился приглушенными вскриками ужаса, когда они увидели его иссеченную спину. Но даже и тогда Лоринда сказала только: «О мой милый».

Если Сисси в свое время радовалась, что Лоринда избавила ее от материнских забот, Дормэс наслаждался ее заботами. Снэйк Тизра и трианонский концлагерь не баловали его заботливостью.

Лоринда смазала ему спину мазью, потом припудрила. Подстригла его, и не так уж плохо. Она готовила для него жирные, сытные блюда, о которых он мечтал, голодая в своей камере: бифштекс с луком, маисовый пудинг, гречневые пироги с колбасой, яблоки в тесте и грибной суп-пюре.

Когда готовился его побег, было решено, что везти его в ее уютное кафе в Бичер Фоллз небезопасно. ММ уже заглядывали туда в поисках его. Но Лоринда и Сисси оборудовали для беглецов, переправляемых в Канаду по поручению Нового подполья, этот невзрачный домик, поставив туда полдюжины кроватей и заготовив массу консервов и банок замечательного (по мнению Дормэса) меда и варенья. Перейти через канадскую границу теперь было гораздо легче, чем в те времена, когда Бак Титус пытался тайно перевезти туда семью Джессэпа. Теперь была разработана система, как в славные времена сухого закона: в нее входили и новые лесные тропинки, и подкуп пограничников, и поддельные паспорта. Дормэсу не угрожала никакая опасность. Но береженого бог бережет, и Лоринда и Сисси, взявшие себе манеру обсуждать дела Дормэса, игнорируя его присутствие и ничуть его не стесняясь, словно это был ребенок, который не может их понять, поразмыслив, пришли к выводу, что его следует омолодить.

Покрасим волосы и усы в черный цвет и сбреем бороду, – вслух размышляла Лоринда. – Жаль, что у нас мало времени, – его стоило бы облупить солнцем, чтобы придать ему великолепный флоридский загар.

– Да, – сказала Сисси, – он будет очень мил.

– Я не позволю сбривать бороду, – запротестовал Дормэс. – Почему знать, какой у меня окажется подбородок.

– Он, кажется, все еще думает, что он владеец газеты и любимец общества в Форте Бьюла? – подивилась Сисси, и они безжалостно взялись за дело.

– Оттого и получают эти проклятые войны и революции, что женщины, если им дать волю... ох! Осторожнее!.. До смерти заласкают любого мужчину, имевшего несчастье попасть к ним в лапы. Красить волосы – это надо придумать! – негодовал Дормэс.

И все же он до неприличия обрадовался, что у него оказалось молодежавшее лицо и вполне терпимый, упрямый подбородок. Сисси отправили обратно в Бичер Фоллз поддерживать в кафе видимость жизни, а Лоринда с Дормэсом три дня поглощали бифштексы и пиво, играли в пинокль и валялись в постели, без конца вспоминая все, что они передумали друг о друге за эти одинокие шесть месяцев, которые были длиннее шестидесяти лет. Дормэс навсегда сохранил воспоминание об этой бедной деревенской спальне с лоскутом красного ковра и с парой шатких стульев и о Лоринде, свернувшейся калачиком на кровати, – воспоминание, воплощавшее для него не убожество зимы, а юность и романтическую любовь.

А потом на лесной полянке, среди опущенных снегом елей, в нескольких футах от канадской границы он заглянул в глаза двум любимым женщинам, коротко простился с ними и шагнул в изгнание, оставив позади Америку, по которой он уже теперь страстно тосковал.

XXXVII

Борода его снова отросла, он был с ней дружен столько лет, что ему очень не доставало ее все это время. Его волосы и усы снова приобрели почтенный стальной оттенок, вместо лилово-черного цвета, который был особенно неестественным при электрическом освещении. Он больше не волновался при виде бараньей отбивной или куска мыла. Но и до сих пор им каждый раз овладело радостное удивление при мысли, что он может говорить все, что ему угодно, говорить, как ему угодно, и говорить публично.

Он сидел в монреальском кафе с двумя своими ближайшими друзьями, двумя товарищами по работе в отделе пропаганды и печати Нового подполья (Уолт Трубридж был его председателем), и эти друзья были не кто иные, как Пирли Бикрофт, номинальный президент Соединенных Штатов, и Джо Элфри – колоритный молодой человек, бывший важный представитель коммунистической партии в Америке, работавший там под именем мистера Кэйли до тех пор, пока его не вышвырнули из этой малочисленной организации за создание «единого фронта» с социалистами, демократами и даже хористами во время антикорповского восстания в Техасе.

Потягивая пиво, Бикрофт и Элфри, как обычно, препирались. Элфри настаивал, что единственное решение американской проблемы было в диктатуре лучших представителей трудящихся масс, диктатуре строгой и, если нужно, насильственной, но (и это была его новая ересь) не подчиненной Москве, Бикрофт же легкомысленно утверждал, что «единственное, что нам нужно», – это возврат к тем же политическим партиям, к тому же выколачиванию голосов и к тем же разглагольствованиям Конгресса, как было в благополучные дни Уильяма Мак-Кинли.

Дормэс откинулся на спинку стула, не особенно интересуясь тем, какую чепуху несли его друзья, лишь бы можно было говорить без опасения, что официанты – тайные шпионы ММ. Он удовлетворялся сознанием, что, как бы то ни было, Трубридж и другие подлинные вожди никогда уж не согласятся на правительство, основанное на корысти, заинтересованное в корысти и существующее во имя корысти. Он с удовольствием вспоминал о том, что как раз вчера Уолт Трубридж (он узнал это от его секретаря) отказал Уилсону Шейлу, нефтяному магнату, который приехал, чтобы предложить Трубриджу – по-видимому, вполне искренне – свое состояние и свой организаторский опыт.

– Ничего не выйдет. Очень сожалею, Уилл. Но не можем принять ваше предложение.

Что бы ни случилось – даже если Хэйк придет сюда и перережет нас всех нас с нашими канадскими хозяевами, – вам и подобным вам ловкачам-пиратам пришел конец. Что бы ни случилось, к какой бы новой системе правления мы ни пришли, как бы она ни стала называться – «кооперативное государство», или «государственный социализм», или «коммунизм», или «возрожденная традиционная демократия»! – ее будет отличать новый дух. Управление страной – это не призовое состязание для нескольких ловких и решительных спортсменов вроде вас, Уилл, а всенародное объединение на товарищеских началах, в котором государство является хозяином важнейших ресурсов страны и в котором худшим видом преступления считается не убийство, не похищение, а использование государства в своих личных интересах, в котором мошенник, продающий бесполезные или вредные лекарства, или человек, обманувший Конгресс, будет наказываться строже, чем парень, из ревности зарубивший топором соперника... Что? Что тогда будет с такими, как вы? Кто знает! Что стало с динозаврами?

Так что работой своей Дормэс был доволен.

Но он был почти так же одинок, как в своей камере в Трианоне, почти так же жестоко тосковал по Лоринде, Баке, Эмме, Сисси и Стиве Пирфайксе.

Никто из них, кроме Эммы, не мог приехать к нему в Канаду, а она не хотела. В письмах ее сквозило опасение, что Монреаль – это несравнимая с Вустером глушь. Она писала, что они с Филиппом надеются, что им удастся испросить у корпо прощение для Дормэса. В результате ему приходилось общаться лишь с такими же эмигрантами, тоже бежавшими от корпоизма, и он узнал жизнь, которая была так хорошо, слишком хорошо известна всем политическим изгнанникам со времен первого восстания в Египте, когда повстанцам пришлось искать убежища в Ассирии.

Дормэс, по вполне естественной человеческой слабости, предполагал, что в Канаде все с волнением будут слушать его рассказы о тюрьме, пытках и побеге. Но оказалось, что его опередили десять тысяч подобных страдальцев, и канадцы, как бы далеко ни шло их любезное гостеприимство, безмерно устали проявлять сочувствие. Они полагали, что причитающаяся им квота мучеников с лихвой выполнена, а что касается до тех эмигрантов, которые приезжали без единого цента, а таких было большинство, – то канадцам уже явно надоело обделять свои семьи ради неведомых беглецов и даже воздавать должное знаменитым американским писателям, политическим деятелям и ученым, когда те расплодились, как комары.

Если бы Герберт Гувер совместно с генералом Першингом вздумали прочитать лекцию об ужасающих условиях в Америке, вряд ли у них набралось бы и сорок слушателей. Экс-губернаторы и судьи с большой охотой нанимались в судомойки, а бывшие главные редакторы пололи репу. Та же картина, по слухам, наблюдалась в Мексике, Лондоне и Франции.

Итак, Дормэс вел скудное существование на свои двадцать долларов в неделю, которые ему платило Новое подполье, и не встречался ни с кем, кроме таких же, как он, эмигрантов на таких же сборищах, какие посещали в Париже белые русские, красные испанцы, синие болгары и прочие разноцветные бунтари, оказавшиеся за пределами родины. Они набивались по двадцать человек в маленькую гостиную, весьма напоминающую камеру в лагере по своему размеру, характеру обитателей, а к концу вечера и по запаху, и просиживали с восьми часов до полуночи, возмещая отсутствие обеда кофе с булочками и тощими бутербродами, и без конца говорили о корпо. Они рассказывали те же анекдоты о президенте Хэйке, которые раньше рассказывались о Гитлере, Сталине и Муссолини, выдавая их за «достоверные факты». Особенно популярен был анекдот о человеке, который вытащил из воды тонувшего Хэйка и, с ужасом увидев, кого он спас, умолял президента никому про это не рассказывать.

В кафе они жадно хватили американские газеты. Человек, лишившийся одного глаза в борьбе за свободу, оставшимся слезящимся глазом искал в газете сообщений о результатах

состязаний в Миссурийском клубе игроков в бридж.

Это были смелые и романтические, трагические и незаурядные люди, но Дормэс начал уставать от них; он был вынужден с болью признать, что ни один нормальный человек не может долго выносить трагедию другого человека и что дружеское сочувствие в один прекрасный день неминуемо сменяется раздражением.

Его очень взволновала проповедь, которую он услышал в наспех построенной американской церкви, предназначенной для всех исповеданий; полуживой заморыш, бывший некогда очень важным епископом, провозгласил с сосновой кафедры: «При реках Вавилона сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди него повесили мы наши арфы... Как нам петь песню господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни, язык мой, к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего».

Здесь, в Канаде, на земле чужой, американцы плакали и ежедневно восклицали, утешая себя прекрасной, но ложной надеждой: «В будущем году – в Иерусалиме». Иногда Дормэса раздражали бесконечные жалобы эмигрантов, потерявших все: сыновей, жен, имущество и самоуважение, – раздражало, что они считали, будто только на их долю выпали такие ужасы; а иногда он тратил все свободное время на то, чтобы собрать несколько долларов и как-нибудь помочь этим несчастным. Иногда все, связанное с Америкой, представлялось ему бесконечно дорогим и прекрасным: и генерал Мид, победитель при Геттисберге, и голубые петунии в Эммином саду, и влажный блеск рельсов, увиденных из окна вагона ранним апрельским утром, и рокфеллеровский центр. Но каково бы ни было его настроение, он решительно отказывался сидеть со своей арфой у чьих бы то ни было рек и гордиться ролью прославленного нищего.

Он хотел вернуться в Америку, даже с риском снова попасть в тюрьму. А пока он рассылал пакеты с печатным динамитом Нового подполья и внимательно следил за сотней упаковщиков, которые были раньше профессорами и кондитерами.

Он просил своего начальника, Пирли Бикрофта, направить его на более активную и более опасную работу – секретным агентом в Америку, куда-нибудь на Запад, где его не знали. Но главный штаб Нового подполья слишком много натерпелся из-за неопытных агентов, пускавшихся в откровенные разговоры с незнакомыми или не сумевших молча вынести пытки. Много изменилось с 1929 года. В Новом подполье высшей доблестью считалось не нажить миллион долларов, получить разрешение рисковать своей жизнью ради истины, не требуя за то ни благодарности, ни награды.

Дормэс понимал, что руководители считают его недостаточно молодым и недостаточно сильным, но в то же время видел, что к нему присматриваются. Он дважды удостоился чести разговаривать о каких-то пустяках с самим Трубридом – конечно, такая беседа – честь, хотя об этом как-то забываешь, – такой он простой и приветливый человек, этот создатель зловещей подрывной организации. Дормэс надеялся, что ему еще удастся доставить побольше хлопот этим бедняжкам корпо, которые совсем извелись и разрывались на части – тут и война с Мексикой, тут и бесконечные восстания.

В июле 1939 года, когда Дормэс находился в Монреале уже больше пяти месяцев, а со времени суда над ним прошел год, американские газеты, прибывавшие в штаб Нового подполья, подняли яростную кампанию против Мексики.

Оказывается, отряды мексиканцев переходили границу и проникали на территорию Соединенных Штатов, причем всегда почему-то в тех самых пустынных районах, где наши войска в это время проводили учения, а может, собирали морские ракушки. Мексиканцы сожгли город в Техасе – к счастью, все женщины и дети уехали в этот день на пикник с воскресной школой. Мексиканский патриот (ранее фигурировавший как эфиопский патриот, китайский патриот и патриот Гаити) явился к бригадиру ММ и сообщил ему, что хотя ему очень неприятно рассказывать неблагоприятные вещи о своей любимой стране, но совесть заставляет его открыть, что мексиканские правители собираю сбросить бомбы на Ларедо,

Сант-Антонио, Бизби, а может быть, также на Такому и Бангор в штате Мэн Этот эпизод страшно взволновал корповские газе и экстренные выпуски с фотографиями совестливого перебежчика вышли в Нью-Йорке и Чикаго через полчаса после того, как он появился у палатки бригадира... где совершенно случайно на окрестных кактусах в этот момент сидели сорок шесть газетных репортеров Америка встала на защиту своих очагов, включая очаги обитателей Парк-Авеню в Нью-Йорке, против предательской Мексики с ее огромной армией из 67000 человек с 39 военными самолетами. Женщины прятались под кровати; пожилые джентльмены прятали деньги в стволах вязов, а жена одного фермера-птицевода живущего в семи милях к северо-востоку от Эстеллина, в Южной Дакоте, женщина, широко известная своими кулинарными талантами и острым глазом, ясно видела отряд из девяноста двух мексиканских солдат, проходивший мимо ее дома в три часа семнадцать минут утра 27 июля 1939 года.

В ответ на эту угрозу Америка, единственная страна, никогда не проигрывавшая войны и никогда не начинавшая несправедливой войны, по сообщению чикагской «Дейли ивнинг корпорейт», поднялась, как один человек. Вторжение в Мексику предполагалось совершить, как только спадет жара, и даже раньше, если удастся наладить холодильные установки. В течение одного месяца пять миллионов человек были призваны в армию и немедленно приступили к обучению.

Так, пожалуй, в чересчур легкомысленном тоне, обсуждали объявление войны Мексике Джо Кэйли и Дормэс. Если они находили весь этот поход нелепым, то в их защиту следует сказать, что они считали нелепой всякую войну: и ту наглость, с которой обе стороны лгут относительно побудительных причин, и зрелище взрослых людей, по-детски радующихся возможности вырядиться в причудливые одежды и маршировать под примитивную музыку. Но войны, по мнению Дормэса и Кэйли, были не только нелепыми, но и страшными, потому что в каждой войне гибли миллионы людей, потому тысяч голодающих младенцев – это слишком высокая цена за португую даже для самого красивого и трогательного юного лейтенанта.

Но оба они немедленно отреклись от своего убеждения, что все войны нелепы и отвратительны, оба заявили, что народные войны против тирании составляют исключение, как только узнали, что в Америке вспыхнуло народное восстание против всего корповского режима и что захват Мексики снят пока с повестки дня. Восстание охватило территорию примерно между Солт Сейнт Мэри, Детройтом, Цинциннати, Уичитой, Сан-Франциско и Сизтлом, хотя на этой территории отдельные большие участки оставались верны президенту Хэйку, равно как, с другой стороны, вне ее многие обширные области примкнули к восстанию. Это была та часть Америки, которая всегда слыла наиболее «радикальной», – это неопределенное слово, видимо, означало «наиболее критически относящейся к пиратам». Это был район популистов, Беспартийной Лиги, рабоче-фермерской партии и Лафолеттов столь обширного семейства, что оно само по себе составляло значительную партию.

Как бы там ни было, ликовал Дормэс, восстание доказывает, что вера в Америку и надежда на ее возрождение не умерли.

Восставшие в большинстве своем голосовали на выборах за Уиндрипа, веря в его пятнадцать пунктов, веря, что он действительно хочет вернуть народу власть, украденную банкирами и промышленниками. Убедившись, что их снова обманули с помощью крапленой колоды карт, они вознегодовали; но они были заняты на полях и молочных фермах, на заводах и фабриках, и только когда им предъявили нагло-идиотское требование, чтоб они отправились в пустыню завоевывать дружественную страну, они проснулись и поняли, что, пока они спали, власть над ними захватила ничтожная шайка преступников, вооруженных высокими идеями, громкими словами и множеством пулеметов.

Восстание было настолько широким, что католический архиепископ Калифорнии и радикальный экс-губернатор Миннесоты оказались в одних и тех же рядах.

Вначале повстанцы были, пожалуй, немного смешны, как были смешны необученные и

пестро одетые, плохо представлявшие себе свои цели участия революции 1776 года. Президент Хэйк в своем выступлении пренебрежительно назвал восстание «нелепым бунтом бродяг, не желающих работать». Вначале восставшие лишь выкрикивали ругательства, бросали камни отряды ММ и полицейских, пускали под откос воински поезда и уничтожали имущество таких честных граждан, как владельцы корповских газет.

Удар грянул в августе, когда генерал Эммануил Кун – начальник штаба регулярной армии – прилетел из Вашингтона в Сент-Пол, взял на себя командование фортом Спеллинг и объявил Уолта Трубриджа временным президентом Соединенных Штатов, до той поры, пока будут проведены новые всеобщие свободные президентские выборы.

Трубридж сообщил о своем согласии при условии, что он не будет выставлен кандидатом на пост постоянного президента.

Далеко не все регулярные войска присоединились к повстанцам Куна. (У либералов есть два очень стойких мифа: что католическая церковь отличается меньшей строгостью и большим эстетизмом, чем протестантская, и что солдаты-профессионалы ненавидят войну гораздо больше, чем члены Конгресса и старые девы.) Но, во всяком случае, среди солдат регулярной армии оказалось достаточно таких, которым надоели вымогательства алчных корповских уполномоченных и которые примкнули к генералу Куну. Как только его армия, состоявшая из регулярных войск и наскоро обученных миннесотских фермеров, выиграла битву у Манкато, войска, стоявшие у Ливенуорта, заняли Канзас-сити и собрались выступить на Сент-Луис и Омаху; а в Нью-Йорке, в Говернорс-Айленд и форте Уодсуорт войска сохраняли нейтралитет, спокойно наблюдая, как партизаны. в большинстве штатские, еврейской наружности, захватывают метро, электростанции и вокзалы.

Но на этом восстание приостановилось, потому что в Америке, которая так часто хвасталась своим всеобщим бесплатным образованием, население было настолько необразованно, что в большинстве своем не знало, чего хочет, и вообще так мало знало, что не представляло себе, чего можно хотеть.

В стране было много школьных помещений; не хватало только грамотных учителей, прилежных учеников и школьного управления, которое смотрело бы на преподавание как на профессию, достойную такого же важения и такой же оплаты, как страховое дело, или бальзамирование, или прислуживание в ресторанах. Большинство американцев узнавало в школе, что бог отрекся от евреев и сделал избранным народом американцев, причем на этот раз у него все получилось гораздо лучше, и посему американцы – самый богатый, самый добрый и самый умный из всех народов; что кризисы – преходящие неприятности и на них не стоит обращать внимание; что профсоюзы должны интересоваться только повышением заработной платы и сокращением рабочего дня и, главное, не должны объединяться в политических целях и разжигать эту возмутительную классовую борьбу; что, хотя иностранцы стараются изобразить политику чем-то таинственным и непонятным, по существу, это настолько простое дело, что любой деревенский адвокат или любой клерк в управлении столичного шерифа вполне достаточно подготовлен, чтобы ею заниматься; и что Джон Рокфеллер и Генри Форд, стоит им захотеть, могут стать самыми выдающимися государственными деятелями, композиторами, физиками или поэтами.

Даже два с половиной года деспотического правления не научили большинство избирателей ничему, кроме того, что неприятно, если тебя арестовывают слишком часто.

Таким образом, после первой яркой вспышки восстание пошло на убыль. Ни корпо, ни большинство их противников не были достаточно компетентными, чтобы сформулировать ясную, надежную теорию самоуправления и решительно взяться за трудное дело подготовки страны к свободе... Даже теперь, после Уиндрипа, большинство беззаботных потомков мудрого Бенджамена Франклина все еще не понимали, что слова Патрика Генри «Дайте мне свободу или дайте мне умереть» – это нечто большее, чем университетский лозунг или надпись на папиросах.

Сторонники Трубриджа и генерала Куна, называвшиеся теперь «Американское

кооперативное содружество», не потеряли той территории, которую им удалось захватить; они удерживали ее, изгоняя всех агентов корпо и время от времени присоединяя один-два округа. Но в целом их правление, так же как и правление корпо, было столь же неустойчивым, как политическое положение в Ирландии.

В результате, если в августе казалось, что победа Уолта Тробрриджа уже обеспечена, то к октябрю выяснилось, что до нее еще очень далеко. Тробрридж пригласил к себе Дормэса Джессэпа и сказал ему следующее:

– Кажется, нам теперь нужны в Штатах агенты, обладающие не только мужеством, но и соображением. Мы отправляем вас пропагандистом в Миннесоту. Ваш новый начальник – генерал Барнес. Желаю вам успеха, Джессэп. Постарайтесь убедить сторонников дисциплины и дубинки, что они не столько страшны, сколько смешны.

Уходя от Тробрриджа, Дормэс подумал только, что Уолт приятный парень и что работать с ним – одно удовольствие. И с этим он приступил к новой работе тайного агента и профессионального героя, лишенной даже смешных паролей и прочих атрибутов, которые придавали бы ей характер увлекательной игры.

XXXVIII

Вещи были уложены. На это ушло совсем мало времени, ибо весь его багаж состоял из туалетных принадлежностей, одной смены белья и первого тома шпенглеровского «Заката Европы». Скоро уже пора на вокзал, а пока он сидел в вестибюле гостиницы. Внимание его привлекло появление дамы, необычайно шикарной для этой скромной гостиницы: в роскошном шелковом платье, с завивкой-перманент, с накрашенными ресницами. Она прошла через вестибюль, прислонилась к колонне, вертя в руках длинный мундштук, и устала на Дормэса. Казалось, он чем-то забавлял ее.

Кто это, корповская шпионка?

Она лениво направилась к нему, и он вдруг узнал Лоринду Пайк и замер, разинув рот.

Ах, нет, милый, – смеясь проговорила она, – не аи, что я сменила род занятий. Просто на такой маскарад лучше всего клюют корповские пограничники, Правда, меня трудно узнать?

Дормэс поцеловал ее с такой страстью, что шокировал всех окружающих: они не привыкли к подобным ценам в своей респектабельной гостинице.

Лоринда узнала от агентов Нового подполья, что он собирается вернуться в Штаты, где ему грозило быть запоротым до смерти. Она приехала, чтобы проститься и сообщить ему последние новости.

Бак все еще в концентрационном лагере; его больше боятся и гораздо лучше охраняют, чем в свое время Дормэса, и Линде не удалось его освободить. Джулиэн, Карл и Джон Полликоп живы, но все еще в лагере. Отец Пирфайкс руководит ячейкой Нового подполья в Форте Бьюла, но несколько сбит с толку: он одобряет войну с Мексикой, которую ненавидит за то, как там обращаются с католическими священниками. Они с Лориндой жестоко проспорили целый вечер о засилье католицизма в Латинской Америке. Как настоящая либералка, Лоринда умудрялась говорить об отце Пирфайксе одновременно с презрительным негодованием и величайшей любовью. Эмма и Дэвид, кажется, очень довольны своей жизнью в Вустере, хотя ходят слухи, что жена Филиппа не особенно любезно принимает советы своей свекрови по части кулинарии. Сисси стала искусным агитатором, но не забывает, что ее истинное призвание – архитектура, и рисует планы домов, которые она вместе с Джулиэном будет когда-нибудь отделять. Ненависть к капитализму мирно уживается у нее с вполне капиталистическим представлением о медовом месяце с Джулиэном, который продлится не меньше года. Наименее неожиданным было известие, что раскаявшийся Фрэнсис Тэзброу выпущен из корповской тюрьмы, в которую он попал за слишком наглое взяточничество, снова назначен районным уполномоченным д на хорошем

счета у руководства; экономкой у него служит миссис Кэнди, и ее ежедневные доклады о самых секретных его распоряжениях выделяются поступающих в вермонтское отделение НП донесений своей своей аккуратностью и неуклонным следованием грамматическим правилам.

Дормэс стоял на площадке вагона, и, глядя на него, Лоринда воскликнула:

– Ты совсем поправился! Ты счастлив? Будь счастлив, милый!

Даже теперь эта стойкая женщина не заплакала. Она резко повернулась и быстро побежала по платформе. Но ее самоуверенного изящества как не бывало. Высунувшись из окна, Дормэс видел, как она остановилась, нерешительно подняла руку, помахала анонимному ряду окон поезда, потом нетвердым шагом побрела к выходу. Тут только он сообразил, что у нее не было даже его адреса, что никто из любивших его людей не будет теперь знать его адреса.

Мистер Уильям Бартон Доббс – вояжер по продаже сельскохозяйственных машин, невысокий человек с прямой осанкой, седой бородкой и вермонтским акцентом, проснулся утром в отеле в той части штата Миннесота, где было так много американцев баварского происхождения и потомков янки и так мало «радикалов»-скандинавов, что район этот оставался верным п резиденту Хэйку.

Он сошел к завтраку, весело потирая руки. Съел грейпфрут и кашу без сахара (на сахар было наложено эмбарго), оглядел себя со вздохом: «Голстею: вечно на воздухе, аппетит дьявольский – надо меньше есть»; после этого съел еще яичницу с ветчиной, выпил «желудевый кофе с морковным джемом – войска Куна отрезали район от кофе и апельсинов.

За завтраком он читал выходящую в Миннеаполисе «Дейли корпорейт». Газета сообщала о большей победе в Мексике; в том самом месте, между прочим, где за последние две недели были уже одержаны три «больших победы». Кроме того, сообщалось, что «позорный бунт» в Алабаме подавлен; газета также писала, что генерал Геринг собирается нанести президенту Хэйку и что самозванец Трубридж, «по достоверным сведениям», убит, похищен и отрекся от президенства.

– Ничего нового, – с сожалением констатировал мистер Уильям Бартон Доббс.

Когда он вышел из отеля, по улице проходил взвод минитменов. Все это были сельские парни, недавно набранные для войны с Мексикой; своим испуганным, кротким и неловким видом они напоминали кроликов. Они нестройно пели новейшую военную песню на мотив старинной песенки времен Гражданской войны «Когда Джонни вернется домой».

Из Мексики Джонни вернется домой.

Ура! Ура! Ура!

Усталый, осыпанный пылью чужой.

Ура! Ура! Ура!

Но он будет болтать на чужом языке,

С ним сеньора в седле и винтовка в руке.

Ох, и славно напьемся на радостях мы,

Когда Джонни вернется домой!

Голоса их дрожали. Они украдкой посматривали на людей, толпившихся на тротуаре, или мрачно смотрели себе под ноги, а толпа, которая еще недавно кричала бы: «Да здравствует Хэйк!» – теперь только посмеивалась:

– Эх вы, прощелыги, никогда вам не попасть в Мексику!

А из окна второго этажа кто-то даже решился крикнуть: «Да здравствует Трубридж!»

«Бедняги», – думал мистер Уильям Бартон Доббс, поглядывая на испуганных, игрушечных солдат, – к сожалению, не настолько игрушечных, чтобы это могло спасти их от смерти.

Зато он узнавал в толпе многих, кого его доводы и доводы шестидесяти агентов НП, работавших под его руководством, научили не бояться ММ, а смеяться над ними.

В открытом «форде» – он всегда жалел, что Сисси не видит, как он садится в свой собственный автомобиль, – Дормэс выехал из деревни. Кругом расстилалась прерия, покрытая прошлогодним жнивьем. Жаворонки восторженно заливались, рассевшись на колючей проволочной изгороди, и хотя ему недоставало родных холмов Форта Бьюла, его радовало необъятное небо, открытый простор прерии, манивший в бесконечность, веселое поблескивание озер, окаймленных ивами, тополями, и взлетевшая кверху стайка диких уток. Он весело насвистывал, машина неслась вперед встряхивая его на выбоинах.

Он подъехал к унылому желтому дому, к которому когда-то, должно быть, предполагалось пристроить крыльцо, а теперь только некрашеное пятно на передней стене свидетельствовало об этом намерении. Во взрытом свиньям и дворе фермер смазывал трактор. Дормэс весело приветствовал его:

– Уильям Бартон Доббс... представитель демойнской фирмы «Комбайны и новейшие сельскохозяйственные орудия».

Фермер кинулся позвать ему руку.

– Господи, какая честь, мистер Дже...

– Доббс !

– Совершенно верно. Простите.

В спальне в верхнем этаже дома его ждали семь человек, устроившиеся кто на стуле, кто на столе, кто на кровати, а кто и просто на полу. Это были, очевидно, фермеры и владельцы незатейливых лавчонок. Когда Дормэс торопливо вошел, они поднялись и поклонились.

– Добрый день, джентльмены. Есть новости, – сказал Дормэс. – Кун выгнал корпо из Янктона и Сиу Фолз. А теперь докладывайте.

Агенту, работавшему среди фермеров, которые опасались, как бы им не пришлось больше платить сельскохозяйственным рабочим, Дормэс посоветовал использовать следующий аргумент (такой же неопределенный, но доходчивый, как высказывания агента по страхованию жизни о росте автомобильных катастроф): бедность одного означает бедность всех... Это был не очень новый аргумент и не слишком логичный, но он убеждал многих упрямцев.

Для агента, работавшего среди поселенцев-финнов, твердивших, что Тробрэйдж – большевик и ничуть не лучше русских, у Дормэса была припасена вырезка из «Известий», в которой Тробрэйджа величали «социал-фашистским шарлатаном».

Для фермеров-баварцев, которые все еще в какой-то мере тяготели к наци, Дормэс припас статью, напечатанную в эмигрантской газете в Праге, доказывающую, правда, без статистических данных и без ссылок на официальные источники), что, по соглашению с Гитлером, президент Хэйк обязался, если он останется у власти, передать в германскую армию всех американских немцев, у которых хотя бы дед или бабка родились в Германии.

– Может, закончим бодрым гимном и благословением, мистер Доббс? – спросил самый молодой и самый легкомысленный и при этом самый способный агент.

– Что же, я бы не возражал. Это было бы вовсе не так уж неуместно, как вы думаете. Но, принимая во внимание ваши распущенные вкусы, может быть, мне лучше напоследок рассказать вам новый анекдот о президенте Хэйке и Мэ Вест, который мне довелось слышать позавчера... Всего хорошего. До свидания.

По дороге на следующее собрание Дормэса охватили сомнения:

Что-то мне не верится в эту историю о Хэйке и Гитлере. Пожалуй, лучше перестать ею пользоваться. О, знаю, знаю, мистер Доббс. Как вы говорите, если бы вы сказали правду нацисту, то это все равно будет ложь. Но все-таки надо от нее отказаться. И мы еще с Лориндой думали, что можем освободиться от пуританских представлений!.. Эти кучевые облака лучше всякого галиона. Если бы они могли перенести сюда гору Террор и Форт Бьюла, и Лоринду, и Бака, здесь был бы настоящий рай... О господи, мне очень не хочется, но, кажется, придется приказать напасть на пост ММ у Осакис; все готово. Интересно, это вчера по мне стреляли?.. Мне совсем не понравилась эта модная прическа Лоринды!

В эту ночь он спал в маленьком коттедже на берегу озера, окруженного светлыми березами. Хозяин с женой, поклонники Тробрриджа, настояли на том, что-бы уступить ему свою комнату с лоскутным одеялом и раскрашенными от руки кувшином и тазом.

Ему снилось (он раза два в неделю видел эти сны), что он снова в своей камере в Трианоне. Та же вонь, та же узкая с выбоиной койка и неотпускающее чувство страха, что в любой момент его потащат пороть.

Он услышал звуки волшебных труб. Солдат открыл двери и пригласил всех заключенных выйти. Во дворе к ним обратился генерал Эммануил Кун (которь во сне показался Дормэсу очень похожим на Шермана):

– Джентльмены, армия Содружества победила Хэйк взят в плен. Вы свободны.

И вот они выходят, согнутые, иссеченные шрамами искаленные, с невидящим взглядом, с непроизвольно стекающей на подбородок слюной – некогда пришедшие сюда сильными и смелыми людьми: Дормэс Дэн Уилгэс, Бак, Джулиэн, мистер Фок, Генри Видер Карл Паскаль, Джон Полликоп и Трумен Уэбб. Они направляются к воротам между двумя шеренгами солдат, которые держат винтовки «на караул» и плачут, глядя на с трудом плетущихся, измученных людей.

А за солдатами Дормэс увидел женщин и детей. Они ждут его – добрые объятия Лоринды, и Эммы, и Сисси, и Мэри, а позади них Дэвид, который держится за руку отца, и отец Пирфайкс. Здесь и Фулиш с гордо поднятым хвостом, а из толпы выступает миссис Кэнди со своим неизменным кокосовым тортом.

И вдруг появляется Шэд Ледью, и все бегут...

Хозяин тормозил Дормэса, шепча ему на ухо:

– Сейчас звонили по телефону: вас разыскивает отряд корпо.

И Дормэс снова выехал, и снова его приветствовали жаворонки, и так он ехал весь день, пока не добрался до маленькой хижины, скрытой в северных лесах, где тихие люди ждали вестей о свободе.

И до сих пор Дормэс продолжает свой путь в алом свете зари, ибо Дормэс Джессэп не может умереть.

У НИХ ЭТО ЕСТЬ!

(Послесловие, с которым есть смысл ознакомиться до чтения романа.)

1

...И вот Бэз Уиндрип стал президентом Соединенных Штатов Америки. В Белом доме расположился пестрый табор протитуированных политиканов, дипломированных убийц, садистов в профессорских очках. Возле Большого мешка с Золотом произошла смена караула. Часовые в касках, украшенных перьями демократических лозунгов, были отправлены в кордегардию. На их места, печатая шаг, встали идеологические парашютисты – чудовища с гнилыми мозгами, похожие на оккультных персонажей из фильмов Хичкока. В этой смене караула тень Гитлера была разводящим.

Итак, к власти в США пришел фашизм, выраженный в защитные цвета «истинного американизма». В пивных стойлах топают копытами нетерпеливые погромщики. Минитмены – разбойничья гвардия новоявленного фюрера – маршируют по улицам городов. Подвыпившие опричники «верховного вождя страны» Громят квартиры «активных негров», коммунистов и вообще людей «рузвельтовского толка». Бульварные листки с пылким усердием сообщают о роспуске всех, партий, кроме «корпоративной». Догадливые приверженцы нового строя тащат на площади еретическую литературу. На веселых кострах жгут книги Хемингуэя и Марка Твена, корчится в огне Мартин Чезлвит Диккенса. В джунглях фашизированных городов бродят красномордые хищники. Сдвинув котелки на затылок, они грозно мурлыкают гимны в честь своего повелителя.

Тот, кто хотел бы ознакомиться с сутью программы Бэза Уиндрипа, может удовлетворить свое любопытство чтением «Майн Кампф». Я же приведу здесь несколько образчиков стиля нового президента.

– У меня одно желание – заставить всех американцев понять, что они всегда были и должны оставаться впредь величайшей расой на нашей старой земле, и второе – заставить их понять, что, каковы бы ни были между нами кажущиеся различия – в смысл богатства, знаний, способностей, происхождения и влияния (все это, конечно, не относится к людям отличной от нас расы), все мы братья...

И еще:

– Всякий честный агитатор, то есть человек, честно изучающий и рассчитывающий средства для наиболее эффективного осуществления своей миссии, очень скоро убеждается, что было бы плохой услугой в отношении простого народа – это просто сбивает его с толку – знакомить его с действительным положением вещей с той же полнотой, как и более высокие слои общества.

Этот вполне своеобразный стиль Уиндрипа, несомненно, был многообещающим. Одна из его поклонниц, знаменитая Аделаида Гиммич, автор нашумевшего проекта – посылать из США каждому американскому солдату на любой фронт, где бы он ни был, по клетке с канарейкой, – заявила на банкете в Форте Бьюла: «По-моему, чтобы научиться Дисциплине, нам нужно снова пережить настоящую войну». А генерал Эджуэйс тут же брякнул без обиняков:

– Признаюсь: хотя я и ненавижу войну, но есть вещи и похуже. Ах, друзья мои, гораздо хуже! Это – состояние так называемого «мира», когда рабочие организации заражены, словно чумными микробами, безумными идеями анархической красной России!.. Состояние «мира», когда университетские профессора, журналисты и видные писатели тайно распространяют все те же возмутительные обвинения против Великой старой конституции!.. Нет, такой «мир» гораздо хуже самой ужасной войны!.. А теперь я могу сообщить вам хорошие новости! Проповедь неприкрытой наступательной силы очень быстро распространяется в нашей стране...

Генерал Эджуэйс знает, что он говорит. События, видимо, не заставят себя долго ждать. Известно, что в казармах США особой популярностью пользуется новая песенка,

сочиненная в недрах пропагандистского отдела военного министерства:

Из Мексики Джонни вернется домой.
Ура! Ура! Ура!
Усталый, осыпанный пылью чужой.
Ура! Ура! Ура!
Но он будет болтать на чужом языке,
С ним сеньора в седле и винтовка в руке.
Ох, и славно напьемся на радостях мы,
Когда Джонни вернется домой!

Есть основания полагать, что объявление Уиндрипом войны Мексике – дело нескольких часов. Прежде чем зажечь мировой пожар, Соединенные Штаты хотят оккупировать весь американский континент.

2

Читатель, который из начала этой статьи сделает вывод, что он прозевал новые президентские выборы в США, ошибется. Все, что мы рассказали, происходит на страницах романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно». Книга эта вышла за океаном в 1935 году и рисует воображаемый фашистский переворот, приуроченный к выборам президента в 1936 году.

Если вспомнить реальные события того времени, то станет ясной достоверность источников романа. Национальная ассоциация промышленников была встревожена либеральными реформами «нового курса». Реакция попыталась устроить «Марш на Вашингтон», наподобие похода Муссолини на Рим. Речь шла – ни больше, ни меньше – о свержении Франклина Рузвельта. Кучера бизнеса рассчитывали заодно «взять под уздцы» «умеренную часть» Конгресса. Старому зубру в генеральских погонах Ван Хорну Мосли (однофамильцу английского «фюрера») поручили возглавить Американский легион и бросить его в Путч. Когда дошло до дела, он струсил, затея провалилась. Таким образом, Льюис описывает несовершившиеся события. Основа романа – факты, которых не было в жизни. Совместимо ли это с реализмом? Да, вполне.

Государственную систему США нельзя назвать фашистской. Но фашизм имеет в этой стране могущественных покровителей. Живительный дождь щедрых субсидий орошает его многочисленные организации. Они располагают газетами, журналами, издательствами, клубами. Явления и тенденции, родственные фашизму, уже давно существуют в США. Синклер Льюис воплотил эти тенденции в образы. Он слил реализм с фантастикой. И даже беглый анализ позволяет обнаружить в этом сплаве драгоценные свойства тонко-саркастичного памфлета. Автор создал галерею портретов алчных бизнесменов, обезумевших генералов, гориллообразных мещан, жаждущих свести с ума американский народ, скомандовать ему: «В атаку!» – И бросить на поля апокалиптических битв за мировое господство.

«В атаку!» – так и называется катехизис, составленный из речей героя романа Бэза Уиндрипа, – книжонка, содержащая больше планов «преобразования мира», чем все романы Герберта Уэллса, вместе взятые. Без риска ошибиться можно утверждать, что одним из прототипов Уиндрипа был ныне покойный губернатор Луизианы фашист Хьюи Лонг.

Однажды Франклин Рузвельт, доверительно беседуя с близким ему человеком, сказал:

– Действуя гитлеровскими методами, Лонг хочет выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 1936 году. Он надеется собрать сто голосов на съезде демократической партии. После этого он намерен организовать самостоятельную группировку совместно с представителями прогрессивного блока Юга и Среднего Запада... Таким образом он рассчитывает победить демократов и привести к власти реакционного

кандидата от республиканской партии. К 1940 году положение в стране, по мнению Лонга, будет таково, что он станет диктатором²⁶.

И вот фабула романа «У нас это невозможно» разворачивается так, как если бы план Лонга был проведен в жизнь.

Но дело совсем не в конкретной аналогии. Синклер Льюис понимал – и именно в этом огромная ценность его романа для наших дней, – что ростки фашизма укоренились не только у обочин американской общественной жизни, но и проникли, то здесь то там, на основную магистраль политики США.

Роман Синклера Льюиса вышел в свет на русском языке четверть века тому назад. Я перечитал сейчас свою рецензию об этом произведении, напечатанную в то время, просмотрел другие статьи, и, скажу откровенно, они были несколько спокойнее самого романа. Иные важные подробности в размышлениях Льюиса и героев романа ускользнули от его критиков. Очевидно, двадцать пять лет тому назад мы знали Соединенные Штаты хуже, чем теперь.

А сейчас можно твердо сказать: во всей американской литературе нет и не было романа, который бы с такой силой предвидения на много лет вперед проследил извилистый процесс формирования фашизма в Штатах. И в этом смысле «У нас это невозможно» мы могли бы сравнить только с антифашистскими романами Фейхтвангера, и, прежде всего с «Успехом» и «Семьей Опперман». Синклер Льюис вполне отчетливо предсказал инквизиторский маккартизм и многие другие явления, вплоть до тех, какие мы наблюдаем в политической жизни США сегодня.

Любопытна такая деталь. Опричники фашиста Уиндрипа названы в романе «minute men». Но сегодня в США существуют люди, рекомендующие себя именно так: «минитмены». Это вооруженная до зубов, суперпогромная, антикоммунистическая организация, чей лидер Роберт Боливер Депью полагает, что третья мировая война уже началась.

Как произошло такое совпадение? Уж не взял ли фашист Депью это наименование из антифашистского романа? Нет, конечно. Все дело в том, что Синклер Льюис превосходно изучил стремление американской реакции к демократическому камуфляжу. Его характеристика общества «Дочерей Американской Революции» может считаться классической: «...организация эта состоит из женщин, тратящих одну половину своего времени на то, чтобы хвастаться своим происхождением от свободолюбивых американских колонистов 1776 года, а вторую, чтобы яростно нападать на своих современников, исповедующих именно те принципы, за которые боролись эти колонисты».

И вот, порывшись в материалах о войне американцев с англичанами за независимость, вы встретите упоминание о «минитменах» – людях, «готовых в минуту», иначе говоря, народных ополченцах славной эпохи, увековеченной в поэме Лонгфелло «Скачка Поля Ревира».

И когда Синклер Льюис назвал фашистскую гвардию Уиндрипа «minute men», он предугадал еще одну вполне конкретную форму кощунственной эксплуатации фашизмом духовных реликвий американца. Предугадал, как мы видим, точно. Минитмены возьматся с пулеметами, проводят полевые учения, горланят свои песни и, можно поручиться, не знают, что давно-давно старый умный писатель предсказал их появление, их безумие и даже их название...

Центральная фигура романа, Дормэс Джессэп, – редактор и издатель провинциальной газеты «Дейли Информер». Где-то мы уже встречали облик этого человека – утонченного хранителя моральных богатств, спокойного собирателя духовных ценностей. Дормэс Джессэп – это Густав Опперман, выросший на американской почве. Так же, как и его немецкий собрат, Дормэс непоколебимо верит в устойчивость окружающего.

²⁶ Библиотека внешней политики. Дневник посла Додда. Соц-эргиз. М., 1961, 283 стр.

Мир Дормэса Джессэпа складывается из обширного собрания любимых книг, серьезной привязанности к Лоринде Пайк, бесконечных часов упоительного раздумья в рабочем кабинете, привычной и в меру обременительной работы в редакции. Это спокойный мир современного отшельника, укрывшегося в башне из слоновой кости или, вернее, пластмассовой «под слоновую кость», с паровым отоплением и горячей водой из крана.

Тридцать семь лет Дормэс Джессэп редактировал «Дейли Информер». В 1920 году он выступал за признание России и тем стяжал себе опасную репутацию отъявленного коммуниста. Передовицами о невинности Тома Муни и осуждением вторжения Соединенных Штатов в Никарагуа он нарушил покой своих друзей, поверг в смятение половину благонамеренных подписчиков и окончательно утвердил за собой славу смутьяна.

Вся эта «крамола» не заключала в себе последовательной революционности. Статьи провинциального редактора диктовались благородным сердцем человека, испытывающего инстинктивное отвращение и даже ненависть ко всякому акту жестокости и несправедливости. Он с издевкой говорит о «войне за освобождение Кубы, за освобождение жителей Филиппинских островов, которых никак не устраивало качество нашей свободы». Но автор этих гневных обличений «прекрасно понимал свою позицию, знал, что весьма далек от левого крыла радикалов и в лучшем случае он умеренный, вялый и, пожалуй, немного сентиментальный либерал».

Роман Синклера Льюиса особенно роднит с «Семьей Опперман» та часть, где автор изображает приход американского фашизма к власти. Синклер Льюис цитирует газетные статьи, политические декларации, речи государственных деятелей. Это производит впечатление подлинной документации. И не удивительно. Фашистские тенденции Америки того времени овеществлены в бесчисленных газетных отчетах о политическом буйстве Хью Лонга, демагогических проповедях радиопопа Кофлина, бандитских похождениях куклуксклановцев, в множестве фактов откровенного служения государственной власти трестированному капиталу.

Осматриваясь вокруг и разгадывая демагогию Бэза Уиндрипа, рвущегося в Белый дом, Джессэп думает о том, что произойдет дальше: «..очень возможно, что эта шайка втянет нас в какую-нибудь войну, просто чтобы потешить свое безумное тщеславие... И тогда меня, либерала, и вас, плутократа, притворяющегося консерватором, выведут и расстреляют в три часа утра». Его собеседник Тэзброу, будущий фашистский деятель, решительно возражает: «У нас в Америке, это невозможно! Америка – страна свободных людей». И тогда Дормэса прорывает: «Черта с два невозможно, отвечу я вам: нет в мире другой страны, которая так легко впадала бы в истерию... или была бы более склонна к раболепству чем Америка».

В окружении Дормэса есть люди, поговаривающие о «сильной личности»: демократические институты, дескать, не в силах навести порядок в стране, вылечить ее болезни. Что, например, делать с безработными, этими «ленивыми шалопаями, которые кормятся пособием», как говорит о них банкир Краули? Нужен доктор, который возьмет пациента в руки и заставит его выздороветь, хочет он того или нет. Слово «фашизм» не должно пугать... На это звериное воркование Дормэс замечает, что он знает о лечении сифилиса прививкой малярии, но никогда не слышал, чтобы малярию лечили прививкой сифилиса. Экстравагантное сравнение помогает Дормэсу сформулировать основную мысль: «Лечить язвы демократические язвами фашизма! Странная терапия!»

Дормэс встревожен. Он еще пытается себя утешить: «Если у нас когда-нибудь и будет фашистская диктатура, то все будет совсем иначе, чем в Европе, – слишком сильны в Америке юмор и дух независимости». Однако вскоре вышло так, что двое-трое друзей были единственными людьми, с которыми он рисковал говорить о чем-либо более серьезном, чем о том, будет сегодня дождик или нет. При тирании даже мужская дружба – ненадежное дело. После прихода к власти Уиндрипа Дормэс Джессэп неожиданно обнаружил, что плети и кандалы причиняют такие же мучения в чистом американском воздухе, как в болотных туманах Пруссии. Тот, кто был недоволен новыми порядками, не мог заявить о своем недовольстве дважды.

Хроника подвигов клики Уиндрипа в точности воспроизводит насилия германского фашизма, неслыханно обогатившего своей деятельностью каталог уголовных преступлений.

Синклер Льюис располагал неплохой информацией. Помимо печатных источников – общедоступных и полусекретных, он располагал точными и документированными материалами, собранными его женой. Уильям Додд, посол США в Германии периода 1933-1938 годов, сообщает любопытную подробность. Он пишет в своем дневнике: «Сегодня (это было 24 августа 1934 года, как раз в период, когда автор «У нас это невозможно» приступал к работе над этим романом. – А. К.) в одиннадцать часов пришла миссис Синклер Льюис, которая в литературных и художественных способностях не уступает своему знаменитому мужу, и мы около получаса беседовали о ее намерении изучить и описать современную германскую социально-философскую систему»²⁷. (Заметим, опять-таки в скобках, что через непродолжительный срок миссис Льюис – известная журналистка Дороти Томпсон – получила приказ гитлеровских властей покинуть Германию в течение двадцати четырех часов. – А. К.)

3

Бэз Уиндрип не медлил. Железная рука осуществила его программу. Умилительная проповедь о перераспределении богатств обернулась новыми прибылями концернов. Безработицу «устранили» лагерями трудовой повинности. Сложнее обстояло с ликвидацией преступности. Но наконец и эта проблема была разрешена по германо-итальянскому образцу. Наиболее закоренелые уголовники поменяли стезю кустарного порока на широкую дорогу модернизированного злодейства – они стали инспекторами в штурмовых отрядах «минитменов».

Дормэс Джессэп с его политикой, выразившейся формулой «поживем-увидим», увидел более чем достаточно.

Синклер Льюис поставил своего героя вплотную перед выбором: белый платок капитуляции или борьба не на жизнь, а на смерть. И Дормэс Джессэп решил: действие! Он понял, что с фашизмом нужно бороться не в кружевных, но в железных перчатках. Решимость его не могут поколебать ни тюрьма, ни беспощадное избивание, когда арестованного заставляют громко считать удары, пока он не теряет сознание, ни стража, забавляющаяся стрельбой перед самым носом арестованного, думающего, что это и есть казнь. Страдания укрепляют душу шестидесятилетнего подпольщика.

Но Синклер Льюис ошибается, видя в Дормэсе Джессэпе главную фигуру, противостоящую режиму Уиндрипа. Его герой ведет подпольную работу в Форте Бьюла с помощью близких ему знакомых. Реденькая цепочка людей связана в романе с организацией «НП» – Новым подпольем, возглавляемым либеральным сенатором Трубриджем, скрывающимся в Канаде. Одиночество Дормэса – это замкнутость буржуазного интеллигента, не разглядевшего еще народной силы, только и способной раздавить фашизм. Он понимает, что ход борьбы приводит его к Карлу Паскалю – единственному коммунисту, сколько-нибудь широко обрисованному в романе (мы еще вернемся к этому образу). Дормэс говорит о нем: «товарищ». Но так и не может выйти из почти кабалистического круга своих ложных представлений о марксизме.

В последних строках романа облик Дормэса Джессэпа вырастает до гиперболических размеров. Он уходит по тропе одиночного подвижничества. Очертания его становятся все более зыбкими. Наподобие блоковского Христа, он уже «за вьюгой невидим». Прощаясь со своим героем, автор говорит: «И до сих пор Дормэс продолжает свой путь в красном свете зари, ибо Дормэс Джессэп не может умереть».

Да, Дормэс Джессэп должен жить, как символ неумиряющей воли к борьбе с

²⁷ Библиотека внешней политики. Дневник посла Додда. Соц-экгиз;. М., 1961, стр. 214.

фашизмом. Но Дормэс Джессэп, отгораживающийся от масс стеной индивидуалистических иллюзий, умрет, чтобы воскреснуть в людях американской культуры, идущих рука об руку с партией коммунистов, с народом.

Синклер Льюис умело, резко снимает грим с отвратительной хари фашизма. Людям, утешающим себя рассуждениями о специфичности американской почвы, романист говорит: смот во что могут обратиться ростки фашистского чертополоха если не вырвать их с корнем. Каковы эти ростки? Ответ Синклера Льюиса точен: «Достаточно вспомнить историю с фермерами-испольщиками или с юношами из Скоттсборо или же тайную в войну калифорнийских оптовиков против земледельческих союзов, диктатуру на Кубе, расстрел бастующих горняков в Кентукки». Писатель идет и дальше. Он все время помнит, что реальная жизнь и его фантазия в романе не разделены непроницаемой стеной, устами одного из персонажей утверждает: «Поверьте мне, Дормэс реакционная братия, которая повинна во всех этих преступлениях сейчас сдружилась с Уиндрипом».

Несомненно, Синклер Льюис написал «У нас это невозможно» в поддержку Рузвельта, когда тот вторично баллотировался в президенты. Автор бросил свой роман на чашу весов предвыборной кампании. Шла борьба, и он хотел предупредить: вот что может произойти, если будет устранен разумный лидер, а к власти придет пещерная горилла. Рузвельт остался в Белом доме. С тех пор многое изменилось. Факты новейшей истории на виду у всех. Выросло и активно действует во многих штатах страны «Общество Джона Бэрча». Крупный промышленник Рипенбекер требует поставить памятник Маккарти в Вашингтоне. В офисах «Американской нацистской партии» висят портреты Гитлера и развеваются флаги со свастикой. «Минитмены», о которых мы уже писали, просто сходят с ума и готовы крушить вокруг себя что ни попадя. «Законом Маккарэна» в США пытаются умертвить коммунистическую партию. Впрочем, все это читатель хорошо знает и без меня.

Ситуация, памфлетно изображенная в романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно», удивительно живуча. Нет Рузвельта, нет сенатора Хьюи Лонга, но иные эпизоды этого романа поразительно совпадают с тем, что происходило на сцене политической жизни США в связи с избранием Барри Голдуотера кандидатом в президенты от республиканской партии. Более того: персонаж романа сенатор Бэз Уиндрип, почти списанный с Хьюи Лонга, теперь до удивления напоминает Барри Голдуотера. Их программа, их повадки, их лексика почти тождественны. И эта преемственность совпадений не случайна. Просто Синклер Льюис очень хорошо понимал, куда идет американская реакция, и блестяще персонифицировал ее вожделения в образе Бэза Уиндрипа.

4

Роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно» был издан в 1937 году в «Журнально-газетном объединении» и с тех пор ни разу не переиздавался. Он прочно забыт у нас. Молодежь его не знает вовсе, а между тем это талантливое произведение с необычайной силой буквально хлещет по современному американскому фашизму, по всем этим «бэрчистам», «минитменам», троглодитам-сенаторам, бешеным генералам. Я не знаю сейчас книги зарубежного автора, издание которой в СССР было бы более необходимо, более своевременно, чем издание романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно». В марте 1962 года я напомнил о нем на страницах «Литературной газеты». О романе заговорили. Но переиздание его все откладывалось.

Камнем преткновения, видимо, явились купюры, которые были сделаны в романе при переводе его на русский язык. Как быть с ними? Удобно ли сейчас воспроизводить полностью первое русское издание или следует восстановить сокращения? Приходилось слышать, что из этого тупика невозможно выбраться, так как изъятые из романа места носят резко антикоммунистический и антисоветский характер и ни оставлять их в русском издании, ни сокращать нет резона.

Всего в русском издании, по сравнению с оригиналом 1937 года, было сокращено 47

страниц машинописного текста. Но дело в том, что значительная часть опущенного материала не содержит в себе ничего ни антисоветского, ни антикоммунистического. Чем диктовались эти сокращения, можно только догадываться. Доля этих купюр, несомненно, вызвана соображениями временными, теми, что диктовались обстановкой культа личности Сталина, другие, возможно, показались «скучной материей» – трудно сказать. Прежде всего следовало установить в каждом конкретном случае характер купюр первого издания: сделаны ли они в авторской речи, в репликах отрицательного персонажа или в раздумьях героя, милого сердцу самого автора. В романе идет спор между воинствующими фашистами, робеющими обывателями, парализованными сомнениями либералами, лукавыми глупцами и умными простофилями, сталкиваются мнения, кипят страсти. Одни мучительно ищут истину, другие закрывают на нее глаза. На долю самого автора приходится не так уж много прямых высказываний. Редакторы этого издания романа восстановили все купюры, сделанные в русском издании 1937 года, за исключением буквально нескольких строчек, оскорбительно звучащих для слуха советского человека.

Предисловие к изданию романа 1937 года написано ныне покойным С. Динамовым, и оно посвящено главным образом внутрилитературным проблемам в США того времени. В частности, автор предисловия подробно рассказывает о дискуссии в среде демократической интеллигенции Америки по поводу «американизма».

Сегодня у нас есть возможность не прятать голову в песок сокращений и попытаться поставить все точки над «і». Надо сказать, что Синклер Льюис, по существу, не знал деятельности Американской компартии в ее марксистском выражении. Он путал ее с ренегатскими группочками троцкистского толка, с сектантами, со всякой швалью, эксплуатировавшей ура-р-революционные лозунги.

Характер хотя и беглой, но антимарксистской полемики Синклера Льюиса не оставляет сомнений в том, что оценки автора вовсе не следует относить на счет американских коммунистов. Синклер Льюис приводит в романе слова коммуниста Паскаля, рассуждающего о будущем в связи с тем, что в Белый дом рвется фашиствующий Бэз Уиндрик: «...разве вы не понимаете, что, если бы коммунисты даже платили за это, мы не могли бы получить ничего лучшего для своих целей, чем избрание такого архиплутократа и воинствующего диктатора, как Бэз Уиндрик! Вот увидите! Он добьется того, что все будут крайне недовольны сделать голыми руками против вооруженных войск никто ничег не сможет. Тогда он завопит о войне, и миллионы людей получат в руки оружие и продовольствие – и для революции все готово!»

И это говорит коммунист?! Какая же страшная путаница голове у Карла Паскаля!

Нет сомнения, что концепцию «чем хуже – тем лучше» могли вдолбить этому внутренне честному человеку только троцкисты. Именно такие взгляды они исповедуют и сейчас.

Незадолго до своей смерти Элизабет Флинн – председатель Коммунистической партии США – писала в «Правде» о заявлениях людей, считающих, что «Голдуотер был бы хорош для США» и «ускорил бы процесс развития», следующее: «Позволительно спросить: развитие куда, в каком направлении? Для нас в Соединенных Штатах совершенно ясно, что приход к власти архиреакционных, ультраправых сил нанес бы тяжелый удар по прогрессивным демократическим силам, рабочему классу, движению американских негров за свои права и свободу»²⁸.

Троцкисты и примыкающая к ним в США группа «Прогрессивное рабочее движение» утверждали, будто поражение Голдуотера и избрание Джонсона породят иллюзорное отношение к империализму. Но какие уж тут иллюзии! В ходе борьбы против избрания Голдуотера рабочие люди Америки с помощью коммунистов и других передовых сил страны расшифровывали кодовые прикрытия не только самого «Барри-бешеного», но и

²⁸ «Правда» от 7 августа 1964 г.

монополистических картелей в целом, каких бы представителей они ни выдвигали на политическую арену, схватываясь друг с другом. Это неплохая школа для рабочего класса. Тот, кто усвоил ее уроки, будет готов к классовой борьбе на более высоком уровне.

В конечном счете тактика американских коммунистов состоит не в том, чтобы выбирать между той или другой империалистической политикой. Дело в том, чтобы добиться коренного изменения политики. А это будет возможно лишь в результате развития демократической, антимонаполистической коалиции и превращения ее в руководящую силу.

Думаю, что предлагаемая мною оценка некоторых взглядов Паскаля как немарксистских, ультралевых вполне правомерна и оправдана. Ведь и сам Синклер Льюис иронически упоминает о «семи существовавших в то время коммунистических партиях». Он утрирует. Но ведь не секрет, что на протяжении многих лет Американскую компартию лихорадило, что она систематически очищала свои ряды от правых и ультралевых, а те, в свою очередь, сбивали свои группки, и чем численно меньше были эти группки, тем крикливее и авантюристичнее они действовали.

Мы можем вспомнить полуподпольную троцкистскую деятельность внутри партии Джеймса Кэннона и Макса Истмэна. Они и около ста их последователей были исключены из Коммунистической партии США. В начале тридцатых годов они объединились в оппозиционную лигу и, выдавая себя за «ортодоксальных» коммунистов, начали истошно провозглашать свои демагогические лозунги.

В истории Компартии США бывали не раз случаи, когда от ее имени пытались выступать те, кто не имел на это права, или когда людей с полутроцкистской мешаниной в голове принимали за настоящих коммунистов.

Даже в наши дни можно найти подтверждение такому положению. В начале августа 1964 года, во время событий в Гарлеме, руководство Коммунистической партии США сделало заявление, в котором сказано: «В ходе нынешних бурных событий в Гарлеме на авансцене появилась банда самозванных «коммунистов», оказавшаяся в центре внимания не без помощи полиции и представителей печати. Выступая от имени организации, называющей себя «Прогрессивное рабочее движение», эта компания шумно пропагандирует курс действий, который можно назвать лишь безответственным, безрассудным авантюризмом»²⁹.

Поразительно точно вмещается это заявление в некоторые эпизоды романа Синклера Льюиса.

Вот почему у нас есть все основания утверждать, что автор, к сожалению, не поднялся до объективного изложения подлинной тактики и стратегии американских коммунистов и часто подменяет их левосектантскими бреднями.

Мы смело можем сказать обо всем этом, предупредив читателя о двойственности фигуры выведенного в романе коммуниста – Карла Паскаля. Не случайно, видимо, XVI национальный съезд Коммунистической партии США (9-12 февраля 1957 г.) в принятом им уставе партии подчеркнул специальным параграфом: «Коммунистическая партия не несет ответственности за какой-либо политический документ, какой-либо курс политики, книгу, статью или какое-либо другое выражение политического мнения, если таковые не опубликованы по указанию данного и последующих национальных съездов и их законно избранного руководства»³⁰.

Сказано так прямо, недвусмысленно, четко, что не остается и щели для кривотолков. Применительно к роману «У нас это невозможно» это означает: Американская коммунистическая партия не несет ответственности за многие реплики Карла Паскаля, за то «выражение политического мнения», которое встречается в сцене с Эйли, Бэйли и Кэйли.

²⁹ «Правда» от 2 августа 1964 г

³⁰ «XVI национальный съезд Коммунистической партии США» Москва, Госполитиздат, 1958, стр 146.

А сказав все это, мы тем не менее не можем так просто расстаться с Паскалем. За сумятицей его мыслей, возникшей, собственно, по воле автора, но, конечно, отражающей, как мы уже говорили, бредни сектантского толка, не раз отягощавшие поли тическую жизнь Американской компартии, мы видим, ощущаем моральное благородство этого человека. В конце концов он только рядовой функционер, и не ему нести полноту ответственности за те благоглупости, какие он вычитал в полутроцкистских листках. Быть коммунистом в США не просто. Но когда доходит до дела, рабочим Паскалем движет его классовое сознание. Возвышение Бэза Уиндрипа не застает его врасплох. Он не теряет времени на бесплодные терзания. Он готов к борьбе раньше других и действует. И автор, понимая это, сближает все-таки с ним Джессэпа. В концентрационном лагере они вместе, и стойкость Паскаля, его вера в будущее вызывают в редакторе «Информера» смешанное чувство удивления и уважения.

Синклер Льюис не коммунист, не марксист и не ходил с ними рядом. Он буржуазный либерал, из тех, однако, что испытывают жгучую, я бы сказал, свирепую ненависть к фашизму, точно такую, какой пронизаны «Успех» и «Семья Опперман» Фейхтвангера. В США за Льюисом прочно и очень давно утвердилась репутация «розового», «красного». Выпустить в США роман, реально поддерживающий Рузвельта, без некоторых выпадов в сторону СССР он, видимо, не решился, боясь скомпрометировать саму цель, которую он, как буржуазный демократ, поставил перед своим произведением, убийственно разоблачающим американский фашизм.

Я привожу это соображение лишь для того, чтобы ясно представить себе исторические условия, в которых появился этот роман, а также затем, чтобы точнее уяснить себе политическое кредо автора.

Любопытное подтверждение такого модуса, распространенного в либеральных кругах западной интеллигенции, можно найти на страницах дневника того же Уильяма Додда. Однажды к нему в посольство в Берлине пришел американский журналист Джон Спивак с просьбой помочь ему подобрать материал для книги о Германии. Додд пишет: «Я спросил его: «А почему не о России?» Поскольку его книга о немецкой пропаганде в Соединенных Штатах, изданная прошлой зимой, принесла ему признание в Америке, мне казалось, что он должен включить и Россию в свой труд; в противном случае его книга будет сочтена антинемецкой и прорусской». Додд с милой наивностью фиксирует реакцию Джона Спивака на это глубокомысленное соображение: «Он был несколько удивлен». Еще бы!

Мне неизвестно, воспользовался ли американский журналист советом посла – человека честного, умного, но ослепленного своей верой либерала в «третью силу», в возможность некоего баланса между коммунизмом и фашизмом. Что касается Синклера Льюиса, то он, к сожалению, как мы видим, отдал дань идее такого баланса.

Что побудило его так поступить? Опасался ли он обвинений в том, что «продался Москве», «завербован красными», и связанных с этим преследований? Действительно ли верил в те призраки казарменного социализма, которые он поселил в своем воображении на территории СССР? А может быть, слухи, которые носились по миру о начинавшихся в это время беззакониях культа личности, он, драматически ошибаясь, принимал за самую суть нашего общества? На эти вопросы я не берусь дать категорические ответы.

Время прошло. Автора нет в живых, и теперь уже не он судья своему роману, а единственно мы, читатели. И вот время, которое прошло, – оно-то и показало, в чем Синклер Льюис оказался прав, а в чем нет, в чем оправдались его пророчества, а в чем нет. Многие из того, что сказано в его романе об американском фашизме, удивительно оправдалось, до деталей, до мелочей. В памяти нашего читателя еще свежо все, что происходило в США во время подготовки и проведения выборов президента, начиная от убийства Кеннеди и кончая речами Голдуотера, казалось бы, списанными из сборника Бэза Уиндрипа «В атаку!».

А вот упреки в антипатриотизме, коммунистам США, оказались обидно несправедливыми. Жизнь утверждает другое. На войне, в боях американские коммунисты вели себя храбро, мужественно. Многие из них вернулись на родину с орденами и медалями.

Факт этот широко известен и никем не может быть опровергнут.

Ну, а как насчет мыслей автора, будто идея социализма не способна вовлечь в свою орбиту никого, кроме русских, ставших добычей «большевистского эксперимента»? Европейский лагерь социализма... Куба на американском континенте... Алжир на африканском... Зачем я называю страны, перечисляю факты? Тот, с кем я сейчас спорю, не услышит, а наш читатель сам знает.

Не забудем только одно, и это Синклер Льюис повторил на страницах своего романа не один раз. Насилие над личностью, покушение на свободу человека, преследование – опасны, фашизм начинается с коммунистов, а кончается такими, как Дормэс Джессэп. И как жизненно необходимо, чтобы этим убеждением большого писателя прониклись во всем мире те слои интеллигенции, что испытывают сомнения, подобные тем, какие раздирали душу честного редактора из Форты Бьюла!

Если отношение автора к Советскому Союзу, куда он приезжал в 1927 году на самое короткое время и которого он, естественно, не знал, расплывчато и неуверенно, то ненависть его к махровой американской реакции, к темным силам той страны, где он родился, вырос и жил и которую он, естественно, знает прекрасно, отчетлива и беспощадна. А его либеральные иллюзии – это то, с чем советский читатель не первый раз сталкивается в произведениях буржуазных авторов.

Роман Синклера Льюиса буквально врывается в современную жизнь. Страстно и с великолепным знанием того, о чем он пишет, автор воюет против всех разновидностей американского фашизма. Тенденции развития общественной жизни в США делают ныне роман Синклера Льюиса злободневным, животрепещущим.

Роман Синклера Льюиса просветителен, хотя, как мы уже говорили, и ограничен в выводах. Но пусть никто не подумает, что он сделан преимущественно средствами публицистики. Автор великолепно владеет искусством психологического портрета. Лоринда Пайк, Сесилия, Тэзброу, Шэд и прежде всего сам Дормэс Джессэп живут на страницах романа в их печали, бедах, любви и ненависти.

Наслаждаешься язвительной иронией автора, восхищаются его мгновенные переходы от сардонической насмешки к элегическому раздумью. При чтении романа рядом с вами все время стоит умный, тонкий человек, страдающий за свой народ, полный желания ему помочь.

Как жаль, что Синклера Льюиса уже давно нет в живых! Его перо сослужило бы большую службу прогрессивной Америке. Но есть его произведения, есть «У нас это невозможно» – роман, ломящийся в самые насущные проблемы времени и написанный с блеском и силой, захватывающими читателя. Выпуском в свет этого тома собрания сочинений Синклера Льюиса исправляется несправедливость. Роман выходит из тени забвения.

Прочтя «У нас это невозможно» и пробежав глазами свежий газетный лист, наш читатель скажет: «У них это есть!»

А. Кривицкий

ПРИМЕЧАНИЯ У НАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО

Янг, Брайхэм (1801-1877); Смит, Джозеф (1805-1844) – американские миссионеры, основатели секты мормонов, защищали полигамию.

ДАР – Дочери Американской Революции – реакционная женская организация.

Если б только Соединенные Штаты послушались ее в 1919 году... – В 1919 году после многолетней борьбы передовой общественности женщинам были предоставлены избирательные права.

Брисбейн, Артур (1864-1936) – популярный американский журналист, сотрудничавший в «желтой прессе» Херста.

Виллард, Освальд Гаррисон (1872-1949) – американский журналист, редактор и владелец либерального журнала «Нейшн».

Томас, Норман (р. 1884) – лидер американской социалистической партии.

Бэрд, Ричард (1888-1957) – адмирал, известный исследователь Арктики и Антарктики.

Адвентисты седьмого дня – одна из христианских сект, члены которой верят во «второе пришествие». Адвентисты отмечают субботу вместо воскресенья как день «отдыха бога».

Галахед – благородный рыцарь, герой цикла рыцарских романов, объединенных фигурой легендарного короля Артура (XIII в.).

Вуд, Леонард (1860-1927) – американский генерал, подавлял народное восстание на Филиппинах.

Муди, Дуайт Лимен (1837-1899) – священник-миссионер, бывший коммивояжер, проповедовавший «духовное обновление» обращение к «истинному христианству».

Льюи, Джордж (1837-1917) – американский адмирал, командовал тихоокеанской эскадрой во время испано-американской войны 1898 года.

Ага-хан – титул главы влиятельной мусульманской секты Помнившие войну 1812 года... – Имеется в виду война США с Англией в 1812-1814 годах.

Дуглас, Стивен (1813-1861) – американский государственный деятель, член сената, приобрел известность своими спорами с Линкольном по вопросу о рабстве.

Пауэре, Хирэм (1805-1873) – известный американский скульптор, создатель бюстов Франклина, Джефферсона, установленных в Капитолии в Вашингтоне.

Стивене, Тэддиус (1792-1868) – сподвижник Линкольна, лидер радикальных республиканцев, выступал за активное ведение войны против рабовладельцев Юга.

Артур, Честер Алан (1830-1886) – президент США в 1881-1885 годах.

Веблен, Торстейн (1857-1929) – американский экономист и социолог. Выступал с критикой расточительства и хаоса, свойственных частному капиталистическому производству. Предлагал передать управление всей промышленностью в руки технических специалистов, так называемых «технократов».

Сэлшер, Уильям (Билл) (1840-1910) – американский историк и экономист, отстаивал интересы монополий, выступая против вмешательства государства в экономическую жизнь страны.

Мэ Вест – водевильная актриса.

Муни, Том – активный участник американского рабочего движения. В 1916 году на основании сфабрикованного обвинения был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным тюремным заключением. Муни был выпущен из тюрьмы лишь в 1939 году. Синклер Льюис, выступавший за освобождение Муни, посетил его в тюрьме в 1929 году.

Лонг, Хьюи (1893-1935) – реакционный американский политический деятель, был сначала губернатором (1928-1931), а затем сенатором от штата Луизиана, который превратил в свою вотчину. В начале 30-х годов развернул активнейшую демагогическую деятельность, претендуя на роль американского «фюрера». Возглавил движение за «раздел богатств», имел многочисленных последователей на Юге. Был убит своими политическими противниками.

Кофлин, Чарльз – католический священник, главарь созданной в 30-е годы профашистской организации «Христианский фронт», в которую входили штурмовые отряды, проходившие военную подготовку. В своих выступлениях по радио и в газете «Социал джастис» («Социальная справедливость») использовал материалы, полученные непосредственно из германского министерства пропаганды. Был прозван «американским Геббельсом». Аудитория, слушавшая его проповеди, составляла от 10 до 60 миллионов человек. Послужил одним из прототипов образа Пола Питера Прэнга.

Волива, Уилбур Гленн (1870-1942) – деятель религиозной секты Христианская католическая церковь; отличался крайним фанатизмом.

Мать Эдди – имеется в виду Мэри Бейкер Эдди (1821-1910) – американская

проповедница, основавшая секту «Христианская наука».

Смит, Альфред (Эл) (1873-1944) – американский политический деятель, католик, был губернатором штата Нью-Йорк; в 1928 году баллотировался на пост президента от демократической Партии и был побежден республиканцем Гувером.

Гефлин, Том (1869-1951) – сенатор от штата Алабама, защитник интересов крупных землевладельцев, ярый расист.

Диксон, Том (1864-1946) – американский баптистский проповедник и писатель.

Брайан, Уильям Дженнингс (1860-1925) – известный американский политический деятель; трижды баллотировался на пост президента США, в 1925 году снискал печальную известность своими выступлениями в качестве обвинителя на позорном так называемом «обезьяньем процессе», когда школьного учителя Д. Скопса судили за преподавание эволюционного учения Дарвина.

Унитарии – одна из ветвей христианской церкви, считающаяся в глазах ортодоксальных церковников «либеральной».

«Сенчури» – американский литературный журнал.

Хепбэрн, Кэтрин (1909) – известная американская киноактриса.

Шлей, Уинфилд Скотт (1839-1911) – американский адмирал, участвовал в экспедиции в Арктику (1884) и испано-американской войне (1898).

«Нью-Йоркер» – юмористический еженедельник.

Джефферсон, Томас (1743-1826) – президент США (1801-1809), автор «Декларации независимости», один из идеологов радикального крыла американской революции.

Сэндберг, Карл (р. 1878); Фрост, Роберт (1874-1963); Мэстере, Эдгар Ли (1868-1950); Джефферс, Робинсон (1887-1962); Нэш, Огден (р. 1902) – известные американские поэты.

Гест, Эдгар (р. 1881) – популярный второразрядный автор, стихи которого, публиковавшиеся в «массовых» журналах и газетах, пользовались популярностью в мещанской среде.

Хайям, Омар (XI-XII вв.) – персидский поэт, получивший широкую известность в странах английского языка благодаря мастерским переводам Фитцджеральда.

Аллен, Этан (1738-1789) – видный деятель американской революции, генерал американской армии во времена войны за независимость.

Рузвельт, Теодор (1858-1919) – президент США в 1901-1909 годах.

Сейчас, в 1936 году, за шесть недель до начала партийных съездов... – На самом деле съезд демократической партии летом 1936 года выдвинул на пост президента на второй срок Ф. Рузвельта, который одержал решительную победу над республиканцем Альфом Лэндоном, ставленником «большого бизнеса», фашистских и полуфашистских организаций. Рузвельт получил около 27,4 миллиона голосов, Лэндон – 16,6 миллиона. Гувер, Герберт (1874-1964) – президент США в 1929-1933 годах, республиканец. В 30-е годы активно боролся с «новым курсом» Рузвельта.

Вандсбергер, Артур (1884-1951) – сенатор, видный циничный деятель республиканской партии.

Миллз, Огден (1884-1937) – секретарь казначейства в кабинете Гувера (1932-1933).

Джонсон, Хью (1882-1942) – американский военный и политический деятель, руководитель ряда экономических программ при президенте Рузвельте, известный радиокомментатор и публицист.

Нокс, Фрэнк (1874-1944) – политик и журналист, издатель чикагской газеты «Дейли ньюс». В 1936 году – кандидат от республиканской партии на пост вице-президента; в 1940-1944 годах – морской министр.

Бора, Уильям (1865-1940) – сенатор от штата Айдахо, председатель сенатской комиссии по иностранным делам, придерживался либеральных взглядов.

Роджерс, Уилл (1879-1935) – видный американский комический актер и писатель-юморист.

Норрис, Джордж (1861-1944) – сенатор от штата Небраска, стоял на либеральных

позициях. Автор прогрессивного закона (1932), по которому профсоюзы добились права на забастовку, пикетирование и т. д.

Фарлей, Джеймс (Джим) (р. 1888) – председатель Национального комитета демократической партии (1932-1940), руководитель почтового ведомства в администрации Рузвельта.

...по имени шведского химика... – Имеется в виду Иенс-Якоб Берцелиус (1779-1848), определивший атомные веса ряда элементов, развивший электрохимическую теорию и сделавший ряд выдающихся открытий в химии.

Гамильтон, Александр (1757-1804) – американский государственный деятель, был министром финансов при президенте Вашингтоне; его экономические теории отвечали интересам буржуазии американского Севера.

Персеполис – вымышленный Льюисом город: Персеполисом называлась древнейшая столица Персии, ныне разрушенная.

...миннесотских членов рабоче-фермерской партии... – В 1922 году в штате Миннесота возникла «третья», рабоче-фермерская партия, противостоявшая демократам и республиканцам. В 30-х годах ее представители дважды избирались на пост губернатора штата.

Бун, Даниэль (1734-1820) – известный предводитель американских колонистов, осваивавших земли Запада, считается их патриархом.

Штрейхер, Юлиус – один из немецко-фашистских «фюреров», идеолог оголтелого антисемитизма, издававший погромный листок «Штюрмер». Был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала в 1946 году.

Адлер, Фридрих (1879-1960) австрийский правый социалист.

Рассел, Бертран (р. 1872) – прославленный английский философ, математик и общественный деятель.

Таунсенд, Фрэнсис Эверетт (1867-1960) – американский врач, приобрел известность своим «планом Таунсенда», согласно которому правительство должно было выплачивать пенсию в 200 долларов в месяц безработным старше 60 лет; средства на них должны были быть получены за счет налогового обложения всех деловых операций. «План Таунсенда», один из многочисленных проектов «передела богатств», появившихся в 30-е годы, широко обсуждался в стране и нашел многочисленных сторонников.

Бурмин, Фрэнк (р. 1878) – американский лютеранский священник, лидер движения «Моральное перевооружение», получившего распространение как в США, так и в ряде стран Европы и Азии. Бухманизм характеризует ярко выраженная антикоммунистическая направленность.

Макфадден, Бернард – спортивный деятель, издатель ряда журналов, пропагандирующих лечебную физкультуру.

Толмгдж, Юджин (1884-1946) – губернатор штата Джорджия, расист, яростно противившийся мероприятиям «нового курса» Рузвельта.

Олсон, Флойд (1891-1936) – губернатор штата Миннесота от рабоче-фермерской партии.

Отец Дивайн (р. 1882) – американский негритянский проповедник, объявивший себя божеством и устраивавший массовые культовые действия.

Вулф, Томас (1900-1938) – американский романист; его роман «Оглянись назад, ангел» и ряд других произведений, образующих автобиографический цикл, принесли ему широкую известность в начале 30-х годов.

Роллинс, Уильям (1852-1929) – американский врач и беллетрист.

Стрэчи, Джон (1860-1927) – английский писатель и экономист, один из идеологов лейбористской партии.

Чэйс, Стюарт (р. 1888) – американский буржуазный экономист. В 1933 году выпустил брошюру «Технократия», в которой отводил технической интеллигенции роль силы, способной выправить пороки буржуазной экономики.

Ортега-и-Гассет, Хосе (1883-1955) – видный испанский писатель и философ.

Торговая палата Соединенных Штатов – объединение крупнейших промышленников и бизнесменов.

...осудил наше вторжение ни Гаити и а Никарагуа... – В 1915 году морская пехота США фактически оккупировала Гаити и оставалась там до 1934 года. В 1927 году США вмешались гражданскую войну в Никарагуа и послали туда морскую пехоту, «наблюдавшую» за проведением президентских выборов и способствовавшую приходу к власти американских ставленников. 18 декабря 1929 года в журнале «Нейшн» было помещено письмо Синклера Льюиса под названием «Закон джунглей», в котором писатель протестовал против беззастенчивого и наглого вмешательства американской морской пехоты в дела суверенных государств Латинской Америки. Он приводил циничные высказывания генерала Батлера, рассказывавшего о том, как в Никарагуа военщина США «организовывала выборы» угодных ей людей, а на Гаити проамериканский марионеточный президент, пользуясь покровительством морской пехоты, разогнал парламент. Льюис направил председателю сенатской комиссии по иностранным делам сенатору Бора телеграмму, требуя проведения расследования всех этих фактов. Войска США были выведены из Никарагуа лишь в 1933 году. Интересно, что С. Льюис «отдал» своему герою Дормэсу Джессэпу некоторые факты собственной биографии: в 1927 году вместе с передовыми деятелями американской культуры он протестовал против расправы над Сакко и Ванцетти, требовал освобождения Тома Муни.

Американский легион – реакционная организация, бывшая в 30-е годы центром притяжения фашистских и полуфашистских сил.

Гласе, Картер (1858-1946) – американский политический деятель, сенатор от штата Виргиния (1920-1946).

Макэду, Уильям (1863-1941) – американский политический деятель, был членом кабинета при Вильсоне, в 30-е годы – сенатор от штата Калифорния.

Хэлл, Корделл (1871-1955) – государственный секретарь в кабинете Рузвельта, неоднократно выступал против нацизма, высказывался за сотрудничество с Советским Союзом.

Робинзон, Джозеф Тейлор (1872-1937) – американский политический деятель, сенатор-демократ (1923-1937).

Перкинс, Фрэнсис (р. 1882) – американская общественная деятельница, была министром труда при президенте Ф. Рузвельте.

Честертон, Гилберт Кейт (1874-1936) – английский писатель.

Икес, Гарольд (1874-1952) – министр внутренних дел в кабинете Рузвельта; он также ведал общественными работами. В своих выступлениях неоднократно предупреждал об опасности фашизма в США.

Гюнтер, Конрад (р. 1874) – немецкий ученый-зоолог, пропагандист естественнонаучных знаний.

Чемберлен, Хаустон Стюарт (1855-1927) – публицист и историк; выходец из Англии, он натурализовался в Германии и выпустил там двухтомный труд по истории XIX века.

Стоддарт, Лотроп (1883-1950) – американский писатель и юрист.

Бартон, Брюс (р. 1886) – американский конгрессмен, писатель и бизнесмен.

Питкин, Уолтер (1878-1935) – американский писатель, автор «бестселлера» «Жизнь начинается в сорок лет» (1932), разошедшегося в количестве нескольких сот тысяч экземпляров.

Пелли, Уильям Дадли – главарь профашистской организации «серебряные рубашки», был связан с немецкими нацистами; в 1942 году арестован и приговорен к 15 годам тюремного заключения за «преступную антиправительственную деятельность».

Грандиозный план... Эптона Синклера... – В начале 30-х годов Э. Синклер выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния, но потерпел неудачу. Он широко рекламировал в это время свой реформистский план «ЭПИК» («Покончим с нищетой в

Калифорнии»), который должен был, по его мнению, разрешить все социальные проблемы.

Морган, Генри (1635-1688) – английский пират; получил прощение от короля и был назначен помощником губернатора Ямайки.

Олкотт, Луиза Мей (1832-1888) – американская писательница, автор сентиментальных книг для юношества.

Барри, Джеймс Мэтью (1860-1937) – английский прозаик и драматург сентиментально-романтического характера.

Рокко, Альфредо (1875-1935) – министр юстиции при Муссолини, ввел новое уголовное, гражданское и коммерческое законодательство.

Кэдмен, Сэмюэл Паркс (1864-1936) – американский священник; выступал с проповедями по радио.

Спиричуэле – негритянские религиозные песни, отличаются большой мелодичностью.

Верней, Эдуард (р. 1891) – американский журналист, специалист по вопросам пропаганды и изучения общественного мнения.

Демпси, Джек (р. 1895) – популярный американский боксер, был чемпионом мира в тяжелом весе.

Селливэн, Фрэнк (р. 1892) – американский писатель-юморист.

Берд, Чарльз (1874-1948) – известный американский историк и социолог либерального толка, автор фундаментальных трудов «Экономическое истолкование конституции США» (1913) и «Развитие американской цивилизации» (1927).

Дьюи, Джон (1859-1952) – американский философ и социолог, виднейший представитель прагматизма, одного из главных течений буржуазной философской мысли в США в XX веке.

Кассандра – в греческой мифологии дочь троянского царя Приама. Аполлон наказал ее, наделив даром прорицания, но сделав так, что ее мрачным предсказаниям никто не верил. Имя Кассандры стало нарицательным.

«Сатердей ивнинг пост» – американский популярный журнал, публиковавший стандартизированное чтение, рассчитанное на вкусы «среднего американца». В начале своей литературной карьеры, в 10-е годы, в нем печатался и С. Льюис.

Бальбо, Итало (1896-1940) – итальянский фашистский деятель; в 1933 году руководил трансатлантическим перелетом в США.

Гладстон, Уильям Юарт (1809-1898) – английский государственный деятель, лидер либеральной партии, известный оратор; трижды был премьер-министром; «герой либеральных буржуа и тупых мещан» (В. И. Ленин).

Макдональд, Рамсей (1866-1937) – лидер лейбористской партии, теоретик так называемого «демократического социализма», премьер-министр Англии в первом (1924) и втором лейбористском правительствах (1929-1931).

«Третья партия» – так в США именуют партии, возникая время от времени (например, популистская – в 90-х годах XIX века, прогрессивная – в 10-х годах XX века), пытались противостоять двум основным партиям крупного капитала – демократической и республиканской.

Джонстон, Олин (р. 1896) – губернатор штата Южная Каролина.

Ла Гардиа, Фиорелло (1882-1947) – американский политический деятель либерального толка, поддерживал «новый курс» Рузвельта; будучи много лет мэром Нью-Йорка, приобрел популярность своими радикальными мероприятиями.

Лодж, Генри Кэбот (1850-1924) – американский политический деятель, один из представителей традиционно республиканской семьи миллионеров; сенатор, выступавший против ратификации Версальского мирного договора и вступления США в Лигу наций.

...потеря времени в Женеве... – намек на бесплодную деятельность Лиги наций.

Может быть, еще рубашки в крапинку?! – На самом деле, в 30-е годы среди множества профашистских организаций в США были и такие, как «черные рубашки», «серые рубашки», «серебряные рубашки» и другие.

Кун, Бела (1886-1939) – деятель венгерского и международного рабочего движения, был руководителем Венгерской Советской республики (1919), принимал активное участие в создании Коминтерна и в дальнейшей его деятельности.

Райли, Джеймс Уиткомб (1849-1916) – американский либеральный журналист и поэт, стихи которого пользовались успехом на Востоке и Среднем Западе США.

Макалей, Томас Баббингтон (1800-1859) – английский историк и политический деятель.

Ван Дейк, Генри (1852-1933) – американский писатель, много писавший в разных жанрах; был также педагогом, дипломатом и священником; отличался крайне консервативными взглядами.

Хаббард, Элберт (1856-1915) – американский издатель, писатель и журналист, один из поставщиков «массовой» литературной продукции.

«L'Allegro» – поэма великого английского поэта Д. Мильтона (1608-1674).

«Земной рай» – фантастико-утопическая поэма английского поэта Уильяма Морриса (1834-1896).

«Канун святой Агнесы» – поэма английского поэта Д. Кигса (1795-1821).

«Королевские идиллии» – цикл поэм английского поэта А. Теннисона (1809-1892).

«Гордость и предрассудки» – роман английской писательницы Джейн Остин (1775-1817).

Конгрегационалисты – представители одного из течений христианской церкви, отвергающие церковную иерархию, признающие автономию местной церкви и ее независимость от церковных властей.

Горацио Альджер-младший (1834-1899) – американский писатель, специализировался на создании выходящих огромными тиражами книг для юношества в духе прославления буржуазного предпринимательства.

Национальное управление по трудоустройству было создано в 1933 году, во главе стоял Хью Джонсон; несколько раз оно реорганизовывалось. С его помощью Рузвельт пытался облегчить положение безработных. Рабочие называли его «управление бега на месте». Федеральная Чрезвычайная администрация помощи была создана в мае 1933 года с целью оказания помощи безработным и просуществовала около двух лет, после чего ее функции были переданы другим организациям.

Управление общественных работ было создано в 1933 году для проведения широкой программы строительства жилищ, дамб, борьбы с эрозией почв и т. д. Его деятельность натолкнулась на сопротивление крупного капитала.

Балл, Джон (умер в 1381 г.) – английский народный проповедник; принял участие в крестьянском восстании У. Тайлера, был казнен.

Тайлер, Уот (умер в 1381 г.) – вождь крупнейшего крестьянского восстания в Англии, происходившего в 1381 году; был казнен.

Брук Фарм – колония неподалеку от Бостона, организованная в 40-х годах XIX века группой американских писателей и общественных деятелей, последователей французского социалиста-утописта Шарля Фурье.

Оуэн, Роберт (1771-1858) – великий английский социалист-утопист, создавший в 30-х годах XIX века в США несколько общин.

Геликон-холл – социалистическая колония, основанная в 1906 году Эптоном Синклером. Ее члены жили на коммунистических началах, однако вскоре колония прекратила свое существование.

Стюарт, Джеймс (Джеб) (1833-1864); Джексон (Стонуолл) (1824-1863) – генералы армии южан, погибшие в сражениях.

Макферсон, Джеймс (1828-1864) – генерал армии северян, сподвижник Гранта и Шермана, был убит в схватке вблизи Атланты.

Уэбстер, Даниэль (1782-1852) – видный американский государственный и политический деятель, идеолог тех кругов буржуазии Севера, которые выступали за компромисс с Югом, Мак-Кинли, Б. Гаррисон, У. Гардинг – американские президенты от

республиканской партии.

Ли, Роберт (1807-1870) – командующий армией южан во время Гражданской войны.

Уокер, Уильям (1824-1860) – американский авантюрист, участвовал в разбойничьих набегах на страны Латинской Америки. Был расстрелян по приговору военного суда в Гондурасе, Говард, Джон (1752-1827) – деятель американской революции, офицер американской революционной армии, затем губернатор штата Мэриленд и сенатор.

Гаррисон, Уильям Ллойд (1805-1879) – американский журналист, издавал в течение 35 лет знаменитую аболиционистскую газету «Либерейтор».

Ловджой, Илайя (1802-1837) – американский журналист, был редактором аболиционистской газеты в г. Альтоне, штат Иллинойс; погиб от пули агентов рабовладельцев.

Филлипс, Уэнделл (1811-1884) – американский прогрессивный общественный деятель, активно выступал против рабства. Его деятельность получила высокую оценку К. Маркса.

Браун, Джон (1800-1859) – борец за освобождение негров в США. В 1859 году с горсткой сообщников напал на правительственный арсенал в Харперс-Ферри, но был взят в плен и казнен.

Бичер, Генри Уорд (1813-1887) – американский общественный деятель, проповедник. Приобрел широкую известность своими выступлениями против рабства и в поддержку равноправия женщин.

Кэмпбеллитская церковь – одно из течений христианской церкви, названное так в честь ее основателя Александра Кэмп-белла (1788-1866).

Тафт, Уильям Говард (1857-1930) – президент США от республиканской партии (1909-1913 годы).

Беллой, Хошеа (1771-1852) – американский религиозный деятель, один из лидеров универсалистской церкви в США, редактор нескольких церковных журналов.

Ньюмэн, Джон (1801-1890) – английский теолог, лидер так называемого «оксфордского движения», выступил с критикой англиканства и перешел на позиции римско-католической церкви.

Адамс, Джейн (1860-1935) – американская филантропка и пацифистка, лауреат Нобелевской премии мира (1931).

Блур, Элла Рив (Матушка Блур) (1862-1951) – одна из старейших деятельниц социалистического, а затем коммунистического движения в США.

Рено, Мило – руководитель созданной в 1932 году фермерской ассоциации, под руководством которой по всей стране прошли массовые выступления фермеров, бойкотировавших промышленные товары и вступавших в столкновения с полицией.

Бильбо, Теодор Гилмор (1877-1947) – сенатор от штата Миссисипи, бывший его губернатором; расист, ярый противник «нового курса» Рузвельта.

Уолтер Эллиот – лицо, вымышленное С. Льюисом.

Астор, Нэнси (р. 1879) – английская политическая деятельница, первая женщина – член британского парламента.

Карсон, Кристофер (Кит) (1809-1868) – один из колонизаторов земель Запада, жестоко расправлявшийся с коренным индейским населением.

Стэнтон, Эдвин (1814-1869) – сподвижник А. Линкольна, военный министр в его кабинете.

Эд, Джордж (1866-1944) – американский писатель, юморист, мастер малых форм – басен, притч и т. д.

Уорд, Артемус (1834-1867) – американский юморист, в годы Гражданской войны обличал южных рабовладельцев и их северных покровителей.

Троллоп, Антони (1815-1882) – английский романист, бытописатель мещанских будней.

Сервис, Роберт (1874-1958) – канадский поэт и романист.

Идею... корпоративного государства... Сарасон... позаимствовал в Италии... – Теорию

корпорации выдвинули итальянские фашисты, цель ее – прикрыть беззаконие и произвол фашизма. «Корпоративизм» требовал отмены парламентских институтов, запрещения рабочих организаций, полного подчинения профсоюзов государству, передачи неограниченных полномочий главе государства.

Тиберий (42 до н. э. – 37 н. э.) – римский император, вошел в историю как жестокий и лицемерный тиран.

Батлер, Николас Мюррэй (1862-1947) – американский философ, ректор Колумбийского университета, общественный деятель, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира.

Арден Энох – рыбак, герой одноименной поэмы А. Теннисона.

Этан Фроум – герой одноименного романа Эдит Уортон.

«О воля алых судьбин!» – строка из «Гамлета» Шекспира.

Маунт-Вернон – место, где родился и был похоронен президент США Д. Вашингтон; расположено неподалеку от Вашингтона, на берегу реки Потомак.

Мосли, Освальд – лидер английских нацистов.

Портреты Джорджа и Марты. – Речь идет о Джордже Вашингтоне, первом президенте США, и его жене.

Грили, Гораций (1811-1872) – американский журналист, радикал, владелец и издатель газеты «Нью-Йорк трибюн», abolitionист.

Великая хартия вольностей – была дарована в 1215 году восставшим английским феодалам королем Иоанном Безземельным; подтверждала различные дворянские привилегии и содержала уступки феодалам со стороны королевской власти.

Во, Эвелин (р. 1903) – английский романист.

Голд, Майкл (Майк) (р. 1894) – прогрессивный американский писатель, поэт и критик, один из ветеранов пролетарской литературы США.

Уайт, Уильям Аллен (1868-1944) – американский журналист, умеренный республиканец.

Дос Пассос, Джон (р. 1896) – американский писатель, в начале 30-х годов был близок к демократическому движению, в дальнейшем перешел на реакционные позиции.

Тагвелл, Рексфорд (р. 1891) – американский экономист, был советником президента Рузвельта.

Лоринда Б. Энтони. Называя так Лоринду Пайк, Дормэс намекает на Сьюзен Б. Энтони (1820-1906), видную американскую общественную деятельницу, лидера движения за предоставление равноправия женщинам и президента суфражистской ассоциации.

Бекет, Фома (1118-1170) – английский религиозный деятель, архиепископ Кентерберийский, был причислен к лику святых.

Хатчинз, Роберт Мейнард (р. 1899) – президент Чикагского университета, автор трудов по проблемам теории и практики высшего образования в США.

Моли, Рэймонд (р. 1886) – американский журналист, советник президента Рузвельта.

Саймонс, Фрэнк (1878-1936) – американский журналист приобрел известность как военный корреспондент.

Кент, Фрэнк (1877-1958) – американский журналист консервативного толка, сотрудничал в известной балтиморской газете «Сан».

Браун, Хейвуд (1888-1939) – американский либеральный журналист и публицист, приобрел широкую известность своими выступлениями в защиту Сакко и Ванцетти.

Селливэн, Марк (1874-1952) – журналист, историк, редактор. Начал свою деятельность в 900-е годы в рядах так называемого движения «разгребателей грязи», разоблачавших злоупотребления, коррупцию и другие язвы американской жизни, но в дальнейшем перешел на охранительные позиции.

Браудер, Эрл (р. 1891) – с 1930 по 1945 год занимал пост генерального секретаря Компартии США. В годы второй мировой войны защищал оппортунистическую теорию затухания в США классовой борьбы, выступал за превращение партии в беспартийную «коммунистическую политическую ассоциацию». В 1946 году Браудер и его

единомышленники были исключены из партии.

Адамс, Франклин (1881-1960) – американский журналист, поэт и переводчик.

Селдес, Джордж (р. 1890) – американский публицист-либерал, в 1932 году выпустил книгу «Глиняный Цезарь», разоблачающую Муссолини.

Хэнт, Фрезир (р. 1885) – сотрудник чикагской газеты «Трибюн». Друг Льюиса, которому посвящен роман «Капкан».

Гаррет, Гарет (1878-1954) – американский журналист и экономист.

Хикс, Грэнвилл (р. 1901) – американский критик и литературовед, в 30-е годы придерживался прогрессивных взглядов, в 1936 году выпустил свою известную биографию Джона Рида. В дальнейшем отошел от левых кругов.

Джеймс, Эдвин (р. 1890) – американский журналист, в 30-е годы – европейский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс».

Ловетт, Роберт Морс (1870-1956) – американский критик и литературовед, либеральный общественный деятель, выступал в поддержку независимости Ирландии, в защиту мира, равных гражданских прав.

Дэрроу, Кларенс (1857-1938) – американский прогрессивный юрист, в 1925 году защищал учителя Дж. Скопса во время так называемого «обезьяньего процесса».

Стеффенс, Линкольн (1866-1936) – прогрессивный американский публицист.

Вудхауз, П. (р. 1881) – английский писатель-юморист, автор романов из жизни лондонского «света».

«Погребальная урна» – книга английского писателя Томаса Брауна (1605-1685), посвященная раскопкам римских статуй на территории Англии. Считается образцом английской прозы.

«Imitatio Christi» – «Подражание Христу» – произведение церковной схоластики, написанное немецким богословом Фомой Кемпийским (1380-1471).

«Алиса в стране чудес» – знаменитая книга для детей английского писателя Льюиса Кэрролла.

«Человек, который был четвергом» – роман английского писателя Гилберта Честертона (1874-1936).

«Закат Европы» – проникнутый крайним пессимизмом труд немецкого реакционного философа Освальда Шпенглера (1880-1936).

Мистер Сквирс – жестокий школьный учитель из романа Ч. Диккенса «Приключения Николаса Никльби».

Джексон, Эндрю (1767-1845) – президент США от демократической партии (1829-1837).

Лиддел, Генри (1811-1898) – английский ученый-классик.

Сан-Квентин – известная тюрьма для политических заключенных. В 1929 году С. Льюис посетил находившихся в ней Тома Муни и Макнамару.

...по аналогии с тайным подпольем... – В 1838 году аболиционистами было организовано «Общество тайной (или подземной) дороги», занятое переброской беглых рабов на территорию свободных штатов.

«Убийство Роджера Экройда» – лучший детективный роман Агаты Кристи.

«Ожидание Лефти» – одноактная пьеса драматурга Клиффорда Одетса (1906-1963), посвященная забастовке шоферов в Нью-Йорке, пользовалась большим успехом.

«Февральский холм» – семейно-бытовой роман американской писательницы Виктории Линкольн (1904); вышел в 1934 году и принес ей известность.

Скоггсборо... – В 1931 году суд расистов г. Скоттсборо осудил девятерых негрятских юношей по ложному обвинению в нападении на белых женщин. По инициативе Компартии США по всей стране развернулась широкая кампания в их защиту. В ней принял участие и С. Льюис.

...диктатуру на Кубе... – После испано-американской войны 1898 года США оккупировали Кубу и в течение длительного времени сохраняли там войска, поддерживая

проамериканские марионеточные правительства.

...расстрел бастующих горняков в Кентукки... – В 1929 году классовая борьба в штате Кентукки перешла, по словам губернатора штата, в «партизанские сражения», причем полиция не раз применяла оружие против шахтеров-стачечников.

Гроппер, Уильям (р. 1897) – американский художник, политический карикатурист, постоянный сотрудник прогрессивной прессы.

Ксанду – резиденция Кубла-хана, героя одноименной романтической поэмы С. Кольриджа (1772-1834).

«Ридерс дайджест» – популярный американский журнал для массового читателя.

Сервет, Мигель (1511-1553) – испанский ученый-медик, видный гуманист, находился в оппозиции к учению Кальвина, по настоянию которого был арестован, подвергнут пыткам и сожжен на костре.

Маттеотти, Джакомо (1885-1924) – один из лидеров социалистической партии Италии, антифашист, был предательски убит в Риме по приказу фашистских вождей.

Феррер, Франциско (1859-1909) – испанский республиканец, близкий к анархизму. В 1909 году во время восстания в Барселоне был арестован и без каких-либо оснований приговорен к смерти и расстрелян. Казнь Феррера вызвала волну протестов во многих странах.

Хеймаркетские мученики... – Имеются в виду рабочие лидеры, казненные в 1887 году по сфабрикованному обвинению во взрыве бомбы во время митинга на Хеймаркетской площади в Чикаго.

...о благодеяниях, оказанных Абиссинии Италией... – В 1935 году Италия начала позорную войну, приведшую к захвату Эфиопии (Абиссинии).

Линдберг, Чарльз (р. 1902) – известный американский летчик; в 20-е годы совершил ряд рекордных перелетов и стал одним из кумиров американцев.

...о «корпоративной физике»... – Намек на расистские мероприятия нацистов, проводивших кампанию по изгнанию «неарийцев» (вроде Эйнштейна) из науки и создававших свою «арийскую физику».

Коуэн, Октав Рой (1891-1959) – американский журналист и новеллист, известен своими рассказами, рисующими негров в сатирическом и крайне неблагоприятном свете.

Фаррагут, Дэвид (1801-1870) – адмирал, командующий флотом северян в Гражданской войне.

Фундаменталисты – наиболее реакционное течение в христианской религии, исповедующее абсолютную непогрешимость всех библейских догматов и непримиримость к инакомыслящим.

Спиридонова М. А. (1884-1941) – одна из лидеров партии эсеров. Выступала против заключения Брестского мира, приняла активное участие в левоэсеровском мятеже в июле 1918 года, после подавления которого продолжала враждебную деятельность против Советской власти. В дальнейшем отошла от политической жизни.

Брешковская Е. К. (1844-1934) – одна из организаторов партии эсеров. После Октября выступила против Советской власти, в 1919 году уехала в США, где продолжала антисоветскую деятельность.

Измаилович А. А. – эсерка, активный член левоэсеровской партии.

Першинг, Джон (1860-1948) – американский генерал, в период первой мировой войны командовал американскими экспедиционными войсками в Европе.

Мид, Джордж Гордон (1815-1872) – американский генерал, стоял во главе армии северян, участвовал в битве при Геттисберге (1863), где одержал победу над южанами.

Парк-Авеню – улица миллионеров.

Популисты – участники массового фермерского движения, развернувшегося на Западе и Юге в 90-х годах XIX века. Программа популистской партии включала национализацию железных дорог, почт и телефона, обуздание власти трестов и монополий, облегчение участи фермеров.

Беспартийная Лига – отколовшаяся в годы первой мировой войны от прогрессивной партии организация, стоявшая на пацифистских, общедемократических позициях.

Лафолетты – фамилия двух видных политических деятелей. Роберт Лафолетт-старший (1855-1925), либеральный сенатор от штата Висконсин, в качестве кандидата на пост президента возглавил летом 1924 года движение народных масс, получившее название прогрессивного, но потерпел поражение. Роберт Лафолетт-младший (1895-1953), избранный после смерти отца сенатором от того же штата Висконсин, стал одним из видных лидеров либеральных демократов и активным проводником «нового курса» Рузвельта. В 1946 году на место Лафолетта прошел реакционер Джозеф Маккарти.

Генри, Патрик (1736-1799) – американский политический деятель, видный участник войны за независимость.